ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №1 | 2022

Павел Батанов | Затеплились лампадки в деревне | 2019

Сергей Карбушев | Среди снегов | 2020

На обложке:

Константин Войнов | Молитва о Покрове (фрагмент) | 2021

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №1 | 2022

В номере

ДиН ВРЕМЯ

Владимир Алейников
3 Крым

Владимир Шанин
15 Прощание в Борске

ДиН СИММЕТРИЯ

Борис Корнилов
14 Память

Велимир Хлебников
17 Три мужика в чёрном поле

Вадим Шершеневич
35 Старый шарманщик

Владислав Ходасевич
52 Над раскалёнными песками

Максим Горький
56 Отшельник

Александр Блок
92 Возмездие. Пролог

Анна Ахматова
185 Не с теми я…

Сергей Есенин
190 Прощание с Мариенгофом

ДиН СТИХИ

Григорий Адаров
18 Ты входишь в эти сны

Василий Киляков
20 И жизнь люблю

Анастасия Астафьева
22 Благодарно взглянуть на звёзды

Варвара Юшманова
24 Музыка

Карина Сейдаметова
26 Радость роднится с печалью…

Максим Замшев
93 Видеть из любой темноты

Юлия Елгина
95 В день разлучения с Артистом

Виктория Побежимова
97 Кружатся белые журавли

Елена Жарикова
100 Жизнь на сквозняке

Яков Шафран
102 Прощание с зимой

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Андрей Деменюк
30 Питер. Горизонт событий

ДиН ПЕРЕВОД

36 «Я только музыкой одной богат не напоказ…»

Томас Эрнест Хьюм
136 Осень

ДиН ПАМЯТЬ

Ибрагим Чаящинский
41 Привинченный к небу

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Александр Орлов
44 Без креста

Вадим Деревянский
47 Маленький солдатик

Марина Жужкова
53 Первый день из 1418

Геннадий Авласенко
57 Бобби

Эльдар Ахадов
125 Цветок Чжэнь

Олег Лузин
137 Друзья пятых этажей

Светлана Живнач
142 Бабье лето

Александр Таразанов
145 Бакенщик

ДиН РЕВЮ

Дмитрий Мизгулин
61 Избранные стихотворения

Николай Ерёмин
124 Воля вольная

Марина Саввиных
141 Небо полуночи

Василий Киляков
153 От истока к устью

ДиН ПРОЗА

Виталий Пшеничников
62 Кедровые орешки

Михаил Смирнов
80 Бабье счастье

Елена Басалаева
154 Сказки девяностых

ДиН РОМАН

Анатолий Бимаев
104 Восемь-восемь

ДиН ДЕБЮТ

177 Вихри жизни

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Нина Ищенко
183 Раскольников, Шерлок Холмс и Дионис в «Тайной истории» Донны Тартт

ДиН ДЕТЯМ

Светлана Крещенская
186 Ёлочные бусы

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

191 Борьба за жизнь
194 Из старых тетрадей

195 ДиН АВТОРЫ

ДиН ГАЛЕРЕЯ

Художники земли красноярской

С 24 декабря 2021 года по 25 января 2022 года в Красноярском Доме художника проходила ежегодная отчетная краевая художественная выставка Красноярской региональной организации ВТОО «Союз художников России» «Художники земли красноярской. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство». Репродукции с картин, представленных в февральском номере «ДиН», публикуются с любезного разрешения организаторов выставки.

Владимир Алейников

Крым

1.

…Море.

Вспомним теперь — о море.

Эти вечные всплески чаянья, эти выплески грусти в поисках долгожданного и надёжного, почему-то необходимого, неизвестно зачем приснившегося, от сторонних взглядов укрывшегося где-то рядом, вон там, наверное, убежища на земле.

Этот гул или грохот, эта, с отрешённостью в дружбе, усталость, это — в конце концов — нахлынувшее нежданно, застигнувшее врасплох, озадачившее, смутившее, вдохновившее на поступки, ну а может быть, и на подвиги, запоздалое понимание, словно вспышка молнии, вдруг прояснившая разом сознание, сквозь туман: я тоже стихия, да, представьте, и на земле мне, мятежному, делать нечего, посему простите, прощайте, в путь, вперёд, я само по себе.

Этот запах влажных ракушек и водорослей мохнатых, эти мидии, присосавшиеся к бугристому, ноздреватому подводному тёмному камню или, вынутые из створок загорелой до черноты, одичалой от жизни летней, слишком вольной для горожан, развесёлой оравой романтиков, грудой скользких моллюсков брошенные в кашу, пищу богов, готовящуюся, по традиции устоявшейся, разумеется, на огне, в бухтах, скрытых от глаз людских, среди скал, вдалеке от здешней примитивной цивилизации, где палатки, дубняк, следы талой дикой весенней воды на безмолвных склонах видны, словно давний привет с луны, Кара-Даг, остатки костров, разгулявшиеся гитары, эти мидии, с тусклым жемчугом, в них наросшим, и без него, запах моря, когда ныряешь за ними в маске, привычные, неустанные вдохи и выдохи.

Море.

Песня моя задушевная, бесконечная, как у татарина, обо всём совершенно, что видел, обо всём, что услышал, узнал.

Песня, пускай угасающая, затихающая постепенно, понемногу, так, чтоб звучать на просторе как можно дольше, чтобы жить, и не только в памяти, но и в области слуха, и даже в заколдованной области плача, как сказал однажды поэт, уходящая, разумеется, в никуда, но и в то же время не желающая исчезнуть и намеренная остаться вместе с нами, вот здесь, на этом берегу, где стоим теперь мы и пытаемся слышать то, что раскроется в озаренье, и уже напрягаем зренье в постиженье своём простом то ли музыки, в небесах запропавшей вдруг почему-то, чтобы ей потом появиться, чтобы нам на неё дивиться, то ли вытянутого вдаль и упругого, как спираль, непредвиденного пространства, песня, вроде бы нисходящая по наклонной, к нам снисходящая благодатью с высот, чтоб не было немоты, слепоты, глухоты, чтобы нам не пропасть во мраке, чтобы выйти сквозь ночь на свет, песня — чудо, песня — завет, песня — птица, песня — мечта, восходящая красота, песня — весть, чуть слышная, но продолжающаяся в грядущем, не теряющаяся сразу, словно резкая грань алмаза, разрезающая стекло вод, где к слову придёт число, —

как долгий след корабля почему-то всегда остаётся позади, остаётся, и всё тут, ничего не поделаешь с ним, есть как данность, как вероятность откровенья или забвенья, есть вдали, есть в любое мгновенье затянувшегося прощанья, как прощенье, как обещанье новых встреч и новых разлук, есть, как есть ведь на свете друг, есть как оклик, а может, вздох, есть как грань меж крутых эпох, и томит нераскрытой тайной, и прослеживается часами посреди беспокойных волн, —

вон туда он пошёл, корабль, вон туда он, смотрите, направился, вроде маленький, чуть заметный, или нет, конечно, большой.

А на земле в это время, в это же самое время, в те же часы и минуты, в те же мгновенья, тут же исчезающие, чтоб за ними вырастали мгновенья новые, продолжаясь до бесконечности, всё возможно, всё вероятно, всё издревле материально, потому что известно, что время это — просто сама, запомните навсегда для себя, материя, так-то, братцы, — на берегу — варят кашу с привкусом дыма, жгут костры, отрешённо играют, как уж выйдет у них, на гитаре.

А в порту есть ещё и собратья вдаль ушедшего корабля — тоже смелые, тоже плавучие, тоже, стоит отметить, крепкие.

А в Москве, далеко, есть женщина одинокая и окно.

А вон там, наверху, есть мелко, дробно как-то, слишком извилисто, коренастым поросшая лесом, несгораемая гора.

И ходим-то мы — не забудьте об этом, друзья, — по вулкану.

Помнишь поездку в «газике», от Феодосии, кажется, нет, конечно же, от Керчи, солнцем выжженной, просоленной ветром с моря насквозь, донельзя, словно связка бычков сушёных, во дворах своих и на склонах Митридата, везде, повсюду разбросавшей щедрыми пригоршнями цветовые пятна и запахи, впрок, наверное, на потом, чтоб хватило на всех когда-нибудь их с избытком, до Феодосии, в самом конце скитальческого, переполненного событиями небывалыми, шалого, знакового, жаркого, звёздного августа, под дождём проливным, сто двадцать километров отчаянных в час, нас много, и мы сидим слишком тесно, вплотную друг к другу, пассажиры, и нам, разумеется, почему-то не по себе, страшновато нам иногда, прямо скажем, от гонки этой сквозь отвесные струи дождя, сквозь косматую мглу, сквозь вечер, назревающий постепенно вдалеке, в стороне, вперёд, может быть, и нам повезёт, как везло и прежде, бывало, дай-то Бог, а шофёр беззаботен?

Помнишь приезд стремительный в Коктебель, ожидание нового — мыслей, чувств, настроений, встреч, впечатлений разнообразных, — и надежду, наивную, робкую, наконец-то обильных луж: вдруг не высохнут никогда на здешней глинистой почве?

Атаки жаждущих крови человеческой комаров, тогда, в середине самой крылатых шестидесятых, ещё хорошее, всюду, на каждом шагу, вино, деньги, пускай и скромные, но всё-таки что-то да значившие тогда, с которыми просто и легко было нам расставаться, знакомых приветливых девушек, море после дождя?

Помнишь Ялту с её Испанией галерей, балконов, решёток и внезапных, как восклицания изумлённые, поворотов?

Помнишь закрывшие с севера светлый город рослые горы, хранящий тепло «воротник» на горле изнеженном юга?

Помнишь ночное купание, брезентовую палатку, приткнувшуюся так по-свойски, надолго, почти навсегда, под ветвями дикой маслины, словно пройдут немалые годы, покуда спохватятся наконец и её уберут?

Её свернут в неподатливый клубок, поплотнее скатают, понесут на плечах куда-то, насовсем, видать, увезут.

Их много было, таких, приют всем дававших, палаток.

Море.

Зачем тебе надо, разом, незамедлительно, всколыхнуть эту сонную гладь, задеть эту плавкую твердь, закипающую смолою, когда ты и так — море?

Море.

Грот. Корабль вдалеке. Сон во сне. Следы на песке. Берег, вымытый добела. Запрокинутая скала. Загорелые ноги. Взгляды сквозь ресницы густые. Август.

Море.

Я плачу нежданно, выкинув сантименты, как труху табачную жёлтую из карманов потёртой куртки.

Я смеюсь, пробегаю вдруг напрямик, только вдоль прибоя.

Что-то я нахожу, рассматриваю, приближая к своим прищуренным от палящего солнца зелёным и весьма ещё зорким глазам, — сердолик? халцедон? агат? — наклоняюсь порою к найденному, словно цепко, привычно прицениваюсь, наподобие антиквара.

Что-то бросаю, как скользкий, лёгонький, плоский голыш — вот он, взвившись дугою, пролетел над водой, ударился об неё, как обжёгшись, подпрыгнул высоко, пружинисто раз, ещё раз, может быть, как в цыганской песне старой — ещё много раз?

Море.

Где ближний причал — это причал настоящий, и к нему, неизменно, доверчиво, причаливают катера.

Море.

В котором уютно у берега дорогого — и ждёшь его слишком уж долго на суше, вдали от него.

Я бушую, как ты, я смиряюсь, как и ты, я чего-то жду.

Всплески, выплески, накипь солёная шумной пены, отблески солнца.

Я пойду. Мне пора уже. Ладно?

Ждут меня павильоны летние, тенты, плещущие под ветром парусами, напитки шипучие, свет негаданно вспыхнувших фар, тень ветвей, узорное марево, зазеркальное действо, лёгкое и прохладное, виноградное, замечательное вино, сама прохлада с её трогательной заботливостью об обожжённом, пылающем, ярком; ждёт меня влажный, тёмный, мягкий асфальт, в который накрепко въелись петляющие следы автомобильных шин, и эта рубчатка чёткая то и дело напоминает, отдалённо пускай, не важно, то плавник океанской рыбы, то изгиб черноморской волны, то замедленный, утихающий, словно после жаркого спора, след раскатистого прибоя; если вздумаешь вдруг шагнуть безоглядно в ночную воду, побредёшь по ней и почуешь и прохладу, и доброту.

Эта дружба, давняя, крепкая.

Эта, видно, врождённая тяга — к тайне, сказке, легенде, притче, в мир мечты, к истокам чудес.

Потереть меж пальцев листок лавра, густого, пахучего, или ореха грецкого, или снежинчатый, лёгонький тёмно-зелёный кусочек рвущейся к небу сени сонного кипариса — тоже напоминание, может быть — о звезде, может быть — о зиме, что не страшна растеньям, или же о волне, плещущей отрешённо где-то внизу, где звук с эхом своим

играет в прятки в который уж раз, не уставая при этом беседу вести со светом, белым, по всем приметам, нужным для наших глаз,—

вдохнуть потаённый жар окон, распахнутых настежь, увидеть, пусть и случайно, в них счастливых влюблённых,—

запах бензина, резкий, как нашатырь, переполненные урны, афиши, концертные, театральные, чьи-то гастроли, бенефисы, спектакли, пёстрая лицедейская карнавальная жизнь, без масок и в масках, с оркестрами, поднимающими свои золотые трубы, подобно в небесах таинственных сорванным, голосистым, росистым цветам, прижимающими свои хрупкотелые скрипки к щетинистым или выбритым подбородкам, словно сгустки мечтаний давних о неведомом и манящем тихой музыкой вдалеке, молчаливые телефоны-автоматы, крутые склоны, закоулки, билет в руке,

набережная, как тысяча и одна, вроде сказок восточных, причудливо разукрашенных, узорчатых, пряничных, ярких, юрких или скользящих неторопливо лодок, переполненных людом праздным, где-нибудь, положим—в Венеции,

звонки телефонные, редкие,—в северную Москву,

сжавшиеся в тугие опахала, от влажной ночи субтропической одуревшие, лунатически бледные пальмы, осторонь от бесконечных, неугомонных толп, россыпей, групп, компаний приезжих людей, гуляющих, без учёта места и времени, где им вздумается и когда им захочется, расписание полустёртое междугородних или рейсовых местных автобусов, бумажных стаканчиков брошенных шорох, пустые бутылки по углам, в основном из-под пива,

туфельки на каблучках-гво́здиках, быстрый, вкрадчивый, с лукавинкой, с укоризной, с досадой, призывный след стройной, загаром тронутой бережно женской ножки, юбки, мазки акварельные, лепестки цветочные пёстрые, легко, дразняще взлетающие вверх от порывов охочего до неги ночного тёплого сумасбродного ветерка, друга неугомонного, ревнивого до невозможности, щедрого невероятно, любвеобильного, южного, привязчивого кавалера, костюмы, на ком-то, строгие зачем-то, воздушные, пышные, кружевные летние платья,

просто рубахи, светлые, под которыми—просто горячее, желаниями распалённое, молодое свежее тело,

ночные, в смолисто-чёрной, с отражениями огней золотистыми, с плеском дремотным, прибрежной воде, купания,

принесённый кем-то кому-то когда-то зачем-то букет, восхитительные в роскошестве своём пунцовые розы,

какой-то, кому-нибудь, видно, достойному или так, по-советски, случайному, памятник, подобие площади, крохотной, не больше ладони, внезапный поворот, ещё поворот,

ресторан с остывающей кухней, со столиком, на котором осталась никем не убранная соломинка с капелькой кем-то недопитого, розоватого, сладковатого, липкого пунша,

покачивающийся плавно, монотонно туда-сюда, осевший на время какое-то, ненадолго совсем, в порту, симпатичный белый кораблик, зачем-то куда-то, наверное, от назойливых глаз людских, убравший своё оперение, называемое почему-то подводными, да, представьте, удивляясь, именно так, и никак не иначе, крыльями,

то тишина сплошная, призрачная, резная, то всеобщая, бурная, с перебором, сплошная музыка,

рулады аллей протяжные, подъём, неизвестно куда, спуск, непонятно, зачем, почему, высокая лестница,

ещё, ещё и ещё,—

где ты, скажи мне, теперь?—

стоишь где-нибудь, подальше ли от чудес, поближе ли к ним, взволнованно, шумно дышишь, глядишь на них, изумляясь всему, что собрано в них воедино в энергетический, ностальгический, элегический сгусток, в некий волшебный шар, переполненный светом астральным, в мир, который не станет опальным, ходишь, может быть, пристально, цепко, чтоб оставить всё на потом, сохранить обязательно в памяти, всматриваешься в круг магический, в сердцевину видения, в самую глубь наважденья, в то, что за гранью, в то, чему не грозит сгоранье, в чём горенье не смогут льдом погубить, в чём твой тайный дом.

Неподражаемый, жалобный, выживший из упрямства, вышедший из пространства, вынесший постоянство радости сквозь невзгоды, вестник смены погоды, радужный перелив целебного чистого света,

запах, ещё, и потом ещё, узнаваемый запах,

тут—почти уже примирившегося с застыванием скорым осенним, с пустотою бесстыдной и с инеем на газонах и клумбах, асфальта,

там—то ли чуть подгоревшего сочного шашлыка, то ли кипящего в масле караимского пирожка,

а здесь вот—всеядный, всеобщий, просто винный, и всё этим сказано, всё тут ясно без лишних слов, это мы хорошо понимаем,

а вон там, да, чуть в стороне, подальше от суеты, поближе к вратам небес и сводам простора,—запах пропитанных влагою свай, чуть подольше, чем все остальные, протяжённее, чтобы вдохнуть поглубже, чтоб тут же запомнить,

а потом, ну подумать ведь только, и представить нельзя такое, но, пожалуйста, приготовься, это надо же, вновь поворот,

она или ты—или вместе, в два голоса, одновременно, растерянно, изумлённо, взволнованно, радостно,—здравствуйте!—

разлитая всюду, безбрежно, безудержно, широко, так, что нет ей пределов, нежность, так щедро,

так бескорыстно, что нет ей возраста, нет увядания, настоящая, словно жизнь, и судьба, и песня, и речь, и весь этот рай земной,—и нельзя поскромнее, и спокойнее тоже нельзя,—ласкать, обнимать, целовать, и, в который уж раз, удивляться.

А там—не забыли ведь мы о нём—разумеется, море,

вон там, за этим нависшим над бездною парапетом, за этой полоской условной камня или бетона,—

оно примирилось, возможно, сейчас неизвестно с чем, но кто его знает, как поведёт себя чуть погодя.

Луна, в эмпиреях витающая, огромная, в три обхвата.

Звёзды, величиной с теннисный мячик. Может, несколько меньше, с шарик для пинг-понга? Нет, нет, побольше. Большие. Совсем большие. Как выросшие незаметно дети, ставшие взрослыми. Как людские порою дела.

Усталые, накурившиеся до тошноты, до одури папирос или сигарет, подвыпившие или трезвые, кто с проигрышем, кто с выигрышем, кто с досадою на себя, кто с мечтами о крупном везении, рассеянно что-то бормочущие, на мир удивлённо взирающие, неизвестно чего желающие, расходящиеся по домам, азартные бильярдисты.

Да мало ли кто ещё уходит или приходит куда-то? Да мало ли что в округе теперь происходит?

Не всё ли равно мне, где роение прекратится? К солёной бредя воде, всё, видимо, возродится.

И вспомнится—лишь родное.

Здесь оно, море, со мною.

2.

…Мы поехали в Крым, поехали в Крым—зимой!

Мы поехали в Крым—на юг, оказались—во сне ли, в сказке ли, но уж точно—не там, где должно было солнце греть и цветы в тепле распускаться и благоухать,—нет, конечно—в раю, конечно—в благодатном краю, и всё же—в непривычной среде, где, кроме солнца, моря, тепла и света, здесь присутствовал всюду—снег.

Снег—в горах и на перевалах, на дорогах и на тропинках, на скамейках, на крышах, на листьях жёстких, сухо хрустящих пальм, снег—совсем не холодный, влажный, кратковременный, рыхловатый, залетевший сюда случайно, понимающий, что растает, обречённый, но всё же—снег.

Но над снегом—сияло солнце.

Ну а с ним—приходило тепло.

Весь Южный берег Крыма дивился такой вот двойственности: сочетанию здесь, у моря, в дни февральские, вроде бы хóлода, но за холодом—и тепла.

Сияли, слепили глаза нестерпимой своей белизной, ещё более резкой, пронзительной на фоне голубоватого, с уносимыми в разные стороны налетавшим внезапно ветром клочковатыми облаками, наподобие купола вставшего над горами, над морем, над городом, широко вокруг расплескавшегося, вольготно вверху раскинувшегося, бездонного, глубочайшего, холодного зимнего неба,—высокие, вроде конусов, пирамид, готических башен, то со сглаженными, то с угластыми, причудливо, словно по прихоти незримого властного мастера, создателя невероятной природной архитектуры, изломанными очертаниями, недоступные, отдалённые от моря и от людей, как-то слишком уж обособленно существующие, независимые, долговечные и привычные человечьему взгляду вершины.

Много выпало снега в горах. Вот поэтому, видно, и шли, устремляясь туда, вперёд, вверх, всё выше и выше, в горы, кто—весёлыми шумными стайками, кто—привычно поодиночке, кто—счастливыми дружными парами, кто—большими, с песнями, шутками и раскатистым смехом, компаниями, шли и ехали все, стараясь поскорее добраться до нужных, хорошо им известных мест, люди разного, от молодого до вполне почтенного, возраста, симпатичные, бодрые, свежие, с настроением явно приподнятым, в спортивных костюмах и шапочках, с лыжами в крепких руках, спешили, все вместе, в горы—чтобы там покататься на лыжах. А оттуда, с гор, возвращались вниз уже предостаточно, вдосталь накатавшиеся на лыжах и крымчане, местные жители, и приезжие, здесь, по традиции, отдыхающие зимой.

И это была—Ялта.

И это был—город у моря.

Колоритный, южный, просторный, ставший зимним на время порт. Загорающийся вечерами, как цветок небывалый, маяк. Молчаливым ответом дремлющий на вопросы стихии мол. Опустевшие, тихие пирсы. И, конечно же,—белые чайки, всюду—чайки, кричащие чайки, обязательно, всенепременно—неизменные белые чайки. И, само собой,—корабли. И дома. И витрины. И набережная. И деревья на ней. И—парки, все, с уступами, и террасами, и аллеями, и беседками, и растениями, и лестницами. И—всё выше и выше, в гору, влево, вправо, широкими ярусами, бесконечным амфитеатром, сном, виденьем, раденьем,—город.

Зимний шторм гулял по разбухшему, потемневшему, беспокойному, всё—броженье, бурленье, властное, роковое, крутое,—морю.

Огромные сильные волны ударялись с размаху о берег, вставали витыми, извилистыми, пружинистыми столбами, переплёскивались через набережную, бились в мокрые стёкла витрин магазинов, хлестали по окнам, обрушивались на асфальт, растекаясь потоками быстрыми по нему, шипя, клокоча, завихряясь, вращаясь и пенясь.

В воздухе, полном влаги, стоял неустанный, ровный, грозный, тревожный гул.

Налетающий ветер гнул и раскачивал кроны деревьев.

Люди же между тем жили своей, приморской, крымской, средьзимней жизнью, ни о чём таком, что могло бы потревожить их, не волнуясь, ни о чём таком, что могло бы испугать их, не беспокоясь: ну подумаешь, страсти-мордасти!—ничего не случилось особенного, и всего-то-навсего—шторм.

Но для нас это было—в диковину.

Мы бродили вдвоём с женой, зачарованные, по набережной, неотрывно глядя на море.

Я однажды рискнул, спустился чуть пониже, поближе к воде,—и едва успел отскочить, а потом побежал оттуда сломя голову, тем и спасся: миг ещё—и был бы накрыт ледяным солёным потоком взмывшей вверх и метнувшейся вниз черноморской февральской волны.

Получилось вдруг, поневоле, небольшое, но всё же опасное, раз уж правде смотреть в глаза, непредвиденное приключение.

Волна огромная всё-таки успела забрызгать меня, но я, храбрясь, разумеется, держась молодцом и дивуясь разгулу стихии, старался просто не обращать по-геройски на это внимания.

Ялта была, по сравнению с летом, почти безлюдной. Редкие отдыхающие слонялись по мокрой набережной, сидели в открытых зимой недорогих кафе. Те, кто имел такую возможность, шли в рестораны. Оттуда наружу, к нам, вырывалась громкая музыка. И она мне тоже казалась какой-то слишком уж зимней, обособленной, существующей в эту холодную пору года как-то по-новому, отдельно от всех и всего, так что вполне было можно сказать о ней или хотя бы исподволь просто подумать: живёт сама по себе.

Жила сама по себе—как привыкла зимой—и Ялта: внутренней жизнью своей, от нас и не только от нас до поры до времени скрытой—там, под покровом—снега ли, неба ли, может—и вечера, ну а за вечером—ночи, вся—в ожиданье тепла.

Потом была—тоже зимняя—Алупка, с её пустынным парком, прибрежными скалами и Воронцовским дворцом. Был Мисхор. Ореанда. Ливадия. Был Гурзуф. И потом—шоссе. И—заснеженный Симферополь. Был вокзал. И знакомый поезд. И покачиванье вагона. И зима за мутными окнами. И дорога, когда так ясно начинаю я мыслить, чувствовать. И стихи, записать которые лень порою сквозь полудрёму-полуявь. И огни степные. Возвращение—в Кривой Рог. Ну, приехали. Так скорее—в дом родительский. Там—гнездовье. Там—уют, и покой, и воля. Там тепло. Там светло. Там—творчество. А потом уж будет—Москва…

3.

…Мы поехали в Крым, поехали в Крым—летом.

Из Кривого Рога, на поезде, мы с женою моей Наташей, ну а с нами чудесный отец мой, да ещё и младший мой брат, приехали в Симферополь, пересели на электричку—и вот мы уже в Севастополе.

Город морской. Бухты. Военные корабли.

По-гречески—город Славы.

Мы бродили по улицам, праздничным, нам казалось, прибрежным, гриновским, зурбаганским, пахнущим плещущимся где-то рядом, поблизости, морем,

вдоль цветов, на балконах, на клумбах, и в руках загорелых женских, и в садах, и в парках, и в скверах, всюду, где бы тогда мы ни шли,

вдоль деревьев, повсюду растущих и шумящих резною листвою, тополей, воздушных акаций и каштанов, под ветром свежим,

вдоль прерывистой и непрерывной, синкопической, как и мелодии из окошек раскрытых, зелени, всех тонов и оттенков любых,

от лёгкой, чуть желтоватой, прозрачной, до изумрудной, густой, с отливом лиловым, с налётом сквозных теней,

вдоль светлых домов, построенных из инкерманского камня, со стенами, солнцем нагретыми, нарядных, стройных домов.

Мы были на Графской пристани и на известных бульварах—Приморском и Историческом, стояли на Пушкинской площади у памятника поэту, о котором сказано было «наше всё» или «солнце», Пушкину, а в сквере, средь щебета птичьего и шелеста листьев под ветром, налетающим с моря, свежим и живым, на проспекте Героев Севастополя, мы стояли у памятника отважному матросу Петру Кошке.

Поднимались мы на Малахов курган—место двух кровавых сражений.

Из моря, из волн, установленная на прочном каменном цоколе, свечой вставала высокая колонна белая—памятник Затопленным кораблям.

Видели мы в музее обороны и освобождения Севастополя панораму впечатляющую, «Оборона Севастополя», и диораму, вслед за ней, «Штурм Сапун-горы».

Мы посетили, конечно, музей Черноморского флота и, на проспекте Нахимова, картинную галерею.

Видели мы, разумеется, и аквариум знаменитый, волшебное царство морское на тенистом Приморском бульваре.

Берег, изрезанный длинными глубоководными бухтами, притягивал нас к себе отовсюду, он звал к себе—и на зов этот невозможно не откликнуться было нам,—он, единственный в мире, светлый, благородный, сухой, подтянутый по-военному, говорил на морском языке—пространства и звучащего вто́рой ему, неизменно молодцеватого

и давно уж седого времени, говорил о том, что возможно в единении двух стихий—и морской, и воздушной,—чудо—на земле каменистой—славы, чудо чести и чудо гордости, чудо радости и добра.

А над морем кричали чайки и летали под синим небом.

И повсюду ходили люди, загорелые и красивые.

И листва шумела под ветром, прилетающим в город с моря.

И звучала из окон—музыка. И светло здесь было—всегда.

А потом оказались мы в Херсонесе, античном городе, и бродили там по раскопкам среди стен городских, и башен, и ворот, и руин античного—вот бы ожил он вдруг—театра, и вздымались к небу колонны—беломраморные, конечно, и порой прислонялся я к ним, да вот так и стоял, задумавшись, ощущая хребтом своим тёплое, благодатное прикосновение всей распахнутой взгляду, выжившей, просветляющей старины.

Мы купались там—и вода тоже тёплой была, прозрачной, и солёной, сине-зелёной, и мерцала под солнцем, плавилась, и струилась, и лёгкими бликами рассыпалась, и вновь собиралась—не вдали, так хотя бы в горсти.

Мы снимались там вместе—на память.

И потом, через несколько лет, криворожской ненастной осенью, в отчем доме, всегда спасительном, в одиночестве затянувшемся, весь как есть в нахлынувшем творчестве, эти снимки я вспоминал.

В Херсонесе, где много колонн поднимаются с разных сторон там, где моря кайма, зеленея, порывается вспыхнуть сильнее и отчаянно выгнутый брег принимает раскопок ковчег, не дождались мы, к счастью, ночлега, точно песни в груди печенега. Город был наперёд разогрет, севастопольский замкнутый рейд кораблями играл по старинке, да вертелась в окошке пластинка—и туманная дума басов надвигала на вечер засов, чтобы ехать да ехать без края, по привычке себя укоряя, в умилённом чаду угорев. И запомнили мы, постарев, фотографий заполненный глянец, восходящего горя румянец, безмятежного счастья провал, словно вписано это в овал круговою порукой пространства,—и забыли своё постоянство. Мне не ведать теперь и не знать, что же может ещё ускользать изощрённой тропинкою горной,—мне не холодно в жизни просторной—и, как смотрит часы часовщик, я увижу рождавшийся крик, шевелящийся сызмальства в пене,—и предвижу я только ступени да стремящийся лестничный шквал, где струящийся голод пропал, заплутал под луною в июле,—ковыли не шумят потому ли, что не к спеху уж макам цвести, если можно себя обрести, словно случай дорожный, украдкой,—и деревья при всём беспорядке не желают беседы вести, и оплавленный камень в горсти—словно тёплый кусочек сиротства, и немыслимо пьёт превосходство беспримерную чашу судьбы там, где бре́ду пора до борьбы дотянуться ладонью невольно. А пока что—довольно, довольно оголтелых, как басни, гостей, заплутавших в пылу новостей, фотографий увидевших тягость и змеящейся нови двоякость, словно есть в черноте негатива прозревание миру на диво, словно где-то кому-то фотограф не оставил спасенья автограф—и замедлили шаг произвольно те, кто делали слишком уж больно и себе, и другим,—а вокруг паруса разворачивал юг, проверял запрещённые свитки,—и возможности были в избытке, и будила, как эхо, угроза, и цвели сердолики и роза, и любовь, понимая влюблённых, сторонилась заслуг посторонних, ибо в сказке конец так конец,—на примере разбитых сердец научились мы жить, не ревнуя,—но кого же зову да зову я? То-то чайки, крича нарасхват, обрываются гроздьями спелыми в Херсонесе, где люди не спят, в Херсонесе с колоннами белыми.

Как ни радостно, как ни грустно, как ни горестно—так всё и было.

Как ни больно, как ни привычно вспоминать мне—так всё и есть.

Мы выбрались из Севастополя—по весьма крутому, извилистому, за петлёю петля, подъёму—на ялтинскую дорогу, проходящую поначалу по Сапун-горе, возвышающейся над заполненной виноградниками до краёв Балаклавской долиной.

На юге, у всем известной—по очеркам Куприна, тогда недоступной, закрытой для туристов, поскольку там, в бутылкообразной бухте, стояли подводные лодки, дразнящей воображение греческой Балаклавы, начиналась, вздымаясь всё круче, нарастая всё выше, выше, наливаясь мощью немалой и значительной крутизною, привольная, дикая, цельная, орга́ном звучащая главная гряда, визитная карточка пленительных Крымских гор.

В Байдарах—в селе Орлином—посреди просторной долины—можно было остановиться и отправиться на экскурсию в сталактитовую пещеру, находящуюся километрах в десяти, у села Родниковского, но решили мы не останавливаться, а ехать всё дальше, в Ялту.

И где-то внизу остались—Ласпинский дивный залив, с трёх сторон окружённый горами, и самая южная часть европейской части Союза—мыс Сарыч, с его маяком, и мыс Айя, прикрывший своими вертикально стоящими скалами невидимый Батилиман.

Байдарская долина всё сужалась, как будто бы ладонями сжимая дорогу, становясь теперь ущельем.

И—вот они, Байдарские ворота!—внушительная каменная арка. Ворота, за которыми—весь Южный, неизъяснимо нежный берег Крыма, субтропики диковинные, Ялта. А что за Ялтой? Тоже чудеса!

На отвесной скале—площадка. Вид с площадки—на побережье. Чуть поодаль—церковь, подобие византийской. С площадки—спуск, вниз, всё ниже, крутой, петлистый.

На востоке—Форос и Мелас.

Алексей Константиныч Толстой жил когда-то в Меласе—вспомнятся не однажды нам его «Крымские эскизы». В них—всё уже сказано. И—нитью незримою связано с грядущими временами.

Над Снитковским, бывшей Мухалаткой,—Чёртова—названье-то какое—лестница, длиннющая, крутая,—нет похожих в мире,—перевал древний через Главную гряду.

Почти километр—всё вверх, со ступенями—для исполинов.

Здесь тавры поднимались на яйлу.

А в прошлом веке—шёл в Бахчисарай,
«держа за хвост татарских лошадей»,
наш гений, «наше всё», весёлый Пушкин,—
в таком же точно возрасте, как я—в уже далёком шестьдесят седьмом.

Бывают ведь такие совпаденья!

Потом—Кастрополь, со скалой Ифигении, встарь ставшей жрицею в стоявшем здесь, над морем, с его просторами седыми, таврском храме богини Девы, в рокоте валов, и в кипени воздушной облаков, и в синеве оставшемся доселе—как эхо или дивное виденье,—чтоб там, в грядущем, помнили о нём.

А потом—Симеиз. Парадиз?

Бирюза укрытой горами от ветров симпатичной бухты.

Горы: с севера—вот он, Ат-Баш—Лошадиная голова, ну а с запада—вот она, Кошка.

На одном конце бухты-подковы—мыс Ай-Панда, а на другом—примечательная скала с характерным именем—Дива.

Парки. Вечнозелёные всплески на толпящихся в тесном пространстве между небом и морем склонах.

Остатки внушительной с виду крепости средневековой—и совсем уже древнего таврского поселения, коренного, да ещё и могильники таврские, с чередою каменных ящиков.

А поближе к высотам вселенским—знаменитая обсерватория, со своими, для всех таинственными, разумеется, звездочётами,—хорошо им, небось, учёным, наблюдать небеса в Тавриде—здесь особенно ясные звёзды.

На прощанье, из бирюзы, густо смешанной с праздной зеленью, помахал нам утёс Лебединое Крыло, то ли женской ладонью, то ли в самом деле—крылом.

И мы поехали дальше.

Вот Алупка, с дворцом и парком.

Дворец, плод фантазий англичанина Блэра, создателя фасада Букингемского королевского дворца и шотландского замка автора «Айвенго» и «Роба Роя» сэра Вальтера Скотта, диковинное соединение несоединимых, казалось бы, стилей, архитектурный винегрет, коктейль, в котором смешались все четыре стороны света, Индия и Мавритания, замковое Средневековье и заря островного британского Ренессанса, разнородная каша-малаша, почему-то, на удивление всем, стянутая в единый прочный—не развязать, не разрубить!—узел, серовато-зеленоватая диоритовая, вроде бы призрачная, но и отчётливо материальная, гамма, прозвучавшая некогда в мозгу зодчего, вспыхнувшая в сознании—или, скорее всего, в подсознании, преображённая воображением—и вдруг ставшая музыкой, воплощённой в материале, в тесном камне, обретшая чудаковатую, на первый взгляд, но несомненную, на все остальные взгляды, на многие годы вперёд, гармонию,—нет, не просто гармонию, с её мелодией и сопровождением,—подлинную, уверен, сложную полифонию, многоголосие, где властвует контрапункт, магическое обаяние, гипнотическое воздействие сразу нескольких тем,—потому что сразу сросся дворец с пейзажем, да так и остался здесь на долгие времена, возникший вдруг, по наитью, явившийся и озаренье, из сказки или преданья,—стоять и звучать в пространстве.

И—надо же!—по чутью—и чудо, и волшебство.

И—отзвук празднества давнего.

И—таинство. И—постоянство.

И—то «чуть-чуть», без которого вообще не бывает искусства.

И—верно взятый, для Крыма, для Южного берега крымского,—единственно верный тон.

Сновидение или явь?

Пограничное состояние—между недавним сном и негаданным пробуждением?

Сопоставление странностей?

Соединение граней?

Может—парад оркестров?

Или—парад планет?

Что же? А кто его знает!

Но только создание это, но только видение это—вздымающееся, звенящее—и поныне со мной.

Да, было и такое. И осталось. В душе. Чтоб вспоминаться иногда. Чтоб улыбаться молодости нынче, покачивая грустно головой седеющей. Романтика. И с нею—крылатое, пленительное время. Распахнутость и праздничность пространства. И—целостность увиденного мира. Его разъятость. Вглядыванье—вглубь. Чтоб взгляд был—слухом, слух был—взглядом. Тяга—к единству, к сути, к синтезу всего, что есть искусство. Слово—за тобою. И ты входил в свой каждый день как в сад, заполненный рассветным птичьим пеньем и трепетом разбуженной листвы. И ты считал свой каждый час то чудом, то волшебством. И каждый миг свой—знаком, конечно—свыше,—всюду сознавал, где б ни был ты. И творчеством всегдашним ты жив и столько лет уже спасаем—в пути юдольном, в мире непростом.

Но что же—всё же—грань? И что—предгранье? И что же там, за гранью? Ты не знаешь. Но—выразишь, своей ведомый речью. Как прежде. По наитью, по чутью. И это будет—подлинное знанье. С ним заодно—прозренье, постиженье. Одно оно не ведает старенья. Всегда за ним—Вселенной свет встаёт.

И в том, что пишешь ты, и в том, что создаёшь,—за словом, перед словом, в каждом слове, в звучанье слова, в начертанье слова,—есть вещество. Какое? Чую: плазма. Связующая Землю и светила энергия—из разных измерений. Пространства зренье в ней и слух творенья. Времён соединительная ткань.

Вновь говорю я—самому себе. С душой своей беседую. Сегодня? В других ли—столько раз—существованьях? В едином ли—всеобщем бытии?

Есть—речь. Энергия. Она—для созиданья. Она—Вселенной часть. И дух в неё—вселён. Она—материя. В ней—имя пониманья. Она—миров извечное звучанье. В ней—ключ к душе. В ней—клич. Но—не молчанье. В ней—вещий сон. И—яви назреванье. Так что же прозревал я—там, за гранью, в раю былом—грядущим просветлён?..

…Мы поехали дальше, к Ялте.

Позади осталась Алупка—со своими прудами, парком, бухтой, «Хаосом» и дворцом, со своими аллеями, скалами, со своей Крестовой горой.

Поднимался слева—Ай-Петри.
Впереди начинался—Мисхор.
А за ним—Кореиз и Гаспра.
Зелень парков. Пруды. Фонтаны. В мавританском стиле—дворцы.

Справа, в море,—мыс Ай-Тодор.

И на нём, над крутым обрывом,—рукотворная дерзость, прихоть чья-то—«Ласточкино гнездо».

Дерзость? Прихоть? Бывает всякое. Отношение к ним—двоякое. Но скорее всего—вдохновение. Или—явленное откровение.

Ну а «Ласточкино гнездо»—всё на том же месте, над морем.

Рядом с ним был когда-то римский укреплённый лагерь Харакс, от которого нынче остались лишь развалины малозаметные на мысу, на северных склонах,—там ещё сохранились таврские, циклопической кладки, стены.

И рокочет внизу прибой, и кричат над утёсом чайки.

Как-то сам по себе, незаметно, так что сразу и не поймёшь почему, отодвинулся вправо, вглубь, и вниз и остался там—полумесяцем, быстро мелькнувшим над водой,—Золотой пляж.

И над ним—санаторий, в котором был когда-то и я. Столько с ним было связано, что осталось только вспомнить об этом снова—да вздохнуть, да рукой взмахнуть—в знак приветствия и прощанья—моему золотому былому.

Две дороги тянулись к Ялте. Можно было ехать—по Верхней, можно было—по Нижней. Обе шли вдоль гор, вдоль моря, средь парков, средь сплошных—чередою—здравниц, стен зубчатых, колонн и кровель, арок, лестниц, террас, балюстрад, среди зелени тисов, сосен и самшитовых, плотных, стриженных—пирамидами и шарами, геометрии этой не сдавшихся и разросшихся, стойких кустов.

Впереди была—Ореанда.

Водоёмы, дворцы и скалы, вековые деревья в парках. Чаша, полная свежей листвы.

А за нею была—Ливадия.

Отзвук жизни дворцовой. Сказка—о таком, что могло бы сбыться—да, видать, не судьба,—не сбылось.

А потом начиналась—Ялта.
Ялта. «Ялос»—по-гречески—«берег».
Древний город. Ялита? Джалита?
Берег—сыздавна обжитой.
Горы. Порт. Небеса. Это—Ялта.
(Это здесь мы были зимою—в феврале, в шестьдесят шестом. И осталась—память об этом. И вернулось воспоминанье—вместе с многим другим—нежданно—и, конечно, закономерно, грозно, властно, шесть лет спустя.
Виденье. Сон—в осенней мгле.
Когда-то в Ялте, в феврале.
Попросту говоря—музыка и разлука.
Всё это, брат, не зря.
Грусть. Возвращенье звука.)

Был — Никитский ботанический сад. На него — хотя бы исподволь — взгляд.

По дороге — краем глаза взглянув — мимо, мимо. Поворот на Гурзуф.

Гурзуф был тем, чем должен быть Гурзуф.

С востока был он замкнут Аю-Дагом.

Торчали в море скалы Адалары.

И на семь вёрст вдоль берега привольно раскинулся прославленный «Артек».

А крепость Горзувиты, что когда-то, по приказанию Юстиниана, была воздвигнута над морем, на скале, — давным-давно разрушена. Остались от прежних лет, от славы византийской, — одни развалины.

Тверской купец и путешественник известный, Афанасий Никитин, здесь однажды побывал — и написал в своём «Хожении за три моря»: «И занесло нас в Балакое, а отсюда в Ткюрзуфу — и стояли тут пять дней…»

И я здесь не однажды побывал, а многажды, — и мил мне берег этот, и небеса его, и кипарисы, и улочки, и плеск волны морской.

За Аю-Дагом — древний Партенит.

Монастыри здесь раньше возвышались. Духовности здесь было средоточье. Святые крымские здесь обитали встарь.

Да что теперь от старины осталось? Одно лишь имя. Слово: Партенит.

А впрочем — как сказать! Есть имя. Слово. Глядишь — и оживут ещё они!

Потом была — Алушта. Алустон — при византийцах. Две щербатых башни и стены крепостные — сохранились.

Ни византийцев нет, ни генуэзцев, ни крымских готов, ни татар, ни турок, нет никого, — и есть они, поскольку бесследно, просто так, не исчезает никто с земли, особенно — в Тавриде.

Мицкевич здесь писал свои сонеты.

И горы — Демерджи и Чатыр-Даг — над городом по-прежнему вздымают свои вершины. Дальний водопад, по имени Джур-Джур, журчит как прежде и плещется привычно на приволье, в верховьях пенистой реки Улу-Узень, в ущелье, высоко, под облаками.

А нам — стоять на городском холме и наблюдать за этими же, к морю плывущими, сквозными облаками.

А нам — смотреть, как плещется вода, у берега, меж сваями причала, выплёскиваясь к людям, прямо в лето, как старые Мицкевича сонеты:

одна волна — сонет «Алушта ночью»,
другая же — сонет «Алушта днём».

И мы уехали — к востоку, на Судак.

Проехали Рыбачье и Морское.

Чабан-Куле — сторожевая башня — Пастушья башня, в небе загустев, опять напомнив нам о генуэзцах, осколком древности торчала на холме.

Судак. Сугдея и Солдайя. Сурож.

О нём — в былинах, в «Слове о Полку».

Мы были в крепости. Её двенадцать башен, и цитадель, и стены, стены, стены, и Девичья таинственная башня — чуть осторонь, поодаль, на скале, — такая летопись, которой равных нет нигде в Европе. Жаркая долина. Залив, который Хлебников однажды, живя здесь, из упрямства переплыл. Песчаный пляж. И — вдосталь винограда. Простор — от Меганома до Ай-Петри.

И — Новый Свет, вон там, неподалёку. Шампанское. Реликтовые сосны. Имение Голицыных. Похоже на рай. Но этот рай — не для меня.

И мы уехали — туда, за Меганом, за горы дикие, с их низкими лесами, сплетеньями корней, ветвей и трав, обрывами и склонами крутыми, вершинами, замшелыми камнями, с их отрешённостью от суеты, пустынностью сухой, подслеповатой, с их стойкостью и верностью — покою и воле — сквозь сумбур тысячелетий, с их почвою, тоскующей о влаге, с их небом птичьим, с грозным их величьем, с их сердцем человечьим, — в Коктебель.

Мы жили в Коктебеле. Но об этом ещё скажу я — как-нибудь потом…

4.

…Весть была — о Тавриде. О Крыме.

Весть — оттуда, из прожитых лет, ставших с возрастом впрямь дорогими, из которых — дыханье и свет — над судьбой, над словами благими, над пространством в серебряном дыме.

Имя времени. Сны ли о Крыме?
Явь ли с правью? — Лишь ветер в ответ.

— Вот оно, вот, начинается.
Начинается — и звучит.
Возвращается — и живёт.
Возвращается, исподволь движется.
Ближе, ближе. Уже вплотную.
Обращаясь — небось, ко мне.
Возвышаясь — и расстилаясь.
Разворачиваясь, лучась.
Продолжаясь — всё дальше и дальше.
В глубь цветущую, в гущу сквозную.
Вниз — и ввысь. И опять: вниз — и ввысь.
Растворяясь в мареве. Тáя.
Проявляясь — рядом. Вблизи.
Так, что ближе уже нельзя.
Разветвляясь и умножаясь.
Провожая — чтоб встретить вновь.
И встречая — чтоб не расстаться.

Что за диво? Богиня Дева.
Царство света. Страна тепла.
Тавры, скифы, сарматы, готы.
Киммерийцы. Ну кто—ещё?
Все здесь жили—и все здесь пели.
Все—оставить свой след успели.
Что за имя, скажи, у моря?
Помнишь—Русским оно звалось?
Всё осталось как есть. Всё—живо.
Все привады и все порывы.
Здравствуй, Дева! Твоё ли диво?
Ну теперь-то уж—началось!

Южный берег. Понизу—роскошь.
Всюду—щедрость. С избытком даже.
Где амброзия? Черпай ложкой!
Дрожь проймёт на пороге блажи.
Дождь пройдёт—и цветы встряхнутся.
Оживут и засвищут птицы.
Все ушедшие встарь—вернутся.
И откроются все границы.

Растений—везде—сплетения.
Теней—вокруг—нарастание.
Средостений—вмиг—возрастание.
Зелени—вдруг—прорастание.
Из почвы—сквозь синеву.
Из синевы—сквозь время.
Во сне ли? Нет, наяву.
Сквозь явь. За семенем семя.

Дикое, вечнозелёное, вихрем страстей опалённое, грозное, неутолённое буйство. Извечное действо.

Геройство—считай, мифическое. Беспокойство. Свойство—лирическое, а может быть, и космическое—жить вопреки злодейству.

Торжество зелёного цвета. Вполне вероятно—блаженство. Шаг всего лишь—до совершенства. Почему бы, скажите, и нет?

Волшебство. Цыганщина. Воля. С песней таборной. То ли доля, то ли боль. Диезы, бемоли. Звукоряд. Вопрос и ответ.

Оттенков перетеканье друг в дружку, словно в считалке. Перекличка тонов, а за ними—всех возможных полутонов.

Игра повальная—в жмурки? Чьи там видны фигурки? Декорации—для миракля? Он—доселе—и стар, и нов.

Иглица. Иглы сестрица?
Вязальная тонкая спица?
Вздрогнувшая ресница?
По-татарски—сич-аутекен.

Инъекции соков и запахов—куда-то во вздутую вену расплескавшегося прибоя, куда-то в артерию сонную разомлевшего побережья, в пульсирующую внизу и вверху и от глаз ускользающую смутно-синюю жилку шоссе.

Земляничное дерево. Или—вспоминаем—кизил-агач.

Земляничным полянам—лукавый, по-восточному, томный прищур от ветвящихся тёзок, и только.

На открытках и снимках—наискось—каллиграфически чётким, школьным, знакомым почерком надпись: «Привет из Крыма!»

Критский ладанник. Надо же—критский!
Афродите—крымский поклон.
В пояс. Вдруг да возникнет—из пены.
И не критской вовсе, но—крымской.

Чёрт от ладана встарь—убегал.
Помогла, видать, поговорка.

То-то было монастырей и церквей—в оны годы—по склонам, на плато, на скалах, в пещерах, на высоких мысах над морем, наверху, в недоступных местах!

И на тех же местах—ещё раньше—то-то было древних святилищ!

А потом, втихаря, чертовщина развелась—и стала напастью.

Знать, была на это причина.
Чёрт—он дружен с бесовской властью.
От напасти до власти—шаг.
А от власти до вести—миг.
Сколько видано было—благ!
Сколько читано было—книг!
Сколько пройдено было—зол!
Сколько дадено было—сил!
То-то встал на заре—и шёл.
Сколько найдено—рудных жил!
Кожей чувствуешь: здесь причал.
Кораблями заполнен порт.
Связью давнею—всех начал.
Кровью жаркой—из всех аорт.
Кто тебя провожал, скажи?
Кто встречал тебя—и когда?
Где вчерашние рубежи?
Где сегодняшняя звезда?
Здесь найдёшь её—сам, потом.
Здесь приют обретёшь и кров.
И стоишь ты с открытым ртом.
И не надобно лишних слов.

Как же здесь, посреди красот, что встают на пути повсюду,
не смутиться? И что спасёт в этом случае? Только чудо.
Не тушуйся! Чудес—не счесть. И любое—помочь готово.
Но такое меж ними есть, что сердечного жаждет зова.
Гумилёва спроси. Он—знал, что за этим грядёт призывом.
Если шёл и кого-то звал—будь отважным и стань счастливым.

Разобраться бы—что к чему.
Что с душой? И цело ли тело?
Что замечу? И что пойму?
Изумлению нет предела.

Да к тому же ещё—соблазны.
Что ни шаг—сплошные кулисы.

Плющ, растущий лавинообразно.
Вертикалями—кипарисы.

Лавры. Ими округа увенчана.
Мавры с пляжей, ищите женщину!
С танцплощадки—песня: «Рамона!..»
Меж танцующих—Дездемона.
То гитары, то кастаньеты.
Заждалась Ромео—Джульетта.
Всё для Золушки—принц ли, фея ли.
Ну а лилия—для Офелии.

Для Феллини—Джульетта Мазина.
Музе, ангелу—роз корзина.
Крымских роз. Таврических роз.
Гроздья к ним—с виноградных лоз.
Грозы к ним—и обратно к нам:
видно, знают—по именам.

Флейта. Скрипка. С тропы—гурьба.
И—серебряная труба.
Две гитары. Тромбон. Саксофон.
И—трофейный аккордеон.

Карнавал? Или—просто так?
Звук в пространстве. Времени знак.
Символ веры? Молодость? Юг?
Лавры, лавры. Лавры вокруг.

Брег Таврический.
Благ—не зря.
Круг магический.
Брезг. Заря.

Лавровые деревья.
Лавровые кусты.
В детство ль не впасть? Кочевья.
Пропасти и мосты.

За стёклами очков, за взмахами ресничными—встаёт сейтум-агач, дерево масличное.

Надписью лапидарною, чтоб число позабыть календарное и не вспомнить его, хоть плачь,—дерево скипидарное—тарак, саккис-агач.

И, конечно, жасмин.

Жасмин, из полутьмы, из темноты, из всяких закутков, порой—из мрака, порой—стеной пахучей вдоль аллей, мерцающий воздушными цветами, дымящийся, туманящийся, пряный, томительный, волнующий, в слезах, в дожде, в росе, к себе приворожививший—да так давно, что, кажется, всегда над сердцем были властны эти чары—и ночь цвела, и прямо с пылу с жару звала к себе прохладная вода.

Можжевельник—ардиш-агач.
Он стоек, живуч, можжевельник.
Иногда он—пустынник, отшельник.

А нередко—и вместе с такими же, как и сам он, живучими, стойкими, собратьями, зеленеющими под синими небесами, растёт себе на приволье, по склонам холмов, и в предгорьях, и ниже растёт, и выше,—везде, где ему хорошо.

В Чувашии мне говорили, что высоко, на вершине можжевельника, к небу поближе, любят орлы отдыхать.

Но в Крыму я такого не видел. Возможно, ещё увижу.

Люблю можжевельник. Люблю.

Отец мой в былые годы в своём саду криворожском посадил можжевельник—и он прижился, в рост устремился, окрепнул,—и вот зеленеет звенящей под ветром кроной, и ягоды колокольцами позванивают на нём,—

и звон этот слышу я в своём саду коктебельском, где, может быть, тоже однажды и я посажу можжевельник, чтоб он прижился, окрепнул, разросся—и, зеленея, тихонько звенел под ветром—и я об отце вспоминал.

Растений многообразие.
Многозвучие их названий.
Всё здесь рядом. Ворота—в Азию.
И—в Европу. Не без оснований.
Север с югом. Запад с востоком.
Что ни шаг, то сплошное: где ты?
Смотрит Африка чёрным оком.
И в Америке песни спеты.

Авраамово дерево. Имя говорит само за себя.

Надо же!—Авраам.

Ветхозаветный вздох.

Воздух над ним—как выдох: эх!—отряхни, старина, древний библейский прах с грустных ветвей! Не хочет.

Ствол его твёрд, упрям.

Надо же!—Авраам.

Но в Крыму это дерево раньше называли—аргундее.

Сумах—сума. Что за сума и чья висела на тебе? Пастушья, может?

И—заманиха. Ну а ты кого к себе заманивала? Ну-ка признавайся!

И—держи-дерево. А ты кого держало? Другое имя у тебя—кара-текен.

А вот и чашковое дерево. Но вовсе нам не до чашек, если мы твоё названье вдруг узнаём—и отступаем поскорее подальше от тебя, шайтан-текен.

А ежевика, ежевика!

Такие заросли—и вдоль оград, и где-то там, за огородами, в лесу, сцепленья лоз,—и ягоды темнеют—и так идёт им их названье—бурульчен!—вот бурульчен—и всё тут, не бирюльки,—срываешь, пробуешь—поспела ежевика!

Шиповник. Что за имя!—ит-бурун.
И тут же, вто́рою, другое—кирниче.

Шурум-бурум, сорвавшийся со струн.
С отметиной кровавой на плече.
Дворец колючий. Зарослей орда.
Багряные походные шатры.
В котлах кипящих вязкая бурда.
Кочевий не погасшие костры.

А травы! Каперсы—длиннющими плетьми—привычно укрепившись, распластавшись,—всё под уклон да под уклон,—чтоб озадачить нежданным именем своим: шайтан-арбус!

И—молочай. Ни молока, ни чаю. Но вот растёт себе под солнышком как есть.

А тут ещё и невидаль! Представьте, бывают—бешеные огурцы. Они—стреляют, и довольно громко. Наступишь на него—и вдруг: бабах! Людей пугают. С непривычки можно и растеряться, хоть потом соображаешь: да это же растение такое! Всего-то-навсего. А всё-таки—стреляют огурчики. Совсем с ума сошли!

Каскады дрока всюду. Он—испанский.
Но—крымским стал. Освоился. Привык.
Табак. Он тоже—крымский. С ним всё ясно.
И виноград. Ну, с ним—ясней всего.

Всё естество и таинство сплошное.
Земное племя. С песней—и трудом.
Всё волшебство и празднество живое.
Прибрежный рай. В аду бесчасья—дом.

ДиН симметрия

Борис Корнилов

Память

По улице Перовской иду я с папироской,
Пальто надел внакидку, несу домой халву;
Стоит погода—прелесть, стоит погода—роскошь,
И свой весенний город я вижу наяву.

Тесна моя рубаха, и расстегнул я ворот,
И знаю, безусловно, что жизнь не тяжела—
Тебя я позабуду, но не забуду город,
Огромный и зелёный, в котором ты жила.

Испытанная память, она моя по праву,—
Я долго буду помнить речные катера,
Сады, Елагин остров и Невскую заставу,
И белыми ночами прогулки до утра.

Мне жить ещё полвека,—ведь песня не допета,
Я многое увижу, но помню с давних пор
Профессоров любимых и университета
Холодный и весёлый, уютный коридор.

Проснулся город, гулок, летят трамваи с треском…
И мне,—не лгу, поверьте,—как родственник, знаком
И каждый переулок, и каждый дом на Невском,
Московский, Володарский и Выборгский райком.

А девушки… Законы для парня молодого
Написаны любовью, особенно весной,—
Гулять в саду Нардома, знакомиться—готово…
Ношу их телефоны я в книжке записной.

Мы, может, постареем и будем стариками,
На смену нам—другие, и мир другой звенит,
Но будем помнить город, в котором каждый камень,
Любой кусок железа навеки знаменит.

1922

Владимир Шанин

Прощание в Борске

Из писателей я последний, кто видел Зябрева живым.

Съездить к нему на дачу предложил Сергей Котельников, отставной армейский капитан, издавший несколько книг прозы и публицистики за немалые деньги из собственного кармана. Что же делать — такова нынче стоимость Божьего дара.

Машина его, старенькая тесная «Ока», бежала шустро, легко; дорога ровная, прямая как стрела; через полчаса свернули влево, к Борску, проехали учхозовское опытное поле, повернули направо — и вот он, дом-дача, где каждое лето проводит писатель с супругой Тамарой Фёдоровной.

Дом старый, разрушающийся, время не щадит его, жить зимой в нём уже нельзя, потому и был продан под дачу. Ворота высокие, железные. Сергей постучал, во дворе злобно залаяла собака, звеня цепью. На шум вышла хозяйка, отперла калитку. Когда-то Тамара Фёдоровна была настоящей сибирской красавицей с каштановыми волосами, правильным овалом лица, задорным румянцем на смуглых щеках.

Мы обнялись, и Тамара Фёдоровна сказала:

— Хорошо, что приехали, а то он лежит, плачет, что все бросили его, не с кем пообщаться… Побудьте тут, пойду подготовлю, — и поднялась по высокому крыльцу в дом.

— Плохо, что мы ничего не купили к чаю, хоть фруктов, — сказал я.

На что Сергей ответил:

— Ничего не надо, Тамара против. Анатолий Ефимыч ничего не ест, пьёт только тыквенный сок.

Собака грозно лаяла, скалила зубы, рвалась, натягивая цепь, не угомонилась даже, когда хозяйка, выйдя из дома, строго прикрикнула на неё. Это Дина, Зябрев называл её «мой мини-волкодав».

Была ещё одна собачка, тоже рыжая, небольшая, молодая и тоже на цепи, забилась в угол и молчит.

Тамара Фёдоровна водила нас по своему небогатому хозяйству: огород, заросший травой, несколько грядок и чахлых кустиков; банька с провалившейся крышей — некому починить, сыну некогда — работает, хорошо хоть завёз обоих сюда. Сергей сказал, что он и раньше бывал здесь: ничего не меняется… И не только Зябрев забыт братьями-писателями.

— Прошу в дом, он ждёт, — сказала хозяйка.

Пока я подымался, держась правой, безопасной, стороны крыльца, «мини-волкодав» всё пытался достать меня через щели между ступеньками.

Исхудавший, усохший до крайности — кожа да кости, Анатолий Ефимович сидел на кровати, одетый, на голове серо-белая кепочка, похожая на блин, тонкие руки покоятся на острых коленках — как супруга его подняла, как усадила, так он и сидел, не шевелясь, не мигая, уставясь в одну точку перед собой, без очков, невидящими глазами, челюсть ослабла… Но даже в этом своём бессилии он хотел выглядеть хорошо.

Тамара Фёдоровна поставила в отдалении два табурета:

— Садитесь, гости дорогие! — и тихо удалилась, чтобы не мешать нашему разговору с умирающим писателем.

Не поворачивая головы, не меняя положения тела, Зябрев с натугой спросил:

— Вы кто?

— Это я, Котельников, — ответил Сергей. — А рядом со мной Шанин Владимир Яковлевич.

— Шанин? Ага, Шанин… Который написал трилогию о Сурикове!

Зябрев судорожно сглотнул слюну.

— Читал… — помолчал и вдруг заявил: — Ты должен был умереть, Володя. Написать такую вещь!.. Да, умереть, чтоб о тебе заговорили… Великий ты! Великий писатель!

— Обыкновенный сочинитель, — смутился я и подумал: «Заговаривается Толя…»

— Великий, — подтвердил Зябрев, — я знаю.

Я читал книги Анатолия Зябрева. Как тогда писала пресса, его очерки по стилистике были близки к «молодой прозе шестидесятых годов». Прозаики «четвёртого поколения» — те, кто пришёл в литературу с завода, со стройки, из села. Анатолий Зябрев — рабочий-строитель. Его книги очерков «Енисейская тетрадь» и «Позывные Галактики» (1962 год) написаны от имени участника знаменитой стройки Красноярской ГЭС.

«Енисейская тетрадь» с подзаголовком «Лирические записки» оживляет более пятисот трудовых будней лирического героя на ударной стройке.

— Я тогда же, в шестьдесят втором, прочёл твои «Тетради», — сказал я и заметил, как Зябрев шевельнулся. — Ты прошёл такую школу жизни, Толя,

дай Бог каждому из нас пройти такую. Многое и мне она тогда подсказала.

— Да, да… школа,—задумался Зябрев.

И я представил, о чём он мог думать. Может быть, и не думал вовсе, а я вот представил—как в книге:

«Я научился долбить мёрзлую землю, бросать землю лопатой, тесать брёвна, вбивать гвозди, пилить лес, жечь сучья, конопатить стены, бить кувалдой, вязать арматуру, укладывать бетон. Я научился не корчиться и не втягивать голову в плечи при пятидесятиградусных морозах, не отворачиваться, когда в лицо бьёт пурга, не прятаться под навес от студёного дождя, купаться в конце апреля и загорать в начале мая…»

— Лучшие мои годы. Школа жизни,—повторил Зябрев, словно бы очнувшись от задумчивости.

— Скоро тебе девяносто пять,—сказал я.—Будем отмечать юбилей. Думаю, будет широко представлен. Вспомним сцены из «Енисейской тетради», поговорим о твоих очерках—они бессмертны.

…К достоинству очерков Анатолия Зябрева, бесспорно, относится то, что автор, как отмечала критика, «сумел передать атмосферу сложного, подчас опасного труда, уважение к рабочим традициям, дух коллективизма на стройке, он ярко запечатлел романтику подвига землепроходцев современности» («Очерки русской литературы Сибири», т. 2, Новосибирск, 1982, с. 440).

В конце книги лирический герой говорит: «Я научился узнавать людей»,—и в этом автор видит самый значительный итог енисейской эпопеи.

Вот он, тот самый лирический герой, сидит перед нами, всё так же не шевелясь, хотя, вижу, устал, ждёт, когда супруга, она же сиделка, нянька и бог знает кто ещё, придёт, уложит больного в постель, потому что сам даже этого сделать теперь не может.

— Прости, Анатолий Ефимыч, утомили мы тебя, уходим,—сказал я и поднялся.

— Уто… утомили,—прошелестел он одними губами.—Приходите на моё столетие. Прощайте!

Мы с Котельниковым вышли, провожаемые злобным лаем «мини-волкодава», у ворот с Тамарой Фёдоровной обнялись на прощание и сели в машину.

На другой день я уехал к себе на дачу.

Уставший с дороги, я плюхнулся в качалку и, лениво обозревая дачные шесть соток, предался воспоминаниям.

Но почему я помню совсем не то, что годится к случаю? Почему давнее-давнее и не совсем приятное подсовывает мне моя возбуждённая голова? В деревне Борске, в разрушающемся доме, умирает мой товарищ, старейший писатель, а я вспоминаю, каким он был в молодости…

В сентябре 1967 года, двенадцатого числа, Анатолия Зябрева исключили из Союза писателей. Причина банальна: сорокалетний красавец-мужчина с тонкими, как ниточка, усиками, в очках, писатель, красиво ухаживающий за женщинами, попал на карандаш ревнителей нравственности—и закрутилось дело: позорит писательскую организацию! Началось разбирательство, Анатолий не отрицал: «Ну и что? Ходит ко мне девочка. Может, я женюсь!»

И женился. Этой девочкой была Тамара Фёдоровна.

«Дело» развалилось, борцы «за чистоту писательских рядов» притихли, Анатолия Зябрева восстановили в членстве СП—тем всё и кончилось, но горький осадок остался.

Редко пересекались наши пути-дорожки: Анатолий Зябрев—человек нестандартный, с людьми сходился постепенно, пока не узнает, можно ли ему довериться; речь у него торопливая, сбивчивая, порой несвязная, бежит впереди мысли—он, кажется, этого даже стеснялся. И хотя «научился узнавать людей» (для дела, для очерка, например), но сходился трудно и редко с кем. Кажется, друзей у него и не было, а если с кем и общался, то опять же для дела. Звонит мне—ни «здравствуй», ни «прощай»—и сразу вопрос: «Как думаешь, перестройка—благо или „лопатой по башке“?»

Однажды пригласил меня Зябрев на просмотр художественного фильма «Вот моя деревня» по его сценарию. Кино привёз в Боготол известный режиссёр, ныне покойный, Виктор Трегубович, показал сперва своим землякам, потом красноярцам в клубе железнодорожников. Сюжет прост: директор совхоза (артист Алексей Булдаков) завёз в райконтору овощи и стал торговать по заниженным ценам. Сбежались рядовые служащие с авоськами, образовалась очередь, затем появился главный чин с милиционером—и сельского доброхота с его товаром попросили вон: не положено, нарушение порядка!

На пресс-конференции я тогда ляпнул про стирание граней между городом и деревней, режиссёр пытался возразить, но махнул рукой, только Зябрев мне пояснил потом: «Насчёт стирания—не знаю, а что деревня стала неперспективной—это факт».—«Чем же она не угодила?»—спросил я. «Происки врагов. На наши нефть, газ, лес, никель мы всё у них купим, даже капусту…»

Сдаётся мне, он уже тогда чувствовал, всё понимал: и деревни не будет, и колхозы-совхозы развалятся, и бесчисленные отары овец в Хакасии враз исчезнут, и города замрут, ошарашенные, лишившиеся заводов и фабрик, и страна будет другая.

Всё так и случилось.

Кстати, о капусте. Помнится, собрались мы в командировку, сели в поезд—Зябрев, Алитет Немтушкин и я. Разложили на столике каждый домашнюю снедь: хлеб, колбасу, сыр, варёные яйца… Зябрев достал из своей торбы вилок свежей

капусты, откромсал пласт, сидит, хрумкает. Немтушкин расхохотался. А Зябрев пояснил: «Полезная вещь — витамины, понимаешь… Для здоровья. И зубы целы».

На зубы, как я помню, он никогда не жаловался. И вообще не пил, не курил.

Закалённый в боях и труде, Анатолий Ефимович Зябрев относился к тому поколению людей, о которых говорил поэт: «Гвозди бы делать из этих людей». Пятнадцатилетним подростком он уже работал на военном заводе в Новосибирске, оттуда ушёл в армию, служил в войсках МВД — и снова на завод. Работал шлифовщиком, писал заметки в заводскую многотиражку, его даже в штат пригласили. Писательство всё более становилось для него основой жизни. Очерки о людях труда, заводских рабочих посылал в журнал «Сибирские огни», их печатали, а однажды предложили: «Хочешь съездить в командировку? В Красноярский край. Там разворачивается большая тема — строится ГЭС. Привезёшь кучу очерков».

Зябрев поехал и… не вернулся.

Это был 1960 год. В 1964-м он уже стал членом Союза писателей СССР. В 1967 году переехал на постоянное место жительства в Красноярск.

Так Анатолий Ефимович стал летописцем сибирских строек, членом редколлегии журнала «Сибирские огни». Документальная проза принесла ему всесоюзную известность. Его очерки публиковались в журналах «Сибирские огни», «Молодая гвардия», «Октябрь», «Москва». Первая книга рассказов «Толька-охотник» вышла в Новосибирске. Ныне он автор более тридцати книг.

…Через неделю я снова был дома, в Красноярске, и тут узнаю, что Анатолий Ефимович умер. Сообщил об этом Владимир Нестеренко. Я позвонил Сергею Котельникову, он подтвердил: да, писатель скончался во сне, Тамара Фёдоровна подошла его будить, а он уже холодный…

В памятном блокноте я записал: «А. Е. Зябрев умер 22 июля, погребён 26-го на Бадалыкском кладбище в секторе ветеранов со всеми воинскими почестями».

Прощай, друг!

ДиН СИММЕТРИЯ

Велимир Хлебников

Три мужика в чёрном поле

● ● ●

Святче божий!
Старец бородой сед!
Ты скажи, кто ты?
Человек ли еси,
Ли бес?
И что — имя тебе?
И холмы отвечали:
Человек ли еси
Ли бес?
И что — имя тебе?
Молчал.
Только нёс он белую книгу
Перед собой
И отражался в синей воде.
И стояла на ней глаголица старая,
И ветер, волнуя бороду,
Мешал итти
И несть книгу.
А стояло в ней:
«Бойтесь трёх ног у коня,
Бойтесь трёх ног у людей!»
Старче божий!
Зачем идёшь?
И холмы — отвечали:
Зачем идёшь!
И какого ты роду-племени,
И откуда ты?
Я оттуда, где двое тянут соху,
А третий сохою пашет.
Только три мужика в чёрном поле
Да тьма воронов!
Вот пастух с бичом,
В узлах чёртики —
От дождя спрятались.
Загонять коров помогать ему они будут.

Начало 1922

Григорий Адаров

Ты входишь в эти сны

* * *

Листая страницы—закат догорал—
Над каждой картинкою память двоится…
Не птицу с пером золотым я искал,
Но в летнем саду—забияку-синицу.

Она промелькнула во мне между строк,
Я память, казалось, сейчас одолею,
И тлеющий в сердце—в золе—уголёк
Вдруг ярким огнём разгореться сумеет.

И в этот огонь я себя бы швырнул,
И мир бы потёк раскалённой рекою,
Я в улицу ту и в тот день бы шагнул,
Где к вечности был пригвождён я тобою.

И пусть бы лишь тенью я в прошлом возник,
И пусть бы узнать ты меня не успела—
Но был бы, о, был бы тот сладостный миг,
Чтоб, вздрогнув, в глаза ты мои поглядела.

* * *

Тихий шелест мелких листьев
За окном у изголовья.
Как тонки и нежны кисти
Этой лисьей недотроги!

Близко-близко, часто-часто
Что-то шепчет куст сирени
И плывёт, кичась от счастья,
Птицей в лунном оперенье.

Наклонившись, из-за рамы
Будто глаз кошачий глянет
И, щеки коснувшись, прямо
В сон безумной трелью грянет.

Ах, как влажны эти очи,
Как темны и как бездонны!
Разлетится, вспыхнув, в клочья,
Мир ухоженный и сонный.

Над рекой звезда сияет,
Как причастья несказанность,
И в безмолвной бездне тает
Крабовидная туманность.

А книга без начала и конца…

Вот книга—без начала и конца,
В обложке стёршейся—помятые страницы,
И вырван лист, где твоего лица
Набросок где-то там ещё таится.

И этот мрак в неспешном ходе дней—
Как рана в незатейливом сюжете,
Там длится тихий сон, ещё мы дети,
И пух летит от первых тополей.

И целый год потом упрямой прозой
Расписан автором, но где-то между строк
Всё ощутимей полнится угрозой
Пожара незаметный уголёк.

Приходит сон, глаза мои слепя,
И кажется—он будет длиться, длиться…
Но всё, что было дальше про тебя,
Исчезло, как сгоревшая страница…

Импровизация

Ночь. Листву щекочет ветер,
Бьётся пылью о порог.
Переулок в лунном свете—
Мирозданья уголок.

Ты шагнёшь в него, зажмурясь,
Будто в омут головой,
Тень пойдёт шагать, сутулясь,
По стене и за стеной.

И как будто всё знакомо
Здесь, за гранью тишины.
Вот сирень цветёт у дома
Отражением луны.

А в окне—темно и дико,
Дышит комнаты уют,
Там, быть может, Эвридика
Спит, которую убьют.

Положив ладонь под щёку,
Улыбается во сне,
И портрет кровавым оком
Полыхает на стене.

* * *

Сном давешним—давнишним!—
Глаза омрачены,
И пламенеют вишни
От алых губ луны.

Застигнут поцелуем
Колодца силуэт,
Красуясь, цвет глазури
Плеснул в него рассвет.

И, тронув акварелью
Пространства уголок,
Свернувшись, лёг за дверью
Прозренья уголёк.

…Над синим-синим полем,
Над сине-голубым
Ты странствуешь в неволе,
Пронзая синий дым.

И вьются кольца света,
И этот странный сон
За гранью жизни где-то
В бессмертье погружён.

И, грёзами овеян,
Ты входишь в эти сны,
Где вишни пламенеют
От алых губ луны…

* * *

Душа моя бездомна—
От лета и до лета,
В кармане мира—словно
Разменная монета.

Хоть день помножен нá сто,
Хоть каждый миг—удача,
Она, смеясь и плача,
Тебе не скажет: здравствуй!

А как она—безвольна,
Что и любовь ей—клетка,
Лишь ночью всхлипнет: больно!—
И то тайком и редко.

С судьбой играя в прятки,
На голос твой бросаясь,
О камни режет пятки—
Паломница босая.

Давно она не помнит
Своей горячей веры,
И вновь каменоломни
Навеют ей химеры.

Тяжёл холодный камень,
И как здесь всё—знакомо…
Шепнуть, склонившись: амен!
Вот, наконец, я дома!

Осень

Распускает осень косы
У пруда в вечерний час,
Жёлтый лист—как знак вопроса
В глубине прозрачных глаз.

Время думать в тишине…
Ряд резных скамеек длинный—
Как креветок строй на дне
В паутине паутинной.

И, над ветками повисший,
Чуть касаясь грустных ив,
Первых заморозков слышен
Замерзающий мотив.

Зима

Пустили на небо луну,
Слегка позванивает воздух,
Как будто вмёрзли в тишину,
Как струны, напрягаясь, вёрсты.

Раскинувшись в чернильной мгле,
Лежат распластанные крылья
Снегов, измученных кадрилью
Пурги, прошедшей по земле.

Реки изломанный крючок
Вонзился в мёртвый глаз латунный,
Запёкшийся слезою лунной—
Немеет взмыленный зрачок.

И долгой паузой ночной
Над ним озвучены пространства,
Венчая купола убранство
Величественной тишиной.

Натюрморт

В натюрморте этом—
Всё как быть должно.
Важная индюшка,
Алое вино.

Сочным апельсином
Стол украшен здесь,
Пеньем клавесина
Полон воздух здесь.

И свеча, и трубка,
Цвет и колорит…
Что ж так смотрит жутко
Тот, кто там сидит?

Нет, его не видно,
Он за рамкой скрыт.
Лишь на покрывале
Рука его лежит.

Василий Киляков

И жизнь люблю

Всё живое

Дождь пробежал — грибной, нечастый.
Играет пескарями брод,
и, как овец печальный пастырь,
пасёт три тучи небосвод…

Я в лес нырнул, я стал невидим — зелень!
Кромсает небо пахарь-самолёт…
Встаёт заря — как петушиный гребень,
и самолёт — как клюв, её клюёт!

Утро в деревне

Самолёт позолоченной бритвой
перерезал окошко моё.
За окном — воробьиная битва,
крест полёта… поёт самолёт…
Вянет в банке букет полевой…

И такое волнение, братцы,
словно в небо нырнул с головой,
а до дна — ну никак не добраться!

● ● ●

Вновь, как слепец перехожий,
как нищий, что встать не в силах,
чувствую эту — всей кожей —
жизни крепчайшую силу!

Глубже всё с каждым годом
страшное это родство —
с ивой над светлым бродом,
с этой пожухлой травой,
с полой водой полевою,
с ветром, которым дышу…

Долу склонясь головою,
я ни о чём не прошу.

Жизнь эта — зла, как ревность,
быстрая, как ручей.
Связь эта — как откровенность
в горьком настое ночей.
Словно я, всем открытый,
жив только тем, что люблю:
домик на Вятке забытый,
слышишь ли песню мою?

● ● ●

Сенокос, сенокос!
Земляничник берёз,
вот и ящерка — золотом кожица…
Сенокос, сенокос…
Не задеть бы стрекоз
да птенцов желторотых — множество!

И откуда он,
«сторожок»: не убий! —
он откуда?
Усталости на́перечь,
я рисую серпом —
росный след голубик,
и толчётся мошка,
точно на́волочь.

Вновь гнездо! Обойду, окошу, сберегу —
словно сердце родное
в пови́лике…
Приготовлю сторожко, как душу свою,
травянистый душистый навильник.

● ● ●

Весёлых песен мало,
а грустных — не унять.
Наверно, что-то стало
в народе убывать…

В озёрах глаз опальных
высоты неба злы,
и кажутся мне сталью
древесные стволы.
И листопад кровав их,
штыки кустов — остры…
Сжигали часто правых
российские костры.

С поникшей головою
бреду я наугад
и чую за собою
ольхи тяжёлый чад.
Весёлых песен — в меру,
а грустных — не унять…
Незримо стала вера
в народе убывать.

Побег

Средь бела дня цыганит мне сорока,
и опрометью мчатся поезда.
Стрясётся вдруг: всё брошу я до срока,
уеду вдаль, уеду навсегда!
На кой мне ляд простор России нашей,
и грубость нежная хмельных моих друзей,
собак голодных стаи, и шабашки,
и Мавзолей, и Ленина музей?..

«Люфтганза», «Боинг», Шёнефельд… таможня.
Потом—иноязычья маета.
У немцев всё изысканно, но сложно:
кладбищенская душит чистота.
И за неделю—вдруг предельно ясно:
в чужом дому и брага не сытна.
И от себя не убежишь—напрасно!..
Калина горькая—чужая сторона!

Проснусь в ночи—помятый, некрасивый,
такой как есть, каким останусь впредь…
И вновь пойму, что я люблю Россию,
в которой счастье—жить и умереть.

Тоска по деревне в Москве

Среди широких зыбких январей
есть тополя моей родной Смирновки.
Они стоят, как мачты кораблей,
в злой индеви—как будто бы в обновке.
Золою белою вся выжжена дотла
и выстлана вся острой хлебной остью,
деревня умирала—умерла…
Я помню эти белые погосты,
осыпанные мёртвою листвой
вдали от трасс…
А здесь—души не слышно!
Московский пятизвёздочный «Савой»,
многоэтажек мокнущие крыши—
всё суета, всё тащит за собой,
маня афишами на сорные игри́ща.
…Я мучаюсь в Москве, я сам не свой—
а ветер в тополях родимых свищет…

● ● ●

Хоровод дождевой облаков,
и стоят тополя, как колонны.
Из безвременья—в омут веков
поднимают свой гомон вороны…

Всё спешишь от забот до забот,
как прожить каждый день—не чаешь.
Мчится молодость—поезд тот,
на который всегда опоздаешь.
За заботами сердце червит…

Но удержит меня, бедолагу,
коренная система любви
да к земле крестьянская тяга.

● ● ●

Мы разные, а путь у всех один:
еловая постель,
рубаха мха да шишки.
И, сколько огород ни городи,
все помыслы—в достатке да в сынишке…

Дни чередой проходят неизменно,
пуховым снегом дума шелестит…
Ты не один, поверь,
теперь в окно глядишь,
на колченогий стул склонив колено.

● ● ●

Под какою корявой звездой
ты, Россия, плывёшь к непокою?
Неужель, чтоб ожить, тебя мёртвою
сбрызнут водой,
а потом уж—живою?

● ● ●

Я помню, мама, ночь разлива
с огнями станций в глубине…
Твои глаза, как ветки ивы,
росой проплакали по мне.

Я помню запахи, и речи,
и до разъезда тракт прямой,
твой плат, накинутый на плечи,
на плате—чернь с простой каймой.

Опять мы вместе—и без сна я…
Но как тревожно мне взрослеть!
Позволь мне, милая, родная,
твою ладонь в моей согреть.

Не виделись мы долго, мама,
я письма слал, я так скучал!
Сто раз читал я телеграмму
и с ней зарю вчера встречал…

А робкий месяц через раму
льёт тонкий свет на нас двоих.
Я ничего не знаю, мама,
роднее чутких рук твоих.

Они теплом меня дарили,
учили сердцу и уму.
Они, они меня кормили
в краю чужом, в чужом дому.

Они сжимали расстоянья,
снимали боль, давали пить…
Но, обречённый расставанью,
тоски не мог я утолить.

Ты так по-доброму красива,
так по-хорошему горда,
что кажется порой: Россия,
как ты—вечна́, как ты—седа…

Анастасия Астафьева

Благодарно взглянуть на звёзды

● ● ●

Я создана для недолюбленных людей.
Я—разрушитель твёрдых правил и идей.
Меня не мучает ни совесть, ни завет,
В меня не выстрелит ни зависть, ни навет.
Моей душе покоя нет—она жива!
И сердце бьётся чаще, чем у вас.
Мы с Небом говорим без третьих лиц,
И я не рухну перед сильным ниц.
Мою любовь не раз топтала жизнь,
Но я ей, тонущей, кричала: «Удержись!»
Её спасла я, сохранила, сберегла,
Она по-прежнему прозрачнее стекла.
Но и хрупка, как всё земное, не разбей!
Я создана для недолюбленных людей.

● ● ●

Маленькая ссора,
Горестный упрёк.
Вьётся над кострищем
Тоненький дымок.
Не смолчали оба,
Нечего пенять.
Нужно в сердце злобу
Попросту унять.
Нужно знать и видеть
В этот чёрный миг:
Тот, другой, что рядом,
Как цветок, поник.
Тот, родной, что рядом,
Ранен наповал.
На его костях ты
Лихо станцевал.
Сохранилась гордость,
Разогналась кровь.
Подвернулся случай
Испытать любовь.
И объятья слаще,
Поцелуй острей.
Снова полыхают
Головни в костре.
Миновала ссора…
Но как будто впрок
Закатился в сердце
Чёрный уголёк.

● ● ●

Не жалей меня очень сильно,
Не люби меня так обильно.
Не прощай мне капризы и бредни,
Не звони ты по мне обедню.
Не целуй меня слишком жарко.
Я не стóю такого подарка.
Не умею я быть счастливой,
Не любуюсь цветущей сливой.
Я строга и к себе, и к людям.
Я любовь постигаю в буднях.
Стать бы мне женой капитана.
Ждать бы мне с войны партизана.
А дождавшись, обнять бесслёзно,
Благодарно взглянуть на звёзды.
И зажить снова тихо, гладко,
Зная: всё на миру в порядке.
Я простая земная баба,
Я могу быть и гордой, и слабой,
Я умею стирать рубашки,
Я хмельную поставлю бражку.
Я коня на скаку и в и́збу,
Я от плети твоей не взвизгну.
Но не знаю, как жить счастливой.
Ты прости…
Отцветает слива…

● ● ●

Устала…
Устала…
А времени мало.
А сил ещё меньше.
Я слабая женщина.
Взяла—и не бросить.
Лишь множится проседь.
Лишь сердце со сбоем
Стучит за обоих.
Сказала, что сдюжу,
В такую-то стужу!
Сказала—сумею,
Но щёки бледнеют.
Куражится Автор.
Устала…
До завтра…

● ● ●

Приоткрыли дверцу и позвали:
«Заходи! Не бойся!
Видишь Суть?..»
Я смотрю и в щёлку вижу дали,
Вижу — гуси-лебеди несут
На своих крылах само Ярило,
И глядеть мне страшно на него.
Оттого, что душу не смирила,
Оттого, что не постичь всего.
Пахнет медоносными лугами,
В лепестках цветов дрожит роса.
Мне бы бо́сыми по мураве ногами!..
Но гремит в душе моей гроза.
Ливень слёзный и тревоги-тучи
Да обид невысказанных гром.
Как же я приду к тебе, Могучий,
Если держит всё меня в былом,
Если на спине сплошная рана,
Если я пришла с камней мешком?
Нет, меня позвал Ты слишком рано.
Кажется, кривишься Ты смешком…
Ну куда мне с этакою ношей?
В свет Твой да с такою темнотой…
Но шепнули вдруг: «Дождись пороши
И пойди по ней тропинкой той.
Словно по странице чистой, белой,
Ты иди и не смотри назад.
Это Новый Путь!
Ступай же смело!»
И шагнула я, закрыв глаза…

● ● ●

Я вижу, как ты уходишь.
Я вижу, как ты удаляешься.
А я стою и плачу.
Плачу по душе твоей,
По светлой душе твоей.
Я не могу сдвинуться с места.
Боль моя по тебе,
Тоска моя по тебе.
Пригвоздили меня ко кресту моему.
И руку мою не протянуть к тебе.
Я вижу, как ты удаляешься.
Ничего, кроме слёз, между нами.
Только они — связующая нить.
Слёзы горькие, слёзы скорбные,
Слёзы чистые, слёзы светлые,
Это плач мой по душе твоей.
Я вижу, как ты уходишь,
Я смотрю вослед тебе
И вижу только твою спину.
И не вижу глаз твоих, лица твоего.
И слёзы мои по тебе льются.

Наверно, я — Обломов

Я так боюсь обломов,
Как будто я — Обломов.
Да, я Обломов в юбке,
Диван, Захар и трубка.
И вечный сплин, и лень,
И день похож на день.
Звонок звенит в прихожей,
Но, как душа под кожей,
Закрыта плотно дверь.
Никто не вхож, поверь,
В мой дом и в жизнь мою.
Давно уж не поют
Мне в мае соловьи.
И все мечты свои
Я по углам, в пыли,
Сыскать уже не силах.
Что было, то и сплыло.
Всё нет вестей от Штольца.
Но кудри вьются в кольца,
И, может, снится мне:
Усадьба, свет в окне,
Беседка, куст и Ольга,
Знакомая настолько,
Что я ей — кто? Жених?
Лишь хор цикад затих,
Продрогнув от росы,
В рассветные часы
Иду к её балкону,
И сердце тихо стонет.
Мои порывы страстны,
Но лик её прекрасный
Едва ли различим,
Я очарован им
И негою, в ночах
Разлитой при свечах…
Захар роняет на пол
Прибор.
Какой обапол!
Всю сладость сна разрушив,
Мне словно плюнул в душу.
На стареньком диване,
В халате, при герани,
Не грежу наяву ли?
Свою судьбу зову ли?
И разве сплин так плох?..
Пора повывесть блох…
Пора писать в именье…
Пить молоко с печеньем…
Пора, пора, пора…
Оставим до утра.
Я так боюсь обломов…
Наверно, я — Обломов.

Варвара Юшманова

Музыка

Вода

1.

Это озеро.
Столько сегодня дел…
Накормить рыбаков и напоить волов,
Удвоить рассвет и радугу закольцевать,
Каждую каплю очистить, обнять, принять,
Травы смочить, облагородить цвет,
Полднем разлиться, временем перетечь.
Ласковый и спокойный, незримый труд.

Это море.
И у него дела…
Переплести подземные ручейки,
Выкупать всех китов, корабли качать,
Чтоб моряки запомнили, кто здесь прав,
Каждой икринке дать материнский вдох,
Камни пригладить, неводы разорвать,
Ветер приветить танцем, разлить закат.
Каждому человеку, что подойдёт,
Ноги омыть, обнять его, пожалеть,
Боли его успокоить, согреть, качать,
Солью оплакать горе его и груз.
Ведь для того приходят они к воде:
Выполоскать себя, народиться вновь.
Только иным не поможешь. Тогда таких
Великодушно море берёт себе.

2.

Глеб приносил реке подарки:
Иногда цветы, иногда монеты.
Но деньги река не очень любила.
Он останавливал машину на тихой улице,
Спускался по ступеням,
Окунал ладони в воду, здороваясь,
Потом доставал свёрток:
Фигурка Будды, подаренная коллегой,
Бутылка вина…
Потом говорил: «Спасибо тебе»,—и уходил.
Давно в этом месте одинокому Глебу
Река подарила девушку, сидящую в лодке.
Он берёг её и очень любил.
И теперь, городской язычник,
Он всё чаще думал: «Когда-нибудь и я
Отдам тебе кого-то
Столь же прекрасного».

● ● ●

Зачем тебе, Юпитер, столько лун?
У нас она одна. Её хватает
Для долгих разговоров по ночам;
Для блеска на поверхности воды
Всех рек, озёр, морей и океанов;
Для составления календарей;
Для всех картин, стихов, сонат и песен;
Для освещения и чащ, и городов;
Для трелей птиц и голосов животных;
Для серенад, для страсти, для любви;
Для равновесия ночей и дней;
Для череды приливов и отливов;
Чтобы молчать, молиться, и роптать,
И танцевать, и грабить, и рождаться,
И спать.

А как ты это всё распределишь
Между своими Ио, и Каллисто,
И прочими? И справятся ль они?
Найдутся ли у них покой, и пыль,
И мудрость, и любовь, и сила духа
Быть зеркалом для солнца и хранить
Все тайны лишь на тёмной стороне?!

Музыка

Если одна запиночка—
Сколько потом стыда.
Девочка-хворостиночка
Сломана навсегда.
Свёрнуты губы в трубочку.
Лёгкий присвист отца.
Лягут—смычок на тумбочку,
Тень поперёк лица.
В каждой ошибке кроется
Целый пучок невзгод.
Не музыкантша—школьница
Вянет из года в год.
Несовершенством мается,
Тянет ряды длиннот.
Что же потом останется
В сердце, помимо нот?!

* * *

Поживи ещё, милая. Знаю, что тяжело.
Поглядим ещё на завьюженное стекло.
Поедим сметану с сахаром, шоколад.
Может быть, к апрелю всё и пойдёт на лад.

Продан сад. Нам теперь любоваться, а не растить.
Нам держать не землю, а время в своей горсти.
Лишь сейчас можно тихо думать без суеты,
Почему мы так сильно любим свои сады.

Потому что каждый из нас и цветок, и плод.
Потому садовник тоже нас соберёт.
Но пока не согнулась ветка, крепка кора.
Не спеши. Он лучше знает, когда пора.

День Победы

В Братске девятого мая всегда идёт снег.
Ни о каких тюльпанах и речи нет.
На площади вечером музыка, фейерверк,
Какой-нибудь Буйнов или «Руки вверх».

Те, кто постарше, пьют водку,
молодые — коктейли «Шейк».
Но не думайте, это не сборище алкашей.
Просто праздник, Победа, ну и вообще
Выходной, и радостно на душе.

Девчонки не носят шапок — локоны, все дела…
В куртки с пайетками прячут свои тела,
Фотографируются, ищут парней.
Этой станет спокойней, а той — больней.

Парни дымят, хохочут, сильны, красны.
Как далеки они от большой войны.
В общем веселье, пожалуй, смиренней всех
Этот всегда незыблемый майский снег.

Ночью, когда певец перейдёт на писк,
Нежно подсветят сумрачный обелиск.
Пары уйдут друг друга любить в дома.
Так у нас и заканчивается зима.

* * *

Когда-нибудь всё будет хорошо.
И мы тогда уедем в Балашов.
Ведь там стрекозы, мята и малина.

И будем звёзды тихие считать,
Иную жизнь справлять и почитать,
Дышать всерьёз, а не наполовину.

Оставив вдалеке болезнь и шум,
Я обо всём, конечно, напишу.
Ну а пока — молчать и кровоточить.

Ведь если стать немножечко бедней,
То станет и немножечко видней,
Что жизнь нужней, когда она короче.

* * *

Женщина-солнце — руки из хрусталя —
Создана не для принца, для короля.
Светом её окутана вся земля,
Всё неземное.

Можно ли к ней подняться на высоту?!
Спелую ягоду держит она во рту
И молчаливо смотрит на суету,
Зная иное.

Нежные песни ветра и птичий смех
Ловит она сачком, бережёт для всех.
Только её сокровища не для тех,
Кто расточает.

Если лицо омоют вода и соль,
Беды рассядутся и поперёк, и вдоль,
Женщина-солнце запеленает боль
И покачает.

* * *

Надо нарвать крапивы,
Надо найти перо,
Надо надеть на шею
Чёрное серебро,

Высушить первоцветы
И растопить слюду,
Вязкую пену ночи
Разворошить в пруду,

Выйти янтарной девой
Из говорящих вод,
Встать между днём и ночью
В медленный хоровод.

И разрастётся стебель,
И народится цвет,
И, облачённый в завязь,
Явится мне ответ.

* * *

Где-то стоит мой дом,
Снегом завален весь.
Книги — за томом том,
Люди — кто был, кто есть.
Платья — из льна, из сна.
Мебель — обман-кровать.
Окна — луна, сосна.
Счастье — ни дать ни взять.
И бережёт мой дом
Фотоальбом с котом,
Детский блокнот о том,
Как буду жить потом.

Карина Сейдаметова

Радость роднится с печалью…

* * *

В бренном мире подлунном—но лучшем из всех миров!—
Между призрачных целей как истинную отличить?
…Он, рождённый казачкой Анной, не лучшим был из отцов,
Он навеки меня оставил, а ему б ещё жить да жить!..

Но даровано Господом ему было лишь шестьдесят—
Шесть десятков шальных, но громко прожитых годов.
Так уходят мужчины, покидая житейский ад,
Оставляя навек безутешных детей и вдов.

Наш отец, кем ты был для меня, срезанный в поле мак,
Исполинскою силой, что недругам не одолеть?
Будто вышел из прошлых веков атаман Ермак
И давай свои ратные песни во поле петь?..

…Как в холодные ночи в верховьях подмёрз Иртыш
И не пахнет уже увядшей травой в лесу,
В грешном мире подлунном (к войне ли?) настала тишь
И багульник отцвёл неизвестно в каком часу…

Сон-трава

Близко к сердцу ретивому! Ближе—не принимай:
Вертопраховы правды, речей леденистый наст
Промелькнут по весне, убежав из апреля в май,
Прорастёт сон-трава через почву и через нас,

Чернозём пробивая велением высших сил,
Нам неведомых до холодов затяжных остуд.
…Небесами, наверно, что Бог на руках носил,
Были эти цветы, а теперь на земле растут.

Из-под снега, что землю нагую собой укрыл,
Выйдя к солнцу на свет из погибельнейших тенёт,
Сон-трава лепестками похожа на росчерк крыл
Серафимовски хрупких—в поклон до земли согнёт!

И, немолчны, услышишь пророческие слова:
«Не грусти… Отпусти… Жить позволь и сама живи».
…Сон-трава прорастает, всегда и во всём права,
Сон-трава прорастает во имя земной любви.

Снег

Всё-то ты приемлешь,
Русский человек!..
…Снег целует землю.
Белый, белый снег.

Почитай, всю зиму
Он идёт, идёт,
Неостановимый
Белоснежный лёт…

Вдоль домов высотных,
Вдоль озёр и рек…
Вот и ты—босота—
Божий человек,

В тот ноябрьский вечер
Белым снегом став,
С ним ушёл далече,
«Смертью смерть поправ».

Ты теперь прохожий,
Ты теперь—снега…
У тебя под кожей
Колкая пурга.

Ну а если в зиму
Снега намело—
Это чтоб могли мы
Просто и светло

Вспоминать, приемля
Грусть земных сердец:
Снег целует землю.
Снег… и мой отец.

● ● ●

Всё это есть. Видишь, всё это здесь:
Радость роднится с печалью,
Лисью хвалу и крысиную спесь
Ласточки в небо умчали.

Ливень обрушился с хрупких небес,
Словно шальной новобрачный…
Всё это есть. Слышишь?—Всё это лес.
Капли сквозные прозрачны.

Всё это вспомнилось, всё это есть:
Осень не стала иною,
С ливнем блажная нахлынула весть,
Та, что должна быть благою!..

Весть, что по огненным листьям рудым,
Радости не отвергая,
Въедливой осени лиственный дым
Поздним теплом настигает.

Тех, кто взахлёб целовал листобой,
Истина встретит нагая…
Двух своевольниц. Не нас ли с тобой,
Осень моя дорогая?..

● ● ●

Чураюсь собственного смеха,
Смятенна—ни добра, ни зла.
Моё обманчивое эхо—
Роса и мгла.

По маргариткам, горицветам,
По заговорам бытия
Приду в люпиновое лето,
Где ты и я…

И яблочные плодопады
Биенью сердца в унисон,
И, робкие, украдкой, взгляды—
Дурманный сон.

И жизнь сквозь этот морок снится,
Искрится в обморочной мгле…
И лунная роса на лицах
И на земле.

Ко мне идёшь ты—неужели?—
Сквозь череду своих побед,
Где от постели до постели
Лишь лунный свет.

И в укоризненной улыбке
Кривится блёклый серп луны…
Все упованья и ошибки
Обнажены.

Смятенье разбавляя смехом,
Спасаться от добра и зла?..
Нам расставанье не помеха—
Роса и мгла.

● ● ●

В России скучной жизни не видать,
То бьём, то пьём, по новой наливая,
Умеем с пылом, с жаром наподдать,
А если не добьём—перебиваем!

Подхваченный стихийною волной,
Поддавшись разгуляю в росном поле,
Народец залихватский и шальной
Боль терпит до потери чувства боли!

Который век выписывает дождь
Стальной автопортрет в небесной раме,
То Белобог, то князь, то царь, то вождь,
То сам Христос мелькнёт за облаками…

…Лишь избранным почувствовать дано,
Что Крыма не бывает без Нарыма…
Россия—верея, веретено,
Что вьётся сквозь века неутомимо.

Очередной опасный поворот…
Мы снова на краю, но может статься,
Что человек заоблачный придёт,
Чтоб с небом на земле не разлучаться!

Мы ждём его уже который год,
На взятки гладки, с недругами квиты.
Ведь если он однажды повернёт,
На Русь идеша,—нас, хмельных, найдёт—
Отъявленных, отпетых и отбитых.

● ● ●

Я. С.

Знаете, как закаляют клинки—
Чудо стального металла?
Медленным отжигом с быстрой реки,
Огнём и водою талой…

Пусть он отражает речную гладь,
Чтоб вдребезги раскололась…
Чтобы умел на лету рассекать
Ветер степной—конский волос.

Но что же победней: кровь или сталь?—
Сердце рванётся навстречу
Клину кинжальных летающих стай—
Пламенных противоречий.

Небо и землю сжигаю дотла,
Поле и лес заклинаю:
Только бы снова сплотить нас смогла
Кровная сила стальная!

В омутном плеске реки молодой,
Там, где не ведают брода,
Лишь покачнётся клинок над водой—
Сердце уходит под воду…

● ● ●

А я развеян ветрами...
Гарсия Лорка

Обещанья мужские недорого стоят—
Легковесней пуха, прочней пера!
Ничего, мой хороший, ломать—не строить,
Знать, боярышнику вызреть пришла пора...

Правды—ни на грош: не сентябрь—истома.
Драгоценный мой, не продешеви:
Увлечениями ветреными влекомые
Недалече бегают от любви!

Не случайно сказано: «смерть—полушка»,
Отцветает и отгорает влёт!
И зардевшейся барынькой-хохотушкой
Осень (царственная побирушка!),
Все плоды пособрав в подола, придёт

И упрямо посмотрит—молча, мороча,
Обметая равнины красой-листвой.
Мокнуть под дождём нету больше мочи,
Раскидал боярышник своё узорочье—
Раскидало по осени нас с тобой.

Оправдаться неужто достанет духа?
Но, не веря обещаниям и дарам,
Пожелаю себе ни пера ни пуха,
А тебя посылаю ко всем ветрам!

● ● ●

Дни походят один на другой:
Монотонней, рассудочней, строже.
Мы не стали друг другу дороже
Этой жгучей злорадной зимой.

Небывалое солнце взошло.
С неба валятся снежные хлопья,
Низко падать—привычка холопья,
Снег таит, а не тает. Тепло...

Нам ниспущена свыше зима,
Чтобы выбелить грешные мысли,
Гнётся радужное коромысло,
И сугробов полны закрома.

Прогоняя февральские сны,
Скинет снег и расправит иголки,
Снова став и надменной, и колкой,
Корабельная мачта сосны.

Вот и я, в бесприютность смотря,
Взглядом лёд на стекле выжигаю.
Как союзница близкого мая,
Мне навстречу светает заря...

У природы своё ремесло—
Завершать, начиная сначала...
Я сегодня любовь проморгала
Так легко, что до слёз тяжело!..

● ● ●

Повинную голову меч не сечёт!
Кровавая выдалась зорька—
Постичь непреложный житейский расчёт.
Сердешный мой, что же так горько?

И день понесётся сорвиголовой
По диким степям-бездорожьям.
Не каждое слово—удар ножевой—
Излечишь целебною ложью.

Степняцкие ветры, лихие мечи
Упрятаны в ножны земные...
Ну что ж ты, сердешный, в сторонке молчишь,
Решив повиниться впервые?

С улыбкой смиренной идущий на казнь,
Не жди воздаяния—в слове!
Твою беспощадную чуя приязнь,
Я меч свой держу наготове.

Спокойно сижу у холодной реки,
Смотрю, как дрожат золотые
Кувшинки речные, вдеваю в крючки
Рыбацкие лески простые.

Мне льстивые вражьи повадки видны
В цветении болиголова...
Я чаю под вечер с речной стороны
Урочного часа улова.

● ● ●

В воздухе пахнет дождём,
Преодолением зноя.
Если чудес мы не ждём,
Что же приходит весною?

В душный полуденный зной
Жажду дождя да обрящешь!
И над тобою и мной
Ливень пройдёт настоящий.

Бойся желаний своих,
Молниеносных свершений,
Розговых струн дождевых
В сладком удушье сирени...

Зной над тобою и мной
Грезит полуденным ливнем,
Пьяным сиренью, весной
И поцелуем наивным,

От непогодных угроз
Силы непреодолимой,
Яростный ливень возрос,
Ливень неостановимый,

Что застигает врасплох
Майской грозой громогласной,
Где ты—хорош или плох—
Просишь спасенья напрасно.

● ● ●

Из редакции выйдешь на улицу—сотни машин
И мелькание фар по дорогам разбито-невзрачным,
А в тиши кабинетной Василий Макарыч Шукшин
С фотографии смотрит, прищурившись неоднозначно.

Нам, Василий Макарыч, поэтам, не всё ли равно,
Что приять за роман откровенный с финалом счастливым?
А иначе-то разве бывает в хорошем кино,
Где вздыхают и смотрят искательно и сиротливо?..

Нам, Василий Макарыч, избыть бы тщету-кутерьму,
Саркастически лыбиться всем ко всему безучастным.
Только русский привык жить по сердцу, а не по уму,
Зарекаться и снова рыдать под калиною красной!

Сердце-сердце смятенное… Как быть спокойным ему,
Принимая и радость, и боль, и судьбу добровольно,
И закат и восход, и навет, и суму, и тюрьму,
Хоть и крикнуть охота порой: «…Презираю. Довольно!»?

Недовольная выйдешь навстречу ревенью машин,
Мельтешению фар и неоновым вывескам злачным…
И спиной ощутишь, как Василий Макарыч Шукшин
Одиноко с портрета глядит, ухмыляясь наждачно.

● ● ●

Уехать в город светлых фонарей,
Вдыхать всей грудью воздух влажный невский,
Где в стылой неизбежности ночей
И засыпать, и просыпаться не с кем.

Мы просто стали старше, не старей,—
Не разучились ни мечтать, ни мчаться.
Ужели нежность светлых фонарей
Закончилась, едва успев начаться?

А что в душе—надрыв или надлом?
Порушены извечные устои.
Дом обветшалый обречён на слом,
А новый дом доселе не построен.

След в след по снегу ярому идти
Туда, где очертанья наши парны,
В ночь, где ещё не поздно всё простить,
В свет переливчатый, ночной, фонарный

Идти, не поворачивая вспять,
И вспоминать, как мы друг другом жили,
А посветлевшим фонарям сиять
Над всеми, кто друг другу не чужие.

Над этими дорогами двумя,
Что в спешке разошлись поодиночно,
Струится свет фонарного огня
И утопает в звёздном многоточье…

Андрей Деменюк

Питер. Горизонт событий

Мостик Демидова,
канал Грибоедова…
Тут мужики уже пивом
заправлены.
Им позавидовал,
в «Дикси» проследовал…
Список в кармане,
женою
составленный…

Нет, я никогда к этому не привыкну. Утром одеваешься, умываешься, завтракаешь. Выходишь во двор, идёшь через арку, выходишь на улицу, а там — Питер! И снова — вдруг. И всегда — вдруг. Как же мне это повезло, что я родился не здесь и поэтому никогда к этому не привыкну. Каждый раз, выходя из дома, я буду чувствовать то же удивление от нереальности реального. Просто проходя по нашей коротенькой улице. От дома, где жил Достоевский, до дома, где жил Достоевский. Когда в школе я «проходил» Достоевского, я не мог и вообразить, что буду проходить его буквально — собственными ногами. Вон там, в конце улицы, видны окна комнаты Сонечки Мармеладовой. Поворачиваю за угол и вижу дом Родиона Раскольникова. Я шагаю по строчкам романа «Преступление и наказание» с рюкзачком за спиной и сигаретой в зубах.

Навстречу идёт Герман. Местный — из питерских немцев петровских ещё времён. Даю закурить. Он, как всегда, аккуратно пьян и настроен на туманно-глубокомысленную беседу. Он тоже персонаж романа. Он там не описан, и у него нет реплик, но он — подразумевается. Определённо, это он всю ночь сидел в пивной и угрюмо кивал, слушая нервные откровения Раскольникова. Вон в той пивной в полуподвале дома на углу Столярного. Она там уже лет двести. Прошлое — это всегда.

Вчера стою тут же, около «Дикси». У дома Раскольникова пожилой мужик с удочкой, явно направлявшийся на канал порыбачить и отдохнуть от семьи, о чём-то долго и муторно препирается с женой, торчащей в застиранном халате на балконе второго этажа. Он не должен уходить. Мама не хочет оставаться с ней. Нет, он пойдёт рыбачить, ему надо отдохнуть. Но мама против. Седая косматая старуха в ночной рубашке выползает на балкон. Вернись, а то я сброшусь с балкона. Нет, мам, я уже ушёл. Старуха пытается перекинуть худые ноги в стоптанных тапочках через перила балкона. Мужик в сердцах плюёт на асфальт и бредёт обратно…

А у дверей гастронома, у меня за спиной, топчется огромный взлохмаченный мужик в мятой одежде, добровольно взявший на себя роль швейцара. С невообразимо пугающей улыбкой на заросшем щетиной одутловатом безумном лице, он распахивает двери перед каждым входящим и выходящим, обдавая запахом пота и перегара… И я уже тоже начинаю ощущать себя персонажем романа Достоевского. Случайным прохожим без имени и слов, который не описан, но явно подразумевается.

Весна. Я чуял дуновенье
Чего-то над водой канала.
Казалось, это вдохновенье…
Нет… Просто корюшкой воняло.

Знаю, как читатели не любят, когда писатель начинает их автобиографией своей пичкать. Ну, я кратенько и не просто так, а мысль пояснить.

Жизнь — она тоже поэт. Она рифмует судьбы. Вот дед мой, Фома, был из семьи «самоходов». Самоходы? Ну, так местные чалдоны — первые насельники деревень вокруг Красноярска — называли пришлых малоземельных крестьян из европейской части империи, понаехавших в Сибирь. Прадед мой, Иван, вместе с большой компанией земляков ещё в конце девятнадцатого века так вот — самоходом из Белоруссии — добрался до деревни с говорящим за себя названием Хмелево, что километрах в ста пятидесяти к северу от Красноярска. Выкатили они, как полагается, местному «опчеству» бочку самогона, ну и «опчество» выделило им землицы — как от дальнего края своих полей, так на запад, «хошь до Урала». Лес корчуй да володей…

Там мой дед и вырос, и женился, и детей нарожал уже порядком, покуда в начале семнадцатого года не пришла его очередь идти сражаться за веру, царя и отечество на империалистической, прости Господи, войне. Попал он первым делом сначала в Красноярский запасный полк, где и формировались команды для отправки на фронт. Кстати, в это же время пребывал там, по слухам, один призывник и бывший ссыльнопоселенец по

имени Иосиф Джугашвили. Ну, дед мой с ним дел никаких не имел, конечно. А если и имел, то не запомнил. А если и запомнил, то не вспоминал. Белорусы—народ древний и мудрый. Они знают, чего не запомнить, чтоб потом не ляпнуть.

Зато подружился он там со смекалистым мужичком одним. Рабочим-механиком. И проникся тот мужичок к деду моему симпатией и присоветовал, чтоб, когда спросят про умения его, отвечал, что механик он, дескать, тоже. Чтоб, значит, попасть вместе служить где-нибудь. Так оно всё и случилось.

И попали они служить в столицу—город Петроград. А точнее—в Гатчину, в авиационный отряд Первого гвардейского корпуса, в котором что ни полк, то лейб-гвардейский. Способности деда как механика, конечно, были быстро оценены по достоинству, и приставлен он был очищать болты да гайки от ржавчины. Но занимался он этим недолго—по причине последующих революций, заметно понизивших важность очищенных болтов и гаек. Зато он получил малоприятную возможность лично наблюдать важные исторические события в столице империи в процессе их развития Он, конечно, мудро воздерживался от личных комментариев по данному поводу. Упоминал только то, что лично лицезрел министров Временного правительства, когда их выводили под белые рученьки из Зимнего.

Отец мой, Фома, родился в Хмелево за два месяца до того, как дед в Петрограде получил возможность на министров-капиталистов поглазеть. Назвала его мать тоже Фомой на всякий случай, ибо кто его знает, как там с мужем дело обернётся… А дед, когда вернулся в родную деревню, посмотрел на сына в колыбели да и сказал жене в шутку, по солдатской своей огрубелости: «Ну вот, спортила пацана! Я-то своего имени допотопного стеснялся, а ему-то и вовсе не с руки будет…» За что, конечно, и огрёб люлей от жены своей, горячей польской шляхтянки.

К 1940 году отец мой успел уже переквалифицироваться из тракториста в учителя и после войны с Финляндией, на которую учителей по причине их дефицита не брали, призван был на службу в Красную Армию. И поехал он, конечно же, дедовым путём—прямо в самую колыбель революции, славный город Ленинград. Поскольку война только что закончилась, а революций, благодаря усилиям дедушкиного временного однополчанина, точно уже не намечалось, папа мой лелеял мечту насладиться службой вблизи «Петра прекрасного творенья», а по окончании её и обосноваться здесь насовсем. Только и успел он научиться у местных девушек торт нарезать правильно да самой нужной в общении с ними английской фразе «ай лав ю», когда злопамятные белофинны на пару с гансами разрушили его далеко идущие планы. И пришлось ему поползать с автоматом по болотам Карельского перешейка. А затем и по иным болотам. Пока в снегах под Старой Руссой немецкий автоматчик не выписал ему одной длинной очередью полное освобождение от строевой службы. И дослуживал он уже как нестроевой очень далеко от Ленинграда.

Я родился в Красноярске. И пятьдесят лет ну ничто не предвещало мне всех тех замысловатых и маловероятных поворотов судьбы, которые совершенно внезапно и мгновенно забросили меня из Красноярска прямо в Санкт-Петербург.

Жизнь—удивительный и странный поэт. Но она рифмует не слова, а судьбы. Рифмует согласно смыслам, до конца понятным исключительно ей одной. Дед, отец, сын. Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург.

Я человек разумный, вот!
А кто по жизни счастлив?
Кот…

Мой кот—коренной питерец. У него и документ с печатью есть. Это ведь не какой-нибудь там деревенский Матроскин… Усы, лапы и хвост… Ха! Документ с печатью! У меня ещё не было, а у него был. А поскольку любой кот—царь семьи, то, наверное, моя семья может считаться почти питерской. Кота назвали Изюмом. Нет, не мы, конечно. Всюду, кроме Питера, это последнее слово, которое придёт в голову при выборе имени для кота. Имя он получил в собачьем приюте, в котором провёл первые месяцы своей жизни. Да, кот—из собачьего приюта. Питер же… Мы вот так же сначала удивлялись его имени. Однако многое, что кажется странным в Питере, всегда находит простое, но вполне питерское же объяснение. Не прошло и месяца, как мы случайно выяснили, что кот Изюм обожает кушать изюм…

У меня тут родилась блистательная философская идея касательно того, почему коты да собаки—это самые популярные домашние животные. Да просто коты и собаки являют собой два морально-этических полюса. Котики—это идеальное воплощение всех осуждаемых в человеке качеств. Лентяи, сони, обжоры и бездельники. И при этом получают всё, что пожелают. Просто в силу своего обаяния. Собаки—те являются абсолютным воплощением всех наилучших человеческих качеств: они верные, умные, честные, бесстрашные и самоотверженные наши друзья. А мы шагаем по жизни между двумя этими моральными маяками, стараясь быть достойными наших собак, но при этом жутко завидуя этим хитрым котикам.

Рыбаки неторопливо
ловят рыбу, дуют пиво.
Им не нужно делать выбор.
Им и пиво,
им и рыба.

В Питере очень много непитерцев. Значительно больше, чем питерцев. Настоящих. Которых ни с кем не спутать. Которые реально называют бордюр поребриком, а подъезд — парадной. Которые находят повод рассказать кассирше в «Пятёрочке» о дедушке, служившем дворником в Зимнем дворце, или о бабушке, называвшей Ахматову «тётя Аня». Которые требуют очищать тротуары от снега до асфальта, но не любят мыть окна в квартире. Которые, соображая на троих на ящике за трансформаторной будкой, реально спорят о философии Шопенгауэра и цитируют «Евгения Онегина» целыми главами. Которые жили в одном дворе с Бродским, или дружили в детском саду с Шемякиным, или в школе с Довлатовым, или учились в университете с Гребенщиковым. Которые злоупотребляют нецензурной лексикой, разговаривая на улице, и тут же объясняют интуристам, как пройти в Эрмитаж, на чистейшем французском или английском. С которыми трудно подружиться, но которые и так всегда вам помогут. Которые знают всё о жизни Пушкина, но не имеют представления о жизни в Челябинске. Которые не пропустят ни одной новой выставки или спектакля, но постараются сделать это задаром. Которые кормят полчища чаек, уток, голубей, кошек и белок, но никогда не выбросят недоеденный хлеб в урну. Никогда.

Настоящие питерцы не любят ненастоящих. Потому что те и говорят, и делают всё не так, не по-питерски. Для которых Питер — это дворцы, каналы и памятники, а не крыши, проходные дворики и ванна на коммунальной кухне. Которых намного больше, но они могут жить и в других городах. Питерцев мало, но они не могут уехать, потому что они невозможны в любом другом городе. Как поребрик в Москве или парадная в Кемерово. Они могут дышать только этим воздухом, пропахшим корюшкой, пышками, морем, цветущими каштанами и мокрым гранитом. Поэтому им остаётся только ждать, когда все эти ненастоящие пообботрутся о стены в парадных, пообшоркаются о гранитные плиты набережных, надышатся питерским воздухом и пристрастятся к корюшке и пышкам. И станут настоящими. Или почти настоящими. А их дети вырастут в этих двора и двориках, скверах и парках и тоже будут ходить в детский сад, учиться в школе или жить в одном дворе с будущими Бродскими, Довлатовыми и Гребенщиковыми. Или сами станут ими. Станут настоящими питерскими. Которые никогда не выбрасывают хлеб в урну. Никогда.

Солнца синь. И чист эфир.
Зонт не взял ты утром рано…
Небо тут же, как факир,
тянет дождик из кармана…

Не знаю, как это так получается. В какой бы точке города ни находился, случайному взгляду, брошенному в любой момент вверх, представляется совершенная по композиции, цвету и сюжету картина видимого фрагмента питерского неба. Это может быть крохотное полотно над двориком-колодцем или масштабная панорама, обрамляемая горизонтом. И по частям, и в целом — это всегда идеальное живописное произведение, вызывающее трудноподавляемое желание обязательно запечатлеть его на память и поделиться со всеми знакомыми. Ну, или просто стоять в немом восторге, сожалея о невозможности любой попытки передать испытываемое чувство словами. Импрессионизм — утром, экспрессионизм — вечером, днём — академизм, сюрреализм, абстракционизм и любые прочие изыски. Акварель, масло, графика… Простор для творчества ограничен только знакомым контуром крыш и шпилей' дворцов, храмов, зданий. Такое впечатление, что все художники, когда-либо жившие тут, сразу принимаются на работу в питерский департамент живописи по небу. А художников в Питере было столько, что, видимо, они там теперь толпятся, толкаются и спорят за каждый кусочек полотна. Кисти ветра и краски света — нарасхват. Так что картина неба меняется каждое мгновение. Пока, наконец, не приходит уборщица с ведром дождя и не смывает всё мокрой тряпкой туч. До следующего утра.

Здесь, в культурной столице,
С марта до января
Дождь на каждой странице
Календаря.

Радуга в луже. Вышел на улицу, жду жену и рассматриваю радугу в луже. Хорошая такая радуга. Небольшое разноцветное коромысло в огромной луже помещается целиком. Правильная такая радуга, но что-то не так. Правильно! Потому и неправильно, что правильно! Поднимаю глаза в небо — радуга висит там вверх тормашками улыбкой Чеширского кота. Улыбка есть, самого кота нету. Ну, теперь понятно, откуда Льюис Кэрролл понабрался всех этих странностей: он же прожил в Питере целых несколько недель.

В Питере привычное нам пространство разбито на кусочки разного размера, в каждом из которых время бежит разнонаправленно и с разной скоростью. Вперёд, назад, вбок. Или вообще стоит на месте. Как вода в этих каналах. Когда она не успевает стекать в море, она останавливается или течёт в обратном направлении. Поэтому тут возможно всё, и поэтому местные ничему не удивляются. Логика коматозного сна. И всё самое интересное случается спонтанно и внезапно. Любой двор — это кроличья нора. Заходишь во двор на Васильевском острове и через десять минут выходишь на Фонтанке. Если тебя это пугает — держись улиц

и не меняй маршрут резко. Я здесь очень быстро теряю ориентацию. Свернул во двор на Гороховой и не знаю, куда вышел. Как?!.. Я же чёртов геолог, я в черневой тайге даже без компаса легко ориентировался. Так… Нужно звонить жене…

У женщин процессор работает в таком же спутанно-квантовом режиме, поэтому они ориентируются тут с лёгкостью. На ходу достаю телефон и сворачиваю за угол—Синий мост, громада Исаакия… Да каким!.. Нет, лучше не думать об этом…

Семь утра, иду на работу. Решил дойти до конца бульвара, а не свернуть, как обычно, в переулок. Дохожу. Поворачиваю на площадь Труда. Бац, а там Лондон начала прошлого века! Двухэтажный красный автобус, пара машин, похожих на чёрные шляпы-котелки, у обочины, красная телефонная будка у ограды дворца. На воротах висит британский «Юнион Джек»… Чтоб—без сомнений… Какого ж?!..

А не надо встряхивать калейдоскоп… Картинка меняется мгновенно… Конечно, если вышел погулять в выходной, мужественно готов к неожиданностям и держишь жену за руку, то можно отважно нырнуть в незнакомый двор на Фонтанке и идти по нему битый час. Идти и нервно удивляться, каким образом внутри квартала с внешним размером сто на двести метров могут уместиться три европейских городка. Причём из разных стран и времён… Что, дорогая? А! Руку тебе больно сдавил… Извини… Навстречу бредёт мужик явно в поисках средств для поправки… Предлагает купить пачку папирос «Норд»! Мужик, их перестали выпускать до моего рождения! Ты из своего квартала когда выходил, в сорок седьмом?

А радуга висит над головой улыбкой Чеширского кота…

У Синего моста
туристы толпятся…
Что?
Русских уже
вообще
не боятся?

Туристов в Питере больше, чем питерцев.

Лето. Я возвращаюсь с работы через самый центр. Сенатская, Пётр, Исаакий, «Англетер», «Астория», Синий мост. Пробираюсь через тысячные толпы людей и не слышу ни одного слова по-русски. Гастарбайтеры в оранжевых коммунальных куртках, сиротливо жмущиеся поближе к зданиям, воспринимаются как родные братья. Салам, брат!—Салам!..

Французы, испанцы, немцы, американцы, англичане и, равновеликие им вместе взятым, толпы китайцев. Я люблю иностранные языки. Нет, не изучать, а любопытствовать. С целью повышения образованности, как говорил почтальон Печкин. Ну и так нахватался понемногу из того языка да из другого. А в Питере ведь есть возможность попрактиковаться. Теоретическая… Туристам некогда лясы точить с местными. Они заняты производством бесконечных селфи на фоне дворцов и храмов. Идёшь, лавируешь так, чтобы не испортить им фото. Сэнкью, шиши, грасиас, мерси.. Да пожалуйста! Вальяжный китаец просит огонька… Даю… Шиши… Напрягаю память: как же там «пожалуйста» на китайском?.. Букхетси! На секунду китаец замирает, дивясь на говорящего «лаовея». Ну, или просто я слова попутал и обругал его невзначай… Не помню, кто сказал, что лучший способ быстро стать полиглотом—это заучить на любом языке одну фразу: «Я не говорю на вашем языке!»

Заметил я, что англичане и американцы обращаются ко мне только в плохую погоду: дождь, гололёд, снег.. Зима, метель. Здоровенный американец внезапно останавливает меня вопросом: мол, где тут «Музеум оф уодка»? Я, с залепленным снегом лицом, глотаю летящие снежинки и с сомнительной национальной гордостью отвечаю: «Зачем тебе музей водки, чувак? Зайди в любой супермаркет…»

Самые образованные иностранные туристы появляются в низкий сезон. Они бродят в одиночку по закоулкам непарадного Питера с путеводителем типа «Петербург великих русских писателей». Этим туристам Питер особенно благоволит. Иначе чем объяснить вот такое совпадение?

Стою напротив своего дома. Жену жду, что ещё-то?.. Подходит мужчина моего возраста с путеводителем в руке и пальцем тычет в фотографии двух зданий. Узнаю оба. Одно—на углу справа, другое—на углу слева. И там, и там Достоевский жил… По иероглифам понимаю, что турист—японец. А я вчера вечером как раз читал разговорник японский. Две фразы только и запомнил, прежде чем заснул: «Это вот тут» и «Это вот там». Везёт же мужику! Показываю на дом справа и говорю: «Корэ ва дес!» («Это вот тут!») Показываю на дом слева: «Сорэ ва дес!» («Это вот там!») Японец улыбается и благодарит, кивая головой: «Аригато! Сайонара, брат!»

У Исакия туристы
Селфи делают повсюду.
Я ж, такой красивый, умный,
Просто частью фона буду.

«А где тут Исаакиевский собор?»—внезапно интересуется у меня какая-то туристка. Мы стоим у Исаакия… Все сияющие золотыми куполами сто два метра собора—прямо у меня за спиной. Глуповато улыбаясь, отступаю в сторону, словно моя фигура в состоянии загородить собой эту архитектурную громадину, и делаю жест рукой в направлении собора, словно фокусник, выпускающий из ладони невесть откуда взявшуюся

там птичку. Ох и любит Питер людей заморочить и устроить какую-нибудь нелепую сценку. Кручу-верчу, запутать хочу.

Лето. Шагаю с работы привычным маршрутом. Выхожу на Конногвардейский бульвар. В центре — аллея с липами и дубами, по обеим сторонам — проезжая часть. Иду по аллее и вдруг вижу справа на противоположной стороне улицы высокого седого человека с военной выправкой, идущего широкими шагами. Человек, как теперь принято мудро формулировать, «очень похож» на местного губернатора. Удивляюсь так, что даже не сразу замечаю быстро следующего за губернатором человека в сером костюме. Человека, «очень-очень похожего» на премьер-министра страны. «Да ладно!» — скептически говорю себе. Но мой взгляд уже нервно шарит туда-сюда по улице, готовый увидеть всем понятно кого. Для, так сказать, полного комплекта. Фу! Не видать вроде… А может, потому и не видать?.. И начинает казаться, что люди на скамейках вдоль аллеи сидят как-то демонстративно небрежно. А взгляды у них какие-то слишком цепкие. Как оптические прицелы. А этот идущий навстречу молодой человек слишком элегантен. Костюм-тройка и галстук? Это в Питере-то?!.. Идёт и небрежно так помахивает зонтиком-тростью. Это в июльскую-то жару?!.. Сразу вспоминается Пьер Ришар, «Укол зонтиком», и мысли одна другой бредовее лезут в голову толпой. Морок не морок, обман не обман. Кто знает?.. Питер… Кручу-верчу, запутать хочу…

Иногда Питеру всё ещё удаётся удивить даже ничему вроде не удивляющихся коренных жителей.

Жена покупает в «Дикси» пару небольших оранжевых тыкв, с целью попрактиковаться в фуд-фотографии. В очереди на кассе, очевидно, «настоящая» питерская дама обстоятельно и неспешно рассчитывается за продукты, попутно рассказывая красивому таджику-кассиру о бабушкином рецепте изготовления пышек.

Очередь растёт. «Сергей Миронович очень хвалил бабушкины пышки, когда бывал у дедушки в доме…»

Привычная к таким персонажам очередь ненастоящих питерцев терпеливо ожидает, равнодушная к подробностям жизни Сергея Мироновича. Этим понаехавшим Киров известен не более, чем Рамзес III… Уже собирая — наконец-то! — сумки, дама замечает тыквы, выложенные на ленту у кассы. «А что вы с ними будете делать?» — крайне заинтересованно любопытствует она, с надеждой продолжить приятную беседу новым бесконечным монологом, полным исторических отступлений и семейных воспоминаний. Очередь замирает… Жена, легко застигнутая врасплох неожиданным вопросом, честно отвечает: «Фотографировать…» Дама, очередь и вся сцена вокруг зависают на долгие десять секунд, словно фильм на экране компьютера. Наконец дама приходит в себя и, чтобы хоть как-то вернуть ситуацию обратно в русло привычной реальности, утвердительно заявляет, больше для самой себя: «Ну потом-то вы её съедите?» — «Хорошо», — послушно соглашается жена. Она уже знает, что лучше не провоцировать дальнейшие флуктуации в матрице хрупкой питерской реальности.

Львиный мост.
К нему бездельник
Мимо с пёсиком бредёт…
Так на службу понедельник
на цепи меня ведёт…

«Вот только не надо говниться!» — это так моя добрая приятельница и коллега обычно комментирует мои якобы «инсинуации» на тему коренных жителей. У неё всё как полагается: правнучка генерал-майора Генштаба царской армии, внучка академика и дочка учёного-слависта с мировым именем. То есть обыкновенная питерская дама с Петроградки. Рыжеволосый вихрь невероятных случаев, сильных эмоций, самоотверженных бескорыстных действий и увлекательных хаотических воспоминаний «кстати». В которых то и дело внезапно выплывают имена людей, давно обосновавшихся в «Википедии».

«А я ему сказала: Боб, это самолюбование! У вас — бобизм!»

Ну конечно… Известный питерский музыкант был в юности её репетитором по математике.

«Давайте не будем трогать Борис Борисыча!» — бросаюсь я на защиту незыблемой святыни моего застойного поколения…

Работаем мы в одной очень уважаемой в нашей профессиональной области организации. Настолько уважаемой, что, если честно, я-то вообще и не должен был здесь нарисоваться. Никогда. Тут по коридорам живые геологические классики до сих пор ходят. Некоторые — с 1947 года!

А один даже — с фамилией красноярского героя Гражданской войны, в честь которого названа улица в Красноярске. Я в детстве в баню на той улице ходил. А тут воду из кулера в коридоре набираю, а мимо его внук идёт.

А в коридоре на центральном входе, где я деньги из банкомата иногда беру, эпизод из «Мастера и Маргариты» снимали. Правда, слава тут несколько неоднозначная. В том эпизоде поэта Бездомного в психбольницу привезли. Я вот лично ума не приложу: почему это именно в нашем институте и почему именно в Питере это снимать решили?

«Вы прям не можете слова сказать, чтобы нас не обгадить, — опять одёргивает меня моя язвительная приятельница с Петроградки. — Если так не нравится в Питере, езжайте обратно в свой Задрючинск», — в сотый раз резюмирует она с притворным питерским снобизмом.

«Красноярск!» — в сотый раз поправляю её с притворно оскорблённым патриотизмом.

Я люблю Красноярск. У меня там остались люди, которых мне не хватает. И не хватает вида этой впечатанной в небо полосы гор, сопровождавшего меня всюду, куда бы я ни направлялся. Но иногда в Питере облака, поднимающиеся над горизонтом за Невой, напоминают мне знакомую картину отрогов Саянских гор за сияющей лентой Енисея…

Недавно посмотрел альбом живописи гениального красноярского художника Андрея Поздеева и вдруг на одном его городском пейзаже увидел знакомый красный дом с башней у моста через канал. Дом этот стоит как раз на краю той коротенькой питерской улочки, где я теперь и живу. Теперь, как мимо иду, каждый раз родной город вспоминается. Спасибо, Питер.

В Питере мне нравится. Очень. Не знаю, нравлюсь ли я Питеру. И скорее всего никогда не узнаю.

А уехать отсюда я теперь уже не могу. Ведь если я вдруг уеду, тогда у меня и здесь тоже останутся люди, которых мне будет очень не хватать.

*Ди*Н СИММЕТРИЯ

Вадим Шершеневич

Старый шарманщик

Последний Рим

Мороз в окно скребётся, лая,
Хрустит, как сломанный калач.
Звенят над миром поцелуи,
Звенят, как рифмы наших встреч.

Была комета этим годом,
Дубы дрожали, как ольха.
Пришла любовь, за нею следом,
Как шпоры, брызнули стихи.

Куда б ни шёл, но через долы
Придёшь к любви, как в Третий Рим.
Лишь молния любви блеснула,
Уже стихом грохочет гром.

И я, бетонный и машинный,
Весь из асфальтов и желёз,
Стою, как гимназист влюблённый,
Не смея глаз поднять на вас.

Всё громче сердца скок по будням,
Как волки, губы в темноте.
Я нынче верю только бредням!
О разум! — Нам не по пути!

Уж вижу, словно сквозь деревья,
Сквозь дни — мой гроб — последний Рим,
И, коронованный любовью,
Я солнце посвящаю вам.

Московская Верона

Лежать сугроб. Сидеть заборы.
Вскочить в огне твоё окно.
И пусть я лишь шарманщик старый,
Шарманкой, сердце, пой во мне.

Полночь молчать. Хрипеть минуты.
Вдрызг пьяная тоска визжать.
Ты будь мой только подвиг сотый,
Который мне до звёзд воспеть.

Лишь вправься в медальон окошка —
И всё, что в сто пудов во мне,
Что тяжело поднять букашке,
Так незначительно слону.

Ах, губы лишь края у раны;
Их кличкой берегу твоей.
Не мне ль московская Верона
Была обещана тобой?!

Зов об окно дробится пеной
И снегом упадает вниз.
Слеза, тянись вожжой солёной,
Вожжой, упущенной из глаз.

Тобой пуст медальон окошка,
Сугроб так низок до окна,
И муравью поднять так тяжко,
Что незначительно слону.

1922

«Я только музыкой одной богат не напоказ…»

Новые переводы Андрея Расторгуева

Возможность посостязаться, конечно, добавляет адреналина. Но и шанс получить новый опыт, переведя стихи не знакомых ранее поэтов, и пополнить перечень языков, с которыми соприкоснулся, заводит не менее. Именно такой шанс предоставили летом 2021 года участникам очередного конкурса переводчиков «Дружба народов — дружба литератур» его организаторы из Астрахани.

Серик Аксункарулы

* * *

Ах, детства далёкого сладостный мёд!
Кто помнит себя, непременно поймёт.
Смешные поступки, чудны́е слова —
лозинка из почки, раскрытой едва…

Тринадцать мне было — казалось, немало.
— А ты целовался? — соседка спросила
и так поглядела, что кровь запылала
и сердце ударами зачастило.
И подозвала меня, как приказала.
Она была старше — ей было шестнадцать.
— Когда никому не расскажешь, — сказала, —
то станем по вечерам целоваться…

Округу большая луна подсветила,
и только мы соприкоснулись губами,
какая-то неодолимая сила,
привиделось, выросла между нами.
Как чудо, мне памятно то ощущенье,
а кто возмутится, о детстве печалясь,
что так совершилось моё совращенье —
мы геометрически вместе вращались.

Как часто потом я сгорал от досады,
пока она не выходила навстречу,
как часто ещё у соседской ограды
мы с ней целовались, я вряд ли отвечу.
Губами встречались мы около года —
и сердце частило, и кровь бушевала,
в обнимку её не застал я покуда
с джигитом другим у того же дувала.
Ничем не разгневал, ничем не обидел —
он лучше меня целовался едва ли…

В тот день я всех девушек возненавидел —
пока они снова не очаровали.

Перевод с казахского

Дато Барбакадзе

Представительство

В закатный сумрак сонные лягушки
убежища дневные покидают,
по лужицам, прудам или канавам
расходятся, пути одолевая
сквозь расстоянье, полное свиданий
нежданных — потому противоречий,
изменчивое каждою минутой,
поскольку направленье их движенья
умом не управляется, тем паче
инстинктами — лишь логикой смещений
воздушных. И, той логике отдавшись,
из полутьмы, как деловые люди,
они перемещаются во тьму.
Тела друг друга ищут, но, встречая,
похоже, удивляются безмерно.
В чём их нужда насущная? Во многом,
покуда они к будущему мирно
из прошлого идут неторопливо,
не ожидая ничего — и, значит,
нет ничего и сущего пред ними;
они лишь возвращаются туда же,
откуда вышли, и опять выходят
туда, откуда возвратятся вновь.
Так ночь своим построила порядком
разбредшуюся армию лягушек,
движениями чьими управляет
протяжный зов их внутренний неслышно —
гармонии земной бессмертный голос,
что ежедневно воссоединяет
их с неостановимым бытием.

Перевод с грузинского

Аббас Алыев

Мой саз[1]

Алеет меж горами нить, закат почти угас.
В чехле держу, чтоб не студить, тебя, любимый саз.
Все горести в моей судьбе ты разделял не раз.
Нет в мире равного тебе, мой старый добрый саз.

Царят повсюду холода, засыпан снегом свет.
Что навсегда уйдёт беда, большой надежды нет.
Здесь наша песня никому не надобна сейчас,
но ты на стужу или тьму не жалуйся, мой саз.

Чужим несладко ощущать себя в краю родном.
Могу лекарство отыскать лишь в голосе твоём.
Я только музыкой одной богат не напоказ
и знаю: ты всегда со мной останешься, мой саз.

Хлебнули горя мы пускай, момент не упускай:
о наших радостях сыграй—их тоже через край.
Пока скитаемся вдвоём, мы с человечьих глаз
безвестными не пропадём с тобою, милый саз.

Я доверял, придя на свет в родительском дому,
Аллах свидетель, с малых лет напеву твоему.
Туда, в заветный Кельбаджар[2], тебя зовёт Аббас.
Он тоже—предков щедрый дар, мой драгоценный саз!

Перевод с азербайджанского

Валери Тургай

● ● ●

Худого про народ не говорите,
не ведая народа моего,—
сперва страданий чашу осушите,
переживите сами боль его.
Узнайте цену пахотным работам,
с народом упираясь наравне.
Попробуйте полить солёным потом
хоть борозду одну на целине,
в упрёк изнеможению любому
идти в ночи под грозовым огнём…
И вы заговорите по-иному
тогда—во всяком случае, о нём.

Но лишь когда за крайним огородом
в единый день назначенный всего
вы новый дом поставите с народом—
поймёте настоящее родство.
И, может быть, на трапезе певучей,
живучестью на родину похож,
он вам споёт, как Дуб-Отец могучий[3]
на ветках подымает Звёздный Ковш[4].

Худого про народ не говорите—
сперва на высоту его взойдите…

Перевод с чувашского

Паруйр Севак

● ● ●

Ты—две буквы всего,
словно миг простоты.
Больше нет ничего,
а весь мир—это ты.
И земля—это ты,
и вода—это ты.
Как земля и вода,
ты питаешь цветы.

Ты—две буквы всего.
Больше нет ничего…

Как ребёнок, с тобою
я счастьем дышу,
а разлуки тоску
на холсты уношу.

Ты—две буквы всего.
Больше нет ничего…

Но, прильнув ко Вселенной
пылающим ртом,
знаю всё, что свершилось
и станет потом.

Ты—две буквы всего.
Больше нет ничего…

Ты уходишь, я ночью
до звёздного дна
разбираю небесные
письмена.
Словно брошенный дом,
разъезжаюсь по швам…
Сердце вновь зарастёт,
но останется шрам.

Ты—две буквы всего.
Больше нет ничего.

Перевод с армянского

1. Саз—струнный музыкальный инструмент.
2. Кельбаджар—город, который с 1993 года входил в «пояс безопасности» Нагорного Карабаха и в 2020 году был возвращён Азербайджану.
3. Могучий Дуб-Отец (Лаштра Юман-Атте)—образ из чувашской народной песни.
4. Звёздный Ковш—так чуваши называют созвездие Большая Медведица.

Танзиля Давлетбердина

Преданность

Как только я из дома уезжаю,
по родине томиться начинаю.
Через любые дальние края
зовёт меня Башкирия моя…

Лесные и небесные просторы
напоминают мне из давних пор:
минувшего отважные батыры
оставили сердца вершинам гор.

Они сражались, не жалея силы,
за каждый уголок родной земли,
на каторгу шагая или в ссылку,
её с собой на память унесли.

Как матери с отцом, ей доверяю,
спешу, как будто к дочери, любя.
Единственная моя, до края
пусть не коснутся бедствия тебя.

Пускай не ураганы—лёгкий ветер,
касаясь мягко, веет над тобой.
Пускай встречают люди на рассвете
живое солнце в дымке голубой.

Пускай не содрогнутся нам в укор
сердца батыров на вершинах гор.

Перевод с башкирского

Ренат Харис

Мужчины

Какие годы окружали нас!
Какие обступали нас эпохи!
Нам мамонты крушили позвонки,
топча ногами, толстыми, как брёвна,
мы в океаны падали с плотов,
нам черепа клинками рассекали,
тонули в бурях наши корабли…
Во множестве боёв и авантюр
мы отличились: рыскали лесами,
охотничьей добычею гордясь,
шли в Индию с великим Александром
и в Риме выходили на арену,
в плащах с крестами жгли Константинополь,
царям служили, ханам и султанам,
в Освенцимах горели, погибали
в ГУЛАГах и на войнах мировых.
Нас в этот мир приходит очень много.
Но мало остаётся до конца…

Перевод с татарского

Эзизгелди Хелленов

Разговор о разных вкусах

Гости были, чай зелёный пили,
о различных сладостях судили:
мол, любая радостью ценна,
но бывает разною она.

Разговор о перце не быстрее.
Что на свете горше и острее?
Горечью налит он дополна,
но бывает разной и она.

Очередь потом дошла до соли.
Жизнь—не сахар, соли в ней поболе,
а пресна—и вовсе негодна.
Но бывает слишком солона.

И людей, конечно, не минули:
стольких оценили-помянули—
всяк хорош с какой-то стороны.
Все как люди—сердцем неравны.

Перевод с туркменского

Адам Ахматукаев

• • •

Мимо ныне журавли летают—
чистоту души оберегают.
Родина, по горю твоему…
Но мужчине плакать ни к чему.
Вроде бы явило время милость,
только ничего не изменилось:
ходит победитель королём,
побеждённый—канул в окоём…
В жизни правота не побеждает.
Видя, что Отчизну ожидает,
громким о свободе голосам
я не верил и не вторил сам.
Те, кто проклинал меня за это,
обратились тьмою без просвета,
так что не отыщется и след—
даже пепла памятного нет.
За твоё прославленное имя
жизнями платившие своими,
Родина, с поверхности земли
как безжалостно они сошли!
И весною с горечью потери,
выходя в распахнутые двери,
вижу я, как в облачной дали
выжившие машут журавли.

Перевод с чеченского

Хурен-Алагийн Хангайсайхан

Ночь в родных горах

Поздним летним вечером не спится,
ждёт луны алеющий закат,
и не засыпающие птицы
меж собою тихо говорят.

Воздух над печной трубой мерцает,
ржёт вдали стреноженный скакун.
Лёгкий ветерок напоминает
время, где я счастлив был и юн.

Оленёнком, ожидая ласки,
ты бежишь, любимая, ко мне…
Сыном ханским из далёкой сказки
снова становлюсь я при луне.

Только здесь могу до прежней дрожи
оживить минувшие мечты.
Всей планеты ближе и дороже
горы, степь монгольская и ты.

Перевод с монгольского

Залму Батирова

Орлы

Я спросила парящего в небе орла:
— Чем земля каменистая наша мила?
Почему, различая дыхание вьюг,
от заснеженных гор не стремишься на юг?

Я вчера помахала вослед журавлям.
Неужели не хочется к тёплым морям?
Неужели, хотя не рукою подать,
не боишься зимою в горах голодать?..

И ответил парящий над миром орёл:
— Для того ли я сильные крылья обрёл?
Я чужого тепла на чужом берегу
перелётной вороной искать не могу…

Оттого на пути каменистом земном
настоящих мужчин мы орлами зовём.
И, покуда висит над землёй небосвод,
окрылённый на ней продолжается род.

Перевод с аварского

Эрдни Эльдышев

Лето 2020 года

Ты молоком, Калмыкия моя,
свой долгий путь тернистый окропляешь,
степным бурханам жертвуя дарами,
перебираешь бусы древних чёток
и молишься, колени преклонив.
Лицо твоё от ветра покраснело,
чело твоё избороздили думы,
хранящие предания седины
утратили следы былого блеска,
от горестей сощурились глаза.
Живая степь от жажды каменеет,
преображаясь в жёлтые барханы,
колючками истерзанное тело
прожорливая гложет саранча.
Твою святую, золотую речь
век-волкодав на части разрывает,
и у степи срастаются уста.
…Влечёт неумолимая судьба
летящего сквозь полночь аранзала[5],
мотаются бессильные поводья,
и пот кровавый падает в песок.
О родина, Калмыкия моя,
храни тебя синеющее небо!

Перевод с калмыцкого

Макшарип Мержоев

● ● ●

Разгорячённым голосом маня,
куда, о сердце, ты зовёшь меня?
С тревогою, покуда мы с тобой,
в груди я слышу каждый перебой.

Узнать хочу, пока мы заодно,
в кого ты, несомненно, влюблено.
Поведай мне, секрета не тая́,
о ком мечта заветная твоя.

Для песенной мелодии о ком
выстукиваешь ритмы под дождём:
мол, всё отдам, без памяти любя,—
и на́ сердце тоскливо без тебя…

Но—эврика!—сегодня понял я:
конечно, это родина моя.
На всей земле не сыщется родней
любимой Ингушетии моей.

Перевод с ингушского

5. Аранзал—эпический конь.

Билал Адилов

Глубокий старик у могилы сидит, размышляет.
Дрожит в кулаке за года отшлифованный посох,
стекают морщинами струи холодного ливня,
а он не уходит—наверное, сил не хватает…
Беззвучно шевелятся губы. Кому говорит он?
Быть может, себе самому по давнишней привычке?
Плиту обнимает могильную он временами,
на камне холодном целуя портрет поминальный.

Быть может, он грешен бывал перед женщиной этой
и молит её запоздало теперь о прощенье?
Быть может, не пережитóе на старые плечи
раскаяние за вину неизбывную давит?
Быть может, в пустующем доме живёт одиноко,
а дети его разбрелись на все стороны света?
Быть может, на ней оседающий дом и держался,
а он сожалеет, что редко бывал благодарен?

Теперь на щеках перемешаны слёзы и ливень.
Так хочется их осушить и морщины разгладить.
Но я понимаю: уже ничего не исправить.
И видеть его над могилою невыносимо.

Перевод с лезгинского

Абдулла Абдурахмагов

Клин вонзается крылатый
в небо голубое.
Машет сверху мне вожатый,
кличет за собою.

Зов знакомый, голос лёгкий,
вéдомая жажда.
За таким я в край далёкий
улетел однажды.

Но в дали морозной снова
сердце горевало—
даже ласковое слово
не отогревало.

Лишь когда обратно к дому
прилетела стая,
на груди горы знакомой
сердцем я растаял.

Перевод с табасаранского

Анварбек Култаев

Я степь люблю,
когда она, как мальчик—
тот, что сидел когда-то рядом с мамой,
садится мне на старые колени
и тихо гладит хрупкое плечо,—
или как будто девочка из детства
аульского, с которой мы стояли
у скважины тогда артезианской…

Я степь люблю,
когда мне посылает
она свой ветер свежий на рассвете,
и он даёт мне утреннюю силу
опять садиться и писать стихи
о терпеливых жителях её,
о ней и о друзьях былого детства.

Я степь люблю
и вечером глубоким,
когда она нашёптывает в ухо:
—Поспи, сынок, ты славно потрудился.
Теперь уснуть пора, поскольку завтра
нам снова подыматься на заре
и приниматься каждому за дело.
Поспи, я твой покой поберегу…

И я люблю—
люблю её, как маму
мою—родную до сердечной боли.
До самого последнего мгновенья
и выдоха короткой здешней жизни
мне дорогой и неизменно сладкой,
я верую, останется она.

Я степь люблю…

Перевод с ногайского

Ибрагим Чаящинский

Привинченный к небу

Путь

Я проснулся в ночи,
Встревоженный зовом
Манящим.
Незнакомая женщина
Мне говорила:
«Пора!»
Я оставил дом
И отправился на вокзал
Железнодорожный.
Я изучил расписание всех поездов,
Но ни один из них
Не отправлялся туда,
Куда
Звал голос.
Я поехал в аэропорт.
Наверное,
Там я смогу сесть на самолёт,
Которой отвезёт меня
К тайной возлюбленной.
Но—
Увы!—
И там меня ожидала неудача
…Между тем её голос
Терзал
Мой измученный мозг:
«Ты не там меня ищешь,
Ты слишком
Привязан к земле…»
Я к небу вознёс глаза
И среди множества подобных
Безошибочно
Узнал её,
Точнее—
Почувствовал сердцем.
Она
Воспламенила мою душу
Лиловым светом.
И я осознал:
Меня ожидает
Долгое путешествие.
Я даже не знал, с какого вокзала
Предстоит
Отправиться в путь.
Но почему-то
Я не был
Счастлив.

Сомнамбулический этюд

О этот вездесущий дождь!
Он прилетает к нам с высокого неба.
Он разбивается на сетчатках наших глаз.
Он проникает в тишину наших мыслей,
Он не уходит от нас,
Он изгой.
Отторгнутый небом, он ищет пристанища здесь.
Пожалеем его и слегка отворим окно.
Отворим ровно настолько,
Чтобы светлая тростинка, подобная лучу,
Опустилась на наши ладони.
Пожалеем его.
Ибо в нём—сокровенная наша печаль,
Беспредельная скорбь
И томленье отторгнутых душ.
Пожалеем его—
Обречённую память веков.

Дождь вытекает из туч, подобно глазу, уподобляется умирающему человеку, обретает спокойствие и превращается в слух. Он ожидает чуда. И соразмерность движений его объясняется страхом. Предчувствием полон дождь. Предчувствием полон. Прикуриваю сигарету. Разглядываю колеблющийся контур зажжённой спички. Затягиваюсь. И действия мои излучают неторопливость сфинкса, затиснутого в чёрный провал египетской ночи. Затем отстраняю руку, едва касаюсь пепельницы, и тускнеющая головка спички растворяется в ворсистой тьме.

В душе моей осень.
В глазах дождь.
А на сердце—ты, как камень.
Я спрашиваю себя: «Что делать?»
Ты пожимаешь во мне плечами.
«Дождь»,—говоришь ты
И проходишь мимо
Во мне.
И странно
Проходит всё—
Дождь,
Ты,
Жизнь.

Язык

В Вашем одиночестве,
Гулком,
Как тысяча коридоров,
Находит пристанище
Моё пустословие,
Обыденное,
Как разрезанный
Надвое
Апельсин.
Бескостный язык,
Изготовленный
По принципу
Половой тряпки
И привинченный к небу
Двумя большими болтами,
Имеет удивительную способность
Ворочаться в разные стороны
И при этом
Издавать
Вполне членораздельные звуки.
Иногда мне хочется
Выскоблить его
Оттуда
Чем-нибудь острым,
Но я
Ненавижу боль.

Ваш голос

Когда я слышу ваш голос,
Пьянящее чувство восторга
Поднимает меня
На крыльях невыразимых ощущений
Высоко над миром,
И я расстаюсь
С суетой жизни
Легко,
Словно пробил мой смертный час
И передо мной
Отворились
Прекрасные двери
Эдема.

Была ночь

Была ночь.
Мы ели
Испечённый в кара хлеб
И говорили
О Хлебникове.
Сонные звёзды
Спотыкались о выступы
Скал
И падали
В неведомое.
Была ночь.
Казалось,
Я только что родился.

Слепой дождь

Триптих

● ● ●

Ты был такой застенчивый,
Немногословный,
Прятался в лучах раздражённого солнца
И делал всё,
Чтобы не обращать на себя
Внимания.
Ты чего-то стыдился,
Мой дождь!
Или боялся
И так неумело
Скрывал свою робость,
Пробегая по листьям акаций,
Что от волненья едва их касался,
Изумрудно вскипая
На тонких ладошках,
Сникал и стекал
Торопливо,
Бесцветно,
Как школьница-скромница,
Дождь мой.

● ● ●

Ах ты! Убежал,
Непоседа.
Убежал
С высокого неба.
Растворился
В олове по́лдня,
Затерялся
В золоте поля.
И вернуться обратно
Не хочешь,
И над небом родным
Хохочешь!
Мама-облачко,
Бледная с горя,
Обронила на землю
Взор свой.
Ищет, ищет она
Сыночка
По ущельям,
По мшистым кочкам.
На утёсы глядит
С надеждой:
«Покажись, непослушный.
Где ты?»
Только ты не спешишь
С ответом.
Подружился
С весёлым ветром
И, забыв про небесную просинь,
Беззаботно целуешь
Колосья.

• • •

О тонконогий мой!
Ты падал с высоты
На землю пыльную,
На пыльные листы,
И золотился
В розовых лучах,
И был беспомощен,
Как слёзы
На глазах,
И я тебя,
Увы,
Не узнавал,
Не знал,
Какой недуг тебя сковал.
И даже руки,
Лодочкой сложив,
К тебе протягивал,
Надежду затаив,
Что вот сейчас
Коснёшься ты меня—
И оживёшь,
И обретёшь себя…
Но мимо,
Мимо
Проносился ты,
Беззвучно падал
В блёклые кусты
И, не взглянув ни разу
На меня,
Терялся в зыбком красноцветье
Дня.

• • •

Нет,
Не сидел мой дед
На горной вершине,
Подобно орлу,
И не произносил
Хрестоматийных фраз,
Которые выдумывались
Впоследствии
Кем-то.
Был он лудильщиком,
Много работал,
И руки его,
Изъеденные кислотой,
Напоминали сморщенную древесину,
Размоченную в воде.
Им было знакомо солнце,
Рождённое заново
На медной спине саргаса.

Сиреневый катафалк

Ты видела:
Был алым небосвод.
Последний день весны
Летел к закату.
И поминальную
Над бездною покатой
Пел альбатросов
Светлый хоровод.
Казалось, там,
За светлою грядой,
Где горизонт
Сливался с небесами,
На нас глядело
Скорбными глазами
Подобье наше,
Слитое с водой.
Ты видела,
Как долог путь назад.
Шагов прощальных
Трепетная леность,
Отчаянье,
Застывшее в глазах,
И пустота
Длиною в бесконечность.
Ты слышала?
Ты слышала потом,
Под утро,
Пробуждаясь от сомнений,
За окнами
Какое-то волненье
И вздохи,
Различимые с трудом.
Ты слышала?
Ты слышала, скажи,
Как по асфальту,
Бронзою отлит,
Степенный
Раздавался звон копыт
И тишина
Ползла,
Крадучись, следом,
День встречая жаркий?..
То бедную.
Везли мою любовь
В сиреневом,
Как сумрак,
Катафалке.

Александр Орлов

Без креста

Русский человек вообще умеет умирать,
а жить и действовать он не умеет…
Святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея Руси

В центре зала станции метро «Новокузнецкая» я встретился со своими учениками, и мы быстро поднялись по эскалатору, а при выходе из метро нас встретило закатное красное солнышко. Мы подходили к зданию, я стал подниматься по ступеням, и память сработала безотказно. Я уже приходил сюда, когда мне было семь, здесь работал мой папа, привезла меня бабушка, и отец водил меня по этому зданию, кормил в буфете…

Мы со школьниками прошли в студию, говорили о том, как нам построить передачу, я посмотрел на наушники, потом за окно. Подумал, что мой папа, Владимир Александрович Орлов, так же много лет назад сидел в студии, обсуждал эфир и посматривал на наушники. Было темно, в помещении царил зимний сумрак. И я на мгновение вспомнил летний день и спящего папу.

Часы замерли. Точного времени я не помню. Было тепло и тихо. Сквозь приоткрытые двери балкона через щели под шторами налетал пух. Румяные солнечные лучи, пытавшиеся прорваться в комнаты, меркли. В квартире властвовал сонный полумрак. Папа лежал на диване, накрытый с головой простынёй, и, как в детстве, я ждал, что он скоро проснётся.

Мне припоминалось наше лето семилетней давности. Красавец Севастополь, Керчь и, конечно, Коктебель, которые мне не забыть никогда. Я вышел из маленькой комнаты в большую, посмотрел на кресла и сразу вспомнил наши совместные майские праздники с папой и дедушкой. Как важно и торжественно мы рассаживались, смотрели военный парад, посвящённый очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне, потом шли в парк имени Горького, в Зелёном театре пел Иосиф Кобзон, и после минуты молчания мы шли смотреть салют на Ленинские горы.

Я задержал свой взгляд на ближнем кресле, оно показалось мне значительным, ведь именно в нём по настоянию папы я смотрел фильмы Андрея Тарковского. Мысленно я восстановил картину, когда дедушка, папа и я обсуждали кинокартины Сергея Герасимова, Сергея Бондарчука, Владимира Мотыля, и, как всегда, в этой мужской троице я ощущал себя равным. Мы болели за московский «Спартак», сборную СССР, кричали, спорили, передавали друг другу газету «Советский спорт» и альманах «Футбол. Хоккей».

Я смотрел на шкаф с книгами и вспоминал, как меня заставляли читать Аркадия Гайдара, Александра Волкова, Марка Твена. Как папа расхаживал в халате по квартире и напевал песенки на немецком и английском языках, «Битлз», «Иглз» и «Дип Пёрпл», читал наизусть Роберта Бёрнса.

Мне захотелось вернуться в маленькую комнату, потому что там были папины книги, он собирал их годами, и мне втайне от всех хотелось владеть ими. Иногда я думал, что когда папа состарится, он обязательно подарит мне все свои книги; я всегда подолгу держал в руках тома юбилейного сытинского издания «Отечественная война и русское общество 1812–1912 гг.» и «Отечественная война 1812 года в картинах Петера Хесса», каталоги русского военного мундира, и становилось грустно, что этот подарок я получу не завтра, что папа будет ещё долго жить. Я грезил, как он будет передавать мне свои статьи, которые бережно хранила бабушка в специальной синей папке, свой пропуск на московские Олимпийские игры 1980 года. Потом я вспомнил, как единственный раз приезжал к нему на работу и он показывал меня коллегам по иновещанию.

Казалось, совсем недавно мы весь весенний поздний вечер и начало ночи гуляли и говорили, говорили, говорили… Время от времени накрапывал дождик, сверкал и дымился почерневший снег, было очень темно, и только окутанные лёгким туманом фонари освещали нам дорогу. Незаметно мы обошли несколько раз Донской монастырь.

Было время Великого поста. Папа постоянно улыбался и говорил о свидетельствах всех времён и народов, говорил с восхищением, как будто он сделал самое главное открытие в своей жизни. Мой некрещёный папа как всегда спокойно, размеренно и немного свысока сказал:

— Всё в этом мире свидетельствует о том, что Он есть, понимаешь? Всё, что сейчас происходит, похоже на эпоху религиозного и национального

возрождения, это сложнейший процесс, но ты будешь свидетелем всего этого, даже потом, когда уже, скажем, не будет меня.

Он улыбнулся.

Я подумал: «Это так странно, что когда-то наступит время — и на этой земле не будет папы».

Папа продолжал:

— Всё же Бог есть, и это, в общем, доказано, но как могло произойти то, что произошло с Россией? Как? Мы были на экономическом взлёте перед Первой мировой войной. Что произошло с людьми? С их сознанием? Ты знаешь, я недавно прочитал о святителе Тихоне, Патриархе Московском и всея Руси. Он был канонизирован почти три года назад, но мы ничего не знаем о нём, вообще ничего… Пойдём.

Папа решительно зашагал вдоль монастырской стены и башен.

— Куда мы идём? — поинтересовался я.

— К Святым воротам, они называются ещё Северными. Да, конечно, сейчас ночь, мы не сможем попасть внутрь, но я их тебе покажу, — ответил он на ходу.

Мы подошли и встали напротив ворот. Папа сказал:

— Ты только представь, через эти ворота много раз входил человек, который в условиях кровавого хаоса взял на себя бремя патриаршества. Зачем? Как он решился? Сколько сил у него было? Он не мог не понимать, что идёт вслед Иисусу Христу, он принял эту чашу, пусть и не сразу, именно здесь во время заточения в Донском монастыре. Вот в том храме во имя Тихвинской иконы Божией Матери ему разрешали молиться, его келья находилась рядом. Нам с тобой надо обязательно посмотреть на неё. Отсюда он беззвучно благословлял всех приходящих, которые собирались толпами. Но многие люди ничего об этом не знают, я имею в виду не нас с тобой, а других. Именно сюда привезли его после кончины. Он же знал, что умрёт в ночь на Благовещенье, и в больнице, где он находился, не оказалось иконы, но ему привезли из Зачатьевского монастыря икону Благовещенья. Раздались сорок равномерных ударов колокола, которые оповестили москвичей и весь православный мир о всенародном горе. Без малого восемь лет после восстановления патриаршества люди боялись ухода патриарха Тихона. Поразительно, что в Москве на зданиях некоторых иностранных миссий в знак траура были приспущены флаги — и это в Советской России! Прощаться со всемирно известным патриархом Тихоном в Донской монастырь пришло более миллиона москвичей и приезжих, это потрясающая народная смелость. Они всё время нахождения тела патриарха в монастыре заполняли ближайшие улицы и ждали мгновения, когда смогут проститься с ним.

Папа развернулся лицом к Донской улице, Ленинскому проспекту, Шаболовке и продолжил:

— Всё было заполнено верующими в Бога русскими людьми. Ничего не изменилось в их сознании, ни красный террор, ни Гражданская война не уничтожили веру в сердцах. Не было давки, толкотни, ругани — только всеобщая скорбь. Это бесстрашие пастыря и народа, слившиеся воедино. Панихиды над его телом служились беспрерывно день и ночь, двойным кольцом стояли вокруг его гроба епископы и митрополиты. Вдумайся, какая колоссальная демонстрация верности, твёрдая уверенность в уходе вслед за ним — это подлинная храбрость. Ты должен это знать уже сейчас, ведь хочешь стать историком, и ты им будешь, тебе надо будет рассказывать о святителе людям. Сейчас на наших с тобой глазах происходит очень значимый фрагмент истории. После ухода от Бога народ возвращается к Нему. Это чудо!

Папа говорил тихо и восторженно, потом закурил и сказал:

— Мне сейчас страшно: как мог я в день нашей с твоей мамой свадьбы бросить икону, которой нас хотели благословить? Твоя прабабушка вынесла её к нам, а я выхватил и отбросил. Я ничего не знал тогда о вере в Бога. Святитель Тихон наставлял: «Вера есть великая сила, помогающая человеку в самых стеснённых и трудных обстоятельствах жизни». Наши души спали, ночь неверия была внутри нас. Но этого уже не исправить, за всё в жизни мы держим ответ перед Ним, а я живу без креста. Понимаешь?

Я смущённо улыбнулся:

— Понимаю.

Папа хотел проводить меня до дома, но я отказался, также с улыбкой. Он насторожился:

— Послушай, ведь уже ночь, очень поздно.

Я с нагловатой ухмылкой старшеклассника сказал:

— Пап, это мой район, кто меня здесь тронет?

Он с сомнением, но всё же внял моей самонадеянности спросил:

— Через пятиэтажки пойдёшь?

— Да, так короче, — ответил я.

— Мы раньше называли их петушками, — заметил папа.

— Теперь так зовём их мы! — ответил я.

В подъезде папиного дома мы, как всегда, пожали друг другу руки, обнялись, я поцеловал папу в щёку. У лифта он обернулся, встал ко мне лицом и произнёс:

— Ты понимаешь, Бог есть!

Он произнёс это значительно, и в этот момент тусклые лампочки домового освещения отражались в его очках. Я улыбнулся и сбежал по ступенькам, на прощание махнув ему рукой.

Я шёл домой и думал о папе. Вспоминал, как однажды, почти десять лет назад, я услышал мамин разговор по телефону с моей бабушкой по отцовской линии. Мама очень тихо сказала в трубку:

«И давно его гэбьё пасёт?» Я не дождался, пока мама или бабушка отведут меня к папиным родителям, которые жили поблизости, и отправился сам, что было строжайше запрещено, в особенности моим дедом.

Миновав железнодорожный мост, перешёл на противоположную сторону Ленинского проспекта, прошёл по аллее мимо памятника Гагарину, по улице Шестидесятилетия Октября, пересёк улицу Вавилова и, оказавшись в папином дворе, отправился искать незнакомое и неведомое гэбьё. Я осмотрел двор, сходил за футбольную коробку, за гаражи, даже дошёл до ТЭЦ, но гэбья нигде не было.

Я поднялся на седьмой этаж, позвонил в дверь. Увидев меня на пороге, дедушка вначале обрадовался, но потом неприятно удивился моему самовольному появлению, внимательно посмотрел на бабушку, которая всё ещё говорила с мамой, прикрывая ладонью трубку. И эту немую укоряющую сцену прервал я, спросив:

— Дедуль, а где гэбьё, которое пасёт папу?

Дед вытаращил на меня глаза, бросил сердитый взгляд на бабушку, сквозь зубы процедив:

— Лена, что он сказал?

Бабушка молчала, а я не унимался:

— Нет, вы меня послушайте! Я везде был: и за площадкой, и за коробкой, за гаражами, но гэбья не нашёл. Или я не знаю, какое оно, это гэбьё.

Мой дед, сын осуждённого по пятьдесят восьмой статье крестьянина-единоличника, расстрелянного по особому решению сталинской тройки, велел мне помалкивать и отправил в комнату.

Через некоторое время папу уволили с работы, но слежка за ним не прекращалась. Он, историк и журналист, специалист по Ирландии и Шотландии, по эпохе наполеоновских войн, не был нужен никому. Папа мыл полы на вокзале и в вагонах поездов дальнего следования. Только после нескольких лет унизительного низкооплачиваемого труда, при участии близких, он возобновил деятельность по специальности в газете «Водный транспорт». Повзрослев, я узнал, что папа во время радиопередачи, которая транслировалась на Западную Европу и Северную Америку, не скрывал своего отношения к репрессиям сталинского периода. Он был всегда первым, от него многие впервые слышали о Шаламове, Бродском, Довлатове, Сахарове, Солженицыне, Ростроповиче, но он никогда мысленно не шёл с ними в ногу. Теперь его сердцу открылись Бог и Патриарх Московский и всея Руси святитель Тихон.

Все эти воспоминания заставили меня вернуться в маленькую комнату, сесть напротив дивана. Вошла бабушка, сняла простыню с лица папы. Он спал. Голова была чуть вздёрнута, волосы немного рассыпались по подушке, лицо было неподвижно, нос казался острее. Папа уснул навсегда. Бабушка с почерневшим, опухшим от слёз лицом и растрёпанными волосами подняла голову папы и сказала мне:

— Посмотри, какой он красивый!

Я замер и думал, что никогда мужчина не сможет почувствовать всё то, что чувствует сердце матери…

Мою временную отрешённость прервала ведущая радио «Радонеж» Ася Абрамова. Я посмотрел в заоконную снежную темень, на образа́, окружавшие нас в студии, подумал, как коротка жизнь. Прошли годы. И вот снова я на работе у папы, через четверть века после его смерти я выхожу в эфир со своими учениками и вспоминаю о нём.

Я подумал, что не случайно я стал историком, что не случайно через несколько минут буду говорить радиослушателям о своей новой книге «Креститель Руси», посвящённой блаженной кончине святого равноапостольного князя Владимира, прославленного в народе как Владимир Красное Солнышко.

Вадим Деревянский

Маленький солдатик

«Ты только матери не говори…»

«Откуда столько воды?—недоумевал Валька.—Сколько раз по этому маршруту ходил, и никогда раньше на вентиляционном штреке воды не было. А сейчас, похоже, скоро до колена дойдёт!»

Должность у молодого парня небольшая, но ответственная—маршрутный горный мастер участка вентиляции и техники безопасности (втб). Все объекты в шахте разбиты на маршруты и контролируются один раз в сутки горными мастерами этого участка, которые с помощью интерферометра делают в установленных местах замеры метана и углекислого газа, а также следят за тем, чтобы на маршруте не было других нарушений нормативных требований охраны труда шахтёров.

Рассекает Валька воду, как катер, гонит волны по выработке. Всё бы ничего, да сапоги изношенные, дырявые, внутри них уже вовсю хлюпает. Шерстяные портянки набухли и противно трут ноги…

К воде и дырявым сапогам у Вальки отношение особое. Случилась с ним в прошлом году неприятность: походил вот так же в дырявых сапогах по колено в воде, и появилась краснота на ноге. Чешется—сил нет терпеть! Мама с бабушкой, заметив эту красноту, переполошились и вынесли вердикт:

— С такой болячкой надо к бабке идти.

— К какой бабке?—не понял Валька.

— Знамо к какой…

— А-а… Не пойду я ни к какой бабке!—возмутился он, когда догадался, о ком идёт речь.—Взрослые люди, а ерунду говорите.

— Это не ерунда, Валя. Это рожа.

«Ну и название у этой болячки!»

Ещё день отработал Валька и не выдержал, потопал в больницу. Врач только взглянул на его ногу и говорит:

— Если хочешь быстро вылечиться, иди к бабке. Бабка скажет, что ей принести,—принесёшь, она пошепчет, и всё пройдёт.

Растерялся Валька: врач, а те же глупости талдычит.

— Нет, доктор. Не верю я во всё это. Лечите официальными средствами.

Пожал врач плечами: мол, хозяин—барин,—поставил диагноз «рожистое воспаление» и прописал делать фурацилиновые повязки и пить антибиотики.

Как ни странно, помогло—за неделю Валька выздоровел. (Видать, упрямство его природное свою роль сыграло!)

И вот опять та же история—вода и дырявые сапоги.

Дошёл Валька кое-как до сопряжения вентштрека с другой выработкой—квершлагом, свернул на него. У квершлага угол наклона хоть и небольшой, но всё равно—чем выше поднимался «маршрутник», тем уровень воды в нём становился меньше.

«Надо сапоги снять и портянки выкрутить, а то опять рожа будет!»—сразу решил Валька, как только совсем выбрался из воды. Посмотрел по сторонам—сесть не на что. Опёрся спиной о стенку выработки, стянул за носок один сапог, выжал портянку, словно половую тряпку, снова намотал её, мокрую, сунул ногу в сапог. Хоть немного, но легче.

Только закончил возиться со вторым сапогом, как в соседней выработке замелькал свет «коногонок», послышались голоса и стук колёс о рельсы. «Здесь же зазоров нет, чтобы с вагонеткой разминуться—надо обратно на вентштрек выходить. Блин горелый!»

Как же не хочется опять в воду лезть!

Толкаемая двумя проходчиками, показалась большая вагонетка, гружённая рудстойками (брёвна длиной два с половиной метра и сантиметров двадцать в диаметре). А квершлаг-то наклонный! Выехала вагонетка из-за поворота и покатилась вниз под собственным весом—прямо на Вальку. Проходчики попытались удержать её руками. Бегут, спотыкаются через шпалы, но вагонетку не отпускают, видят, что впереди человек в безнадёжном положении оказался.

Да разве её, тяжеленную махину, руками удержишь? Набрала вагонетка скорость и «убежала» от проходчиков. Несутся они следом, но сделать уже ничего не могут. А Вальке, бедному, деваться некуда, до вентштрека добежать не успеет—вагонетка догонит.

«Блин горелый!»

Огляделся Валька и принял единственно верное в такой ситуации решение: выбрал место, где расстояние от стенки выработки до рельсового пути

самое большое, и быстро нырнул в пространство между ножками металлоарочной крепи. Сорвал с плеча трёхкилограммовый цилиндр самоспасателя[1], поднял его за ремень над головой повыше, чтоб себе ещё несколько сантиметров пространства выгадать, вжался спиной в стенку выработки, втянул живот поглубже, задержал дыхание…

Когда вагонетка коснулась его, ноги сами начали движение ей в противоход. Скользит ржавый борт по Валькиной груди, вдавливает парня в крепь, а он протискивается, весь сжавшись. Даже не понял, как сумел проскользнуть в мизерное пространство между ножкой крепи и вагонеткой.

Почему он так поступил, Валька и сам не знал. Здравый смысл говорил об обратном: стоять на месте, где шире всего, пока вагонетка не проедет, да и правила безопасности говорят о том же — остановиться и пропустить подвижной состав. А он поступил против здравого смысла, нарушил правила и этим… спас себе жизнь!

Едва Валька оказался позади вагонетки (ещё даже не успел опустить руку с самоспасателем), как с его стороны оба её колеса соскочили с рельса и упали на почву выработки. Верхний край борта и выступающие поверх него рудстойки ударили в рамы крепи. Ударили с такой силой, что всё крепление выработки содрогнулось, посыпалась пыль, а с деревянной затяжки полетела труха.

Как оказалось, в том месте, где находился «маршрутник», имелся не только наибольший зазор между крепью и рельсовой колеёй, но и расстояние между рельсами превышало положенное значение.

— Здрасьте, — поприветствовал Валька проходчиков.

Те неслись как угорелые. На их лицах было написано всё! Они, в отличие от горного мастера ВТБ, сразу поняли, что только что произошло. Вернее, могло произойти.

Забросил Валька на плечо ремень самоспасателя и пошёл дальше, довольный тем, что не пришлось второй раз лезть в воду. На повороте выработки оглянулся. Два проходчика, два бывалых мужика, стояли возле вагонетки и не могли пошевелиться. Стресс! Самый настоящий «столбняк», оттого что чуть не угробили молодого парня. И только тут до Вальки дошло, что несколькими мгновеньями раньше его жизнь могла так внезапно и так страшно оборваться. Ноги сделались ватными, он замер и, упёршись взглядом в вагонетку, тоже стал как вкопанный.

Долго стояли проходчики неподвижно, словно статуи. Потом один из них, придя в себя, тихо сказал напарнику:

— Давай! — толкнул его локтем и взялся за лежащую в вагонетке рудстойку.

Одну рудстойку они положили поперёк рельсов, вторую, образуя рычаг-качели, установили поверх неё, один конец завели под «брюхо» вагонетки, на другой налегли сами. Вагонетка нехотя приподнялась и стала колёсами на рельсы.

Завершив эту нехитрую (и выполненную с нарушением правил безопасности — так вагонетки ставить нельзя!) операцию, проходчики покатили вагонетку дальше и вскоре скрылись за поворотом. Железный стук колёс по рельсам давно прекратился, а Валька всё стоял, не имея сил сдвинуться с места…

Живёт Валька в частном доме в шахтном посёлке вместе с мамой, бабушкой и дедом. Отца у него нет — в шахте убило, когда Валька был совсем маленьким. Он на УШТ (участке шахтного транспорта) работал. Ставили на рельсы вагонетку, она опрокинулась и прижала его к стенке выработки. Насмерть! Всего двадцать два года отцу было.

Дед в то время работал главным инженером. Мог ли он сыну найти «тёплое» место? Конечно, мог. Но у настоящих шахтёров так поступать не принято. Хоть и сын второго руководителя на шахте после директора, а всё равно, прежде чем людьми командовать, должен был пройти всю служебную лестницу — от рабочего до… Там было бы видно, да не судьба. Состарился дед сильно после гибели сына, осунулся. Единственный сын был. Хорошо хоть успел внука родить, есть кому шахтёрскую династию продолжить.

Давно дед на пенсии, но не хочет дома сидеть, прикипел душой к родному предприятию. Начальником учебного пункта трудится — передаёт молодёжи свои знания и опыт.

Всё он сделал, чтобы избежать повторения трагедии, — направил внука Валю после окончания школы учиться в горный техникум. И работать его, «техника-разработчика месторождений полезных ископаемых», устроил не на добычной участок, где когда-то начинал сам и где при выемке угля самый высокий на шахте травматизм, и тем более не на УШТ, а на относительно спокойную должность «маршрутника» на ВТБ: плана по добыче угля и по проходке выработок на этом участке нет, никто не «снимет стружку» за не доставленный вовремя «порожняк»…

Выехал Валька из шахты, сдал в ламповую «коногонку», самоспасатель и интерферометр, помылся в бане, переоделся в чистое, зашёл в нарядную своего участка, отчитался и направился к деду.

Учебный пункт располагался в отдельном здании на территории шахты. Дед стоял у входа в учпункт и курил. Увидел издали Вальку и по его виду сразу понял, что что-то случилось.

— Рассказывай, — коротко сказал внуку, когда тот подошёл.

1. Самоспасатель — средство индивидуальной защиты горняков при подземных авариях, связанных с образованием непригодной для дыхания атмосферы, в нём за счёт химической реакции выделяется кислород.

Рассказывает Валька всё как было, а деду представляется совсем иная картина — похожая на ту, что он пережил двадцать лет назад. Вот идёт внук по вентштреку по колено в воде, заходит в наклонный квершлаг, там вручную доставляют вагонетку, упускают её, она на него катится, а Валя стоит на месте — пропускает, как и положено. Вдруг её колеса с глухим стуком соскальзывают с рельса и падают на почву. Вагонетка бьёт внука в грудь, придавливая его к креплению выработки. «А-ах!» — последний вскрик Вали. И всё!.. Прямо сейчас его зовут к телефону и он, не ожидая ничего плохого, берёт трубку. Ему сообщают, что внук его в шахте прижат вагонеткой к стенке выработки (как когда-то сын!). Он, потрясённый, не говоря ни слова, летит в баню переодеваться, потом — на место несчастного случая: ламповая, дальше по галерее в здание ствола, спуск в клети по стволу — в шахту, затем по сети горных выработок на своих двоих до того самого наклонного квершлага. Недалеко от сопряжения с вентштреком он видит прижатого вагонеткой Валю. Может, он ещё жив? Может, ещё можно что-то сделать, чтобы спасти его? Горный мастер добычного участка уже организовал рабочих, ручной лебёдкой они приподнимают и оттягивают вагонетку, и он подхватывает внука, не давая ему упасть. Рабочие помогают положить пострадавшего на почву выработки. «Сейчас, Валя, сейчас, родной, потерпи…» Здесь уже находится медсестра подземного медпункта. Она пробует пульс на его руке, светит «коногонкой» в не реагирующие на свет зрачки. Достаёт из сумки с красным крестом шприц, делает укол. Оборачивается и молча качает головой. Приносят носилки (на добычном участке обязательно есть носилки!) и осторожно укладывают на них Валю. Недалеко стоит приехавший по распоряжению диспетчера электровоз с прицепленной вагонеткой. Носилки кладут на вагонетку, и вся процессия молча движется к стволу. По пути они встречают врача РПГ (в составе обслуживающих шахты горноспасательных отрядов имеются РПГ — реанимационно-противошоковые группы, врачи которых приезжают уже экипированными в спецодежду и оказывают помощь травмированным горнякам непосредственно в шахте). Медсестра сообщает ему о принятых ею мерах. Врач РПГ осматривает пострадавшего, делает ещё укол и подтверждает бесполезность реанимационных мероприятий. Валю, накрытого шахтёрской курткой, выносят из клети и несут в поверхностный медпункт. Менее чем через час его осматривает судмедэксперт, и следователь прокуратуры выписывает направление в морг.

А потом… Потом — как обычно в таких случаях. Часа через три соберётся комиссия по «специальному расследованию» смертельной травмы, опустится в шахту для осмотра места трагедии. Домой к погибшему поедет скорбная делегация от предприятия со страшным известием. Громко заголосит мать, посереют лица родных. По команде директора в стройцехе сколотят гроб, с участков выделят «копачей», в шахтной столовой организуют поминки — для коллег. Самые близкие соберутся дома: войдут в открытую калитку, в доме перекрестятся на образа́ («Горе-то какое!»). Соседки помогут маме с бабушкой готовить поминальный обед: приготовят наваристый, с мясом, борщ, на второе — гуляш с толчёной картошкой, напекут пирожков, сварят компот. Мужики вынесут во двор и составят в длинные ряды деревянные обеденные столы, покроют их скатертями. Не хватит своих скамеек и стульев — принесут соседи столько, сколько надо. Приедут с кладбища и станут, произнося прощальные слова, пить водку из стопок — не чокаясь. «Поминайте, поминайте…» — захлопочут женщины, подавая на столы еду и спиртное. Старики будут брать своими натруженными морщинистыми руками пирожки, запивать ещё тёплую сдобу компотом, и в их глазах будет читаться жестокая жизненная несправедливость: они, прожившие долгую жизнь, продолжают свой жизненный путь, а совсем молодой парень вперёд них ушёл в вечность…

Закончил Валька рассказывать — на деда больно смотреть, в его глазах слёзы.

— Дед, ты чего? Всё хорошо!

«А ведь Вале сейчас тоже двадцать два…»

Старый шахтёр прижал крепко внука к себе и тихо попросил:

— Ты только матери не говори…

Маленький солдатик

…Они сидели на кухне втроём, когда мама попросила:

— Серёжа, иди погуляй. Нам с дядей надо поговорить.

Чужой дядя достал из кармана яблоко и со странной улыбкой протянул его мальчику. Серёжа яблоко не взял, нехотя соскочил со стула и молча побрёл к выходу. Он не любил улицу. Щупленький и маленького роста, он был объектом постоянных насмешек и издевательств со стороны физически развитых сверстников и старших ребят, которые считали его «домашним». Собственно, оно так и было. Ему нравилось сидеть дома и читать книжки. В свободное от посещения школы, выполнения домашних заданий и поручаемых родителями работ время он закрывался в своей комнате и долгими часами читал. Книги были его лучшими друзьями.

Больше других Серёжа любил книгу об истории парусного флота (бригантины, каравеллы, фрегаты…) — последний папин подарок. Отец тогда уже кричал по ночам от боли и, словно предчувствуя предстоящую разлуку, повёл сына

на ту, как действительно оказалось, их последнюю прогулку. Сначала они не спеша бродили по парку, а потом сели в троллейбус и поехали в книжный магазин… Ночью отца забрала скорая, и домой он больше не вернулся. Рак!..

Мама всё чаще отправляла Серёжу играть с мальчишками на улицу, чтоб не мешал встречаться с очередным «дядей», и эти игры становились для него всё более мучительными. Характерный пример: бугаи-старшеклассники заставили их, дворовую мелюзгу, играть с ними в футбол (с заранее предсказуемым исходом!), а затем поставили лицом к трансформаторной будке и устроили проигравшим «расстрел». Здоровые лбы по очереди лупили со всей дури по мячу, стараясь попасть как можно ближе к ребятам, и, видя их испуг, громко ржали. «Расстрел» продолжался до первого «убитого». Им оказался Серёжа — кожаный снаряд больно ударил ему в спину и буквально впечатал в стену трансформаторной будки. Опасаясь серьёзных последствий, хулиганы спешно ретировались…

А к маме утешение всё не приходило, и каждый день Серёжа наблюдал её душевные страдания. «Дяди» сменялись один за другим, но никто не мог заменить папу, да и он не давал ей разгуляться — время от времени напоминал о себе. Мальчишка узнал об этом случайно, когда однажды утром застал её рыдающей.

— Мам, ты чего? Тебя кто-то обидел?

Мама долго не отвечала, а потом не выдержала, призналась: папа приснился. Она потом часто плакала по утрам, и сын уже не спрашивал отчего — причина была та же.

С появлением «дяди Толи» в их квартире поселился невыветриваемый запах перегара. Мама тоже пристрастилась к спиртному и вскоре перестала давать Серёже карманные деньги — им самим с «дядей Толей» постоянно не хватало. Их жильё постепенно превратилось в помойку, и жизнь дома стала для мальчика совсем невыносимой. Тогда же мама его первый раз ударила. За что, Серёжа так и не понял…

С трудом дотянув до окончания восьмого класса, он за компанию со школьным товарищем уехал в другой город и поступил на учёбу в профтехучилище. Иногородним там давали место в общежитии. Зашёл в уже ставшую ему чужой квартиру, собрал свои нехитрые вещи, забрал любимые книжки и ушёл. Мама даже не спросила куда — у неё был очередной «ухажёр»…

Провожать Серёжу в армию мама не пришла, ей по-прежнему было не до него. Зато пришёл Иван Иванович — мастер производственного обучения профтехучилища, куратор их группы, который знал Серёжину ситуацию и искренне жалел его.

Иван Иванович смотрел на других призывников, которых провожали родные и невесты, с удовольствием вспоминал, как когда-то сам уходил на срочную службу.

— Тяжело тебе будет в армии — нежный ты, — сказал он на прощание. — Я вместо тебя пошёл бы, если б можно было.

Они коротко обнялись.

— Ну, ничего, не падай духом. Не ты первый такой — не ты последний… — резюмировал наставник.

В учебном подразделении «бал правили» выходцы из среднеазиатских республик, и этим всё сказано. «Чморили» жёстко — отношение к Серёже и таким ребятам, как он, было хуже, чем к рабам. Однако ночь перед отправкой в воинскую часть, где предстояло проходить службу, превзошла весь предыдущий кошмар. К азиатам приехали родные, дали офицерам «на лапу», чтоб те не мешали, и в казарме начался «праздник». Самое неприятное было то, что в этом шабаше активное участие приняли приехавшие вместе с родственниками детки. Не отставая от взрослых и подбадриваемые ими, они принялись измываться над солдатами…

Серёжа лежал на кровати, укрывшись с головой под одеялом, лишь изредка выглядывая оттуда и наблюдая за происходящим. Какое-то время его просто не замечали, но потом пришла и его очередь. Девка, лет двенадцати, бесстыже задрала подол и принялась на него мочиться. Он рывком выскочил из-под одеяла и, пробегая, успел заметить её безумные глаза и перекошенный хохочущий рот. Остаток ночи Серёжа провёл под кроватью в дальнем углу казармы.

Утром казарма предстала во всей «красе» — заблёванная и в следах крови. Все «защитники Родины» еле двигали ногами: одни — от выпитого спиртного, другие — от побоев. Их кое-как построили.

А дальше была дорога в Афганистан…

Видя, как издеваются над Серёжей старослужащие и «качки́» из нового призыва и что командир отделения не очень-то препятствует разного рода неуставным отношениям, его взял под свою опеку лейтенант — командир взвода. Взводный уже успел хлебнуть лиха на этой войне и защищал молодых бойцов от любителей их «пошпынять». Серёжу он жалел, наверное, ещё и потому, что понимал: ну какой из него солдат?! Дитё ещё совсем и по натуре своей скромный интеллигентишка — ему бы книжки читать-писать, а не с автоматом по горам лазить. Понимал это лейтенант, но ни словом не обмолвился.

Однажды вышел у них разговор по душам. Взводный сам его начал:

— А тебе что, никто не пишет?

— Почему никто, товарищ лейтенант?! Иван Иванович пишет, — и Серёжа кратко рассказал о нём.

— А родители? — участливо спросил командир.

— Отец умер, а мама...—долго думал молодой солдат, прежде чем нашёл нужные слова, а потом ещё решал, произносить их вслух или нет, но посчитал, что лучше сказать как есть:—Не нужен я ей.
— Как это не нужен?!—не понял офицер.
И Серёже пришлось выложить всю правду.
— Она меня вообще ненавидит, считает, что я виноват в её жизненных неудачах,—закончил он свой рассказ.
— А братья-сёстры есть?
— Не-а.
— Выходит, сирота ты. При живой матери... сирота,—лейтенант осуждающе покачал головой и больше вопросов не задавал.

Десяток солдат во главе с командиром взвода на боевой машине пехоты выдвинулся с блокпоста на выручку попавшей в засаду колонне.
— Малóго зачем с собой взяли?—недовольно ворчали «деды».
— Пусть потихоньку втягивается,—ответил лейтенант и, обращаясь уже непосредственно к молодому бойцу, добавил:—В бою держись ближе ко мне.
Колонна отчаянно отбивалась, в радиоэфире звучали призывы о помощи. По мере того, как БМП приближалась к месту событий, звуки боя слышались всё отчётливей. Лица сидевших на броне стали сосредоточенными, пустой трёп прекратился.
Но их тоже ждали. Если б гранатомётный выстрел оказался точным, то для них бы всё закончилось сразу, так и не успев начаться. Однако душман промахнулся: подняв облако пыли и обдав наших бойцов горячим воздухом взрывной волны с запахом сгоревшей взрывчатки, граната взорвалась в стороне, не причинив вреда. Одновременно начался обстрел из стрелкового оружия.
Первым спрыгнул с брони лейтенант, следом за ним Серёжа. Взводный на бегу кричал, отдавая приказания и пытаясь организовать оборону, но... «Бээмпэшка» вдруг начала резво разворачиваться. Успевшие спрыгнуть с неё «деды» быстро забирались обратно на броню.
— Стой! Куда?! Назад!..—орал лейтенант.
Но его словно никто не слышал: БМП вышла из-под обстрела и рванула назад к блокпосту.
— Дембеля...—командир выругался.
«Умирать никому неохота, а дембелям особенно—они уже, считай, дома»,—промелькнуло в голове у Серёжи.
Молодого солдата всего трясло от страха—для него это был первый настоящий бой.
— Не боись, помощь будет,—поддержал его лейтенант. И добавил двусмысленную фразу:—В любом случае нам осталось недолго.
Действительно, их положение было безнадёжным. Единственный положительный момент состоял в том, что они успели занять удобную для боя позицию. Командир быстро оценил обстановку и, экономя патроны, начал вести огонь, сдерживая наступавших душманов.
Серёжа понимал, что то же самое должен делать и он, но, парализованный страхом, не мог даже пошевелиться. Он спрятался за большим камнем и боялся оттуда высунуться. Лейтенант время от времени оборачивался в его сторону, и хотя не произносил ни слова, Серёже казалось, что смотрел он на него с укоризной. Сжимая в руках автомат, молодой солдат несколько раз порывался выглянуть из своего укрытия, но каждый раз включался какой-то внутренний тормоз и не давал этого сделать.
Время шло, взводный по-прежнему отбивался в одиночку... Наконец, собравшись с духом, Серёжа высунул автомат и, не глядя куда, выпустил весь рожок.
— Береги патроны!—крикнул командир.
Вокруг цокали пули, поднимая фонтанчики пыли и разбрызгивая мелкую каменную крошку. Один из таких каменных осколков попал Серёже в лицо.
— Ой!—он закричал так, как будто «поймал» настоящую пулю.
Лейтенант мгновенно оказался рядом.
— Живой?.. Ранило... куда?..—тревожно оглядел его, сразу понял, в чём дело, тихо произнёс:—Это ничего...—и, не договорив, вернулся на свою позицию.
Постепенно азарт боя взял своё, и Серёжа «втянулся». Вжав голову в плечи и экономя патроны, он вёл огонь, лишь на мгновение высовываясь из-за камня и стараясь попасть в мелькавшие уже невдалеке от них фигуры.
Видя это, лейтенант ему подмигнул и крикнул:
— Можешь ни в кого не попасть, главное—близко не подпускай.
Они продолжали вести неравный бой. В какой-то момент Серёжа поймал в прицел стреляющую фигуру и нажал на спусковой крючок. Автомат коротко вздрогнул, выпустив раскалённый свинец. Фигура тут же откинулась назад, выронив из рук оружие.
— Я попал! Товарищ лейтенант, я попал!—закричал Серёжа. Он был вне себя от радостно-пьянящего чувства, охватившего его при виде поверженного врага.—Я попал, товарищ лейтенант!
Но взводный не отзывался.
— Товарищ лейтенант...
Командир лежал ничком, уткнувшись в своё ещё горячее оружие. Казалось, офицер устал от боя, сейчас он немного так полежит и, отдохнув, снова начнёт стрелять.
Серёжа начал трясти его за плечо, как будто хотел разбудить, а когда понял бесплодность таких попыток, догадываясь, что произошло самое страшное, перевернул на спину. Лейтенант смотрел на него мёртвыми глазами. На его лице застыло

то ободряющее выражение, которое Серёжа заметил, когда видел командира живым последний раз. (Взводный даже мёртвый не оставлял бойца без своей поддержки!)

— Товарищ лейтенант, не умирайте! Товарищ лейтенант…

Ещё не веря в случившееся и смутно понимая происходящее, Серёжа продолжил отстреливаться. Он плохо видел, куда стрелял,—по его лицу текли слёзы. Молодой боец наскоро смахивал их тыльной стороной своей грязной ладони и продолжал вести огонь.

Когда кончились патроны, он взял автомат взводного и стал стрелять из него:

— Это вам за товарища лейтенанта!..

Но и боезапас погибшего офицера тоже вскоре закончился.

Враги подошли совсем близко:

— Шурави, сдавайся!

В ответ промелькнули слова устава: «Ничто… не должно заставить… сдаться в плен»,—и рассказы «дедов» о том, как душманы поступают с нашими пленными.

«Духи» поняли, что патронов у советского воина не осталось, и, стремясь захватить его живым, приближались теперь без опаски, в полный рост.

Впереди между камней показалась первая чалма, вторая…

«Сколько же их!»

Рядом лежал убитый лейтенант и, казалось, говорил: «Я здесь, я с тобой—не бойся!»

Серёжа отложил автомат. Поднялся. Достал гранату. Выдернул чеку.

— Шурави, сдавайся!

Серёжа медлил. Он совсем не думал о том, чтобы забрать с собой побольше вражеских жизней—он ждал помощи. Ждал, что вот-вот, прямо сейчас, в эту секунду, придут свои, душманы начнут в панике отступать и им станет не до него.

Но помощь всё не приходила, а больше ждать уже было нельзя—он был окружён.

Тогда маленький солдатик в последний раз взглянул на командира, разжал пальцы и выронил гранату себе под ноги:

— Мама!..

Д*и*Н симметрия

Владислав Ходасевич

Над раскалёнными песками

● ● ●

Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живём.
Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом.
И лишь порой сквозь это тленье
Вдруг умилённо слышу я
В нём заключённое биенье
Совсем иного бытия.
Так, провождая жизни скуку,
Любовно женщина кладёт
Свою взволнованную руку
На грузно пухнущий живот.

● ● ●

Не верю в красоту земную
И здешней правды не хочу.
И ту, которую целую,
Простому счастью не учу.
По нежной плоти человечьей
Мой нож проводит алый жгут:
Пусть мной целованные плечи
Опять крылами прорастут!

У моря

Лежу, ленивая амёба,
Гляжу, прищуря левый глаз,
В эмалированное небо,
Как в опрокинувшийся таз.

Всё тот же мир обыкновенный,
И утварь бедная всё та ж.
Прибой размыленною пеной
Взбегает на покатый пляж.

Белеют плоские купальни,
Смуглеет женское плечо.
Какой огромный умывальник!
Как солнце парит горячо!

Над раскалёнными песками,
И не жива и не мертва,
Торчит колючими пучками
Белесоватая трава.

А по пескам, жарой измаян,
Средь здоровеющих людей
Неузнанный проходит Каин
С экземою между бровей.

1922

Марина Жужкова

Первый день из 1418

…На окне с ситцевыми занавесками стоял горшок с цветущей красной геранью. Если девочка закрывала правый глаз, горшок с цветком прыгал влево, если левый — вправо. Это было интересно и немного отвлекало от неприятного процесса — заплетания косичек. Тем более мать не очень церемонилась с густыми светло-русыми волосами дочери, и той приходилось часто морщить свой курносый носик. Наконец вторая косичка была туго заплетена и завязана цветным бантиком. Мать легонько оттолкнула от себя девочку и улыбнулась:

— Возьми на столе кулёк с клюквой и отнеси тёте Гале. Да поищи Лялю, что-то я давно не вижу её во дворе… Скажи, пусть идёт домой! — крикнула женщина уже вслед выбегающей из комнаты девочке.

…Они жили в одноэтажном длинном здании — вероятно, в солдатской казарме, переоборудованной под комнаты офицерского состава. Дом был такой длинный, что его перегородили на две части. Чтобы попасть в другую часть, надо было пройти по улице и обогнуть строение.

Девочка прошла по коридору, бережно прижимая к груди кулёчек с клюквой, спустилась с трёх ступенек и очутилась на залитом солнцем чистеньком дворике военного городка. В голубом небе лёгкий ветер шевелил зелёные вершины тополей.

Девочка покрутила русой головёнкой. «Ну где искать эту непоседу? — подумала она о младшей сестрёнке. — Всегда Лялька что-то натворит». Рине шёл восьмой год, осенью она должна будет пойти в школу. В первый класс. А её сестрёнке только что исполнилось пять лет. Она маленькая и худенькая, но такая же, как и старшая, светло-русая и голубоглазая.

«Маленькая, а столько от неё неприятностей…» — вздохнула Рина. Вот совсем недавно подговорила соседского мальчишку и ушла вместе с ним незаметно из военного городка. Нагулялись в городском парке и вернулись к вечеру. А военный городок взбудоражили. Как же так? Двое малолетних детей пропали! Солдаты каждый уголок облазали, каждый кустик осмотрели. Папа говорил, часового трясли, как грушу, а тот клялся и божился, что не видел на проходной детей. Да как же он их увидел бы?! Он же в будочке сидит, а они маленькие, да нагнулись ещё. Прошмыгнули незаметно и — в открытые ворота. Ух, за это Ляльке досталось! Мать её так отлупила! Потом, правда, плакала вместе с ней. Рина тоже плакала, ей всегда жалко младшую сестрёнку. И маму жалко.

Девочка снова осмотрелась по сторонам. Часовой в будке, ворота заперты. Воробьи громко чирикают и дерутся на заасфальтированной дорожке. Там вот, за казармами, солдаты маршируют. Сегодня воскресенье, а они всё равно маршируют. Солдаты!..

Из-за высокого забора военного городка доносится мирное дыхание большого города. Города Минска.

«А может, она на конюшне, лошадей смотрит?..— продолжала размышлять девочка. — Или с Дружком играет? Говорят, невеста Дружка принесла четырёх щенят. И откуда она их принесла? Интересно!»

…Когда поспешные шаги ребёнка стихли в гулком коридоре, Мария, а для подруг и знакомых — Маруся, тяжело вздохнула. «Как там Ваня? — с грустью подумала она. — Столько лет даже дня выходного не давали, а тут нá тебе — и отпуск сразу, и путёвку в Ялту!» Женщина поджала красивые губы, поднялась с табурета, подошла к зеркалу, висящему над комодом. Расчёской провела по крупным, стриженным «под польку», волнистым волосам, одёрнула платье. «Пусть отдохнёт как следует. Служба у него тяжёлая, — продолжала Мария думать о муже. — Сколько по гарнизонам с ним мотаемся, по казённым квартирам?! Да и часто ли я вижу его дома-то?.. Всё сама уже привыкла делать». Женщина приблизила лицо к зеркальной поверхности, растянула пальцами морщинки у краешков губ. Для тридцати пяти лет она выглядела очень даже хорошо. Мария выпрямила стройную спину, повернулась на каблуках в одну сторону, в другую. И вдруг заметила через окно свою старшенькую, стоящую посреди залитого солнцем дворика. Женщина быстро подошла к окну, распахнула створки. Девочка, услышав звук, повернула голову. Мать выглянула на улицу:

— Что встала столбом?! Неси клюкву-то. Потом Ляльку поищешь.

Девочка испуганно кивнула и, прижимая кулёк к груди, побежала за дом.

«День-то какой! Надо бы белье вывесить,— подумала Мария и опять вздохнула.— А Ванька, небось, сейчас…» И сразу припомнились слова, сказанные ей недавно цыганкой: «Шапку свою пять лет видеть не будешь». «Шапка» — по-ихнему значит глава семьи, муж. К чему бы это? Сердце женщины защемило от непонятной тоски, душу заполнил чёрный страх. Как будто прячась от него, Мария закрыла лицо руками и тут же отбросила их. «Да что за ерунда в голову лезет?! Дела надо делать». И она порывисто направилась к выходу, подхватив по пути целый таз наполосканного белья.

…Солнце слепило глаза, когда расправленную бельину приходилось забрасывать на верёвку и развешивать. Мария наклонилась над тазом, чтобы взять следующую вещь, но тут её ноги сзади обхватили ручонки младшей дочери.

— Мам, ты меня искала? Вот я!

Мария выпрямилась, оглянулась: снизу вверх на неё смотрело улыбающееся детское личико с такими же голубыми, как сегодняшнее небо, глазами.

— Тебя Рина нашла?

Девчушка кивнула головой.

— А где ты была?

— Там,— ребёнок махнул рукой в сторону,— с Катькой играла.

— Сейчас повешу бельё, и пойдём домой. Попою тебя какавкой.

Ребёнок бросился к тазу, схватил тоненькими ручонками первую попавшуюся бельину и потянул вверх, стараясь подать матери.

— Не трогай! — воскликнула женщина и засмеялась.— Ты сейчас мне всё в песке изваляешь. Помощница.

Посмеиваясь, Мария отобрала у младшенькой мокрую вещь, стала расправлять на верёвке. Внезапно её остановил встревоженный голос соседки:

— Маруся, гляди! Что это?

Мария оглянулась на голос. Соседка стояла поодаль и смотрела в небо, прикрыв глаза от солнца ладонью. Мария тоже посмотрела вверх.

Высоко-высоко в чистом небе ровными рядами, похожие на чёрные крестики, летели самолёты. Их было много, очень много.

— Учения, наверное,— спокойно произнесла Мария и машинально начала считать: — Один, два, три…

К ней присоединилась соседка:

— Двадцать два, двадцать три… Ой, как много!..

— Тридцать три… Сорок пять… Семьдесят два…

И вдруг первый ряд самолётов резко пошёл вниз. От оглушительного воя заложило уши. Земля содрогнулась. Бомбы падали прямо в цель: склады боеприпасов, гаражи, казармы, конюшни… Небо мгновенно заволокло дымом, клубами поднятой взрывами пыли.

Мария рванулась к дочери, схватила на руки, прижала к себе, заметалась по дворику:

— Рина! Где Рина?! — и бросилась в ту сторону, куда ещё совсем недавно отослала девочку.

Боковым зрением заметила, как подлетела в воздух, развалившись на доски, будка часового, а сам молодой солдат куда-то отползал на четвереньках.

…Когда на территории военного городка разорвалась первая бомба, Рина уже заходила на крыльцо с другой стороны длинного дома, где жила подруга мамы — тётя Галя. Руки девочки от испуга разжались, кулёк с клюквой выпал, ягоды раскатились по ступенькам, по пыльной дорожке. Ребёнок инстинктивно заскочил в дом, в укрытие. Навстречу ему по длинному коридору из распахнутых слева и справа дверей бежали солдаты, офицеры. Казалось, или это действительно было так, вся постройка ходила ходуном. Девочку затолкали, закрутили взрослые человеческие тела, она в растерянности металась между ними, перепуганная и оглохшая от грохота, доносившегося с улицы, от грохота дверей и топота ног. В голове ребёнка мелькнула спасительная мысль: «Назад! К маме». Рина стала пробираться к выходу.

…Сквозь кромешный ад взрывов, вой сирен, крики людей, грохот обрушающихся построек, столбы поднятой пыли и щебня, клубы едкого дыма девочка бежала домой. А навстречу ей уже летел пронзительный крик матери:

— Рина!

Подбежала, обняла, крепко прижала к себе дочь одной рукой. На другой держала Лялечку, та ручонками уцепилась за шею матери. Мария почти прокричала в ухо старшенькой:

— Скорей, скорей. В бомбоубежище.

И повлекла её за собой к развороченным воротам военного городка.

…В бомбоубежище было душно и жарко. Со сводчатого потолка свисали на шнурах тусклые лампочки. В их жидком жёлтом свете лица людей проступали из сумрака помещения серыми пятнами. Народу набилось много. Плакал ребёнок, тоскливо и нудно причитала какая-то женщина, остальные переговаривались вполголоса. То там, то здесь слышалось одно и то же пугающее слово: «Война».

Гул взрывов доносился в бомбоубежище глухо, но лампочки под потолком иногда начинали испуганно мигать в такт ударам.

Ляля зашевелилась, прижатая к груди матери, расцепила влажные ручонки вокруг её шеи. Тихонько захныкала, попросила пить. Мария махнула рукой женщине с холщовой сумкой через плечо, та стала пробираться к ним между лежащими

и сидящими людьми. В руках женщина держала железную кружку и алюминиевый бидон. Добравшись, протянула кружку, налила туда немного воды. Мария напоила младшенькую, потом дала попить Рине. Та сделала пару глотков, вытерла рот тыльной стороной ладошки и вернула кружку женщине. Вода была тёплой и припахивала железкой.

Звук бомбёжки постепенно стихал. Затем наступила тишина.

Люди в бомбоубежище задвигались: начали подниматься, собирать какие-то свои вещи, приводить одежду в порядок. Громко заплакал ребёнок.

Тяжёлые двери бомбоубежища открылись, на пороге появился офицер:

— Граждане, между авианалётами возможен перерыв в полчаса. Выходите и как можно быстрей идите в конец улицы. Там вас ждут машины.

Мария, крепко взяв Рину за руку и прижав к себе Лялю, стала пробираться к выходу.

На улице было уже совсем темно. Больше половины ночного неба заливало зарево пожара. Минск полыхал.

Бомбоубежище находилось метрах в ста от ворот военного городка. Мария с детьми побежала к намеченной цели. Из темноты наперерез им бросился офицер:

— Куда?! Бегите по улице, там, в конце, стоит грузовик. Людей увозят за город, километров на сорок.

— Мы тут рядом. Из военного городка. Мне бы документы взять да для детей что-нибудь из одежды.

— Какая одежда?! — заорал офицер. — Между авианалётами всего полчаса! Бегите к машине!

— Мне документы взять! — не слушая его и избегая расставленных рук военного, закричала женщина и нырнула в развороченный провал ворот военного городка.

...Даже в темноте то, что увидела Мария, ошеломило её. Всё лежало в руинах. Только дом, в котором они жили, стоял нетронутый. Женщина с детьми поспешно добралась до своей комнаты. Первый раз за всё время Мария спустила с рук младшенькую. Сдёрнула с вешалки два детских пальтишка, подала девочкам:

— Надевайте, быстро!.. — а сама заметалась по комнате.

Сорвала со стены портрет мужа, разбила стекло, вынула фотографию. Бросилась к комоду, вытащила из ящика нужные документы, рассовала их по карманам своего пальто, надела его. Хотела было уже выходить из комнаты, но метнулась к шкафу, достала железную флягу, перелила туда из кастрюльки какао. Туго завинтила крышку, сунула флягу в карман. Секунду помедлила и тут же, подхватив младшую дочь на руки, а старшую подтолкнув к выходу, поспешила прочь.

...На выходе из военного городка их дожидался уже знакомый офицер.

— По улице! По улице! — махал он рукой в нужном направлении.

Мария с детьми побежала по улице. Вскоре она увидела стоящий грузовик, в который солдаты помогали забираться людям. Около машины метался офицер с красной повязкой на рукаве:

— Скорей, скорей! — подгонял он то ли солдат, то ли забирающихся людей.

Сильные руки подхватили Марию с обеих сторон и легко вместе с Лялей подсадили в кузов грузовика. Машина тронулась. А Рина осталась стоять на дороге.

Девочка закричала. В этом крике было всё: весь ужас пережитого, беспредельное детское отчаянье и леденящий страх одиночества.

Грузовик тормознул. Появившийся из сумрака солдат подхватил перепуганного ребёнка на руки и забросил в кузов. Рина изо всех сил прижалась к матери. Та гладила её рукой по вздрагивающим плечикам.

Грузовик рванулся с места.

...Военный городок располагался чуть в стороне от центра Минска. И хотя грузовик с людьми мчался по узким улочкам окраины города, где разрушения были незначительны, воздух тяжелел от едкого запаха гари. То сильней, то слабей тёмное небо озарялось всполохами пожаров.

Вскоре воздух стал чище, прохладнее, а зарево горящего Минска — менее ужасающим. Вдоль дороги потянулись заросли кустов, высокие деревья. Наконец грузовик остановился. Из кабины выскочил всё тот же офицер с повязкой на рукаве, снова стал подгонять вылезающих из кузова людей:

— Скорей, граждане, скорей! Мне ещё в город за новой партией возвращаться. Двигайтесь в восточном направлении. Поняли? В восточном.

Он запрыгнул в кабину, грузовик развернулся и скрылся в сумраке июньской ночи.

Молчаливые люди разошлись по дороге, кто свернул в сторону, кто почему-то пошёл назад. Вскоре Мария с детьми одиноко шла в указанном офицером направлении. За её спиной всё ещё было видно на небе зарево полыхающего Минска.

...Становилось всё темнее. Рине казалось, что они идут по пустынной дороге давно-давно. Глаза девочки начали слипаться, и она сама уже несколько раз сильно спотыкалась сандаликами о землю, едва не падая. При этом мать резко дёргала руку ребёнка вверх и продолжала тянуть за собой.

Наконец Мария свернула с дороги. В пятишести метрах от неё нашла пологую ямку, заросшую травой, расстелила своё пальто, усадила на него детей. Достала флягу с какао, дала девочкам, затем сама допила последнюю пару глотков,

не почувствовав ни вкуса, ни запаха напитка. Поудобнее положив дочек рядом с собой, как смогла, накрыла их полами пальто и тут же провалилась в тяжёлый чёрный сон.

…Рина проснулась от неприятной прохлады. Открыла глаза и увидала, что небо в просветах между вершинами деревьев светлое, чистое и высокое. Но солнце ещё не поднялось над лесом. Где-то рядом, в придорожных кустах, пела птичка. А вокруг — на траве, на примятых полевых цветах, на полах маминого пальто — блестели капельки росы.

Страшный день закончился. Первый день из 1418 канул в вечность. Над землёй разгорался новый день. Второй день Великой Отечественной войны для моей бабушки, мамы и тёти.

Д*и*Н симметрия

Максим Горький

Отшельник

(фрагмент)

Лесной овраг полого спускался к жёлтой Оке, по дну его бежал, прячась в травах, ручей; над оврагом — незаметно днём и трепетно по ночам — текла голубая река небес, в ней играли звёзды, как золотые ерши.

По юго-восточному берегу оврага спутанно и густо разросся кустарник, в чаще его, под крутым отвесом, вырыта пещера, прикрытая дверью, искусно связанной из толстых сучьев, а перед дверью насыпана укреплённая булыжником площадка в сажень квадрата, от неё к ручью спускаются лестницей тяжёлые валуны. Три молодых дерева растут перед дверью пещеры — липа, берёза и клён.

Всё около пещеры сделано хозяйственно и прочно, — на долгую жизнь. И так же прочно устроена внутренность её: бока и свод покрыты циновками из прутьев ивняка, циновки смазаны глиной, смешанной с илом ручья; налево от входа сложена небольшая печь, а в углу — аналой, покрытый, точно парчою, плотной рогожей, на аналое в железном держальце — лампадка, синеватый огонёк её колеблется, в сумраке, чуть виден.

За аналоем три чёрные иконы, на стенах висят связки новых лаптей, на полу лежит лыко, вкусный запах сухих трав наполняет пещеру.

Хозяин этого жилища — старик среднего роста, плотный, но весь какой-то измятый, искусанный. Лицо его, красное, точно кирпич, безобразно, левая щека разрезана от уха до подбородка глубоким шрамом, он искривил рот, придав ему выражение болезненно-насмешливое, тёмненькие глаза изувечены трахомой[1] — без ресниц, с красными рубцами на месте век, волосы на голове вылезли клочьями, и на бугроватом черепе — две лысины, одна — небольшая — на макушке, другая обнажила левое ухо. Но старик подвижен и ловок, точно хорёк; уродливо голые глаза его смотрят ласково; когда он смеётся, увечья лица почти исчезают в мягком обилии морщин. На нём хорошая рубаха небелёного полотна, синие пестрядинные штаны, верёвочные лапти, ноги до колен в заячьих шкурках вместо онуч.

Я пришёл к нему весёлым днём мая, и мы сразу подружились, он оставил меня ночевать, а во второе моё посещение уже рассказал мне свою жизнь.

— Я пильщик был, — сказывал он, лёжа под кустом калины, сняв рубаху и грея на солнце грудь, мускулистую не по-стариковски. — Я семнадцать лет брёвна резал, вот и рожу мне пила распахала. Так и звали меня — Савёл Пильщик. Пилить — это, дружба, не лёгкая занятия: машешь, машешь руками в небо, а на роже — сетка, а над головой — брёвна, и ничего не видать, и опилок на тебя сыплется — беда! А я — весёлый был, игристый, турманом жил, знаешь — голуби есть турмана: взовьётся высоченно в небеса, в самую невидимую глубь, свернёт там крылья, головку под крыло и — бултых вниз! Многие убиваются насмерть, об крыши, об землю. Вот эдак и я. Весёлый я был, безобидный, вроде блаженного какого, бабы, девки любили меня, ну — как сахар, — верное слово. Что делалось! Вспомнить радошно…

1922

1. Трахома — хроническая вирусная болезнь, поражающая глаза и приводящая к слепоте (*ред.*).

Геннадий Авласенко

Бобби

Случай на болоте

Сначала Максим даже не испугался, страх пришёл после. А сразу, прыгнув с кочки на кочку и провалившись вдруг почти по колено в вязкую болотную жижу, он ощутил одно лишь раздражение на собственную свою неуклюжесть. Да ещё досаду, что всё так нескладно получилось. Холодная грязная вода сразу же протекла в сапоги… и теперь придётся целых пять километров тащиться до посёлка с мокрыми ногами. А с утра вновь заложит горло, это уж как пить дать!

Но когда он, дёрнувшись, так и не смог высвободить ног из болотного плена, когда он почувствовал вдруг, как непросто будет это сделать,—пришло первое беспокойство. Не страх ещё… но нечто весьма с ним схожее. Тем более что от отчаянного этого рывка ноги завязли так глубоко, что даже колени очутились в холодной воде.

«Ничего себе приключеньице!—невольно подумалось Максиму.—И это на нашем маленьком болотце, исхоженным мною, как говорится, вдоль и поперёк!»

Он взглянул на ведёрко с клюквой, которое держал в левой руке. Ведёрко мешало, но куда ж его в таком случае девать? Бросить вперёд, на пригорок? Рискованно, ягоды могут рассыпаться…

И вдруг Максим понял, что болото продолжает засасывать его! Вот уже и низ штормовки коснулся воды…

Вот тут-то и охватил его первый страх. Не заботясь больше о ягодах—пропади они пропадом!—он швырнул ведёрко по направлению пригорка, и оно, конечно же, завалилось набок. Но Максиму было уже не до клюквы: напрягая все силы, он рванулся было из холодной ловушки… но болото и не подумало отпускать…

— Вот чёрт!—пробормотал Максим сквозь крепко сжатые зубы и, наклонившись вперёд, попробовал дотянуться руками до невысоких зарослей ивняка, росшего неподалёку.

Не дотянулся, лишь загряз в трясине почти по пояс.

В полном отчаянье Максим взглянул сначала в одну сторону, потом в противоположную. Обычно на болотце в это время были ягодники, хоть пару человек да присутствовало, и Максима это всегда здорово раздражало: конкуренты, что ни говори! А вот сейчас, когда нужно, никого вокруг не было ни видно, ни слышно…

Или всё же попробовать позвать?

— Эй!—как можно громче крикнул Максим.—Кто-нибудь! Помогите!

Он замолчал, прислушиваясь, но вокруг по-прежнему было тихо.

Меж тем туманное утро постепенно уступало место новому сентябрьскому дню. Солнце уже почти показалось над лесом, и Максим вспомнил вдруг, что сегодня после обеда они с женой собирались в райцентр. Вернее, в райцентр нужно было жене, а Максим обещал отвезти её туда на мотоцикле…

И вот такая неудача!

— Эй!—повторно закричал Максим.—Люди! Сюда!

Он уже загряз считай что по самую грудь и всё продолжал и продолжал медленно опускаться вниз.

Поднимавшееся солнце довольно быстро рассеяло по кустам остатки ночного тумана, и воздух над болотцем теплел с каждым новым мгновением. Но болотная топь снизу оставалась холодной, как лёд, и у Максима сильно замёрзли ноги. Он попытался пошевелить ими хоть чуточку, но так и не смог этого сделать.

«Вот и смерть пришла!—мелькнула в голове Максима паническая мысль.—И так нелепо!»

— Ты считаешь, что нелепо?

— Что?—мгновенно вскинув голову, Максим вдруг увидел прямо перед собой какого-то мужчину в чёрной одежде.

Сердце радостно застучало в груди; всхлипнув, он протянул в сторону незнакомца руку, всю перемазанную бурой болотной жижей:

— Спасибо тебе, браток! А я уж думал: кранты мне!

Но незнакомец почему-то с помощью не торопился. Вместо этого он лишь зевнул равнодушно, так же равнодушно осмотрелся по сторонам и, вновь повернув голову в сторону Максима, проговорил неприятным, скрипучим каким-то голосом:

— Ты так и не ответил на мой вопрос!

— Какой вопрос?—не понял Максим, продолжая ощущать, как болотная топь утягивает его вниз.—Я помощи прошу, а ты…

— А я спросил: ты что, и в самом деле считаешь свою смерть такой уж нелепой?

— Смерть?! — Максима вдруг охватила злость, да такая, что мгновенно вытеснила из его души самые последние остатки страха. — Я пока ещё жив! Жив, слышишь ты, шутник хренов?! Жив пока ещё…

— Пока ещё… — задумчиво повторил незнакомец, и Максим умолк, невольно ощущая, как на него с новой силой наваливается страх. Даже не страх — слепой панический ужас!

Только теперь он смог более внимательно рассмотреть незнакомца… странного какого-то незнакомца.

Во-первых, его одежда, весьма неподходящая для хождения по болоту. Безукоризненно скроенный чёрный фрак с узкими брюками такого же угольно-чёрного цвета, коричневые блестящие ботинки без единой даже капельки болотной грязи. Ослепительно-белые перчатки на руках и ослепительно-чёрный цилиндр на голове…

Во-вторых, глаза. Они были огромными, пунцово-красными, с узкими поперечными щелями вместо зрачков…

А ещё в том месте, где неподвижно стоял незнакомец, прямо из-под ног его вырывались вверх тонкие струйки пара…

«Это не человек! — лихорадочно подумалось Максиму. — Люди не бывают такими… Кто же это тогда?»

Впрочем, в данный конкретный момент Максиму было глубоко наплевать, кто сейчас перед ним. Он просто не хотел умирать.

— Помоги! — еле слышно прохрипел Максим, вторично протягивая в сторону незнакомца перемазанную грязью руку. — Вытащи!

Присев на корточки, незнакомец внимательно посмотрел на Максима жуткими своими глазами.

— И всё же я жду ответа на свой вопрос, — медленно проговорил он… и в скрипучем голосе незнакомца Максим почувствовал вдруг какую-то скрытую для себя угрозу. — Ты по-прежнему продолжаешь считать свою смерть нелепой?

— Да! Да! Да! — прохрипел Максим, ощущая, как ледяная вода начинает обжигать шею. — Я так считаю!

— А смерть мальчика, сбитого твоим грузовиком три года назад, — она тоже относится к разряду нелепых?

— Какого мальчика? — Максим попробовал шевельнуться, но болото держало крепко. — Я никого не сбивал!

Незнакомец вдруг скорчил некую то ли усмешку, то ли гримасу, а Максима даже передёрнуло от одного лишь вида его мелких и на удивление острых зубов.

— Он остался жив, тот мальчик! — закричал Максим, крепко зажмуриваясь… только б не видеть этой жуткой пасти возле своего лица, не ощущать того нестерпимого жара и смрада, что от неё исходили! — Я видел в зеркальце, как он вскочил на ноги и даже поднял свой велосипед! Я сам это наблюдал!

— Он умер через несколько минут после того, как поднял велосипед, — услышал Максим у самого своего уха скрипучий голос незнакомца. — Если бы ты остановился тогда, ты бы и это увидел. Но ты не остановился!

Вода дошла Максиму почти до самого рта. Чтобы не захлебнуться, пришлось как можно выше задрать голову.

— И ты обвиняешь меня за то, что я не остановился тогда?! — прохрипел он, отплёвывая болотную грязь и тину. — Ведь это единственное, в чём я виноват, во всём остальном мальчик виноват сам! Если ты знаешь всё — ты должен знать и это!

Правую его руку сжали, словно раскалёнными клещами, и Максим, вскрикнув от боли, понял вдруг, что незнакомец его держит. Не вытаскивает, а именно держит…

— Я ни в чём тебя не обвиняю! — лениво и как-то на удивление безразлично проскрипел незнакомец. — Я вообще никого и никогда ни в чём не обвиняю! Вот и сейчас я лишь пытаюсь выяснить, чья же смерть была более нелепой: твоя или этого мальчика?

«Была! — лихорадочно подумалось Максиму. — Он сказал: „была“! Он и не думает вытаскивать меня из трясины!»

— Кто ты такой, и что тебе от меня нужно?! — что есть силы закричал Максим, по-прежнему не открывая глаз… правая рука его горела так, словно её жгли открытым пламенем. — Тебе ведь от меня что-то нужно, так?! Что?! Мою душу?!

Незнакомец тихо и тоже как-то скрипуче рассмеялся.

— Я возьму у тебя то, о чём ты и сам ещё не догадываешься!

Звонкий собачий лай послышался где-то неподалёку. И женские голоса. А потом Максим вдруг ощутил, как незнакомец рванул его за руку, одним мощным рывком вырывая из трясины… в следующее мгновение он потерял сознание…

Очнувшись через какое-то время и открыв глаза, Максим был почти уверен, что лежит он теперь возле ивняка, весь с головы до ног перемазанный болотной грязью. Но вдруг оказалось, что он не лежит, а стоит с полным ведёрком ягод возле этого самого ивняка, и одежда его сухая и совершенно чистая, как и сапоги. А неподалёку собирают клюкву какие-то незнакомые женщины, не обращая при этом на конкурента ни малейшего внимания. Лишь чёрный лохматый пёсик, вертевшийся подле них, немного заинтересовался Максимом и даже лениво на него тявкнул несколько раз.

И никакого болотного «окна», никаких даже признаков того, что совсем недавно тут, завязнув в трясине, хрипел и захлёбывался человек. Земля вокруг Максима хоть и была вязкой, но всё же

довольно надёжной, как и везде на небольшом этом болотце…

«Что же это было тогда?—растерянно подумалось Максиму.—Или всё это мне только почудилось?»

Вскинув голову, он взглянул на солнце. Если судить по его расположению, было уже часов одиннадцать, никак не меньше. И до посёлка около часа ходу… а он же обещал жене отвезти её после обеда в больницу, в женскую консультацию…

Стоп! А зачем ей понадобилась в эту самую консультацию?! Вчера он не стал расспрашивать, и сама она тоже ничего такого не сказала. Неужели она…

Неужели она, наконец, забеременела?! После десяти лет совместной жизни… десяти лет, полных надежд и самых горьких разочарований… неужели, наконец, это случилось?!

Он станет отцом!

И вдруг Максиму вспомнились последние слова незнакомца в чёрном. Как он там сказал? Возьму то, о чём ты и сам ещё не догадываешься…

Но ведь его не было, этого незнакомца! И не было ледяной болотной топи, её просто не могло быть на маленьком этом болотце! Всё это лишь почудилось Максиму… такое вполне возможно…

Или нет, невозможно? Ибо слишком реально, до боли, до ужаса реально всё это происходило! И трясинная топь, зимним холодом обжигавшая тело, и сам незнакомец в чёрном, с такими жуткими глазами и руками, обжигающими уже по-настоящему…

И эти самые последние его слова: «…возьму то, о чём ты и сам ещё не догадываешься!»

И тот мальчик на шоссе… он что, и в самом деле умер тогда?

Глупости! Глупости! Глупости!

Опустив ведёрко с ягодами на мох, Максим прижал ладони к вискам, сильно, как мог. Не надо об этом думать… три года он не думал об этом, просто заставлял себя не думать! Он утешал себя надеждой, что всё тогда обошлось, ведь его не объявили в розыск, не нашли, не арестовали, в конце концов, а значит…

Значит, что? Что у нас стопроцентная раскрываемость преступлений? Но ведь это не так, ни в одной стране мира не достигли ещё такого уровня!

Мальчик на шоссе выглядел лет на десять-двенадцать, не больше. Сейчас ему было бы… сколько же ему было бы сейчас? Тринадцать? Четырнадцать?

А может, его жена и не беременная вовсе? Может, в консультацию ей нужно… да мало ли по какому делу ей туда нужно? Существует столько женских болезней, самых разных…

А тот пацан, он сам во всём виноват! Зачем было лезть под колёса? Нельзя вообще таким малявкам ездить по шоссе… Куда только родители смотрят?!

И он просто не мог погибнуть, тот мальчик! Самое страшное, что могло случиться с ним,—два-три синяка. Ну, в крайнем случае, вывих или перелом. И это было так давно…

Тут блуждающий взгляд Максима остановился на ярко-зелёной кочке неподалёку. Эта была та самая кочка, что так подвела его… сорвавшись именно оттуда, он и погряз то ли наяву, то ли в болезненных своих грёзах…

Сейчас же она выглядела вполне безобидно, эта кочка…

И Максим прыгнул прямо на неё. И упал, потеряв равновесие, и рассыпал при этом добрую половину ягод…

Странно, но его почему-то это совсем не расстроило. Наоборот, вскочив на ноги и пригоршнями подбирая с травы рассыпанные ягоды, Максим ощутил вдруг какой-то небывалый прилив сил. Кочка оказалась самой обычной кочкой и ничем больше, а значит…

И тут Максим неожиданно заметил следы возле ивняка. Странные следы, будто выжженные чем-то раскалённым, ибо трава в том месте пожухла, пожелтела и даже немного обуглилась по краям.

И они быстро исчезали, эти следы! Жёлтая жухлая трава на глазах у Максима распрямлялась, вновь обретая сочный ярко-зелёный цвет… и вот она уже ничем не отличается от соседней травы, совершенно ничем не отличается…

Что это, новый глюк? А рука, правая его рука, что с ней?

Максим быстренько закатал рукав и долго смотрел на своё запястье, смотрел, но ничего особенного там так и не увидел. Рука как рука, немножко саднит, правда…

Как после ожога…

Переведя взгляд на кочку, Максим медленно к ней приблизился.

— Возьми меня!—еле слышно прошептал он, обращаясь неизвестно к кому.—Не сына, меня! Ведь это я во всём виноват—за что же ему отвечать?!

Потом он замолчал, тревожно ожидая чего-то, но ничего ровным счётом не произошло.

— Возьми!—почти умоляюще повторил Максим.—Я больше не буду просить о помощи… правда, не буду!

И снова ничего не произошло.

— Ну и чёрт с тобой!

Не думая больше ни о чём, страшась хоть о чём-то думать, Максим подхватил ведёрко и быстро зашагал по направлению к дому. Он шёл напрямик через болото, шёл, словно нарочно выбирая на своём пути самые вязкие и самые подозрительные места. Он ступал по ним изо всей силы, так, словно желая вновь провалиться куда-то вниз, провалиться, загрязнуть, ощутить, как ледяная вода крутым кипятком станет обжигать тело…

Но всё было напрасно. Не было таких мест на маленьком их болотце, тут их просто не могло быть.

И кому, как не Максиму, было знать об этом?..

Бобби

Он вошёл в прихожую и сразу же услышал знакомый запах тушёной капусты с грудинкой. Когда-то он любил это блюдо, но за последнее время почти возненавидел его. Правда, сказать об этом жене у него не хватало духа.

— Это ты? — донёсся со стороны кухни знакомый высокий голос. — Ты уже пришёл?

Раньше несуразный этот вопрос вызывал у него неизменную улыбку, но это было раньше. В те времена, когда он ещё умел улыбаться…

— Здравствуй, дорогая! — произнёс он, заходя на кухню и целуя жену в рано поседевший висок. Потом он бросил взгляд на другую сторону стола и добавил: — Привет, Бобби!

Бобби никак на это не отреагировал. Взлохмаченная голова его едва выглядывала из-за края стола, прямо перед ним на тарелке медленно остывала целая гора манной каши.

— Бобби — молодец! — перехватив взгляд мужа, поспешно проговорила жена. — Он почти не баловался, когда мы гуляли по улице, а потом я читала ему сказки. И знаешь, он уже почти всё понимает!

Женщина смотрела на мужа, в её глазах таилась надежда, тревога и ещё что-то не совсем понятное. Она словно ждала чего-то от мужа, каждый вечер ждала… и каждый вечер напрасно…

— Я переоденусь, — пробормотал он, торопливо покидая кухню. — И знаешь, не клади мне слишком много капусты, что-то не хочется. Лучше завари кофе.

Когда он вернулся, Бобби за столом уже не было, тарелка из-под манной каши стояла пустой, а другая тарелка, до краёв наполненная капустой с грудинкой, уже ждала его. Так было всегда, но он никогда не задавался вопросом, куда девается каша. Ещё он никогда не переспрашивал насчёт кофе.

Вздохнув, он просто сел за стол и взял вилку. Женщина села напротив, тревожный взгляд её странных глаз буквально застыл на лице мужа. Это было не очень приятно, но он уже успел привыкнуть и к этому.

Он ко многому успел привыкнуть за последнее время…

— Я уложила Бобби спать, — проговорила женщина тихим усталым голосом. — Он, правда, хотел ещё погулять, но я не позволила. В его возрасте главное — сон!

Надо было хоть как-то отреагировать на эти слова жены, и он молча кивнул головой, соглашаясь с тем, что, и в самом деле главное — это сон.

— Ты неважно выглядишь, — сменив тему, проговорила женщина, и глаза её вновь тревожно заблестели. — Плохо спишь, кричишь по ночам. У тебя что, неприятности на работе?

Единственным положительным моментом во всех этих разговорах являлось то, что на вопросы жены можно было и не отвечать. Вот и сейчас он лишь неопределённо пожал плечами, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы жена посчитала данную тему полностью исчерпанной.

На сегодняшний вечер, разумеется…

К тому же он знал, какова будет следующая тема. Они словно каждый вечер играли одни и те же роли в какой-то странной, абсурдной и неизвестно кем написанной пьесе, и он успел хорошо выучить свою роль.

— Дорогой! — голос жены был тревожный и умоляющий одновременно. — Бобби уснул, но не мог бы ты всё же подняться, посмотреть, как он там? Я знаю, ты устал, но всё же…

— Разумеется, дорогая! Я сейчас к нему загляну.

Что ж, они и в самом деле хорошо знали свои роли…

Поднимаясь по скрипучим ступенькам на второй этаж, он вдруг поймал себя на мысли, что вновь, как и вчера, как и позавчера, как и каждый вечер, поднимаясь сюда, он надеется на чудо. Вдруг, отворив дверь детской, он увидит в кроватке… Бобби? Настоящего Бобби!

Но чуда не произошло. И, поняв это, он молча подошёл к детской кроватке и, остановившись неподалёку, принялся всё так же молча смотреть на куклу, лежащую в ней. Большая потрёпанная кукла из целлулоида — таких, кажется, теперь уже и не производят — лежала с закрытыми глазами, и издали её и в самом деле можно было принять за спящего ребёнка.

Но это лишь издали…

Ему вдруг припомнился тот кошмарный вечер двухлетней давности, когда, услышав отчаянный крик жены, он вбежал сюда и впервые увидел эту куклу. Она лежала в кроватке их сына, сам же мальчик исчез, причём обстоятельства его исчезновения были самыми загадочными, ибо окно осталось закрытым и даже заклеенным, а через форточку смог бы пролезть разве что сам Бобби, если бы годовалое дитя умело это делать…

А потом тревожное ожидание у телефона… напрасное ожидание… никто так не позвонил им. И правоохранительные органы тоже ничем не смогли помочь… до сегодняшнего дня судьба их маленького сына осталась неизвестной.

Неизвестной для него. А вот жена от горя и безысходности вдруг поверила, что эта старая целлулоидная кукла, которую похититель (или похитители) оставили почему-то на месте преступления, и есть их Бобби, их маленький мальчик, которого просто кто-то заколдовал, превратив в куклу. Это было единственным проявлением её

помешательства, во всём же остальном женщина оставалась прежней, вернее, почти прежней…

Правда, это «почти» дорого ему стоило…

Оторвавшись, наконец, от невесёлых своих мыслей, он вдруг вздрогнул и даже сделал шаг назад. Неожиданно ему показалось, что кукла исподтишка наблюдает за ним сквозь полузакрытые веки.

Разумеется, это была иллюзия, оптический обман… хватало и одного сумасшедшего в этом доме, хватало и тех кошмарных снов, которые он видел считай что каждую ночь…

И всё же…

Минуту назад он готов был поклясться, что кукла исподтишка наблюдала за ним.

— Кто ты?! — спросил он тоскливо и безнадёжно. — Откуда ты взялась тут, и где сейчас мой маленький Бобби? А может… может, моя жена права, и ты — это он? Если ты и в самом деле — Бобби, знай, что я люблю тебя! И никогда не переставал любить! И никогда не переставал… надеяться…

Не договорив, он повернулся и пошёл прочь. Притом всё то время, пока шёл к двери, его не оставляло ощущение, что кукла, слегка повернув голову, смотрит ему вслед. С сочувствием, с сожалением, а может, и с угрозой.

Это было весьма неприятное ощущение, но он так и не осмелился обернуться, чтобы убедиться в обратном. Вместо этого, сгорбившись и втянув голову в плечи, он невольно ускорил шаг и, лишь оказавшись в коридоре и плотно затворив за собой дверь, вздохнул, наконец, с облегчением.

ДиН ревю

Дмитрий Мизгулин

Избранные стихотворения

В трёх томах. СПб.: «Любавич», 2019

* * *

Деревья седеют, как люди,
Ах, ветер их лето унёс,
И стали вдруг жёлтыми кудри
Взлохмаченных ночью берёз.

Забудутся скоро морозы,
Мазурку сыграет капель,
Зелёные кудри берёзы
Со смехом расчешет апрель.

И всё повторится по кругу,
Движенью не будет конца,
А вот поседевшему другу
Стереть ли морщины с лица?..

* * *

Вступайте, вступайте в союзы,
Сомненья и страх — позади.
И пусть, ошарашенных, в лузу
Вгоняют вас смачно вожди.

Скорей получите прописку,
Хватайте державную стать.
Ведь чёрту сподручней по списку
Со временем вас отыскать.

* * *

Компьютер пишет музыку. Слова.
Компьютер также складно в рифму сложит.
Пусть не болит душа и голова,
Так быстро человек навряд ли сможет.
А мне даётся Слово тяжело.
Раздумие, сомнения, тревога…
Давно бы бросил это ремесло,
Когда б не верил, что оно от Бога.

* * *

Говорите, пожалуйста, тише —
Наступает торжественный час,
И луна, опускаясь за крыши,
С удивлением смотрит на нас.

Как мучительно долго светает,
Но прозрачней становится мгла,
И, уже задымив, угасают
Фонари от угла до угла.

Розовеют покатые крыши,
Вот заплачу от счастья сейчас…
Говорите, пожалуйста, тише,
Всё равно я не слушаю вас.

Виталий Пшеничников

Кедровые орешки

Невыдуманная история

В таёжном посёлке Хабайдак, родине Виталия, дома которого стояли среди тайги у подножья Кутурчинского Белогорья, одного из хребтов Восточного Саяна, жил опытный таёжник Николай Ковалёв, которого все величали только по отчеству—Савельевич. Получив от него письмо с приглашением, парень узнал, что в тайге зреет богатый урожай кедровой шишки, и поделился этой новостью с Валентином, своим другом и постоянным спутником в туристских походах,—знал, что он не бросит товарища в самой тяжёлой беде, поделится последней краюхой хлеба.

— А когда надо ехать?—заинтересовался тот.

— Обычно добывать разрешают с пятого сентября, но в тайге кто проверять будет? Савельевич приглашает приехать к первому сентября, чтобы успеть занять тайгу. Ты говорил, что хочешь добыть кедрового орешка на щелканку. Не передумал?

— Не передумал, давно хочу пожить в таёжной избушке, своими руками добыть кедрового орешка!

Друзья тщательно подготовились к поездке: закупили тушёнки, других консервов, круп, вермишели, концентратов каш, родители Виталия насушили сухарей, мать сшила из мешковины два больших пятиведёрных мешка, на которые отец, дважды добывавший орехи с Николаем Савельевичем, привязал длинные крепкие вязки.

— Для чего такие длинные?—удивился Виталий.

— Савельевич в тайге тебе расскажет и покажет!—рассмеялся тот.

Отработав последний перед отпуском день, парни забрали в камере хранения завода «Красмаш» неподъёмные рюкзаки, помогли друг другу закинуть их на спину и через час сели в общий вагон поезда Красноярск—Абакан.

Быстро наступил вечер. Забросив рюкзаки на третью полку, улеглись на жёстких вагонных сиденьях и заснули под перестук колёс.

Сквозь сон Виталий услышал голос вагоновожатого:

— Ребята просыпайтесь, следующая станция—Мана!

Сев на лавке, сказал:

— Спасибо, я его разбужу,—и резко дёрнул Валентина за руку.

Тот, не открывая глаз, заворчал:

— Что случилось? Спать не даёшь!

— Вставай, приехали, следующая станция—Мана!

— Какая Мана? Только заснул, кончай шутить! Чего пристал? Дай сон досмотреть!—стал отговариваться приятель.

— Валька кончай валять дурака, следующая станция—Мана. Нам выходить!

— Неужели так быстро доехали? А мне дивный сон снился, жалко, что не дал досмотреть,—сокрушался приятель, садясь на диване.

Когда поезд остановился на маленькой станции, друзья вышли из вагона в промозглый холод таёжной ночи. Воздух был напоён влагой, крыши пристанционных строений лоснились от выпавшей росы. Сказывалась близость Кутурчинского Белогорья с его вечным ледником на вершине. Но времени для оценки обстановки не было, пассажиры, выпрыгивая из вагонов, бежали за небольшое кирпичное здание станции, где стоял автобус. Втиснувшись в него, не обращая внимания на недовольное ворчание пассажиров, которых они потревожили своими рюкзаками, парни перевели дух. Единственный автобус подходил только к приходу поезда, идти пешком от станции до посёлка Хабайдак ночью, в промозглой тьме, пятнадцать километров им не хотелось. Здесь был тот самый принцип: лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

Хозяева встретили гостей радушно. Савельевич долгое время работал начальником лесопункта Хабайдак, они с супругой Верой были крёстными родителями Виталия, дружили с его семьёй. Не прекратилась эта дружба и после отъезда в Красноярск. Его отец Фёдор дважды ходил в тайгу с Николаем добывать кедровый орех, привёз сначала восемь, потом десять мешков провеянного, прокалённого кедрового ореха. Семья жила бедно, и мать в выходные дни ходила торговать орехом к магазину, родители просили сына помочь, приносить ей сумки с орехом, чтобы она могла продать больше орешков.

Но Виталька отказался:

— Орехи носить не буду, ребята засмеют, будут дразнить барыгой!—и стоял на своём, несмотря на уговоры отца и матери.

— Вижу, ты не хочешь, чтобы мы купили тебе велосипед?—спросил отец, с улыбкой глядя на строптивого сына.
— Очень хочу!—мальчишка опешил от предложения отца, который угадал его заветное желание: ни у кого из ребят на улице Лалетинской не было велосипеда.

Придя в себя, он спросил:
— А когда купите?
— Как только мать с твоей помощью продаст весь орех, обещаю, что купим подростковый велосипед,—улыбнулся отец.

Боясь, что он передумает, мальчишка закричал:
— Согласен! А что надо делать?
— Будешь в выходные дни носить матери сумки с орехом к магазину.

Мальчишка знал, что отец слов на ветер не бросает, и добросовестно носил сумки с орешками, не обращая внимания на насмешки и обидные клички таких же, как он, уличных ребят.

Когда в кладовой остался один мешок с орехом, мать повела его в промтоварный магазин, где он выбрал себе подростковый велосипед с хромированным рулём, рамой и крыльями, окрашенными голубой краской. Уже вечером он, катаясь на новеньком велосипеде, несколько раз проехал по улице, с улыбкой видел завистливые взгляды сверстников, которые ещё утром обзывали его барыгой и смеялись, когда он нёс матери сумки с орехами. Сегодня смеявшиеся над ним мальчишки выстроились в очередь, просили дать прокатиться на велике. Накатавшись вдоволь, он простил своих сверстников и давал каждому прокатиться на новеньком велосипеде.

Повзрослев, через много лет они с Валентином собирались попробовать свои силы в добыче кедрового ореха, пожить в таёжной избушке, на себе испытать жизнь таёжника, набить по мешку ореха на щелканку.

Жена Савельича, Вера Фёдоровна, сухонькая, приветливая, хлопотала, расставляя нехитрые закуски. На столе, за которым сидели хозяин, его сын Николай и гости, появилась большая чугунная сковорода с шипевшим поджаренным свиным салом, лежали клубни отварного картофеля. Вокруг неё стояли чашки с солёными огурцами, квашеной капустой, сдобренной растительным маслом и колечками лука, тарелки с порезанным на кусочки солёным салом, большими ломтями чёрного душистого хлеба из поселковой пекарни.

В руках Савельича появилась большая бутылка зелёного стекла—четверть, из которой он разлил по половине стакана гостям и себе мутный вонючий самогон. Подняв стакан, сказал:
— Давайте выпьем за удачу, без неё таёжнику жить нельзя! Утром, чуть свет, пойдём искать незанятую тайгу. По посёлку идут слухи, что нынче хороший урожай шишки, народ из города валом валит! Надо раньше пришлых уйти, занять таёжку с избушкой и начать бить шишку!

Когда все выпили, на него напустилась супруга:
— Ты что, старый, совсем спятил? Ребята ночью приехали, дай им денёк отдохнуть. Вы поглядите на него, он уже утром в тайгу собрался! Креста на тебе нет!
— Молодые, не переломятся! С хилым здоровьем в тайге делать нечего, у таёжника день год кормит!—оборвал её хозяин.
— Мы хотели неделю пожить в таёжной избушке, добыть немного ореха на щелканку,—робко возразил Виталий.
— Жить будете дома и смотреть про тайгу в телевизоре! В тайге работать будете от зари до зари, добывать кедровой орех! Ешьте, пейте и не слушайте бабских разговоров. С рассветом выходим!—отрезал хозяин, наливая в стаканы себе и гостям мутный самогон.

Когда приятная волна тепла и сытости растеклась по телу гостей, он налил всем по глотку самогона.
— Выпьем—и спать, завтра с рассветом уходим, и не дай Бог кто увидит, боюсь сглаза! Вера! Ты мне дисциплину не разлагай, лучше помоги собраться,—рассмеявшись, обнял смутившуюся супругу.

В пять часов гостей разбудили. Под руководством Савельевича было пересмотрено и отсортировано содержимое их рюкзаков: убрали тёплую одежду в надежде, что до наступления холодов таёжники придут в посёлок, были оставлены банки тушёнки, сгущёнки и другие консервы, концентраты, продукты, без которых нельзя было прожить в тайге. Раскладывая груз по рюкзакам и мешкам-загорбникам, Савельевич на глаз уравнивал вес поклажи, Витальке насыпали в сшитый матерью мешок три ведра картошки, и он приторочил его сверху уже неподъёмного рюкзака.

Савельевич, собираясь в тайгу, для себя и сына приготовил загорбные мешки, привязав концами вожжей в углах обычных мешков по клубню картофеля, горловина такого мешка сверху затягивалась петлёй, образуя лямки. В мешок Николая сложили продукты, консервные банки и до верха наполнили булками чёрного хлеба.

Хозяин нёс полный загорбник сухарей, круп, макаронных изделий, других съестных припасов для приготовления каш и супов. Валентину на рюкзак привязали двуручную пилу и топор, без которых невозможно было прожить в тайге и одного дня.

Крёстная мать перекрестила собранных в дорогу таёжников:
— Храни вас Бог и Святая Дева Мария! Счастливого пути!

Попрощавшись, они вышли из уютного домашнего тепла в промозглый утренний холод и туман. Спотыкаясь в предрассветных сумерках, скользя

на росной траве, через огород, минуя поселковую улицу, вышли из посёлка, скрывшись в тумане от постороннего взгляда, просёлочной дорогой пошли в сторону станции Мана.

Выйдя на железную дорогу, по мосту перешли на левый берег быстрой таёжной реки Мана, по старой, заросшей травой лесовозной дороге пошли в сторону заброшенного посёлка Ангул, где остались две жилые избы и доживали свой век старики, которым некуда было переехать.

Солнце, выглянувшее из-за вершин сопок, окружающих каньон реки, согрело воздух, его лучи разгоняли утренний туман, он поднимался вверх по склонам, кое-где цепляясь за ветви столетних пихт и елей, серыми пятнами лежал на таёжной зелени; осень вступала в свои права, и трава, потерявшая яркую зелёную окраску, пожухла и легла на землю под ноги путников.

Савельевич остановился возле лежащего у обрыва толстого бревна, сбросив на землю мешок, сел на него.

— Привал ребята, мне уже шестьдесят, трижды ранен, полжизни в лесосеке отработал, надо отдохнуть. Осмотритесь кругом и запомните это место, здесь снимался фильм «Хозяин тайги». Помните, как начали сыпаться под обрыв брёвна из штабеля, когда его толкнул щитом трелёвочный трактор, в который заскочил продавец-ворюга из магазина посёлка Выезжий Лог? Золотухин, игравший роль участкового, лежал под обрывом, и на него сыпались брёвна, без малого не задавили, я присутствовал при этих съёмках, всё видел! — улыбнулся Савельевич.

Немного помолчав, продолжил:

— Киношники никакого понятия не имели в кубометрах и ценах на лес, попросили меня продать им строевой лес для съёмок. Я согласился. Завезли небольшой штабель брёвен, сложили на этом месте над обрывом, здесь они и снимали этот эпизод. Посчастливилось разговаривать с Золотухиным, с Владимиром Высоцким, слушал, как он пел свои песни под гитару у палатки на берегу Маны. Ниже по реке поставил рабочих с лодкой, они вылавливали сброшенный трактором-трелёвочником лес, плывший по реке, его после съёмок сложили в штабель, двойную выгоду получили! Это бревно на память оставили, чтобы люди не забывали о съёмках фильма в этом месте, на берегу нашей красавицы Маны! Не часто к нам приезжают знаменитые артисты фильмы снимать!

Парни не раз смотрели этот замечательный фильм, но не могли поверить, что перед ними сидит человек, присутствовавший при съёмках, видевший и разговаривавший с великими актёрами Высоцким и Золотухиным.

Первым в себя пришёл Виталька:

— Ты нас не перестаёшь удивлять, Савельевич! Тебя мы будем звать — бригадиром, этот псевдоним как нельзя лучше тебе подходит. Расскажи, что интересного ещё было на съёмках.

— В другой раз. Отдохнули, идти пора, время не ждёт, — встал с бревна таёжник, давая понять, что привал окончен.

Парни помогли ему и друг другу впрячься в лямки мешков и рюкзаков и пошли следом за бригадиром.

Более часа таёжник вёл спутников вверх по течению Маны. Сентябрьское солнце, поднявшись над тайгой и сопками, грело по-летнему, но ни у кого не поворачивался язык попросить неутомимого ветерана сделать привал и отдохнуть.

Наконец он свернул на тропу, уходившую в один из горных распадков, по склонам которого росли высокие кедры. Парни с облегчением вздохнули, думая, что тяжёлый переход с неподъёмным грузом скоро закончится. Пройдя пару километров, путники с облегчением увидели избушку, стоявшую рядом с тропой на небольшой поляне среди стройного кедрача. В тайге стояла тишина, ничто не выдавало присутствия людей, и все облегчённо вздохнули. Когда до избушки осталось несколько шагов и каждый надеялся, что здесь их путь закончен, из тайги до слуха долетели гулкие удары колота.

Все слышали, как Савельевич выругался:

— Неужели принесла кого-то нелёгкая раньше нас?!

Ещё не веря, что тайгу незадолго до их прихода успели занять другие шишкари, он быстрым шагом подошёл в избушке, следом шли парни.

Сомнений не осталось: тайга была занята. На потолке, под крышей, ровными рядами лежали банки тушёнки, другие консервы и продукты, стали слышны частые удары колота.

— Значит, не судьба! Не зря вас торопил, не расслабляйтесь, нам здесь нечего делать, в избушке другие хозяева успели поселиться. Пойдём скорей в другую тайгу, в Поляцкий лог! Будем тянуть время — и там займут!

— Бригадир, дай хоть десять минут отдохнуть, запалились все, скоро с ног падать будем, — подал голос Виталий.

— Пока будем разговоры говорить и отдыхать, все таёжки займут! Тропа пойдёт под уклон, в ходьбе вы и отдохнёте! — отрезал таёжник и зашагал по тропе, будучи уверен, что парни от него не отстанут, опасаясь заблудиться.

Больше полутора часов они шли за ним по горной тропе, петлявшей по склонам сопок, пока не увидели просторную избу, возле которой Савельевич, скинув на мох свой мешок, повернулся к спутникам:

— Отдыхайте, я оббегу тайгу, посмотрю урожай шишек!

Через минуту он исчез среди кедров.

Парни, смертельно уставшие от многокилометрового перехода, сгоравшие от зноя и жажды,

услышав звон ручья, сбросили рюкзаки, подбежали, упали на берегу протекавшего рядом с избушкой ручья. Черпая ладонями, жадно пили кристально чистую холодную воду, чувствуя, как возвращаются силы, выпаренные полуденным солнцем.

— Здоров наш бригадир! Пенсионер, три ранения, фронт, а он как лось по тайге бегает, нам за ним не угнаться! — растянувшись на изумрудно-зелёном мху, сказал Валентин.

— Есть ещё порох в пороховницах! — согласился Виталий, радуясь солнцу и отдыху, который оказался коротким.

Из тайги к ним подошёл Савельевич:

— Здесь нам делать нечего! Вставайте, пойдём дальше, в Клочки!

Парни молча впряглись в лямки тяжёлых рюкзаков, помогая друг другу закинуть их за спину, по тропе пошли в гору, преодолевая некрутой, но казавшийся бесконечным подъём. Шли, потеряв счёт времени. Сколько километров прошли и сколько осталось пройти, никто не знал. Наконец тайга поредела. Вышли на плоскую вершину, сплошь заросшую стройными высокими кедрами, ветки которых, росшие у самых вершин, были усыпаны гроздьями шишек.

Савельевич облегчённо вздохнул:

— Слава Богу, в Клочках есть что бить и никого нет, здесь будем жить и добывать орехи! Здесь мы с отцом Витальки две осени по десять кулей калёного ореха добывали! Ты помнишь, когда родители велосипед тебе купили?

У парня, измотанного жарой и тридцатикилометровым переходом с неподъёмным рюкзаком, хватило сил улыбнуться этим радостным детским воспоминаниям. С трудом переставляя ноги, он подошёл к избушке и сбросил опостылевший рюкзак.

Немного отдохнув, осматривая избушку, Виталий подумал: «Как можно жить в такой избе? В стенах сквозные дыры, жестяная печь во многих местах прогорела, крыша крыта корьём и половинками расколотых вдоль брёвен, в дырах, с потолка будет течь в дождливые дни...» — и высказал стоявшему рядом с ним бригадиру свои опасения.

Савельевич усмехнулся:

— Не сахарные, не размокнем и не угорим, изба как изба, много лет приют и ночлег таёжникам давала, в ней мы жили с твоим отцом, до самой зимы добывая орехи! Главное, чтобы тепло было, комары и гнус не досаждали, они не переносят запах дыма, нары просторные, для четверых места хватит. А крышу, если сильно потечёт, поправлять будем тем же корьём, деревьев кругом много, и дыры в стенах мхом заткнём при необходимости. Кончайте разговоры! Валентин разжигает костёр, варит чай, топит печь, сушит избушку, мы посмотрим кругом, может быть, колот найдём, бить попробуем!

Виталька с Николаем, под предводительством бригадира рассыпавшись редкой цепью, стали прочёсывать тайгу. Вскоре раздался голос Николая:

— Идите ко мне! Я колот нашёл!

Витальке приходилось раньше видеть колот и даже бить им шишку на щелканку в Минской тайге. Но его поразил прислонённый к кедру, потемневший от времени несуразный деревянный молоток из толстой длинной жерди и прибитого к ней полуметрового отрезка ствола дерева, и он высказал сомнения:

— Разве с таким колотом можно работать?

Удивлённо посмотрев на него, бригадир сказал:

— Попробуем бить, посмотрим, как шишка с ветвей сходить будет. Николай, бери колот!

Его сын поднял колот на плечо, подойдя к стволу кедра, поставил напротив заплывшей смолой проплешины, которую таёжники называют бойком, оттянув на себя, с силой толкнул к стволу. Раздался удар, дрожь по стволу пробежала к вершине, и она затряслась, на землю с высоты пятнадцати метров слетело несколько шишек.

— Ты что, сегодня не завтракал? Бей как следует! — скомандовал отец.

Николай сделал несколько ударов, но шишка в большинстве своём осталась висеть на ветках.

— Слабак! Что за молодёжь нынче пошла — колотом ударить как следует не может. Виталька, пробуй ты!

Взяв колот, парень сказал:

— Боёк не отцентрирован! С таким колотом невозможно будет работать!

— Ты бей и меньше рассуждай! — стал сердиться бригадир.

Парень сделал несколько ударов, шишки сыпалось больше, но колот крутился в руках при ударе, приходилось тратить много сил, удерживая его в руках.

— Глаза бы на вас не смотрели! Дай колот, старый таёжник учить вас, желторотых таёжников, будет! — вспылил Савельевич.

Взвалив молоток, установил его у соседнего кедра и нанёс резкий удар. Но во время движения к кедру боёк повернулся в сторону от ствола, удар пришёлся скользом, и колот, вырвавшись из рук едва устоявшего таёжника, упал на мох.

— Нет! Это не инструмент, руки бы оторвать тому, кто его делал! Пошли в избушку, перекусим, пила и топор у нас есть, сделаем новый колот! — сказал обескураженный бригадир, поднимая и прислоняя найденный молоток к стволу оббитого кедра.

— А это ещё зачем? Кому он нужен? — удивился Виталий.

— В тайге всякое случается! Может быть, кому-то он жизнь спасёт, не даст помереть с голода! — рассудительно сказал Савельевич, направляясь к избе.

Возле неё пылал костёр, над языками огня висел котелок с густым ароматным чаем, Валентин

к заварке добавил веток брусничника и листьев и прутьев дикой чёрной смородины вылил банку сгущённого молока. Бригадир отрезал от большого куска по ломтю сала, от булки—по большому ломтю хлеба. Голодные парни, прошедшие с тяжеленными рюкзаками более тридцати километров, с удовольствием уплетали бутерброды, запивая крепким сладким чаем; им казалось, что ничего вкуснее в жизни они не пробовали.

Как только был выпит последний глоток чая и дожёван последний кусочек бутерброда, Савельевич скомандовал:

— Николай готовит кашу на вечер, мы идём делать колот.

Двуручной пилой свалили толстую берёзу, отрезали от комля чурку метра полтора. Виталий предложил:

— Давайте шест немного наклоним, удобней будет бить и носить на плечах. А боёк надо подтесать, сделать плоским, чтобы безболезненно ложился на плечо.

Бригадир удивлённо посмотрел на него:

— Где ты такой колот видел?

— Два года назад с Валентином добывали орех на щелканку в Минской тайге.

«Дожились! Молодёжь старикам, всю жизнь прожившим в тайге, советы даёт! Всю жизнь били прямым колотом, а тут подавай им скошенный! Надо попробовать, всё равно молодёжь будет бить, пусть делают для себя!»—подумал бригадир и согласился.

— Показывай: как пилить паз будем?

По указаниям Виталия до половины ствола сделали врезку паза «полуласточкин хвост», Савельевич топором очистил его. Срубив сухостойную пихтовую жердь, на конце выстрогал клин, вставил его в паз и забил жердь обухом топора.

— Виталька, пробуй!

Парень приподнял колот, держа возле бойка. Почувствовав, что он перевешивает в одну сторону, предложил:

— Надо запилить паз глубже центра бойка, чтобы сохранялось равновесие при переноске и ударе.

Бригадир, подержав колот в руках, согласился:

— Ты прав, надо заглубить паз за середину ствола,

Когда пила ушла ниже центра ствола, он выдолбил топором дерево, вогнав в паз обухом топора шест, скомандовал Витальке:

— Попробуй поднять и взять на плечо! Как теперь?

Повертев колот в руках, поставив к кедру, парень нанёс хлёсткий удар, от которого на мох дождём полетели шишки.

— Нормально, только жердь длинная, и для удобства надо стесать немного снизу боек, чтобы плотней лежал на плечи и меньше давил.

— Это не большая проблема,—сказал повеселевший таёжник.

Просушка и ремонт таёжной избушки в Клочках

Отмерив полметра, обрезали конец жерди так, чтобы в вертикальном положении боёк не касался плеча и доставал до бойков на кедрах.

— Бить будет Виталька, у него хорошо получается. Мало будет силы удара одного человека, второй таёжник будет становиться спиной к кедру, будут бить двойной тягой. А теперь учитесь, как надо привязывать мешок,—подняв кедровую шишку, перекинул мешок через плечо и длинными вязками завязал шишку, получилась удобная перекидка, при которой обе руки были свободны и горловина мешка находилась перед глазами.

Виталий усмехнулся, поняв, для чего отец привязал к мешкам длинные крепкие вязки, но ещё одно их назначение узнал немного позже.

Близился вечер. Николай хорошо протопил железную печку, в открытые двери вырывались клубы пара испарявшейся влаги, скопившейся в нежилой таёжной избе. Когда она просохла, парни наломали пихтовой лапки и уложили толстым слоем на нары. Валентин лёг и застонал от удовольствия:

— Мягко будет спать, как на перине, и пихтовой смолкой приятно пахнет!

На улице стемнело. При свете отблесков горящих в печке дров поужинали гречневой кашей из купленного в магазине и измельчённого в обёртке обухом топора концентрата, запили горячим ароматным таёжным чаем. У парней хватило сил залезть на нары, в следующую минуту они спали богатырским сном. Так закончился первый день проживания ребят в тайге.

Всю ночь уставшие заготовители кедрового орешка—шишкари—спали беспробудным сном, который утром был прерван грозной командой бригадира:

— Рота, подъём!

Выйдя из избушки, они с удивлением увидели пылающий костёр и висевшие над пламенем котелки с чаем и вчерашней кашей, услышали команду:

— Быстро на ручей, умываетесь—и за стол! Нам надо оббить и застолбить как можно больший

Так в России добывают кедровую шишку

участок тайги, в любой момент могут появиться другие заготовители и обобьют нас, отрежут участки с хорошей шишкой!

Зевая, парни пошли на ручей, кативший к Мане свою холодную до ломоты зубов воду.
— Кому надо тащиться в такую даль ради мешка ореха?—умываясь в ледяной воде, сказал Виталий.

Ему возразил Николай:
— У нас в посёлке мало работы для мужчин, хорошая шишка в тайге—это способ заработать деньги. Кто заключает договор с заготовительной конторой «Бурундук», будет сдавать заготовленных орех, другие, как мы, идут добывать орехи без договора, добытый орех отправят в Красноярск на городские базары!

После завтрака, состоявшего из гороховой каши с тушёнкой и настоявшегося за ночь у костра таёжного чая, бригадир скомандовал:
— Пора на деляну. Виталька берёт колот, по дороге будете меняться: один устал—передаёт другому.

Валентин пробовал возразить:
— Роса ещё не обсохла, холодно и сыро, давайте немного подождём, пока потеплеет и роса обсохнет!
— Некогда ждать, надо тайгу застолбить, иначе хорошую шишку потеряем. В пути согреетесь, в работе обсохнете! Привыкайте к таёжной жизни!—заявил бригадир, вставая и направляясь к тропинке.

Следом за ним парни быстрым шагом прошли километра три от избушки, промокнув от утренней росы и замёрзнув до костей—мокрая одежда не грела в утреннем тумане. Остановились возле большой кучи прелых остатков шишек, добывавшихся кем-то ранее. Возле неё стояли ко́злы. Виталька догадался, что в них крепится тёрка для шишек.
— Здесь мы всегда делали бурт, ссыпали добытую шишку. Когда обобьём всю тайгу, принесу тёрку для шишек, она у меня на подшипниках, перетрём, просеем через два сита, орешек перенесём в мешках к избушке, там пропустим через ветрогон и прокалим на кедровых дровах. Таких буртов у нас будет три, чтобы далеко не носить мешки с шишками!—сказал бригадир.

Виталий робко возразил:
— Мы приехали на неделю! Вы собираетесь месяц добывать орех, у нас отпуск через десять дней закончится!
— Вы для чего в тайгу приехали? Орехи добыть или на прогулку?
— Ореха на щелканку добыть!—поддержал друга Валентин.
— Если приехали добывать орех, то стыдно отказываться заработать денег! Это не шишки—рубли растут на ветках кедров! Работайте и не печальтесь, у меня в Мине знакомый главный врач больницы, он вам больничные выпишет!
— Тогда совсем другое дело, будем добывать вместе с вами!—согласился Виталька.
— Согласен, нечего стоять, бери колот на плечо, пойдём на деляну!
— На какую деляну?—хором удивились гости.
— Отойдём километра на два, до границы таёжки, там и начнём бить шишку и носить сюда мешки. Виталька будет бить первым.

Взвалив колот на плечо, утопая в мягком мху, парень обречённо шёл следом за неуёмным бригадиром, который, нагибаясь, срывал с земли куски мха и навешивал на ветки деревьев и кустов. Всем было интересно, зачем он это делает, но никто не хотел показаться дилетантом в таёжной жизни. Наконец вышли на окраину таёжки. Дальше росли молодые деревья, над которыми возвышались одинокие деревья, оставленные на вырубке, чтобы осеменяли отработанную лесосеку.
— Отсюда начнём бить, мешки с шишками будете носить по ниточке мха, которую я навешал, не упускайте её из вида, иначе заблудитесь. Если заблудитесь, мешок с шишкой не бросайте, кричите что есть мочи и возвращайтесь на наши крики своим следом. С Богом! Виталька, начинай бить!

Подойдя к кедру, Виталий установил жердь в хорошо видную во мху лунку, оттянув колот, согнул для толчка правую ногу, разгибая, со всей силой толкнул его на боёк кедра. Он видел, как от мощного удара вверх по стволу побежали волны, затряслась крона, раздался свист и шорох, успел спрятать голову под колот, по которому застучали крупные шишки, некоторые падали на плечи, причиняя ощутимую боль. У него мелькнула мысль, что кедр мстит за нанесённый удар. Он, мысленно попросив прощения, выглянул из-под обрезка бревна, чтобы взглянуть, остались ли ещё шишки на ветвях. В это время почувствовал резкую боль, схватился руками за нестерпимо болевшее лицо. Оставшийся без хозяина, колот упал на мох.

Услышав громкий смех товарищей, не понимая, что случилось, посмотрел на них. Бригадир улыбнулся:

— Поздравляю с крещением тайгой! Никогда не высовывайся из-под бойка и не заглядывай вверх, шишка может мозги стрясти или глаз выбить.

Осмотрев вершину кедра, покачал головой:
— Мало одного удара, много шишки осталось на ветвях! Ударь два раза подряд, посмотрим, как будет от серии шишка сходить.

Парень нанёс два удара, наученный горьким опытом, ужался, пытаясь спрятать под чурку бойка не только голову, но и плечи от ударов летевших с большой высоты увесистых шишек. Теперь они били его скользом по плечам, но это можно было терпеть.

Бригадир скомандовал:
— Дальше бей серией по два-три удара, так шишки сходит больше.

Оставив друзей собирать шишку, подняв колот на плечо, парень пошёл к другому кедру, но его остановил крик бригадира:
— Ты почему на оббитый кедр мох не навесил? Запомни: оббил, кусок мха навесил, тогда переходишь к другому дереву, все будут знать, что кедр уже оббит!
— Всё понял,— парень кивнул головой.

Пока его товарищи собирали шишку, он оббил рядом стоявшие кедры, прислонив колот к дереву, стал собирать спелые шишки с изумрудно-зелёного мха, по которому красными бусинками, словно капли крови, были рассыпаны ягоды брусники, ещё не совсем зрелые, немного кисливщие во рту, но оказавшиеся необычно вкусными.

Валентин и Николай пробовали бить, но бригадир забраковал их работу:
— Жидкие вы для колота! Бить будет Виталька, вы собираете шишку. Если будут плохо сходить, будете ему помогать. Жалко, что не сходит вся шишка: видно, слишком жаркое было лето. Ничего не поделаешь, будем бить колотом, двойной тягой, другого выхода у нас нет!
— А какое отношение имеет к шишке жаркое лето?— удивился Валентин.
— От жары у зелёной шишки смолой затекает сочленение с веткой, она созревает, а сочленение остаётся зелёным и прочно держит на ветке. Так иногда случается, можете посмотреть: среди сбитых шишек встречаются спелые, но с зелёным хвостиком. С этим ничего не поделаешь будем бить, даст Бог, помаленьку добудем!

Услышав это, Виталька, весь день бивший колотом, покачал головой: он лучше всех знал, как тяжело носить колот от кедра к кедру по заваленной буреломом тайге, почти каждый бить серией из двух-трёх ударов.

Но бригадир не менял своего решения, и парню до снега пришлось через валежник и упавшие деревья таскать на плечах тяжёлый колот, оббивая кедры; остальные участники команды, всё время собиравшие шишку, иногда помогали ему.

Когда наполнился первый мешок, бригадир утряс его, досыпав до самого верха, скомандовал:
— Сломайте несколько пихтовых веток, покажу, как настоящий таёжник под пихту должен увязывать мешок!

Под его руководством парни по краям полного мешка воткнули ветки и высыпали ещё ведро шишки, после чего вместе с Савельевичем перетянули горловину крест-накрест длинными вязками, прижав шишки лапником. В обычный мешок на четыре ведра под пихту входило пять, а в Виталькины мешки — шесть вёдер шишки, и эти неподъёмные мешки Николай и Валентин по очереди два километра несли на бурт, рискуя заблудиться или наткнуться на медведя, который жил в этой тайге.

К обеду набивали по мешку каждому, и Виталька, прислонив колот к кедру, взвалив на плечи свой шестиведёрный мешок, вместе с парнями шёл следом за бригадиром. Высыпав в кучу неподъёмно тяжёлые мешки, пошли обедать в избушку, где Виталька взбунтовался:
— Какого лешего мы будем ходить на обед в избушку, мотаться четыре километра? Надо брать с собой котелки с кашей и чаем, у бурта будем жечь костёр, греть еду и питаться. Мы с Валентином из титанового сплава сварили котелки с крышками, они надёжно закрываются, никакой гнус не пролезет!— и ребята поддержали его.
— Вы правы, так и будем делать, полчаса можно будет после обеда отдохнуть!— немного подумав, согласился бригадир.

Однажды, собирая шишку, Валентин поднял голову и почувствовал, как мороз пополз между лопатками от страха. По коре кедра шли глубокие параллельные борозды метра полтора длинной с рваными краями. В мозгу молнией мелькнула мысль: «Что это? Кто мог оставить?»

Озираясь по сторонам, негромко спросил:
— Кто это сделал?

Посмотрев на свежие борозды, бригадир усмехнулся:
— Это медведь когтями свои угодья пометил, чтобы звери и люди знали, кто здесь хозяин!

Парни стояли потрясённые, глядя на глубокие борозды, ещё не успевшие заплыть кедровой смолой, и думали: «Вот это силища! Не дай Бог попасть к этому великану в лапы, вмиг порвёт!»

Виталька подлил масла в огонь:
— Царапины свежие! Один-два дня назад косолапый свой знак оставил, где-то рядом пасётся!

Валентин с Николаем стали озираться, внимательно осматривая окрестности. Глядя на них, бригадир рассмеялся:
— Успокойтесь! Медведю осенью корма хватает, он сыт, на человека не нападёт! Услышав стук колота, почувствует присутствие людей и уйдёт дальше в тайгу!

Потянулись дни, похожие один на другой, в залитой сентябрьским солнцем тайге, наполненной запахами прелого мха, разогретой смолы и кедрового лапника. Съедаемые облаками комаров и таёжного гнуса, парни с утра до позднего вечера были заняты однообразной утомительной работой: били, собирали и носили на бурты кедровую шишку.

Обходя широкую полосу в тайге, носившей название Клочки, двигались по её границе вокруг избушки, оббивая богатые шишкой участки.

Несмотря на заверения бригадира, Валентин через несколько дней наткнулся на свежую кучу, оставленную оправившимся медведем, ещё не успевшую засохнуть.

Бригадир, желая успокоит ребят, пошутил:
— Не бойся, Валентин, ты, видно, понравился медведю, он даёт о себе знать!

Несмотря на благодушное настроение Савельевича, парни поняли, что мишка никуда не ушёл, бродит рядом, а им нечем было себя защитить от его когтей и зубов. Виталька, слушая заверения бригадира, что мишка уйдёт, усмехнулся: «Твои бы слова да медведю в уши!» Он вспомнил рассказ старого охотника, встреченного в Ангуле, о коварстве медведей, когда мальчишками они с братом Сергеем и его другом убегали по тайге с Манских порогов, спасаясь от преследования свирепой медведицы с медвежонком. Его рука привычно нащупала ручку охотничьего ножа, всегда висевшего на ремне; в отличие от его друзей, с которыми добывал орех, у него была пусть призрачная, но всё-таки защита от свирепого хищника.

Первые дни труд таёжника с раннего утра до позднего вечера казался каторгой, но время лечит, и парни втянулись, радовались хорошей погоде и необычно тёплой осени. Эту радость омрачали висевшие над головой тучи комаров и мошки, таёжного гнуса. Они клубились над ними серыми облаками в надежде напиться крови. Как только появлялся не защищённый одеждой участок кожи, его сразу облеплял таёжный гнус, и чем больше ты его давил, тем его слеталось всё больше. Особенно свирепствовал мокрец, он был настоящим бичом тайги, и от него не было спасения. Эта мелкая, почти незаметная мошка пролазила под любую одежду, кусала и пила кровь безболезненно, только потом появлялась сильная боль, в месте укуса вскакивал волдырь от впрыснутого под кожу яда, и это место чесалось несколько дней. Если мокрец или мошка кусали за веко или в области глаза, он заплывал на несколько дней, губы распухали, и никакие мази — «Дэта», «Репудин», «Тайга» — не помогали, все ходили с опухшими лицами, посмеиваясь друг над другом.

Прошли две недели изнурительной работы и однообразного питания: ели суп с вермишелью и картошкой, каши гречневую и гороховую, приправленные банкой тушёнки. Очень редко бригадир, проявляя щедрость, разрешал отрезать каждому по тонкому пластику солёного сала. Через неделю хлеб кончился, ели сухари, размачивая в супе или ароматном таёжном чае.

Однажды, проснувшись утром раньше других, Виталька вышел из избушки и не услышал привычного звона крыльев гнуса, изо рта шёл пар, трава и мох были покрыты белым инеем, хрустели под ногами. Придя в себя, закричал от восторга:
— Парни, иней упал на тайгу, мороз мошку прибил! Конец мучениям!
— Чего ты кричишь? Сам не спишь и нам не даёшь! — недовольно ворча, из-за приоткрытой двери выглянул Валентин, да так и застыл от изумления.

Придя в себя, закричал:
— Ура! Кончились наши мучения, кровопийцам конец!

В тайге наступило золотое время для добытчиков ореха и её обитателей, страдавших всё лето от комаров и мошки: воздух был свеж, и не было слышно надоедливого жужжания тысяч крыльев таёжного гнуса.
— Сегодня работаем до обеда, устраиваем баню, пора помыться, холода не за горами! — скомандовал бригадир.

Во всех ёмкостях, котелках, вёдрах парни грели воду, калили камни на костре, горевшем перед избушкой, долго топили железную печку, прогревая избушку. Когда всё было готово, возле печки разровняли площадку, совковой лопатой перенесли раскалённые на углях костра камни; поливая их горячей водой, склонившись над паром, хлестались пихтовыми вениками, отпаривая пропитанные пóтом и кедровой смолой тела. Единственной мочалкой, предусмотрительно взятой бригадиром, мылились и тёрли друг другу спины, обливались тёплой водой, испытывая истинное наслаждение от парной таёжной бани.

Ночные заморозки стали повседневными, предупреждая о приближающейся осени. Оббивая кедры, перенося колот к следующему дереву, Виталька услышал долетавшие издалека звуки ударов. Прислонив колот к стволу кедра, прислушался.
— Чего остановился? Оббивай дальше! — последовал грозный окрик бригадира.

Парень махнул рукой, прислушавшись, вновь услышал едва доносившиеся издалека удары колота и повернулся к бригадиру:
— Слышу удары колота, кто-то бьёт шишку рядом с нами!
— Работай и не выдумывай, я ничего не слышу!

Но его поддержал Николай:
— Виталька прав, я тоже слышу удары колота.
— Чего стали? Работайте! Пусть бьют, тайга большая, мы свою таёжку, слава Богу, заканчиваем оббивать, никто нам теперь помешать не сможет!

Прошло несколько дней, и вечером, когда шишкари пили чай у вечернего костра возле избушки,

из тайги вышел высокий сгорбленный старик в длинном парусиновом плаще, хромая и опираясь на палку при каждом шаге. Глядя на него, Виталий подумал: «Как он сюда попал, за десятки километров от жилья? Что делает в тайге этот древний старик, который и шага без палки сделать не может?»

— Рад видеть тебя и твоих помощников, Николай Савельевич! Давно слышу звук колота и ломаю голову: кто рядом бьёт? Как сыпется шишка с кедров?—подойдя к костру, здороваясь и присаживаясь на чурку, спросил гость.

— Привет, Василий, давно не виделись! А куда шишка денется? Смотри, сколько у меня молодых и здоровых бойцов! Выпей с нами кружку чая, расскажи, как тайга, какая нужда к нам привела,—встретил гостя бригадир.

Тот протянул руки к костру:

— К вечеру похолодало, руки озябли. За приглашение спасибо! Но некогда чаи гонять, скоро зима придёт, к ночи надо до своей избушки добраться. Нужда привела к тебе. Собрался я в тайгу, пошёл к сыну, Ивану, у него хорошая тёрка, но он наотрез отказался сказать, где её прячет! Думал, сам найду, всю таёжку облазил—как сквозь землю провалилась. Куркуль! Родному отцу отказал, не моргнув глазом! Набил я чуть выше по Мане десяток мешков шишки, вальком тереть—годы уже не те, выручи по-соседски, дай тёрку на парутройку дней!

— Я ещё не смотрел, цела ли моя тёрка. Днями сами думаем шишку тереть, кончаем таёжку оббивать. Ты продолжай бить. Через неделю, как стихнут удары нашего колота, приходи; пока мы будем ветрогонить и калить, перетрёшь, место обговорим, туда и спрячешь.

— Спасибо на добром слове, порадовал старика!— растроганным голосом поблагодарил гость.

— Василий! А как ты вывозить собрался? На себе много не унесёшь!

— Сосед меня на лодке завёз, мою на буксире притащили, напротив Ангула на этом берегу стоит. Погружу орех в лодку и сплавлю до Выезжего Лога, от берега найду, как до дома довезти.

Услышав о лодке, бригадир оживился:

— Погоди, Василий! Говоришь, что напротив Ангула твоя лодка стоит? Ты её примкнул?

— Нет, вытащил на берег и привязал. А что?

— Разреши нам ею воспользоваться? Когда начнём орехи вывозить в Ангул, часть будем переплавлять, потом на место ставить.

— Берите, какой разговор, мне она сейчас без надобности.

Немного поговорив, вновь отказавшись от чая, опираясь на палку, гость ушёл в тайгу.

— Кто это был?—спросил Валентин.

— Отец Стойчика Ивана, местного куркуля, живёт в Выезжем Логу, всё под себя гребёт! Надо додуматься: родному отцу, старику, не сказал, где тёрка спрятана! Живоглот! Как земля таких носит? Слышали, что гость сказал о приметах? Скоро холода наступят, с ними и снег выпадет. Через пару дней кончим бить шишку, начнём тереть. А теперь всем спать, завтра подниму рано!

Ребятам не надо было повторять: растянувшись на пихтовом лапнике в протопленной избе, радуясь, что скоро закончится бой шишки, быстро уснули, утомлённые тяжким трудом таёжника.

Проснувшись, не узнали тайгу, покрытую мокрым снегом, который вместе с мелким дождём продолжал сыпать из лиловых туч, опустившихся до самых вершин сопок.

Бригадир за завтраком сказал:

— Жалко, что погода испортилась, нам не хватило пары дней, чтобы оббить все кедры в Клочках. Может быть, солнце взойдёт—и погода наладится. Пойдём на деляну, попробуем бить.

Парни знали, что перечить ему бесполезно, и промолчали. Пока шли к колоту, все промокли до костей: малейшее прикосновение к кустам вызывало водопад из пропитанного водой снега, который лежал на траве и мху.

На густых вершинах кедров лежал слой мокрого, пропитанного снега, и после первого удара он обрушился на Витальку, который пытался ужаться, спрятаться по чурку колота, но это плохо удавалось. Оббив несколько кедров, парень промок и продрог до костей; он видел, что сборщикам шишек было не лучше, одежда на них была пропитана ледяной водой. Прислонив колот к кедру, он взбунтовался:

— Набили больше ста шестидесяти мешков, хватит! Из-за ведра ореха, добытого по такой погоде, простынем и заболеем!

Неожиданно бригадир поддержал его:

— Кончаем бить! Нечего здоровье гробить! Идём в избушку. Вы сушитесь и отдыхаете, я с Николаем схожу за тёркой. Завтра с утра начнём шишку тереть и просеивать через два сита, копытное и чистовое.

Высушив одежду, отогревшись, после обеда Савельевич с сыном ушли в насквозь промокшую, покрытую мокрым снегом тайгу, в избушке остались Виталий с Валентином.

— На своей шкуре испытали таёжную романтику добычи кедрового ореха! Не пропало желание жить таёжной жизнью?—рассмеялся Виталий.

— Первые дни тяжело было, сейчас втянулся в этот каторжный труд! Больше никогда не скажу, что дорого просят за стакан ореха на базаре! Но месяц таёжной романтики и жизни в избушке многому научил! Хорошо провели отпуск и денег заработали благодаря Савельичу,—ответил Валентин.

— Чувствую, до снега придётся зарабатывать таёжные деньги!—усмехнулся Виталий.—Теперь

ничего не поделаешь, нельзя Савельевича с Николаем бросать в тайге.
— И от денег отказываться,— поддержал его друг.

Парни разожгли костёр, сварили надоевший вермишелевый суп, вспоров и бросив в котёл банку тушёнки. Когда Виталий для заправки резал сало на мелкие кусочки, у него потекли слюнки, и он, посмотрев на Валентина, не отрывавшего взгляда от его рук, отрезал от куска два тонких пластика, один протянул другу:
— Немного помышкуем, думаю, мы заслужили!

Отрезая по маленькому кусочку, неспешно прожёвывая, они наслаждались давно забытым вкусом солёного сала, глядя в тёмное от сетки дождя окно избушки.

Прошло не менее трёх часов, на улице стало темнеть, парни стали беспокоиться за друзей, помня метки так и не покинувшего тайгу медведя. Наконец у входной двери раздались голоса. Парни выглянули, чтобы своими глазами увидеть чудо техники — тёрку на подшипниках, но вместо неё увидели мокрых до нитки связчиков с пустыми руками. Не сговариваясь, в один голос спросили:
— А тёрка где?
— Хрен её знает! Вышли на место, где я её прятал два года назад, а тёрки нет! Обыскали вокруг на полкилометра, но тёрка пропала. Я знаю, кто её забрал! Стойчик Иван, из Выезжего Лога! Он в тот год здесь бил шишку, законченный подлец, даже родному отцу в помощи отказал, всё, что найдёт в тайге, к себе во двор тащит! Вы его отца, Василия, видели. Били его несколько раз мужики, но толку нет, он меня хочет из Клочков выжить! Вот хрен ему!
— Тёрки нет — что со ста шестьюдесятью мешками шишки делать будем? Мы с Виталькой и Юрой тёрли вальком четыре мешка шишки — мозоли на руках набили! — насторожился Валентин.
— Когда вы успели побывать в тайге?— удивился бригадир.
— Два года назад приезжали к Благинину Григорию в гости, он повёз нас в тайгу на своём мотоцикле, в какой-то лог, там небольшое зимовье стояло, в нём жили три дня, несколько мешков шишек стёрли вальком, по ведру ореха насеяли.

Виталий с Валентином трут шишку вальком

Савельевич усмехнулся:
— Только не уважающий себя таёжник трёт шишку вальком. Неужели Благинин, старший лесничий, не мог договориться и взять тёрку на пару дней?

Не обращая внимания на его слова, Виталий, спросил:
— Бригадир, ты не ответил: что мы с шишкой делать будем без тёрки?
— Мы сделаем новую, лучше прежней будет! — улыбнулся тот.

Виталий с Валентином трут шишку вальком

Парни были поражены, и удивлённый Валентин спросил:
— Из чего и чем мы её будем делать? Инструмента у нас нет, только двуручная пила, топор и пара ножей, нет ни одного гвоздя!
— А ты на стены избушки посмотри: видишь, сколько гвоздей? Сколько надо — вырвем, будем за продуктами выходить в посёлок — принесём и вобьём!
— У нас нет досок и бруса, из воздуха тёрку не сделаешь! — не сдавался Валентин.

Савельич рассмеялся:
— Сразу видно городского человека. Ты кругом посмотри, сколько деревьев растёт. Пила и топор у нас есть, завтра утром свалим подсоченный кедр и начнём тёрку мастерить! Надеюсь, вы догадались суп сварить? Мы с Николаем голодные как волки, холодные и мокрые. Поставьте котлы с супом и чаем на печку, попытаемся согреть озябшие внутренности!

Поставив котелки на раскалённую печку и подложив дров, Виталий, расставляя чашки на небольшом столе, прибитом к стене избушки, пригласил:
— Садитесь рядом с печкой, суп горячий, пока хлебаете, чай согреется, и мы с вами поужинаем!

Покушав и напившись чая, обитатели избушки забрались на нары, теряясь в догадках, как бригадир собирается из ничего сделать тёрку, и не заметили, как уснули под шум осеннего дождя, стучавшего по крыше из кусков коры.

Утром, выглянув из избушки, обрадовались: прекратился нудный дождь вперемешку со снегом, весь прошлый день сеявший из тёмных туч, зацепившихся за вершины гор.
— Хороший знак, погода решила нам помочь! — улыбнулся бригадир.

После завтрака, вооружившись двуручной пилой и топором, шишкари пошли делать тёрку.

Таёжник подвёл их к ошкуренному и засохшему на корню кедру, осмотрев его, расставил ребят, и они начали пилить толстый, в два обхвата, ствол.

Виталий нарезает зубцы, Савельевич обстругивает боковину

Как только пилу стало зажимать, он приказал её вытащить, взялся за топор и стал срубать древесину с верхнего участка реза, а парней поставил подпиливать дерево с другой стороны. Им долго пришлось таскать пилу, зажимаемую кедром. Наконец раздался треск разрываемой древесины, великан стал клониться в сторону подруба, которым бригадир направил его падение. С хряском рвущихся волокон, ускоряясь, кедр падал на землю; парни стояли рядом, выдернув пилу, заворожённо смотрели на гибель таёжного великана. Из этого состояния их вывел громкий крик бригадира:
— Бегите в сторону! Комлем зашибёт насмерть! Бегите скорее!!!

Поняв, что дерево может убить своих губителей, парни в несколько прыжков отскочили на безопасное расстояние. Как только вершина коснулась камней, комель подпрыгнул на ветвях на несколько метров и полетел по кругу; до парней только сейчас дошло, что были на волосок от смерти.

По привычке ругнув городских растяп, бригадир приказал отпилить от комля полутораметровое бревно, после чего подвёл к стройной берёзе и сказал:
— Валите под корень, прямая, на барабан сгодится!

Парни свалили берёзку, отрезали несколько чурок разной длины, раскололи пару чурок на поленья. Таёжник топором выстругал из них две увесистые колотушки и несколько клиньев. Ребята под его руководством колотушками забивали топор в торцы кедрового отрезка, вытаскивали и в образовавшиеся щели забивали плоские клинья.
— Теперь с двух сторон равномерно забивайте клинья, не торопитесь, бейте поочерёдно! — командовал бригадир, наблюдая за работой.

Виталий видел, как после каждого удара щели удлинялись к середине короткого бревна; после очередного удара раздался треск, и горбыль с корой отлетел в сторону, обнажив почти ровную поверхность.

Оценивая работу, Савельич удовлетворённо потёр руки:
— Нам повезло, прямослойный кедр попался. Снимем со всех сторон горбыли, от бруса отщепим плахи для бортов будущей тёрки.

Работая, Виталий поражался навыкам выживания в тайге, которыми делился с ними старый опытный таёжник.

Нанося удар за ударом по клиньям, из круглого бревна они получили прямоугольный брус, от которого откололи две толстые плахи. Поставив брус на чурки, Савельевич с Виталькой выпилили двуручной пилой корыто под барабан, нарезали в нём зубцы. Положив берёзовую чурку в корыто, бригадир сказал:
— Теперь сделаем на барабане запилы для вала.

С двух сторон, по ширине корыта, они сделали запилы по кругу с обеих сторон. Виталий, откалывая топором лишнее дерево, старался соблюсти центровку будущего барабана.

Повертев барабан за оси, убедившись, что он хорошо отцентрирован, Савельевич похвалил:
— Молодец! Сумел оси по центру вырезать! Теперь ошкуривай барабан и ножом нарезай зубцы. Я подстрогаю боковины, поищу с парнями скобу, и гвоздей из стен избушки надёргаем! — сказал бригадир.

Виталий ошкурил будущий барабан, с силой надавливая на свой охотничий нож, оставляя глубокие царапины, разметил по кругу будущие зубцы, после чего стал их нарезать. Сырая берёза по твёрдости была сродни железу, но парень колотушкой забивал лезвие ножа, удаляя лишнее дерево, вырезал один зуб, за что вновь получил благодарность бригадира, который заметил:
— Хороший зуб вырезал, но такими темпами до вечера зубья не нарежешь. Бери пилу, постараемся облегчить тебе работу.

Поставив парней распрямлять скобы и гвозди, с Виталькой сделали продольные пропилы в барабане. Когда они были готовы, таёжник сказал:
— Садись и ножом выбирай древесину между зубцами, я с ребятами буду прожигать дыры в плахах под вал барабана.

Виталий рассмеялся, услышав как просто можно разрешить задачу получения отверстий в плахах без сверла и стамески: их заменит раскалённое на костре железо скобы. Продолжая работать с барабаном, не мог понять и ломал голову, из чего крёстный собрался делать и как крепить ручки на барабан. Они должны быть крепкими, в корыто попадает сразу несколько шишек, надо с усилием крутить барабан, чтобы их растереть. Сырая древесина с трудом поддавалась ножу. Он взял освободившийся топор, дело пошло веселей. Постукивая по обуху колотушкой, выбирал древесину с двух сторон зубца, ножом подстругивал каждый зубец барабана.

Закончив нарезку, подключился к прожиганию дыр в плахах. Часть скобы лежала на углях,

нагреваясь до белого каления, от неё нагревалась вся скоба, и её невозможно было взять в руки. Деревянная рогатка, которой её подхватывал Савельевич, дымила и плохо держала раскалённое железо, при надавливании на плаху съезжала и вспыхивала.

Понимая, что так не они смогут прожечь в толстых плахах большие дыры для осей вала, Виталий осмотрел избу изнутри и снаружи, но ничего подходящего не нашёл. Осматривая стоявшие у избы старые сломанные тракторные сани, откуда были вырваны две скобы, увидел полуметровую полосу железа. Сгибая её в разные стороны, переломил. Согнув посередине, постучал на чурке обухом топора, получился прихват для работы с раскалённой скобой. Подойдя к костру и разогнув концы полосы, серединой прихватил и зажал раскалённую до свечения скобу, торцом прижал к плахе, наблюдая, как, чадя, железо медленно погружается в древесину. Пока он работал с одной скобой, грелась другая. С железным прихватом дело пошло гораздо быстрее.

Наконец отверстия под оси барабана были прожжены, расширены до нужного диаметра; бригадир положил вал в корыто, парни продели концы вала в отверстия боковых плах, Савельевич с одной стороны наживил их гвоздями к корыту, сказал:
— Самый ответственный момент: посмотрим, как отцентрирован вал барабана! Приподнимите его на толщину спичечного коробка,—и наживил гвоздями плахи с другого края.

Перед глазами изумлённых парней стояла готовая тёрка, только без ручек.

Прокрутив вал вокруг оси, похвалил:
— Молодцы, сегодня хорошо поработали. Вечер на дворе, ужинаем, пьём чай, сушим одежду и отдыхаем до утра!
— А из чего ручки будем делать? Как крепить их к валу?—не утерпев, спросил Виталий.

Он не мог догадаться, как можно в тайге подручным материалом заставить крутиться вал, который должен будет разжевать сто шестьдесят мешков шишки.

Крёстный рассмеялся:
— Пейте чай, сушите одежду и ложитесь спать. Как говорили наши предки, утро вечера мудренее. Завтра всё увидите! Молодцы, не ожидал, что сделаем тёрку за один день. Завтра начнём шишку тереть!

Весь день занимаясь изготовлением тёрки, парни отдохнули и повеселели, не испортил им настроения закапавший к вечеру дождь. Развешав одежду на стены у печки, рано поужинав, легли на нары и слушали шум дождя, который усилился и лил как из ведра.

Виталий спросил:
— Савельевич, ходит много разговоров про Верхнее Манское озеро, из которого вытекает Мана, что там много рыбы и тайга богатая. Расскажи нам, что знаешь.
— Сам там не был, но с мужиками разговаривал. У заготовительной конторы «Бурундук» в Выезжем Логу есть небольшой вертолёт, летают на это озеро, привозят много фляг солёного ленка и хариуса. Охотятся, на высокогорье водятся дикие олени, медведи, добывают мясо. На вертолёте забрасывают продукты шишкарям в лог Кулитьба, там густо растёт боевой кедрач, с одной установки колота можно оббить по два-три кедра, идёт богатая шишка. Некоторые ждут сильного ветра или договариваются с лётчиком, он на малой высоте пролетает на вертолёте несколько раз над тайгой, потоком воздуха от винта оббивает шишку, им остаётся только собрать её со мха, перетереть и просеять.
— А люди как туда попадают?
— Бригада заготовителей заходит пешком по тропе вдоль Маны до заброшенного прииска Юльевский, там вброд переходят Ману, по тропе идут к логу Кулитьба, куда вертолётом раньше забрасывают продукты, и добывают орех.
— А как они вывозят заготовленный орех из такой глуши?—удивился Валентин.
— Прилетает вертолёт, забирает мешки, люди выходят пешком. По логу Кулитьба идёт тропа на Верхнее Манское озеро, из которого вытекает Мана, от прииска Юльевского до озера километров двадцать пять—тридцать. Недалеко от истока Маны в пятьдесят четвёртом году разбился двухмоторный пассажирский самолёт, летел из Китая в Москву. Его долго искали, но выпал снег, и нашёл его охотник на горе Сивуха, на самой вершине, только на следующий год, когда стаял снег и открылись перевалы. Трупы погибших вывезли, но одного мужчину не нашли—видно, зверьё растащило или выжил в катастрофе и сгинул в тайге.
— Когда мы ещё жили в Хабайдаке, отец мне об этом рассказывал. Я сам видел, как маленький самолёт По-2 с двумя лётчиками низко пролетал над тайгой,—сказал парень и спросил:—А с разбитым самолётом что сделали?
— Кому он нужен? Говорят, и сейчас на вершине Сивухи лежит!
— А до Юльевского сколько километров?
— С Выезжего Лога больше пятидесяти. Кто таёжные тропы мерил?
— На прииске сохранились дома и постройки?
— Несколько домов стоят, часть разобрали на плоты—орехи сплавляли по Мане, когда вертолёта не было; много плотов разбилось на Манских порогах—в низкую воду камни все оголяются.
— На порогах я был, ходили с братом Сергеем с Мины через Таловку и Ангул, на медведицу с медвежонком напоролись, едва ноги унесли,—сказал Виталька и услышал богатырский храп бригадира.

— Валька! Давай сходим на Верхнее Манское озеро, посмотрим разбитый самолёт, порыбачим, поохотимся, будем знать, где Мана берёт начало!
— Спи, посмотрим, как карта жизни ляжет! — сказал приятель, поворачиваясь на бок.

Витальке, которому с детства хотелось побывать в таёжных дебрях Восточного Саяна, посмотреть разбившийся самолёт и порыбачить на Верхнем Манском озере, из которого небольшим ручьём вытекает таёжная река, красавица Мана, на берега которой с Валентином и друзьями часто ходили в походы, вязали стальными тонкими тросами плоты из брёвен, плывущих по Мане, сплавлялись от посёлка Береть и кордона Еловка до устья, её впадения в Енисей, долго не спалось, обдумывал план будущего похода.

В таёжной избушке, пока горела печь, было жарко; когда прогорали дрова и гасли под пеплом угли, тепло быстро выветривалось. По установившейся традиции, кто первым замерзал, вставал с нар и разжигал железную печку, подкладывая дрова; в эту ночь её пришлось разжигать и топить трижды, на улице резко похолодало.

Утром прозвучала привычная команда бригадира:
— Рота, подъём!

Выйдя из избушки, парни удивились: дождь, ливший всю ночь, прекратился, трава вокруг стана, кусты и ветви деревьев были покрыты белым ковром инея. Над костром парил котелок с гречневой кашей, рядом висел котелок с чаем — нехитрый завтрак, приготовленный неутомимым бригадиром. Умывшись в ручье, рассевшись за столом, ложками отправляя в рот надоевшую кашу, запивая чаем с сухарями, парни думали, что упавший иней, верный вестник надвигающейся осени, был сигналом скорого выпадения снега.

Словно читая их мысли, Савельич скомандовал:
— Поели — пора работать, время не ждёт, зима не за горами!

Обступив тёрку, ребята с удивлением смотрели на не совсем ровные ручки, красовавшиеся на валу. Виталий не сразу понял, что крёстный отец концы вала обстрогал под паз «ласточкин хвост», насадил и расклинил обрубленные с кедра толстые сучья; боковые ветви, росшие почти под прямым углом, служили ручками для вращения вала тёрки.

Бригадир был доволен произведённым впечатлением:
— У нас остались одна-две недели до первого снега! Надо перетереть и просеять всю шишку! Иначе ударят морозы, по Мане пойдёт ледяная шуга, и мы не сможем до зимы вывезти добытый орех!

Парни не возражали: месячное проживание в тайге им успело порядком надоесть своим однообразием, и каждый готов был скорее уйти в жилуху, но держали более ста шестидесяти мешков

Виталька подносит мешки, Николай засыпает в тёрку, Савельевич крутит вал и трёт шишку, Валентин, работавший на ситах, фотографирует

набитой шишки, которую надо было перетереть, просеять через два сита, провеять, прокалить и вынести из тайги за двенадцать километров к берегу Маны.

Бригадир распределил роль каждого в обмолоте шишек: сам крутил вал тёрки, один из парней подносил мешки с шишкой и сыпал в приёмник, другой бросал совковой лопатой жванину на копытное сито, третий просеивал орех на чистовом сите, на подосланную полиэтиленовую плёнку падали орешки вместе с мелкой трухой.

Савельевичу не понравилось, что тёрка плохо мнёт шишку, в жванине остаются невымолоченные орешки. Ребята, придерживая боковины, выдернули гвозди с одной стороны и, немного опустив вместе с валом, прибили.
— Пробуйте! — сказал бригадир.

Парни быстро загрузили ведро шишки, Виталька несколько раз прокрутил вал, и вся шишка прошла через тёрку, регулировка оказалась удачной. Просеяв жванину через два сита, бригадир остался доволен:
— Смотрите, нет ни одного мятого ореха, и в жванине не остаётся, вымолачивается весь орешек! Учитесь, как надо делать настройку тёрки, в жизни может пригодиться!

Растёртая между зубьями корыта и вала шишка, получившая у таёжников название «жванина», просеивалась на копытном сите, на котором оставались только крупные фрагменты — сердцевина и пластины, орешки и остальная мелочь сыпались на полиэтиленовую плёнку.

Лопатой их бросали на чистовое сито, после просеивания на нём оставались орехи и мелкая труха, не провалившаяся через сито; их сгребали совками в мешки.

День ото дня морозы становились крепче, иней перестал таять, а следом выпал снег, укрывший тайгу белым покрывалом. У парней не было тёплой одежды. У Витальки на коленях лопнули брезентовые

штаны, он ходил с голыми коленями, ноги сильно мёрзли, и это увидел бригадир. Вечером он сказал:
— Вы двое продолжаете тереть шишку, работы осталось на пару дней. Мы с Виталькой завтра пойдём в Хабайдак через Ангул, не дело по морозу с голыми коленями ходить, нужны продукты и тёплая одежда, заодно принесём ветрогон.

Виталий удивлялся, каким чутьём бригадир безошибочно находил тропу в снегу, толстым слоем лежавшем на мху и траве, на ветках кустов и деревьев.

Наконец тайга поредела, топа вывела путников на берег Маны, где увидели до половины вытащенную на берег и привязанную к дереву небольшую лодку-плоскодонку, сшитую из досок. Когда парень ступил в неё, лодка накренилась, угрожая зачерпнуть воду бортом. Чтобы не упасть в ледяную воду, он присел и, схватившись руками за борт, добрался до среднего сиденья.

Савельевич предупредил:
— В лодку входи тихо, сохраняя равновесие. Только купания в ледяной воде нам не хватало!

Отвязав лодку, стоя на ногах, упираясь в дно шестом, направил её к противоположному берегу через бурный поток тёмной ледяной воды.

Привязав лодку, они вышли на единственную улицу брошенного людьми посёлка Ангул. Пройдя по просёлочным дорогам ещё четырнадцать километров, пришли в Хабайдак.

После многокилометрового перехода, холода, снега и грязи Виталию показался раем уют в доме крёстного отца: была протоплена печь, комнаты сияли чистотой. Ему стало стыдно за свою грязную заношенную одежду и давно не мытое тело.

Тётя Вера, крёстная мать, увидев таёжников, засуетилась:
— Я сейчас баньку истоплю!
— Не торопись, мать! Сегодня суббота, баньку затопи, сама знаешь, чем нас надо угостить, и одежду постирай, а мы с Виталькой в общую баню сходим, отпарим и отмоем таёжную грязь и новости узнаем!

В бане у мужиков на языке была одна тема: о тайге, урожае шишек, прогнозах на погоду. Они узнали, что в некоторых таёжках прошёл сильный ветер, оборвал шишки с ветвей, и добытчикам оставалось только собрать упавшую шишку, пока не растащили орешки в свои закрома на долгую зиму белки, бурундуки, кедровки и прочая живность тайги.

Парень в душе завидовал этим счастливчикам: им пришлось весь сезон оббивать кедры колотом, часто бить двойной тягой, серией ударов. Он усмехнулся: «Чего завидовать? Это уже история. Мы со своей задачей справились».

Их взволновало известие, что снег выпал не только в их тайге, снегом оказался покрыт весь хребет Кутурчинское Белогорье и примыкающие к нему сопки.

Когда вернулись в дом крёстного отца, стол был накрыт: стояли варёный картофель, квашеная капуста, солёные огурцы, на сковороде скворчали куски жареного сала, в тарелке лежали куски давно кончившегося в тайге ароматного хлеба. В середине стола стояла полулитровая банка с мутной жидкостью и специфическим запахом самогона. Савельевич налил тёплый самогон по половине стакана.
— Виталька, вы с Валентином молодцы, вовремя приехали, мы оббили всю хорошую тайгу в Клочках, набили много шишки, теперь надо её довести до ума, перетереть, просеять, провеять и прокалить. Понесёшь в тайгу ветрогон, с его помощью пустой орешек и мелкую примесь отвеем от полновесного орешка, прокалим на кедровых дровах, и он пойдёт высшим сортом! Поднимай стакан, давай выпьем за успешное окончание нашей кампании по заготовке кедрового орешка!

Они сдвинули стаканы. Виталий ощутил тошнотворный вкус тёплого и мутного самогона, но заставил себя выпить. Он почувствовал, как по жилам оттаявшего и отмытого в парной бане тела растекается тепло, после пережитых в тайге приключений вонючий самогон казался райским напитком.

Поставив стакан, он спросил:
— А снег надолго выпал?

Хозяин пожал плечами:
— Может, на несколько дней, а может и до зимы пролежать, такое часто у нас в Саянах случается! В любом случае до холодов надо постараться переработать шишку и вынести из тайги! Главное мы сделали, набили сто шестьдесят мешков шишки, это сорок мешков чистого прокалённого ореха, по десять на брата! Столько мешков я с твоим отцом там же, в Клочках, только дважды добывал! — довольно потирая руки, сказал Савельевич, вновь наливая самогон в стаканы.

Собрав все мешки, закупив в поселковом магазине продукты, набрав в подполье картошки, таёжники закинули поклажу за спину, распрощавшись с гостеприимной хозяйкой, ранним утром вышли из тёплого уютного дома в холод и промозглую сырость поздней осени. У Витальки поверх рюкзака горбатился ветрогон — нетяжёлое, но громоздкое сооружение из фанеры в виде большого ящика.

Шли быстрым шагом, на лодке переправились через Ману и к обеду подошли к избушке, возле которой парни заканчивали тереть шишку на последнем бурте.
— Молодцы! Видно, что хорошо поработали. Заканчивайте тереть, мы с Виталькой установим ветрогон, надо провеять несколько мешков, завтра с утра начнём калить орех.

Забив между камней колья, закрепили на них ветрогон, подстелили под него прочную полиэтиленовую плёнку. Савельевич взялся за ручку и скомандовал:
— Засыпайте орех в приёмник.

Виталий высыпал ведро, раскрутив велосипедное колесо, бригадир приоткрыл заслонку, и парень увидел, как в струе воздуха полетели в сторону мелкая труха и орешки, а в привязанный мешок посыпалась струйка чистого ореха.

Виталька, впервые наблюдая за работой ветрогона, не мог понять, почему вместе с мусором летит в отвал часть ореха, а бригадир, видя это, продолжает быстро крутить колесо, и не удержался:
— Савельевич, не слишком быстро ты крутишь? Много ореха уходит вместе с мусором.

Таёжник рассмеялся:
— Ты попробуй расщёлкни эти орешки, сам догадаешься, быстро или нет я кручу!

Парень нагнулся, выбрал из мусора несколько орешков, раскусил и удивился: все они оказались пустыми. Улыбаясь, бригадир пояснил:
— В струе воздуха улетает вместе с мусором только лёгкий, пустой орех. Раньше мучились, расстилали брезенты, дождавшись хорошего ветра, бросали орех ему навстречу, там действительно много уходило в отход. Потом какая-то умная голова изобрела ветрогон — беда и выручка для таёжника!
— А зачем орех надо провеивать? Пусть стоит в мешках с мелким мусором, — спросил Виталий.
— Нельзя, через неделю-другую сырой орех в мешке начнёт греться, потом прогоркнет, покроется плесенью, и его придётся выбросить. Думаю, что ты запомнил, как надо крутить колесо ветрогона, чтобы провеивать орех, не пуская хороший в отвал.

Увидев, как парень кивнул головой, сказал:
— Завтра будешь работать у ветрогона, учить ребят!

Рядом с избушкой стояла длинная печь, сложенная из дикого камня, над камнями лежала обвязка из тонкомера, к которой была прибита мелкая сетка из прочной проволоки. Бригадир пояснил, что на ней будут калить провеянный орех.

Вокруг избушки стояли подсоченные кедры, на которых в предыдущие годы кольцами была снята кора, деревья высохли на корню. Парни валили и пилили их на чурки, кололи на поленья для каменной печи.

Утром их разбудила команда:
— Подъём! Быстро умываться и завтракать, работы непочатый край! Виталька крутит ветрогон, орешки из мешков засыпает Валентин, мы с Николаем будем калить орехи!

Выйдя за дверь избушки, Виталий увидел, что в топке печи бушует пламя, и подумал, что крёстный ещё ночью развёл в ней огонь. Как только были провеяны два ведра, Николай рассыпал орех на сетку, Савельевич начал его разгонять приспособлением, очень похожим на швабру, укладывая ровным слоем. Продолжая крутить колесо ветрогона, парень видел, как он непрерывно перемешивал орех, который стал потеть, покрылся выступившей сквозь скорлупу влагой и начал громко стрелять. Выпариваемая влага разрывала скорлупу с оглушительным треском, и бригадир мешал его все быстрее и быстрее.

Когда орех стал сухим и звонким, стал пробовать его на вкус, и быстро сгребать к бортику, где Николай собирал деревянным совком и ссыпал в мешок, а бригадир вытирал рукавом вспотевший лоб.

На следующий день орех калил Николай, Виталий был у него в помощниках и учениках, скоро они работали, меняя друг друга. Виталька на себе почувствовал, какая это тяжёлая работа — гонять орех по сетке, не давая ему лопаться; особенно тяжело его было ворошить, когда он был мокрым. К вечеру, в последних отблесках солнечного света, спрятавшегося за вершину сопки, парни, валившиеся с ног, с облегчением услышали команду бригадира:
— Заканчивайте! Пьём чай — и спать, на сегодня хватит! Завтра будем жечь костёр и работать до поздней ночи, время поджимает!

Таёжники пили вечерний чай у костра, когда на тропе, опираясь на палку, появился Василий Стойчик. Присев на чурку, поздоровавшись, гость спросил:
— Давно не слышу стука вашего колота, пришёл узнать, не освободилась ли тёрка.
— Ну и нюх у тебя — как у охотничьей собаки. Вчера последний мешок шишки перетёрли, можешь тёрку забирать, вон стоит в ко́злах! — рассмеялся бригадир.

Осмотрев громоздкую тёрку, гость удивился:
— Совсем новая! Ты говорил, что у тебя лёгкая на подшипниках!

Савельевич усмехнулся:
— Ходили мы с Николаем, обыскали тайгу кругом, но тёрку не нашли! Эту с парнями здесь за день сделали! Грешу на сына твоего, Ивана, он видел, куда я понёс тёрку прятать. Не зная, где она спрятана, никто не смог бы её унести!
— Этот негодяй всё может! Только и думает, как людям напакостить, ничего святого у него нет! Удивляюсь: в кого такой пакостник уродился?

Савельевич рассмеялся:
— Наверное, в соседа! Бери эту, другой у нас нет!

Гость обрадовался:
— Слава Богу, что эту тёрку сделали, без неё пришлось бы мне всю добытую шишку таскать на горбу к берегу Маны или оставлять в тайге до весны.

Савельевич обговорил, у какого ключа гость должен спрятать тёрку, ребята подняли и помогли закрепить на сгорбленной спине старика тяжёлую тёрку.

Просунув руки в лямки, он поблагодарил:
— Спасибо на добром слове, дай вам Бог здоровья и удачи!

Прошли десятилетия, но Виталий помнит, как старый хромой таёжник сгорбился ещё больше от тяжёлой тёрки, матеря своего сына на чём свет стоит, опираясь на палку, по тропе уходил от избушки в уже тёмную, заваленную снегом тайгу.

Повернувшись, спросил:
— Бригадир, а тёрка не пропадёт?
— Нет! Василий никогда чужого не возьмёт и своим всегда поделится, в отличие от сына! Мой сын Митька рассказывал, как в начале зимы добывал пушнину, белку и соболя, по левому берегу Маны в этих местах. Неожиданно выпал глубокий снег, и собака стала тонуть и отказывалась работать. Вышел он к Мане, видит, лодка на якоре посередине стоит, с неё рыбачит Стойчик Иван. Попросил его перевезти на правый берег, но тот наотрез отказал.
— Как же Дмитрий перебрался через реку?—удивился Валентин.
— Разделся, узел с вещами, пушниной и ружьё поднял над головой и перебрёл на правый берег!
— Но так простыть недолго!
— А что ему оставалось делать? Идти через железнодорожный мост, как мы заходили,—лишних двадцать километров по пояс в снегу, а через Ману от Ангула—четырнадцать километров до дома.
— И не заболел?!—удивился Валентин.
— В Ангуле попросился в избу, обсох и пошёл домой. Он у меня настоящий охотник, зимой спал в тайге у костра!

«Действительно, жлоб этот Стойчик Иван, таких раньше в тайге без суда убивали!»—с отвращением подумал Виталька, не зная, что судьба позднее, через много лет, сведёт его с этим сквалыгой.

Зима не хотела отступать, каждый день снег кружился и падал, окрепли морозы. Таёжники оказались в объятиях зимы, ночью от холода их спасала старая, прогоревшая во многих местах печка, которую топили непрерывно.

Утром, после завтрака, насыпав пару вёдер калёного ореха в загорбный мешок, бригадир сказал Николаю:
— Пойдёшь через Ангул в Хабайдак, Ману переплывёшь на лодке. Найдёшь бригадира Терентьева, передашь подарок, напомнишь о договоре дать нам на неделю пару лошадей с сёдлами и три десятка пустых мешков, быстро вернёшься через Ангул, здесь наполовину путь короче. Лошадей к лодке привяжешь вожжами, перегонишь через Ману и привяжешь на левом берегу у тропы. Не вздумай задержаться, у нас нет свободных мешков, прокалённый орех некуда сыпать. Привезёшь ведро картошки, банок десять говяжьей тушёнки, рожков, гречки, сала пару кусков, хлеба булок десять, сахара килограмма два.

Обращаясь к парням, сказал:
— Поели, чаю напились—пора за работу. Одна беда—мало мешков, скоро прокалённый орех сыпать некуда.

Немного подумав, Виталий с Валентином достали из-под нар свёрток полиэтиленовой плёнки, которую перед походом вынесли с завода «Красмаш», расстелили на мху, ссыпали из мешков

На таёжном стане среди заснеженной тайги Николай с Виталием провеивают орех на ветрогоне. Савельевич, стоя у сложенной из камня печи, прокаливает и ссыпает калёный орешек в мешки

остывший орех, прикрыли крышей из плёнки, растянув её на вбитых в землю рогатинах и поперечинах. Увидев их сооружение, бригадир пришёл в восторг, и работа на таёжном стане закипела. Чтобы не донимал холод, развели рядом костёр, который не только грел, но и светил, когда продолжали работу в ранних осенних сумерках.

К обеду третьего дня приехал в седле Николай, привёл в поводу ещё одну лошадь, привёз продукты и два мешка, набитые тарой.
— Пусть кони отдохнут после перехода, нам надо сегодня провеять и прокалить оставшийся орех, лошадей через неделю надо будет вернуть.

До полуночи на стане горел костёр, светил и грел таёжников, которые, работая без передыха, к полуночи успели провеять и прокалить весь намолоченный орех.

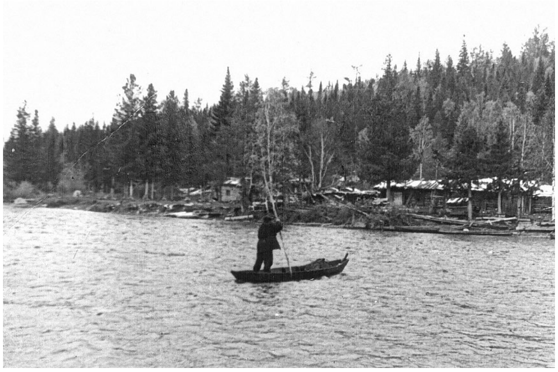
В изнурительной и однообразной работе среди выпавшего снега парни потеряли счёт дням, их радовало, что орех провеяли и прокалили, теперь, чтобы выйти из тайги, добычу надо было вынести до Ангула.

Утром после завтрака бригадир спросил:
— Кто из вас может шестом управлять лодкой?

Отозвался Николай:
— Я переплывал через Ману, едва не опрокинул лодку и не утонул!

Неожиданно Виталька вспомнил, как с братом Сергеем два дня плавал на небольшой лодке:
— Подростком плавал на лодке с шестом по протоке реки Мины.
— Если один раз плавал, сумеешь не утонуть сам и не утопить орех!

Парень смотрел на Савельевича, не понимая, к чему тот клонит.
— Будешь мешки и рюкзаки с орехом переплавлять через Ману к Ангулу, помогать разгружать лошадей, носить и ставить на полати.
— Но это было давно, я по самой реке не плавал…—засомневался парень.



— Научишься! — оборвал его бригадир. — Сегодня с Валентином вставляете в рюкзаки мешки, рассыпаете в них мешок ореха и несёте к берегу Маны. Мы с Николаем поведём навьюченных лошадей, иначе нельзя: стоит сучку чиркнуть по мешку — весь орех уйдёт в снег!

Николай с отцом навьючили на каждую лошадь по два с половиной мешка ореха и повели в поводу. Валентин с Виталием, вставив в рюкзаки пустые мешки, рассыпали пополам мешок калёного ореха, весом пятьдесят пять килограммов, и несли двенадцать километров до берега Маны следом за небольшим караваном через засыпанную снегом тайгу.

На берегу сняли с одной лошади полтора мешка, в седло сел бригадир, дёрнул уздечку и направил лошадь в бурные воды Маны, к противоположному берегу, на котором стояли дома почти безлюдного посёлка Ангул, где раньше проживали лесорубы. Вторая лошадь с подобранной уздечкой и навьюченными мешками с орехом шла следом.

Снятые мешки с орехом и принесённые рюкзаки парни погрузили в лодку, Николай с Валентином ушли в избушку, а Виталий, столкнув лодку с берега, сел в неё.

Балансируя на ногах, каждую минуту рискуя потерять равновесие и упасть в ледяную воду, отталкиваясь от дна шестом, на вёрткой лодке, готовой каждую секунду зачерпнуть бортом воду или опрокинуться, переплавил добычу через Ману. Перенёс груз, вдвоём с бригадиром сняли с лошадей и поставили мешки с орехом в сарае на полати, чтобы до них не могли добраться мыши. Окончив разгрузку, спустился на берег Маны, на шесте перегнал лодку к левому берегу, вытащил на берег и надёжно привязал к дереву. Когда подъехал бригадир, он в первый раз в жизни сел в седло свободной лошади и поехал к избушке следом за лошадью Савельевича, пытаясь уютнее устроиться в жёстком седле. Но это ему мало удавалось, вечером он с трудом мог сидеть и ходить, болели ягодицы. Никому не жалуясь, боясь, что над ним будут смеяться, ежедневно с Валентином нёс полмешка ореха к Мане, обратно, привстав на стременах, ехал в опостылевшем седле, морщась от боли.

Когда под навесом избушки остались последние десять мешков провеянного и прокалённого ореха, бригадир сказал Николаю:
— Завтра через мост пойдёшь в посёлок за машиной, скажешь Потылицину Владимиру, чтобы через три дня прислал машину в Ангул за орехом, я с ним договорился, он твёрдо обещал.

В последний день Валентин с Виталькой, рассыпав по рюкзакам мешок ореха, утопая по колено в выпавшем за ночь снегу, вели в поводу навьюченную мешками лошадь. Переплавив в лодке Валентина, рюкзаки и мешки с орехом, Виталий помог разгрузить лодку, перегнал её на левый берег, вытащил на отмель и надёжно привязал к дереву. Савельевич перевёл для него в поводу свободную лошадь. Виталька, вставив ногу в стремя, сел в седло и тронул коня уздечкой.
— Ты прямо как заправский казак! — удивился Савельевич.
— Ты прав, по линии матери я из казачьего рода. Дед, Родион Ефимович, живёт в Мине, казак Забайкальского казачьего круга, я его потомок! — гордо ответил Виталька, боясь поморщиться от боли, стараясь усидеть в жёстком седле.

Пока конь нёс его на противоположный берег, парень прощальным взглядом смотрел на Ману, катившую свинцовые воды среди заснеженных берегов, на засыпанную снегом тайгу, покрывавшую громоздящиеся по берегам горы; к радости возвращения примешивалась грусть расставания с таёжной жизнью.

В этот же день на грузовой площадке лесовоза МАЗ, натянув на мешки брезент, чтобы уберечь от кусков грязи, летевших из-под колёс, привезли добычу во двор дома Савельевича. Рассчитавшись орехом с водителем, бригадир спросил:
— Что собираетесь делать с добычей?

Последний караван уходит из зимней тайги. Автор ведёт в поводу вторую лошадь с грузом добытого своими руками таёжного орешка

— Мы думали сдать в заготконтору «Бурундук», там принимают калёный орех по рублю пятьдесят копеек за килограмм! За сданный орех получим по семьсот пятьдесят рублей — приличные деньги! На двери магазина висит объявление, — ответил Валентин.

— Сразу видно — молодые, зелёные, нет у вас жилки житейской! — рассмеялся Савельевич.

— А что нам остаётся делать? Не будем же мы в Красноярске стоять и торговать стаканами? Мать с отцом уже старые. Возьмём по мешку на щелканку, остальное сдадим! — подтвердил Виталька.

— Вы твёрдо решили сдавать орех?

— Конечно! Куда нам его девать? — поддержал приятеля Валентин.

— Тогда я его у вас покупаю. Отберите и подпишите мешки для себя, приедет на машине сын Дмитрий, работает с вами на одном заводе, «Красмаше», водителем, увезёт в Красноярск и развезёт по адресам. А теперь быстро в баньку, Вера Фёдоровна нам истопила и самогонки выгнала, отпразднуем конец сезона добычи кедрового ореха!

Когда они сидели, распаренные и довольные жизнью, за накрытым столом, поднимая стаканы с самогоном, закусывая солёным салом, квашеной капустой и жаренной в свином сале картошкой, горкой лежавшей на большой чугунной сковороде, Валентин спросил:

— Николай Савельевич, а что ты будешь делать с нашими мешками ореха?

Тот довольно рассмеялся:

— Были ваши, стали наши! Отправлю в Красноярск, Митька договорится с барыгами на базарах, продаст им в два раза дороже, чем принимает «Бурундук». Надо как-то выживать нам с Верой на маленькие государственные пенсии. Считайте, что вы нам хорошо помогли. Приезжайте ещё на добычу кедрового ореха, с удовольствием возьму в бригаду, за полтора месяца научились, заматерели в тайге!

Парни переглянулись и рассмеялись.

— Думаем, нам этой таёжной романтики года на четыре хватит! — признался Виталий.

Крёстный отец оживился:

— Как раз через четыре года в нашей тайге будет хороший урожай кедровой шишки! Милости прошу, приезжайте! Давайте выпьем за новую встречу!

P. S. Через год Виталий с друзьями, Валентином и Юрием, без карты пройдя по таёжным тропам более сотни километров по дикой тайге, рискуя заблудиться и погибнуть, побывали на заброшенном прииске Юльевский, дошли до Верхнего Манского озера, из которого вытекает красавица Мана. Поднявшись на вершину горы Сивуха высотой около двух километров, осмотрели разбившийся о её вершину двухмоторный самолёт. Вернувшись после многих смертельно опасных приключений, навестили Николая Савельевича и были встречены как дорогие гости, но сходить с ним в тайгу на добычу кедрового орешка не смогли.

На фотографиях Морозова Валентина, не попавшего в кадр, — автор Виталий Пшеничников, бригадир Николай Савельевич Ковалёв, его сын Николай.

Михаил Смирнов

Бабье счастье

— О, Иван появился,—сказала невысокая худенькая женщина, сидевшая возле подъезда.—Не иначе за бутылкой потащился. Мужики только с виду крепкие, а на самом деле они—слабые. Быстро ломаются. Я понимаю его. Такое горе на него свалилось. Здесь здоровый мужик не выдержит, а ему тем более тяжело. Но всё равно нужно жить, сжать покрепче зубы и жить, а он… Эх, что говорить-то…

Не договорив, она нахмурилась, взглянула на него и махнула рукой.

Женщины, сидевшие рядом, кивая на соседа, наперебой стали о чём-то разговаривать.

— Да пошли вы…—привычно отмахнулся Иван, надвинул кепку на глаза и, выставив плечо вперёд, словно сквозь пургу пробивался, прошёл мимо них и буркнул, не оглядываясь:—Ты, ехидна, попридержала бы язык. Тоже мне, нашлась жалельщица. Понимает она…

— Не мой язык, а тебя нужно держать, чтобы окончательно с катушек не слетел,—она ткнула пальцем вслед.—Скажу дочери. Вот увидишь!

— Говори что хочешь, мне плевать,—сказал Иван.—Лучше сдохнуть, чем…

Он зашёлся в кашле, сплюнул и, сгорбившись, уже не слушая соседей, направился к магазину.

…В новую пятиэтажку, стоявшую на окраине города, Иван Воронин с семьёй перебрался одним из первых. Взглянешь на дом—на редких окнах занавески или тюль, а остальные ещё зияли пустотой. Пока таскали вещи, заметил, что в подъезде всего лишь две-три квартиры были заселены. Вскоре начнут переезжать, и оживёт двор, двери захлопают, разнесутся голоса ребятни, да изредка распахнётся окно и кто-нибудь крикнет, чтобы ребята бежали ужинать или обедать, а то начнут загонять спать. И они помчатся, чтобы завтра снова встретиться во дворе…

Иван частенько приходил сюда, когда строился дом. Подолгу бродил по квартирам, в которых ещё работали отделочники, осматривал квартиры, с рабочими советовался, выходил на балконы и оглядывался по сторонам, и уже тогда он знал, какая квартира ему приглянулась, но молчал, если жена спрашивала. Смеялся: какую выделят, в той жить будем. А супруга его, Антонина, мечтала на первый или на второй этаж переехать, потому что до ужаса боялась высоты, и уговаривала Ивана, чтобы тот поговорил с начальством: может, выделят квартиру пониже этажом. Иван обещал поговорить, а когда стали распределять квартиры, он выбил на пятом—последнем этаже. Сказал, что не любит, когда над головой топают, а ещё с балкона открываются чудные виды на холмы и юркую речушку, заросшую кустами, что вьюном кружилась между ними, и рыба в ней водилась, но мелкая—пескарики там, окушки с ершами и вьюнки с верховками. А ещё неподалёку от них, за речкой, видна опушка леса, где полным-полно ягод и грибов, а от полевых цветов в глазах рябит, и он готов был спускаться и подниматься на последний этаж, чтобы вечерами сидеть на балконе, распивать чаи и любоваться местными красотами. Эх, благодать-то какая! И стал просить квартиру на пятом этаже. Ивану пошли навстречу и выдали ордер на квартиру, о которой он мечтал…

Супруга его, Антонина, когда узнала, что дают квартиру на пятом этаже, готова была остаться в посёлке, где они проживали с дочкой и сыном. Но оставаться было нельзя, потому что бараки должны пойти под снос. И волей-неволей, но пришлось смириться, что Иван, обормот этакий, согласился на квартиру на пятом этаже, от которой умные люди всегда отказываются, потому что они живут не одним днём, а смотрят в будущее. И, высказав ему всё, что было на душе, она взялась укладывать вещи, готовясь к переезду, но предупредила, что ни в жизнь, ни ногой не ступит на балкон и к окну постарается не подходить, потому что у неё сразу же будет головокружение.

С переездом не затягивали. Это сейчас пожитков набралось бы не на одну машину, а в те времена—лишь самое необходимое: кровать, две раскладушки, стол и платяной шкаф—это увезли на грузовике, а остальную мебель, если потребуется, решили взять в кредит. Иван с дружками быстренько перетаскали немногочисленные вещи в квартиру. Рассовали по углам, на середину поставили стол, на него бутылку, простенькую закуску, выпили, закусили, покурили на балконе, где Иван тут же принялся хвастаться чудными видами, снова по рюмке пропустили, и дружки отправились по домам, оставив хозяев обживать новую квартиру.

Ивану не спалось в первую ночь. Супруга с ребятишками заняли спальную комнату. Иван остался в зале. И всю ночь бродил по квартире. Заходил на кухню. Щёлкал выключателем, посматривая на тусклую лампочку. Наливал чай. Выглядывал в окно, на котором ещё не было занавесок. Открывал краны, прислушиваясь к шуму воды. Потом заходил в ванную и подолгу любовался белоснежной ванной и тоже открывал воду, наблюдая, как брызги разлетались в разные стороны. Затем спускал воду в унитазе, присаживался на него, и сразу же вспоминалась общая уборная в бараке, особенно в зимнюю морозно-трескучую пору, а сейчас-то какая благодать наступила: хоть круглые сутки сиди — и не замёрзнешь. Он смотрел и радовался. Наконец-то у них появилась своя квартира. Нет, он не жаловался на жизнь. Наоборот, у него всё благополучно складывалось. Другим тяжелее пришлось, а он родился в городе и жил с родителями. Отслужив в армии, перебрался в соседний город. На завод устроился. Не захотел каждый день мотаться домой, хоть и были дежурные автобусы. Он попросил место в общежитии. Родители ругали его, что он надумал в общагу перебраться. А Иван посмеивался. Живут же люди, и он будет жить. Пора привыкать к самостоятельной жизни, он сказал. Собрал вещички и переехал в общежитие.

И началась самостоятельная жизнь. Где поел, где недоел, где голодным остался, то простирнуть забыл и ушёл на работу в грязной рубашке, то штаны порвал, а латать не умеет. Но жизнь всему научит. Потихонечку, но преодолевал все препятствия.

И с будущей женой познакомился здесь же, в этом самом общежитии, когда заманили его на собрание в красный уголок. Рядышком сидели. Друг на друга глядели искоса и взгляды отводили. У Ивана что-то внутри шевельнулось. Обожгло, аж дыхание перехватило. И Антонина взглянет — и щёки огнём полыхнули. Опять покосится — и снова краснеет. А после собрания Иван позвал её прогуляться. Она согласилась. С того вечера стали встречаться.

Про любовь не говорили. Слова — это ветер в поле, как смеялся Иван. И говорил, что главное — здесь, и стучал кулаком в грудь. Прижмёт к себе Антонину — и дыхание перехватывает. Возьмёт в свои ручищи её маленькие замёрзшие ладошки, подышит на них, согревая, и она радуется. Подарит простенькое колечко или серёжки, а она засмеётся, прижмётся к нему, взглянет на него, полыхнёт румянцем и тут же отскочит, смутившись. А у него дух захватывало, что угодил подарком. Много ль нужно для простого человеческого счастья? Да всего ничего! У каждого человека свой взгляд на счастье. А им малого хватало, чтобы быть счастливыми.

Вскоре свадьбу сыграли. Хотели квартиру снять, а тут Антонине выделили жилплощадь в бараке. Антонина сразу принялась наводить порядок в комнате, куда притащили старенькую односпальную кровать, наспех сделанный стол и этажерку — вот и всё хозяйство. Да ещё по мелочи — посуда там, стопочка книг и газет и две гераньки на подоконнике.

И началась семейная жизнь. Вернутся с работы, поужинают, а потом уходили гулять или сидели на лавке возле барака, словно голубки, и наговориться не могли. Каждый день — словно первый. Любому пустяку радовались. Соседи подшучивали: вроде живёте который месяц, а словно на первом свидании — насмотреться друг на друга не можете. Они смеялись: так и нужно жить друг для друга, радуясь каждому пустяку, каждой мелочи, — это и есть настоящее счастье.

Здесь же родилась старшая дочка. А потом, уже перед самым переездом в пятиэтажку, родился поздний, но очень долгожданный сынок. И в семье было сразу две радости: квартиру получили, и сын родился. Перебрались в новую квартиру. Весь день крутились, расставляя вещи, раскладывая по местам, а ночью, когда жена с ребятишками ушли в другую комнату, Иван долго не мог найти себе место. Всё казалось: сейчас громыхнёт барачная дверь, и кто-нибудь затопает по скрипучим полам, или в какой-нибудь комнате загорланит подвыпивший сосед, а может, через стенку заплачет ребёнок, и его долго будут успокаивать, напевая колыбельные песни. А в новой квартире не жизнь, а благодать!

Иван жмурился от удовольствия, блуждая по квартире. Выходил на балкон. Облокотившись на перила, курил, поглядывая сверху на всполохи сварки на стройке, потому что строительство новых домов шло круглосуточно, чтобы всех нуждающихся обеспечить жильём. И обеспечивали. Люди не задумывались, как они будут жить, потому что у них вся жизнь была расписана на многие годы вперёд.

Иван стоял, поглядывал на голубые всполохи и на вереницу машин, что шумели под окнами. Прислушивался к редким разговорам, что доносились в ночной тьме. Ниже этажом кто-то засмеялся. Приглушённо взвизгнула женщина, не испугавшись, а весело, и вслед глухо хохотнул мужик. Окурок прочертил огненную дугу в ночи и исчез. Они о чём-то заговорили вполголоса. Женщина отнекивалась, что-то шептала и отказывалась, а потом сдалась. И они зашли домой, захлопнув балконную дверь. Жизнь продолжается, а может, только начинается на новом месте, в новом доме…

Годы быстро летят — и не замечаешь. Казалось, недавно переехали, всего несколько лет прошло с той поры, а гляди ж ты, старшая дочка замуж засобиралась. И жениха себе нашла аж

из Владивостока, словно поближе не было, но сердцу не прикажешь. Сыграли свадьбу, и молодые уехали, но обещали навещать. Пусть не так часто, как бы хотелось, но всё же без внимания не останутся.

Младший сын, последышек,—он был долгожданным, потому что супруга долго не могла забеременеть, что-то нашли у неё, и пришлось лечиться. Уж было отчаялись, что всего лишь одна дочка будет, а тут жена сюрприз преподнесла, сказала, что ждёт ребёнка. Иван готов был на руках её носить. Жили, радуясь каждой мелочи, каждому незначительному пустяку. Жена его, Антонина, умела углы сглаживать. Там словечко скажет, здесь по головке погладит, словно маленького, а тут прижмётся, а ночью жаром полыхнёт, и у Ивана не было причины с ней ругаться. Наоборот, он радовался, что у него такая жена. И сам старался отплатить такой же монетой. А много ль нужно для простого счастья? Да всего ничего—из двух половинок стать одним целым! Наверное, они стали, поэтому жили душа в душу.

Перед самым переездом на новую квартиру родился сын. Неизвестно, кто больше радовался—жена или Иван, но над сыном тряслись оба, пылинки сдували, шагу не давали ступить: а вдруг упадёт и поранится или ножку сломает? а вдруг?.. И этих «вдруг» и «если» было столько—хоть на улицу не выпускай. И не пускали. Только с собой, только под присмотром и держась за ручку. Казалось, глаз с него не спускали, но просмотрели…

Нет, можно сказать, они не были виноваты в случившемся. Беда не приходит одна, как говорится. Сначала Ивана придавило на работе. Тельфером перетаскивали трубы, а стропы не выдержали, и трубы полетели вниз. Иван не успел отбежать. Напарника спас от верной гибели. Успел оттолкнуть его, сам попал под трубы. Накрыло его, словно катком по нему проехались. Пока разобрали, растащили трубы, он еле дышал. В больницу отправили. Весь переломан. Живого места не было. Думали, что всё, в лучшем случае останется лежачим и с уткой под кроватью, а в худшем… Но Иван выкарабкался. Антонина дневала и ночевала возле него. Выхаживала, лишь бы его поставить на ноги. И вы́ходила. Врачи удивлялись, что он поднялся на ноги. И не только встал, но и потихонечку приучался ходить. Шажок, другой, третий… Тяжело было, но Антонина всегда была рядом, поддерживая его. Одну ногу по частям собирали, по осколочкам. Здесь врачи не ошиблись, сказали, что на всю жизнь останется калекой. Какой из тебя работник, если не только ходить не можешь, но даже плечо осталось приподнятым и при ходьбе казалось, что он одним плечом пробивает дорогу, выставив его вперёд, а ногу подволакивал? И ребра были сломаны, и ещё столько всего, что врачи удивлялись, что в живых остался. Другой бы на его месте давно бы помер, а он выкарабкался, да ещё про работу спрашивает. Какая работа? Сиди на инвалидности и не рыпайся! В общем, вчистую списали. И на работе обвинили его, будто бы сам сунулся под трубы. Его никто не заставлял. Сам нарушил технику безопасности. Всю вину свалили на него.

Иван места себе не находил, когда узнал, что его отправляют на инвалидность. Как списать, если ещё молодой? Поковыряйтесь во мне, отрежьте что-нибудь или нарастите, может, хоть слесарить смогу или плотничать, руки-то работают, я же молоток или гаечные ключи не ногами держу, а руками. Ну как мне жить, если в таком возрасте уже стал инвалидом? Я ещё детей могу клепать, а вы меня… Ну как же так, а? Как-как… Как другие люди живут, говорили врачи. Живут и не жалуются. Вот и ты радуйся, что живой остался, а мог бы и… они кивали на окно, показывая на городское кладбище. Эх, да лучше бы туда, чем стать калекой. А супруга успокаивала. Время лечит. И ты поднимешься. Главное, что голова на плечах и руки шевелятся. Я сегодня узнавала, что в обувную мастерскую требуется сапожник, а ты же умеешь обувь ремонтировать. Со всего двора к тебе за помощью обращаются. Вот тебе и работа нашлась. Раньше за спасибо ремонтировал, а теперь за такую же работу ещё деньги будут платить. Я договорилась. Они будут ждать, когда оклемаешься и сможешь приступить к работе. Не волнуйся, Ванечка, проживём! Я поставлю тебя на ноги. Главное, что живой, а остальное—дело поправимое. И прижимала его к себе, успокаивала…

Иван запросился домой. Дома стены лечат, как говорится. Обещали выписать, а тут с сыном беда произошла. Неугомонный был. Силу некуда тратить, если постоянно быть под присмотром. Вырвался от матери, когда они направились в больницу, и помчался через дорогу, а тут машина вывернула из-за поворота. Шофёр ничего не успел сделать. Слишком неожиданно мальчуган выскочил на дорогу. Под колёса угодил. Умер. Сразу.

А после похорон, когда старшая дочка уехала, у Ивана разболелась супруга. Умом тронулась, исподтишка говорили соседи и крутили пальцами возле виска. И правда, Иван заметил, что жена стала заговариваться. Сядет, бывало, на диван или возле стола и начинает перебирать вещи сына или его игрушки, а сама разговаривает, словно с живым, а то начнёт смеяться. И смех какой-то пугающий. Сначала тихо посмеивается, а сама к чему-то прислушивается, а потом всё громче и громче. И закатится, аж слёзы на глазах выступают. И всё к Ивану приставала, что он не смеётся над проделками сына. Вот же, глянь, что он вытворяет. И тыкала пальцем в пустоту, и снова заходилась в смехе. Иван прятал игрушки, но супруга находила,

и снова начинались бесконечные разговоры с сыном и этот непрерывный пугающий смех.

Иван вызвал врача. Молоденькая приехала. Видать, только после института. Посмотрела на супругу. Иван рассказал, с чего началось. Она покачала головой, посочувствовала. Сказала, что это бывает и ей нужно побольше положительных эмоций, и тогда всё встанет на свои места, но если дальше будет продолжаться, придётся в больницу везти, а пока полечится в домашних условиях. Выписала лекарства, велела сходить за ними в аптеку. И ушла.

Следом за ней собрался Иван. А кому идти, как не ему? Хотел было стукнуть к соседке, но, услышав, как она костерит своего мужика, не стал. Жену запер на ключ, а сам потихонечку побрёл на костылях. Пока туда дотащился, очередь отстоял. Пока обратно вернулся. Подошёл, а возле дома «Скорая» стоит и милиция. Сердце ёкнуло, когда увидел. Беду почуял. И правда, снова беда в дом пришла. Пока он ходил в аптеку, супруга с балкона шагнула. Сын позвал. Соседи слышали, как она вышла на балкон, всё говорила с кем-то, а потом вскрикнула: мол, подожди меня, сынок. Я иду к тебе, иду. Жди меня… Встала на табуретку, на которой Иван всегда сидел на балконе и курил. Встала и шагнула, чтобы встретиться с сыном. Умерла. Сразу.

Иван сломался. Не выдержал. Слишком много бед свалилось за столь короткий срок. Сначала сам попал в больницу. Еле спасли, до такой степени был плох. Жена сутками от него не отходила. С ложки поила-кормила, лишь бы на ноги поставить. И вы́ходила. Оба радовались, что он вернётся к нормальной жизни. Пусть на инвалидности, но руки и голова есть, а значит, сможет работать. Планы грандиозные, но им не суждено сбыться. С сыном произошла беда. И буквально следом за ним с женой случилось несчастье. Навалилось сразу. Комом. Таким тяжёлым грузом придавило к земле, что Иван не выдержал. Лопнуло что-то внутри. Видать, главный стержень жизни сломался. Запил. Хотел горе водкой залить, но бесполезно. Себя винил во всех бедах. Если бы не попал в больницу, сына бы машина не задавила. А если бы не пошёл в аптеку, а отдал рецепты соседке или попросил посидеть с женой, тогда бы с ней ничего не случилось. И так посмотрит, и сяк взглянет — и везде он виноват. И стал пить. Много. А напьётся — поставит фотографии на стол, разговаривает с ними и плачет. Снова выпьет. И опять говорит. Всё жаловался на свою жизнь. Всё сына жалел и жену, а себя ругал, что их не сберёг. И засыпал тут же, за столом. А проснувшись, снова тащился в магазин…

Старшей дочке, едва вернувшись после похорон брата, снова пришлось ехать на похороны. На этот раз муж и дети поехали с ней. Слишком большое горе свалилось на них. Ей тяжело, а отцу ещё тяжелее. Видела, как он изводил себя, как пил, не просыхая, потому что винил в этих бедах только себя одного и никого более. И пил. Много! Дочка уговаривала, чтобы отец к ним перебрался. Хотя бы на время, пока не оклемается. Ни в какую! Иван отказывался ехать. Как он может умотать за тридевять земель, если тут лежат и сын, и супруга? И отказывался. Дочка с семьёй долго пробыли тут. Вроде у Ивана на душе должно стать полегче, что внуки рядышком, что отвлекают его, а взглянет на них — и снова появляются слёзы. То ночами вскакивал, когда сына или супругу видел во сне, где они весёлые были и он без костылей. Снилось, что гуляют или возле реки сидят, а сами наговориться не могут, словно потерянное время хотят вернуть. Иван поднимется утром — глаза в пол, и всё норовил в магазин уйти. И дочка не выдержала. Долго с ним разговаривала и уговорила. Соседи пообещали присмотреть за квартирой и могилками. И дочка забрала отца к себе. Надеялась, что вернёт его к жизни.

Может, незнакомый город повлиял, может, чужая семья и чужие люди вокруг или больница помогла, где он несколько раз лежал, а может, местные знахари, которые лечили его заговорами и травками, Иван с трудом, но всё же взял себя в руки, а потом запросился домой, когда на душе полегчало. Загостился. Затосковал. Уезжал на месяц-другой, а исчез на три долгих года. И уехал, пообещав дочке, что будет держать себя в руках.

…Иван вывернул из-за угла дома. И правда, фамилия Воронин подходила ему. Вроде ещё не старый, но из-за горя, что свалилось на него, сейчас он больше был похож на старого покалеченного ворона. Сам в тёмной одежде, нахохлившись из-за приподнятого плеча, опустив чернущую голову, зыркая исподлобья по сторонам, он медленно шагал, подволакивая ногу, и делал вид, будто не замечает соседок, которые сидели на лавке возле подъезда. Вчера принесли пенсию. Ну и того… Пошёл в магазин за продуктами и не удержался, сначала взял одну бутылку, походил по отделам и снова вернулся и купил ещё несколько бутылок пива. А утром проснулся — голова словно чугунная. Глянул, похмелиться нечем. Пришлось в магазин тащиться. И сейчас ему хотелось побыстрее юркнуть в подъезд, подняться к себе, закрыться и никому не открывать дверь, пусть хоть потоп, хоть пожар — ему было наплевать. Он не то что хотел похмелиться, он хотел остаться наедине со своим одиночеством, к которому давно привык.

— Эй, Иван, здоров был, соседушка! Ну и как, вчера хорошо погулял? — окликнула одна из соседок. — До полуночи радио орало. Опять дурью маешься? Пенсию с гулькин нос получаешь, с хлеба на воду перебиваешься, но ещё умудряешься напиться.

И откуда деньги берёшь на эту пьянку, а? Ты же насквозь больной, весь переломанный, на тебе живого места не осталось, а ещё пьёшь. Другой бы загнулся, а тебе хоть бы хны. Хоть бы о себе подумал, о своём здоровье…

— От водки микробы дохнут,— брякнул Иван.— Поэтому меня ничего не берёт, даже смерть с косой. Эх, да лучше бы забрала, чем так жить. День прошёл, ну и…

И махнул рукой, заматерился.

— Дурак! Да разве можно такое говорить?— всплеснула руками соседка.— При Антонине не пил, а сейчас что хочет, то и делает, и никто ему не указ,— и ткнула пальцем.— Обормот!

— Да пошла ты…— буркнул Иван.— И без тебя тошно…

И закондылял к подъезду.

— Не лайся, Любка,— толкнула соседку другая, Ирина Петровна,— она была подружкой покойной супруги Ивана и поэтому старалась его защитить, если была возможность.— Слышь, Вань, опять за бутылкой ходил? Да лучше бы пожрать купил, чем её, проклятущую. Ну сколько можно с тобой разговаривать на эту тему? Прекращай это нехорошее дело, завязывай, а то напишу твоей дочери, что снова стал в бутылку заглядывать. Она вмиг примчится. Завязывай…

Ещё одна соседка что-то ехидно сказала, но Иван сделал вид, словно её не слышит. А последняя, самая маленькая, больше похожая на девчонку-подростка, чем на взрослую женщину, поморщилась и кивнула, поправляя косынку.

— Зарекалась свинья…— она не договорила, взглянув на него, и махнула рукой.— Пока жена была под боком, присматривала за ним, а её не стало, вот и распоясался. Свободу почуял,— и сказала, словно плюнула:— Алкашонок, а не мужик! Настоящий мужик должен в любой ситуации оставаться мужчиной, а не махать на себя рукой. Не успеешь оглянуться, как очутишься на самом дне.

Она хмуро посмотрела и ткнула пальцем в него.

— Сама ты, Машка, свинья,— здесь уже сам Иван не выдержал и приостановился.— Нет, не свинья, а ехидна рыжая. Тебе-то какое дело, пью я или нет? Да что ты понимаешь в моей жизни? Я, может быть, до сих пор горе не могу залить, а ты… Устал я от этой жизни. Ох как устал!— он махнул рукой, взглянул на неё и сказал:— Слышь, Манька, а чего проходу не даёшь мне? Пристаёшь как банный лист. Может, понравился? Так скажи. Бутылочку возьму, и обмозгуем это дело. Глядишь, и…

Иван выпятил грудь, охнул и схватился за голову.

— Слышь, Мария, он дело говорит,— повернулась к ней Ирина Петровна, поправляя косынку.— Подумай. Мужик-то неплохой. Жалко его, если пропадёт. Уж сколько лет вдовцом живёт. Подумай. Может, правда что-нибудь у вас срастётся?..

— Да на кой ляд он сдался? Семья должна быть крепкой. Соедини две половинки в одно целое— это и есть муж и жена. Что говоришь? Да, к любому человеку можно найти подход. Я считаю так: если сходиться— это на всю оставшуюся жизнь и жить душа в душу, чтобы каждой мелочи, каждому пустячку радоваться, а не для того, чтобы каждый день лаяться или на пьяную рожу смотреть,— взвилась было Мария, но осеклась, когда в бок ткнули кулаком.— А ты не ширяйся, Ванькина заступница! Лучше бы отругала его. Сколько лет горе заливает. Знаю, что мужик неплохой. Пора бы за ум взяться. А он за воротник закладывает. Ведь совсем сопьётся. Так недолго и с балкона упасть…

Не подумав, сказала сгоряча и прикрыла рот ладошкой, покосившись на Ивана. Видать, пожалела, что о прошлом напомнила.

— Дура, как есть— дура!— рявкнул Иван, рывком распахнул дверь и с треском захлопнул за собой, поднимаясь по лестнице, продолжал ругаться:— Не язык— словно помело поганое. Говорит одно, а делает другое. С мужиком нужно лаской, как моя Антонина делала, а эта своим языком— как обухом в лоб. Ни один нормальный мужик не согласится с такой бабой жить. Язык мой— враг мой,— и опять повторил:— Дура!

И ругался во весь подъезд, пока не добрался до квартиры. Потоптался возле двери, словно решаясь, а может, о чём-то задумался. Зашёл. Захлопнул дверь. Снова прислушался. И заторопился на кухню, где на плите стояла маленькая кастрюлька с прокисшим вермишелевым супом— забыл убрать, а на неубранном грязном столе стояла тарелка с вялыми огурцами, два куска чёрствого хлеба и стакан.

С той поры, когда он вернулся домой от дочери, прошло поболее трёх лет, а словно вчера это было. И каждый раз, когда он открывал ключом дверь, казалось: сейчас распахнёт— а на кухне супруга возится, как обычно, а сын сидит в своей комнате и занимается. Он любил рисовать. Все стены были увешаны картинками. Сколько альбомов перевёл— не счесть, и это теперь осталось памятью о нём, памятью о его семье, которую потерял по своей вине. Иван так и не смог простить себе, что в тот злополучный год попал в больницу, и если бы не это, были бы живы и сын, и супруга, а теперь… теперь он остался один. Нет, конечно, есть ещё старшая дочь, но она так далеко, словно на другой планете живёт. Всё грозится приехать, а у самой трое ребятишек и больная свекровь на шее. Ладно, мужик неплохой. В море ходит. Заработки хорошие. Но уходит на несколько месяцев, и получается, что дети, свекровь и хозяйство на дочке. И она прёт, не разгибаясь, как ломовая лошадь. Куда уж тут ехать, если такое ярмо на шее? Ладно, звонит да письма пишет— это уже хорошо. Пусть далеко, но всё же они общаются.

А чтобы вот так, сесть рядышком, поговорить по душам, доверить самое сокровенное, что другим не скажешь, да просто друг другу ласковое слово сказать—такого человека не было.

Антонина ушла в мир иной, а другую женщину он так и не смог привести в дом. В последнее время и дочка намекала, чтобы женился, ну, или хотя бы нашёл себе подругу жизни по душе, а он только плечами пожимал и отмалчивался. Какая женщина, если на себя давно рукой махнул? Ну а соседи… Вроде мирно с ними живёт, но близко не подпускает. У них своя жизнь, а у него своя, а вот близкого человека, чтобы душу перед ним распахнуть и рассказать всё, о чём наболело, у него не было. Частенько подруга жены, Иринка, или Петровна, как её называют, к нему заходит. Иногда порядок наведёт, а если свободное время было, что-нибудь приготовит на скорую руку и торопится домой. Мужик должен прийти или дети обещали в гости зайти. И уходит, а он опять остаётся один на один со своими мыслями и своим прошлым, от которого никуда ему не деться, так и будет его сопровождать до последнего своего часа…

Ивану хоть и обещали врачи: может быть, всё же найдёшь какую-нибудь работу,—но ему не повезло. Пока у дочки сидел на шее, она таскала его по всяким врачам и знахарям. Всё пыталась к жизни вернуть. Пусть не полностью, а хотя бы частично его восстановить. Что-то восстановилось, а вот нога, собранная из осколков, да плечо, которое столько раз оперировали,—они так и не вернулись в своё положение. Хочешь или нет, но инвалидом остался. И уже ничего не поправишь.

Вернулся домой, надеясь, что родные стены помогут. Правда, ехал, а на душе неспокойно было. Особенно когда подошёл к подъезду. Ладно, никого не было возле него. Постоял немного, словно с духом собирался, а потом распахнул дверь и стал подниматься по ступеням. Чем выше, тем медленнее шагал. Поднялся на свой этаж. Ткнул ключ в замочную скважину, повернул и застыл, прислушиваясь, аж головой мотнул, не поверив. Ивану показалось, что на кухне супруга поёт. Песню любила про рябинушку, про неё, кудрявую. И всегда её пела. Особенно если на кухне возилась. Это была бесконечная песня. Много всяких знала, а напевала одну и ту же. И сейчас он стоял возле двери, а открыть не решался. Казалось, распахни дверь—и увидит жену, как возится на кухне, опять, наверное, что-нибудь стряпает, а сын, как обычно, альбомные листы переводит. И не удержался. Распахнул дверь. Переступил порог. Сумка выпала из руки. И стал озираться. Захотелось ему крикнуть: а вот и я вернулся! Но в квартире стояла тишина. Затхлый воздух. И такая тишина—аж в ушах зазвенело. Иван не удержался. Присел на краешек стула, что стоял в прихожке, и едва слышно застонал: протяжно и тоскливо—больно…

До утра просидел на диване. Редкий раз поднимался, выходил на балкон, и сразу щемило сердце при виде табуретки, с которой супруга шагнула навстречу сыну, а убрать её—духу не хватало. Он курил на балконе, потом возвращался в квартиру. Заходил на кухню и подолгу стоял возле окна. Смотрел на редкие проезжающие машины. Вслушивался в голоса, что раздавались в ночной тьме, и ещё невольно прислушивался, что вот сейчас, вот оттуда, из спальни, донесётся голос жены или сонное бормотание сына, а потом торопился туда, где висели на стенах рисунки сына, а на столе стопка альбомов—это всё, что осталось на память. А ещё сохранились семейные фотографии, когда сын родился, когда с ним гуляли, в садик пошёл, а там… Этих «когда», «ещё» и «там» было много, и Иван мог часами сидеть и перебирать фотографии, где были он с супругой и сын с дочкой. Столько времени прошло, а боль не утихает. Вроде заглушал её, пока гостевал у дочки, а она всё равно внутри живёт. И едва что-то напомнит о сыне или жене, тут же вспыхивает эта самая боль—долгая, щемящая—тоскливая…

Но жизнь продолжалась. Дня не прошло, как вернулся,—в дверь забарабанили. Подруга покойной жены, Ирина Петровна, примчалась, а вслед за ней Мария, эта рыжая ехидна, зашла. Соседи позвонили им, что всю ночь по квартире кто-то ходил. Уж не воры ли влезли? Прибежали и ахнули, увидев Ивана, которого столько времени не было дома.

— А что не сообщил?—сразу с порога сказала Петровна.—Мы бы встретили. Здоров был, Ваня! Вижу, немного оживаешь, и лицо прояснилось, а то совсем почернел, когда беда пришла. Ну, как себя чуешь? Почему не сообщил?—прыгая с пятого на десятое, затараторила Петровна.

— Сам добрался,—буркнул Иван.—Что зря людей беспокоить?

— А может, в магазин сходить?—сказала Мария.—Я бы купила продукты. У тебя же хоть шаром покати. Обед бы приготовила. Ты же с дороги. Кушать хочешь. Что купить, Иван? Я быстренько схожу…

— Сам схожу, если нужно будет,—нахмурился Иван.—Обойдусь без помощников. Пора привыкать к этой жизни.

— У меня суп есть. Вкусный! Только что приготовила…—запнулась Мария.—Может, принести кастрюльку? Покушаешь…

— Без тебя справлюсь,—перебил Иван.—Что пристала со своим супом, как банный лист к заднице? Не успел приехать, уже ломятся в двери. Без тебя обойдусь. Ишь, жалельщица нашлась! Кастрюлю с супом она принесёт. Накормит бедненького. Пожалеет. Да пошла ты…

Иван поморщился и отмахнулся от неё.

— Ну и справляйся,— вспыхнула Мария.— Никто тебя не собирается жалеть. Хотела по-соседски помочь, а он развыступался. К нему с добром, а он…

И она ушла, с треском захлопнув дверь.

С той поры Мария взъелась на него. А Петровна редкий раз, но всё же заходила к нему. Помогала по хозяйству. То полы вымоет, то пыль по верхам вытрет — Ивану тяжело было подниматься на табуретку, то постельное бельё простирнёт или что-нибудь из магазина принесёт. И всё это старалась делать незаметно, так, словно мимо проходила и забежала на минутку. Она пыталась вернуть Ивана к жизни…

Но постепенно всё реже и реже стали заходить соседки, потому что у каждой своих забот полон рот, у всех семьи, а они пропадают днями у одинокого соседа. Это ж какому мужику понравится? Может, мужики ничего не говорили, какая-никакая, а мужская солидарность существует, и каждый понимал, что на месте Ивана мог оказаться любой из них. Но всё равно помощницы реже стали появляться. Иван тоже огрызался, когда соседки слишком навязчиво предлагали свою помощь. Если жены в доме нет, чужая не помощница. Ивану волей-неволей, но пришлось возвращаться в эту самую жизнь.

Возвращение было трудным. А честно сказать, он, наверное, до сих пор считал, что находится между прошлым и настоящим. Застрял и никак не может вернуться в эту жизнь. Если бы работал, легче перенёс бы эти беды, что свалились на него. Всё же с людьми, всё же крутился бы по работе, глядишь, меньше думал бы про супругу и сына. А тут днями и ночами сидит один в четырёх стенах, и невольно, о чём бы ни подумал, мысли снова и снова возвращают его в то злополучное время, когда погибли самые близкие для него люди, и опять начинает себя корить: если бы в тот год не случилась с ним беда, тогда бы они были живы. И, как ни крути, получается, что в их смерти виноват он и только он один — и никто более.

Иван снова стал заглядывать в рюмку. Срывался, когда пенсию приносили. А летом, бывало, брал бутылку и уходил на кладбище. Садился возле могилки, где лежали супруга и сын, выпивал и начинал с ними разговаривать. Если бы его увидели со стороны, кто-нибудь сказал бы, что у мужика крыша поехала, и принялся бы крутить возле виска, а другие молча проходили бы и махали рукой: болтает — ну и пусть болтает. Никому же не мешает. И каждый шёл по своим делам. А Иван сидел и разговаривал с ними, как с живыми. О себе говорил, как ему плохо без них живётся, про дочку, что у неё уже трое ребятишек, про соседей, как они живут. Вообще, обо всех новостях рассказывал, а лишнего выпьет — и не замечал, как засыпал там же. И, очнувшись, тащился в город.

С годами костыли бросил, но с клюкой не расставался. И плечо болело. Годы прошли, а к непогоде хоть на стену лезь. Подружка жены Нинка, или Петровна, как её называли во дворе, частенько заводила разговоры про женитьбу. Даже не про женитьбу, а что в доме нужна женская рука, чтобы за порядком присматривала и за ним, а что он может сделать со своей шлёп-ногой да приподнятым крылом? Ну разве только если стакан в руке держать, она ехидничала, но тут же грозила ему: если увидит пьяным, сразу его дочери сообщит. Но сама при каждом удобном случае все разговоры сводила к тому, что в доме нужна женщина…

Иван избегал таких разговоров. Но в то же время, понимал, что слишком тяжело жить без женской руки в доме. Он всегда вспоминал свою Антонину, как она справлялась с домашними делами. А когда её не стало, у Ивана всё из рук стало валиться. Не получается, и всё тут! Ладно, редкий раз Петровна помогала, ну, ещё кто-нибудь из соседок забежит, то булку хлеба принесут, то овощей или фруктов с дачи, но в основном на его кривые плечи ложатся все обязанности по дому. Брался за домашние дела и не знал, плакать ему или смеяться. Сколько времени живёт один, а не научился стирать или порядок навести в квартире. Займётся постирушками, забудет и смешает чёрное с белым, а потом с удивлением и руганью рассматривает, что у него в руках находится — то ли половая тряпка, то ли рубаха в непонятных пятнах и разводьях. А уборка — это вообще тоска зелёная, с его-то кривой ногой и плечом-крылом. Ни взлететь и ни оттолкнуться. Ладно, по низам, то есть полы, можно шваброй грязь развести и мусор по углам растолкать, а выше не получается. На стул не залезешь, и одна рука не поднимается. Какой уж тут порядок наведёшь? Ладно, простенький суп сварить или картошку пожарить — это ещё получается, но что-нибудь повкуснее, как готовила его Антонина, у него не выходит. Руки не из того места растут, как он говорил. И задумывался. Да, с одной стороны — без женщины как без рук, а с другой стороны если взглянуть — да какая баба за него пойдёт, за инвалида-то? Всем же здоровые нужны, непьющие и некурящие, чтобы зарабатывали много и руки правильно росли, а не из какого-нибудь места. А у него что? Да ничего! Ни денег, ни работы, ни тем более здоровья, да ещё курит и от рюмки не отказывается. Разве нормальная баба пойдёт за такого? Конечно, нет! А с дурой жить — только время тратить. Эй, кому калека нужен? Налетай! Не выдержал Иван, закричал. Тишина… Иван вздохнул. В том-то и дело, что никому…

А ещё у него было одиночество. Его одиночество, к которому он привык за эти годы и из-за которого ему не хотелось приводить чужую женщину в дом. Он привык, что всегда один. А появись

новый человек в доме, ещё неизвестно, нашли бы они общий язык или нет. Кажется, для жизни многого не нужно. Просто два человека с разными характерами должны стать одним целым, как у них с Антониной было. А получится ли стать единым целым с другой женщиной—он этого не знал…

Первое время, когда остался в одиночестве,—это слишком тяжело было для него. И дома не мог находиться, и на улицу пойдёт, а там везде знакомые места, где они с семьёй проводили свободное время. Вон кафе, где ели мороженое. А в парке катались на каруселях. А в этом скверике они с Антониной любили сидеть, когда молодыми были. Планы строили на жизнь. А оно гляди, как жизнь к ним повернулась… Да, тяжело было вспоминать. Слов нет.

И на работу ездил. Но его даже за ворота не пустили. Это производство, а не проходной двор, и захлопывали перед носом калитку. Петро, да это же я, Иван! Не признал, что ли? Иван стучал кулаком в грудь. Ну как же, признал, но здесь завод, а не парк отдыха. Иди, Иван, иди отсюда, пока проверяющий не появился. Я же нагоняй получу из-за тебя. И прогоняли его. Правда, редкий раз встречал знакомых, с кем работали вместе. Постоят, поговорят. Иной раз в пивнушку зайдут, пару кружечек пивка возьмут и разговаривают. Иван в основном спрашивал и жадно слушал, что делается у них на работе. Кто из старых остался, кого выпроводили на заслуженный отдых, кто из новеньких пришёл, и будет ли толк от них. А помнишь того, ну, Матвея Носова, который в слесарке сидел? Здоровенный такой! Да, припоминаю. Нет его, схоронили. Онкология, твою мать. Не успели глазом моргнуть—начисто сожрала мужика, а ведь в нём было живого весу поболее ста кило, а схоронили одни мослы и череп, обтянутый кожей. И куда смотрит медицина, почему до сих пор не придумают лекарство от этой заразы? И начинались долгие разговоры. Казалось, говорили обо всём, но в то же время—ни о чём. Иван вернётся домой, посидит, вспоминая разговор, и пожмёт плечами. Вроде много говорили, обо всём расспрашивал, а ничего путного не услышал…

Но первое время, когда из больницы выписался, Иван вообще сторонился людей. Всех. Молодой ещё, можно сказать, но уже калека. Инвалид. Он видел, как возле храма сидели нищие и просили подаяние. И вздрагивал, представляя себя среди них. А что? Как раз для него место. Нога покалечена, плечо—словно крыло торчит, а из-за этого и голова наклонена в одну сторону, словно он хочет прислониться к этому плечу, и взгляд получается исподлобья, а не прямо в лицо. Сесть возле нищих, протянуть руку—и собирай милостыню. Люди будут проходить, кидать копейки в подставленную коробку или фуражку, и ни один не взглянет на него, а если посмотрят, то с презрением: молодой же, а просит. Зачертыхался Иван. Лучше голодным быть, чем сидеть с протянутой рукой. И уходил к реке. Забирался в глушь, усаживался на берегу и думал, поглядывая на воду. О чём думал? Да обо всём, и о жизни—тоже.

…Иван сидел на скамейке возле подъезда. Нога болела, никакого спасу нет, хоть волком вой, хоть об стену головой—ничем не уймёшь эту боль. Врачи говорили, так и будет к непогоде. Чем старше станешь, тем сильнее будет болеть. Новую ногу пришить не получится. Радуйся тому, что смогли твою сохранить, а боли—от этого никуда не денешься. Будешь принимать лекарства. Вылечиться не получится, но боль можно заглушить.

Он поморщился, растирая ногу. Чуть не охнул, когда её словно прострелили. Мимо промчались ребятишки. Иван невольно взглянул вслед, а у самого в голове мелькнуло, что вот и его сын так бегал, а сейчас… Он вздохнул. Да, так и будешь жить воспоминаниями.

Иван мельком окинул заросший двор, взглянул на дом, где были видны лишь верхние этажи, а остальное заслоняли деревья. Вон как разрослись! А когда-то двор был голым. Всё как на ладони. Ни тенёчка, ни кусточка. Помнится, он уговаривал жителей выйти на субботники или воскресники, чтобы сделать палисадники и посадить кустики акации или рябинку, потом посадили берёзы и клён. Хорошие, красивые деревья. Помогая плотнику из домоуправления, с мужиками лавочки сколотили и вкопали. Домоуправление поставило беседку и сделало небольшую детскую площадку с песочницей. Вот уж радость для ребятни! И женщины не отставали. То клумбочки сделают, то цветами займутся перед своими окнами. Двор заиграл. Красивый стал, ухоженный. С той поры, если взглянуть, много воды утекло. Некоторых жильцов уже нет. Одних схоронили, другие получили новые квартиры и переехали, а на их место новые соседи заселились. Жизнь на одном месте не стоит. Она движется…

Иван вздохнул, вспоминая прошлую жизнь, и нахмурился, аж брови сошлись на переносице, когда увидел соседку—эту пигалицу, Марию, эту рыжую ехидну, как называл её Иван. Поругались, когда он вернулся. С той поры не могли общий язык найти. С виду баба хорошая, но живёт одна, и язык у неё—Бог семерым нёс, одной достался. Попробуй сунуться к ней, так отбреет—с неделю икать будешь. Да ещё на весь двор опозорит. Все Машкины беды от длинного языка, как Иван говорил. Поэтому без мужика живёт, что ни один нормальный мужик не станет с такой ехидной жить. Иван наизусть выучил её характер. Сколько лет прожили в одном подъезде, а общий язык не нашли. Сам виноват. Женщина с характером, а он взял и оттолкнул её, когда они с Петровной зашли к нему после возвращения. Она же хотела

помочь ему, а в нём взыграла мужская гордость, что справится, да ещё прошлое вспомнилось, когда вернулся. Ну и того… разлаялись. С той поры Мария взъелась. В общем, стали врагами. Иван покосился на неё, опустил голову, словно не заметил, и полез в карман за сигаретами. Всё, ничего хорошего можно не ждать. Это не баба, а банный лист, который так и норовит пристать. Иван уж пожалел, что решил посидеть на лавочке. Мария вышла из подъезда. Постояла, посматривая по сторонам. Взглянула на чернущую грозовую тучу, которая нависла над соседним двором, на деревья, что шумели под порывами ветра. И тоже нахмурилась, заметив Ивана на скамейке. Хотела было вернуться домой, но приостановилась, а потом направилась к скамейке. Иван вздохнул. Всё, сейчас начнёт читать мораль…

— Не с кем выпить, или на бутылку не хватает? — не удержалась, съехидничала Мария, присаживаясь на краешек скамейки. — А, забыла… Ты же у нас алкаш-одиночка. Одному больше достанется, да?

И меленько засмеялась.

— Дура, как есть — дура! — рявкнул Иван, хотел подняться, но охнул и снова уселся, схватившись за ногу. — Я в аптеку собрался. Лекарства закончились. Сунулся — хоть шаром покати. Спустился на улицу и понял, что до аптеки не дойду и обратно не смогу подняться. Сижу, в себя прихожу. Нога болит. Сама видишь, как погода крутит, спасу никакого нет. Здесь хоть в петлю головой, а ты — алкаш, алкаш…

— А что, сунулся бы в петлю, всё равно живёшь ни себе, ни людям. Бултыхаешься, как дерьмо в проруби, а так бы сразу все проблемы снял, — снова съехидничала Мария. — Всем миром бы схоронили. Я бы даже на букетик цветов не пожалела. Тебе какие нравятся — гвоздички или каллы? Ну, так, на всякий случай спрашиваю… Вдруг да пригодятся. Я бы их собственноручно на могилку положила. Знаешь, Иван, ты пьёшь, и другие мужики, глядя на тебя, за воротник закладывают. Бабы лаются, а мужики пальцами на тебя указывают. И пьют, сволочи, а всю вину на тебя валят! Дурной пример подаешь, алкашонок. Эх, да лучше бы нашёл путную бабу и женился. Глядишь, за ум бы взялся. А так… — она махнула рукой. — Я всегда говорила, что мужики — они слабаки. Чуть что, сразу ломаются и начинают в рюмку заглядывать. Прямо как ты. Был человеком, становишься алкашонком.

И опять меленько засмеялась.

Иван засопел. Эта ехидна при случае всегда его называла алкашонком, словно у него имени не было. И постоянно с ехидцей, с подковырками, аж хотелось вскочить и треснуть по её рыжей башке, но нельзя — это женщина, как ни крути. Пусть вредная, но баба…

— Ехидна рыжая, врезать бы, да не приучен на бабу руку поднимать, — медленно, с расстановкой выдавил из себя Иван, кое-как поднялся и, опираясь на клюку, потащился к подъезду. — Рано меня хоронишь. Рано! Не дождёшься! Все бабы как бабы, а эта — банный лист. Пристанет и покоя не даёт. Вот уж уродилась червоточина. Путную бабу не найдёшь, но и такая не нужна. Правильно, лучше в петлю, чем такую жену иметь.

Он повернулся и ткнул в неё пальцем.

— Дурак, может быть, в петлю полезет, а умный станет на руках носить, — вслед донеслось, и раздался громкий смех. — Ну, тебя это не касается. Ты к первым относишься. Ну, к тем, кто в петлю лезет, а отсюда следует, что ты — дурачок!

И ещё громче расхохоталась.

— Видать, на твоём пути одни лишь дураки встречались, если до сих пор умного мужика найти не можешь, поэтому одна живёшь. Вот ты и есть, что ни себе, ни людям, — не удержался, ткнул пальцем Иван. — Потому что умный не позарится на такое добро, как ты, Мария, а дурак просто тебя не заметит, а если заметит, на другой день сбежит. Потому что с тобой жить — только время тратить.

Мария умолкла на мгновение, услышав его ответ, а потом снова принялась смеяться.

Иван думал, что её разозлит, и не ожидал, что она засмеётся, и готов был клюку в неё бросить, но запыхтел, распахнул дверь, зашёл в подъезд и с размаху захлопнул дверь. И, ругаясь, стал подниматься по лестнице.

— Дура, как есть дура, — ругался Иван, с трудом поднимаясь по ступеням. Хотел было плюнуть под дверь, где жила Мария, но не стал так низко опускаться, а мимо прошёл. — Лучше бы в аптеку сбегала, чем приставать. Видит же, что нога болит, а ей хоть бы хны. Это она мстит за старые дела. Я и говорю, что она — баба вредная. Прицепилась, как банный лист. Тычет носом, будто я алкаш последний, и смеётся надо мной. Другие пьют, она всю вину на меня сваливает. Я никому не наливаю и никого не заставляю. А Мария мне покоя не даёт, пилит и пилит. Вот уж уродилась червоточина!

— Что лаешься, Иван? — распахнулась дверь и на площадке появилась высокая дородная Лариса Николавна, его бывшая начальница участка на заводе. — Что ругаешься, говорю? На весь подъезд разорался.

Она неторопливо захлопнула дверь и повернулась к нему, поправляя яркую косынку.

— Ай, опять с ехидной повстречался, — Иван махнул рукой и невольно вцепился в перила, когда шатнуло на больной ноге, на которую опёрся. — Ох, мать твою за ногу! Аж в глазах потемнело! Хотел в аптеку за лекарствами сходить, нога болит — спасу нет, да куда по такой погоде тащиться? Того и гляди ливанет. А тут ехидну принесло. Психанул и ушёл домой, лишь бы с ней не разлаяться. Ещё смеётся надо мной, сволота! Из-за неё остался без таблеток. Хоть на стену лезь. Слышь, Ларис

Николавна, дай анальгинчик или какую-нить мазь. Я же не дотяну до утра. У кого достать, а? Я бы вернул. Скорую помощь, говоришь? Да ну…—он протянул и махнул рукой.—Они не поедут ко мне. Что им скажу—что нога болит? Да они засмеют меня!—и опять махнул рукой.—Да ну…

Он приостановился и принялся растирать ногу.

— Не обращай внимания на Марию,—хохотнула бывшая начальница.—У неё тоже жизнь не сахар. Сколько лет одна живёт, никого к себе не подпускает. А баба должна жить для кого-то—это в каждой женщине заложено, а у неё никого не осталось. А ведь всякая баба хочет тепла, чтобы её обняли, приласкали, пожалели, и тогда она всё сделает, было бы для кого делать. Одна живёт,—и словно с трибуны сказала, подняв кулак, и рубанула:—С людьми нужно общий язык находить, а с бабами тем более, потому что в первую очередь она—женщина, которую нужно любить, ну, в крайнем случае, уважать, а всё остальное—это шелуха. Вот так, Иван!

Сказала, опять рубанула рукой и принялась спускаться по лестнице.

— Ага, женщина… А ты попробуй-ка найди язык, приласкай эту ехидну,—вслед сказал Иван.—Не то что руку откусит—самого сожрёт и не поморщится. Хорошая женщина не станет лаяться, как Мария, а подход бы нашла к мужику. Вот, к примеру, как моя Антонина делала. А у этой же Марии всё наоборот получается. Наизнанку вывернется, лишь бы носом ткнуть. Пусть дураков в зеркале ищет, которые согласятся её жалеть, а мне ещё жить хочется.

Он пробормотал, прислушался к грузным шагам соседки, вздохнул и снова стал подниматься по ступеням. И пока поднимался, всё чертыхался, ругая Марию и всех родственников, каких только знал.

А дома, глядя на грозу, которая не на шутку разыгралась на улице и не думала останавливаться, а наоборот, гроза перешла в ливень, казалось, что небо прохудилось, и потоки воды ринулись вниз, с каждой минутой всё сильнее и больше заливая улицу и двор. Где были низинки, появились озёра, а возвышенности казались островками.

— Ох, что делается-то—страсти Господни, как говаривала моя Антонина!—поморщился Иван, пытаясь рассмотреть сквозь плотные струи дорогу.—Здесь здоровому человеку утонуть недолго, а я, калека, в аптеку собрался.

Сказал и снова сморщился, схватившись за ногу. Боль тягучая, изматывающая. Такой лишь зубная боль бывает. Особенно по ночам. И тогда на стенку лезешь из-за неё, готов среди ночи бежать к врачу, чтобы его выдрать. И утром мчишься, и вздыхаешь облегчённо, выходя из кабинета. А с ногой не побежишь и не выдернешь её, проклятущую. Так и будет изматывать тебя. Уже терпения не хватает. Иван все углы, все полки обшарил в поисках таблеток и мазей. Но ничего не нашёл. Казалось, нога распухла и стала как тумба, не меньше. Он с каждым разом всё труднее и труднее переставлял её, опираясь на клюку. Дома ходил без клюшки. Если нужно, придерживался за стенку или за мебель, а сегодня и правда хоть головой в петлю, до такой степени разболелась нога. И к Петровне не сходишь. Уехала с мужем к внукам. А соседи на работе. Он слышал, как утром собирались, а сейчас ещё день, но ему казалось, что уж ночь наступила, и тьма за окном, и боль такая тягучая, как само время, сколько ни погляди, стрелка словно на одном месте застыла, а ему ещё до утра нужно протерпеть эту боль, чтобы сходить в аптеку. В такую непогодь хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. А ему хоть плачь, а до аптеки нужно добраться. Иначе до утра не дотянет. От боли в петлю полезет. Подумал и снова застонал, растирая ногу. А потом всё же решил: хоть потоп, а нужно пойти за лекарствами. И, собравшись, потихонечку направился в сторону аптеки. И не дошёл. Споткнулся, когда пытался перейти поток воды на дороге, не заметил колдобину, нога скользнула, и Иван со всего размаха рухнул на дорогу.

Иван очнулся в машине скорой помощи, которую вызвали случайные прохожие. На помощь бросились. Побоялись, что захлебнётся в потоке грязной воды. Вытащили на обочину, а у него голова разбита и ступня вывернута. Повредил, когда упал. Так Иван оказался в больнице…

Врачи вправили распухшую ступню. На всякий случай сделали рентген, но, слава Богу, только вывих и ничего серьёзного. Отругали, что долго не был, а за здоровьем нужно следить, если хочет прожить до ста лет. Голову перебинтовали. Небольшое сотрясение и глубокая ссадина на затылке. Ничего опасного, как сказали, но из больницы отказались выписывать. Полежи. Отдохни. И подлечись, а то стал похожим на ходячий скелет. И принялись лечить его ударными дозами, как сказал врач. Таблетки три раза в день, уколы, а ещё системы прокапать, ну и всякие процедуры в физиокабинете. В общем, ему показалось, что дома больше отдыхал, чем в этой самой больнице. Но пришлось подчиниться врачам.

Дни мелькали, и не замечал. Днём набегается по кабинетам, если можно так назвать ходьбу с клюкой, после обеда тихий час, за ним часы приёма посетителей, и многие больные уходили на прогулку. Лишь Ивану некуда пойти. К нему никто не приходил. Он сидел в палате или уходил в столовую, где был телевизор, и смотрел все передачи подряд, лишь бы побыстрее вечернее время пролетело. На ночь выпросит сонную таблетку, как он называл, обезболивающий укол сделают, и спит до утра. А утром снова всё по кругу. Умылся, завтрак, обход, процедуры—и до вечера, пока спать не завалится.

Дни пролетали, а Иван рукой махал: день прошёл, ну и… Всё равно дома никто не ждёт, а сюда тем более никто не придёт. И не всё ли равно, где лежать—дома на диване или в больничной палате. Здесь хоть соседи по палате, с кем можно поговорить или послушать, о чём рассказывают, а дома тоска зелёная, не с кем словом перекинуться. В часы приёма в палате никого не оставалось. Здесь лежали лёгкие больные, как их называли, или ходячие. И они, когда были часы приёма, все спускались в больничный дворик, где гуляли по аллейке или сидели с родными или знакомыми. Возвращались с пакетами и авоськами. Ивана угощали. Кто яблоко сунет, кто пирожок или парочку пряников положит, чтобы чай попил. Видели, что к нему никто не приходит, поэтому старались не то чтобы подкормить, а просто угостить. Но однажды, в один из вечеров, когда часы приёма закончились и больные вернулись в палаты, Ивана окликнула медсестра, когда он направился в курилку.

— Меня зовёшь, что ли?—Иван исподлобья посмотрел на молоденькую медсестру и шприцы, которые она держала в руках, а потом взглянул на часы, висевшие в коридоре, и развозмущался:—Опять на уколы? Мне же отменили. Не видела, что ли? Так загляни в журнал! Оставили только на ночь. На выписку готовлюсь. Отстань с уколами! У меня вся задница в дырках, как решето, а ты зовёшь.

— Не ворчи, Воронин,—медсестра кивнула головой в сторону дверей.—К тебе посетительница пришла. В палату не пропущу, так и знай,—она воинственно взглянула на него.—Сколько можно говорить, чтобы в отделение не приходили, а она припёрлась. Часы приёма закончились. К тебе допуск не делали. Возьму и не пущу. Нечего грязь по больнице разносить,—потом оглянулась и снисходительно махнула рукой.—Ну ладно, Воронин. В коридоре разговаривайте. И зачем пришла, если готовят на выписку? Не понимаю…

Сказала и, мелко шагая, засеменила в ординаторскую.

Чертыхнувшись, Иван прищурился, стараясь рассмотреть в конце полутёмного длинного коридора, кто к нему пришёл. И некому было ходить-то. Дочка далеко. С соседями мирно жил, но в последнее время не общались. Так, привет-привет—и разбежались. С чего они припрутся к нему? Тем более никто не знает, что он в больницу попал. Родственников в городе не было. И с работы не появятся. Они уж забыли, что такой человек, как Иван Воронин, бывший работник завода, ещё живёт на белом свете. Некоторые из старых знакомых удивлялись, встречаясь с ним. Говорили, что слух прошёл, будто его похоронили. И так уже несколько раз было, что раньше времени на кладбище снесли. Иван пожал плечами. Странно, никто не должен прийти. Но в то же время кто-то его ждёт! И Иван неторопливо направился в конец коридора, где на узенькой лавочке напротив ординаторской в полусумраке виднелась маленькая фигурка.

И чуть было не развернулся, когда увидел соседку Марию, эту рыжую ехидну, которая сидела на лавочке—невысокая и худенькая, словно подросток. Чуть сгорбившись, она сидела на лавке, о чём-то задумавшись, в руках теребила платочек, редкий раз вскидывала голову и внимательно всматривалась в больных, которые заходили в отделение.

Иван чертыхнулся. Глазам не поверил. Головой мотнул и охнул, когда тягучая боль стала пульсировать внутри. Остановился. В голове мелькнуло, что не к нему пришла эта ехидна. А тогда кто же к нему пришёл? Иван оглянулся. Пожал плечами. Вытянул шею, пытаясь рассмотреть, кто стоит на лестничной клетке, и снова пожал плечами. Там никого не было. Наверное, медсестра ошиблась. Не Воронина позвали, а Воронова, который лежал напротив в палате, и их частенько путали: то в зал свиданий вызывали, то передачу заносили. Вздохнув, он повернулся и потихонечку направился к себе, чтобы эта ехидна не увидела его, а то снова, как банный лист, пристанет. Не хватало, чтобы в больнице разругались. И вздрогнул, когда она окликнула.

Иван повернулся. Нахмурился и снова мотнул головой. Может, померещилось? Но эта ехидна, Мария, сидела и смотрела на него. Но самое странное, даже не странное, а тут не знаешь, как это назвать,—она смотрела на него и улыбалась не ехидно, как всегда бывало, а как-то виновато и даже ласково, что ли, как ему показалось. Ну да, конечно, после того, как лаялась с ним, любой её взгляд ласковым покажется, если улыбнётся.

— Вань,—сказала Мария,—а я же к тебе пришла. Вот, проведать решила.

Сказала, снова взглянула на него, опустила голову и затеребила платочек.

— Зачем припёрлась?—сказал Иван и подозрительно взглянул на неё: что-то она ласково стелет, как бы спать жёстко не пришлось.—Я никого не жду. Иди отсюда. Прошу тебя, уйди по-хорошему, а то снова разлаемся. Ещё не хватало скандалить в больнице. Мне уже эта ругань вот здесь сидит.

Сказал и провёл ребром ладони по горлу.

— Вань, не ругайся,—мирно сказала Мария.—Случайно узнала, что в больнице лежишь, и решила проведать. Дома как отшельник живёшь, шуток не понимаешь—ни поговорить, не посмеяться с тобой, сразу в кошки-дыбошки, а тут, кроме больных, и пообщаться не с кем. Вот я и…

Сказала и замолчала, взглянула на него и опустила голову.

И это было непривычно, как непривычно, что она не назвала его алкашонком, как частенько бывало, а по имени, да ещё ласково—это было не странно, а даже пугающе, что ли… Иван мотнул

головой и не удержался, охнул, схватившись за голову. Опять тягучая боль медленно запульсировала внутри.

— Голова болит?—участливо сказала Мария и похлопала по скамейке.—Присядь, отдохни немного. Глаза закрой и потри виски. Сейчас пройдёт боль. Я всегда делаю так, если мучают боли. Главное—не делай резких движений.

И опять Иван мотнул головой и скривился. Он всё ожидал, но не этого, что к нему припрётся ехидна—враг номер один, как называл её Иван. Она сидит и глядит на него, да ещё советы даёт, а в её глазах не было видно привычного ехидного взгляда. Мария долгим взглядом смотрела на него, и тут показалось, что сейчас она поднимется и пожалеет его. И вот это было не только непривычно, но ещё почему-то настораживало.

— Зачем пришла?—опять сказал Иван, опираясь на клюшку.—Что ты хочешь от меня? Иди, иди отсюда…

С недоверием посмотрел на неё и махнул рукой.

— Ваня, я же говорю, что к тебе пришла,—сказала Мария.—Сама пришла, первая, чтобы помириться с тобой. Хватит лаяться нам. Я устала от этого. Пришла, чтобы посидеть и поговорить по душам. Правду говорю. Не смеюсь. Знаю, что не веришь, что станешь гнать, но всё же собралась и пришла, потому что на себе испытала, что такое—это одиночество. Много лет никому не доверяла, никого в душу не пускала. И ругалась с тобой—на то были свои причины,—она вздохнула, помолчала и снова взглянула.—Мы похожи с тобой, как две капли воды. Ты уж извини меня, дуру этакую. Просто мельком услышала, что попал в больницу, и душа заболела. Не знаю, не могу объяснить, но вот тут всё сжалось,—и она ткнула в грудь.—Знакомая женщина сказала, что видела тебя, когда на машине увозили—худого, нескладного и с разбитой головой. У меня внутри всё сжалось, когда услышала. А сегодня поднялась и решила, что проведаю. Вот пирожочков напекла с луком и яйцом, с ливером, а ещё с повидлом. Чай попьёшь. Ну и так, по мелочи принесла—конфетки там, печенье… Авось пригодится. А не будешь, так соседям по палате раздашь. Угостишь их.

И приподняла пакет, который стоял возле неё.

— Зачем притащила?—нахмурившись, сказал Иван.—Мне вполне хватает больничной еды,—и не удержался, съехидничал, не поверив её словам:—Твой пирожок съешь, а потом будешь всю ночь на горшке сидеть, или крысиного яду подсыпала. От тебя всё можно ожидать, потому что мужиков на дух не переносишь, а меня тем более. Ты же не баба, а ехидна настоящая…

— Дурак,—взвилась было Мария, но тут же осеклась и устало вздохнула.—Не ругайся, Вань. Просто я хорошо знаю, что такое одиночество. Уж сколько лет одна живу. Устала от этой жизни. Был муж. Пылинки с него сдувала. Холила-лелеяла. Надышаться не могла. Ради него жила. И прожили-то всего ничего. С полгода прошло, как расписались. В реке утонул. Не нашли. Любила его. Сильно! С той поры зареклась, что ни одного мужика к себе не подпущу. И не подпускала, хотя многие ко мне сватались. Всю жизнь одна прожила. Ни мужа, ни детей, ни родни. Одна как перст. Ну а на тебя взъелась потому, что ты похож на моего мужика. Худой, нескладный и прихрамывал—это у него с детства было. Идёт по улице, ногу подволакивает, а плечо вперёд, словно дорогу пробивает, фуражка на глазах, а сам улыбается. У него была широкая душа: добрый, ласковый и умел радоваться каждой мелочи, каждому пустячку. И его звали Ванечкой…

Она замолчала, задумалась—видать, прошлое вспоминала. Морщины на лбу узкие и глубокие. Долго молчала, потом на Ивана взглянула.

— Жизнь любил, а я не уберегла его. До сей поры себя виню, что разрешила искупаться в речке. Вот с той поры повадилась ходить к реке. Сяду на берегу, где он утонул, и разговариваю с ним. А вода журчит, что-то нашёптывает, словно он отвечает. А посмотрю на тебя, и будто сердце в кулак сжимает. На тебя похож был, как обличьем, так и характером. Поэтому гнала от себя. Боялась. Много лет боялась, а тут, когда узнала, что ты в больнице…—и снова замолчала, и опять посмотрела.—Но жизнь продолжается. Надо как-то жить, а как? Подскажи, Ванюш… И так всю жизнь одна была. Ладно, днём ещё с соседками поговорю, над мужиками посмеюсь, а вечерами хоть в петлю головой, как ты выражаешься. Вот и мне хочется головой об стену от этой зелёной тоски. Сижу вечерами, а поговорить не с кем. И такая боль на душе, что словами не передать. Ты не ругайся, Ванечка. Сама не знаю, что это со мной…

Сказала и взглянула на него, а в глазах-то слёзы…

Иван растерялся. Не поверил словам, но глаза-то не врут! Ведь не зря же говорят, что глаза—это зеркало души. И эти слёзы… Хотя, как говорится, бабьи слёзы—это лекарство от всех напастей. Поплакала, себя пожалела—и душа запела. Может, и сейчас так же? Он снова покосился на Марию, которая сидела, плечики поникли, и головы не поднимает. Может, задумалась, а может, над ним смеётся—ему же не видно. И никогда не знаешь, что ожидать от неё. Вот сейчас сидит, а голову поднимет и расхохочется. И вздрогнул, когда Мария подняла голову. Взглянула, а в глазах продолжали стоять слёзы. И это было непривычно и непонятно, но в то же время не могла же она обманывать, когда про своего мужа говорила? Впервые рассказала. Впервые душу приоткрыла. А как ему быть—он не знал…

Иван потоптался, продолжая молчать, и прислонился к стене. Молчала и Мария. Потом она поднялась. Протянула пакет.

— Возьми, Вань, — сказала она, посмотрела на него, и Ивану показалось, что взгляд не привычный — ехидный, а простой — бабий, которая всего-то и хочет от жизни, чтобы её пожалели и приласкали. Хочет всего лишь простого бабьего счастья, а больше ей ничего не нужно. Недолюбила она в этой жизни, недоласкала, а всему виной — её прошлое, которым жила, которое стеной стояло перед ней, и, скорее всего, сейчас это прошлое дало трещину, пусть небольшую, но всё же. — Возьми, Ванечка…

И опять протянула пакет.

Иван нахмурился. Закряхтел. Мотнул головой. Охнул от тягучей боли. Опять взглянул на неё, и снова перед ним бабий ждущий взгляд. Сердце трепыхнулось, показалось, даже биться перестало, а потом заработало неровными толчками. И что-то сдвинулось в его душе, когда он взглянул ей в глаза. Всего лишь чуть-чуть, но всё же… И это было непривычно, но в то же время очень и очень дорого, хотя Иван старался не признаваться себе и гнал такие мысли, потому что давно списал себя, ни на что не надеясь, но сейчас…

— Ладно, Маш, — непривычно для себя он назвал её по имени, взял пакет, помедлил и снова повторил: — Ладно, Маш, иди домой. Уже поздно. Темнеет. Завтра обещали меня выписать. Что говоришь? Встретить? Нет, не нужно. Сам доберусь. Потихонечку. Тут же недалеко. Вернусь, а потом поговорим. Обо всём будет разговор. О прошлой жизни поведаем, а может, про будущую поговорим, если получится, ну и про нас с тобой — тоже, как мне кажется. Думаю, разговор будет долгим. Нужно разобраться в себе и понять друг друга, если сможем, и что из этого получится — время покажет…

Сказал, протянул руку, хотел было дотронуться до её плеча, всего лишь чуть-чуть, едва касаясь, но не решился. Вздохнул и потихонечку направился в палату.

А Мария заторопилась. Завтра он вернётся домой, а потом… а потом, она очень надеялась, придёт время, пусть не сразу, но должно, даже обязательно должно прийти, и тогда смогут соединиться две половинки в одно целое и в дальнейшей жизни её будет ждать простое, но такое долгожданное и необъятное бабье счастье, когда радуешься каждой мелочи, любому пустячку или простой, но милой улыбке. Счастье, которое она слишком рано потеряла, не изведав сполна вкуса его, а больше ей ничего в этой жизни не нужно.

ДиН симметрия

Александр Блок

Возмездие. Пролог

(фрагменты)

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твёрдо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет твёрд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, — поймёшь, где тьма.
Пускай же всё пройдёт неспешно,
Что в мире свято, что в нём грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума…
Кто меч скуёт? — Не знавший страха.
А я беспомощен и слаб,
Как все, как вы, — лишь умный раб,
Из глины созданный и праха, —
И мир — он страшен для меня.
Герой уж не разит свободно, —
Его рука — в руке народной,
Стоит над миром столб огня,
И в каждом сердце, в мысли каждой —
Свой произвол и свой закон…
Над всей Европою дракон,
Разинув пасть, томится жаждой…
Кто нанесёт ему удар?..
Не ведаем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль туманом,
И пахнет гарью. Там — пожар.

Максим Замшев

Видеть из любой темноты

● ● ●

Сырость. Девушка. Петроград.
Невозможность ответа.
Невозможность вопроса.
Не поверишь ты, как я рад
Неизбежности ветра
И тому, что всё просто.
Сырость. Девушка. Темнота.
Невозможность прохожих
Стать немного мне ближе.
Жизнь прекрасная, да не та…
Капли пота на коже
Ветер с жадностью слижет.
Сырость. Девушка. И по горло
Остров скукой пронизан.
Занавески висят на карнизах,
Им уж нечего скрыть.
Только прыть мою, прежнюю прыть
Вместе с инеем стёрли.

● ● ●

Осень—бесполезное время,
Вроде бы любовь и стихи,
Вроде бы душа, не старея
Чьи-то подбирает грехи.
Вроде бы не так уж и страшно
Видеть из любой темноты,
Что водонапорные башни
Так же одиноки, как ты.
Только это с нами бывает
Каждый бесполезнеший год.
Облако опять уплывает.
Ну когда уже уплывёт?
Тянутся к бумаге чернила,
Мысли мозг терзает вовсю,
И опять живётся вполсилы,
Потому что стыдно во всю.
Патефон, пластинку не грея,
Поглощает ветер и джаз.
Осень—бесполезное время—
Жёлтой кровью пачкает нас.
Патефон, пластинку не грея,
Поглощает слёзы и джаз.
Осень—бесполезное время—
Жёлтой кровью пачкает нас.

● ● ●

Кто-то за руку меня в толпе хватает
И ведёт туда, где холм далёкий высится.
Мне тебя так безнадёжно не хватает,
Что февраль не может плакать—слёзы высохли.
Словно камень, проглочу худое слово я,
Положу любовь свою, как мыло в мыльницу.
А чернил достать сегодня—дело плёвое,
С небом кровь смешай и заливай в чернильницу.

● ● ●

Сколько ты будешь помнить меня?
Столько трамвай стоит на мосту,
Столько орёл кричит на лету,
Столько крепка у танка броня!
Сколько я буду помнить тебя?
Столько закат с крыши течёт
Столько гадать, нечет или чёт,
Столько живут, жизнь не любя.
Сколько мы будем помнить друг друга?
Столько трамвай ходит по кругу.

● ● ●

Нет уже того накала,
Что любви сильней.
От вокзала до вокзала
Череда огней.
Горло высушила вьюга,
Задушила крик.
Нам бы полюбить друг друга,
Но бредёт двойник
Мой по набережным мрачным,
Дождь ему в лицо.
Первой ночью, ночью брачной
Снимет он кольцо.
Крест Господний смотрит в небо,
Этим жизнь полна.
Что нам нужно, кроме хлеба
И глотка вина?
Жизнь от поезда отстала,
Не проститься с ней.
От вокзала до вокзала
Череда огней.

● ● ●

Всё завершается как под копирку,
Будущий год ещё так одинок.
Кто-то проделал огромную дырку
В прошлом и смотрит оттуда в бинокль.

Пусть он увидит, как выше и выше
Мы поднимаем преступную страсть,
Как зацепляется солнце за крыши,
Чтобы под утро совсем не упасть.

Как удивительный век двадцать первый
Под мишуру новогодних речей
Юношей стал, утончённым и нервным,
И до сих пор он блуждает ничей.

Всё завершается тяжким застольем,
Посох стучит, Дед Мороз без лица,
Кто-то проснётся и сразу застонет.
Можно бинокль докрутить до конца,

Всё увеличить в последнем пределе,
До отвращенья, до сморщенных век.
Тот, кто в прицеле, бесспорно, при деле,
А Дед Мороз выбегает на снег.

Вот он бежит, он мишень для охоты,
Глянь, из какого он тонкого льда!
Вот он упал… Пьяный, что ли? Да что ты!
Не раскрошилась его борода.

Смесью гремучей шампанское с дёгтем,
Бросили ложку, подумали—мёд.
Год перед нами неспешно пройдётся,
Что-то шепнёт, но никто не поймёт…

● ● ●

Облака—что корабли,
целая армада,
ты о счастье не моли,
счастья нам не надо,
нам бы локон золотой,
гриф виолончели,
чей-то ангел, но не мой,
каждый день при деле.
Ни окон тебе, ни стен,
лишь улыбка Бога,
каждый остаётся с тем,
что раздал убогим.
По́лно, друг мой, горевать,
всё как мы хотели,
будет ветер струны рвать
у виолончели,
тот, кто с облака упал,
луч руками схватит,
Божий мир настолько мал,
что души не хватит.

● ● ●

Люди из прошлого имеют свою походку,
Даже если приходят в сны и мечты.
Люди из прошлого любят портвейн и водку
И называют меня на «ты».
Люди из прошлого знают, что утром надо
Спичку зажечь, потому что сух гуталин,
Что сапоги примеряют косые взгляды
Так же, как снобы к себе примеряют сплин.
Люди из прошлого, милые, может статься,
Только для вас я закручивал круговерть.
Что остаётся в прошлом, должно остаться
Там навсегда, потому что иначе смерть.
Чай остывает. Слова не нужны. Дело
Не получается сделать. Кругом зима…
Чёрные кошки скребут на душе, а белым
Просто приходится тихо сходить с ума.

● ● ●

Выходи из дома, пройдись по книжным,
Полистай роман, никому не нужный,
Проглоти слюну от приязни к ближним
И пойми, что ветер давно не южный.
У семи холмов я восьмой насыплю
Из своих ошибок, тревог, волнений.
И пойдёт у города кожа сыпью,
Красной сыпью памятных поражений.
Я чертил луну, но сорвался циркуль,
Получился месяц над облаками.
Выхожу из дома, а небо в стирке,
Выжимает кто-то его руками.
Кто-то плакал у этой стены столетья,
Потому здесь нынче такая влажность.
Не прощай меня даже этим летом!
Бог простит, а дальше уже не важно.

● ● ●

Небо, не глядя совсем на людей,
дыры никак не заштопает,
юноша полон великих идей,
девушка тоже. И что теперь?
В памяти есть небольшое окно,
наглухо вечно забитое,
ты отвори его, мне всё равно,
помнится только забытое.
Блеф не удался, рояль замолчал,
стынет любви беззаконие,
в небе осталось начало начал
и на земле не закончилось.
Годы пройдут, и нагрянет беда,
вздрогнут живые и мёртвые,
юноша с девушкой не навсегда
пальцы сплетают замёрзшие.

Юлия Елгина

В день разлучения с Артистом

Книга

Верлибр

Бывают книги — как иконы — чудотворные.

У книг на полке новая соседка —
на ярмарке вчера её купили.
Глава семьи, едва сняв плащ в прихожей,
по центру полки Книгу разместил;
она была подарочным изданьем,
в ней тонко и уместно сочетались
добротность с элегантностью обложки,
крылатость с просвещённостью души.

Ляссе блестящей ленточкой из шёлка,
как луч от солнца в плотности пшеницы,
терялось в недрах сомкнутых страниц.
Бывало, с Книгой кто-то из домашних,
устроившись удобно в мягком кресле,
для видимости больше, чем для пользы,
пытался содержание постичь.

Все пробы были тщетны: кроме знаков,
открытых для читательского взгляда,
никто не видел большего меж строк.
Всё реже обращались люди к Книге,
всё чаще их притягивала плазма
холодною зеркальностью своею,
порталами обманчивых миров.

Но Книгу не пугала одинокость:
ей было чем заполнить время в сутках —
картинами предшествующей жизни,
той, что словами сложно передать.
Совсем иной была в той жизни Книга,
когда и мира не было на свете,
царил лишь Деймос всеуничтоженья:
не люди — тени жались по углам…

…Война. Нева. Февраль сорок второго.
Нетопленая гулкость коммуналки.
Заплесневело-сыро. Плач детей.
Два брата лет семи-восьми, не больше, —
две жизни в изувеченном пространстве —
полулежали друг напротив друга
и ждали, что услышит кто-нибудь.

Как пахнет хлеб, они давно забыли,
ремни на днях скрутили в мясорубке,
закончился вчера обойный клей…
За окнами маячила развязка;
вдруг в сумраке угла упало что-то —
с покатого ларя сорвалась книжка —
была она пожившею сполна.

Мальчишки из оставшихся силёнок
к брошюрке подползли, и две странички,
похожие на жухлые листочки,
остались в тонких пальцах детских рук.
Страницы разорвали в одночасье
и…съели, не жуя… С того момента
теряла книжка в весе и жалела
о том, что в ней лишь семьдесят страниц…

…Немыслимо бесстрашие людское!
Не сгинули в аду блокады дети!..
А книжка, что упала с сундука,
свидетельница подвига и чуда,
в буквальном смысле — пища во спасенье,
вернулась и теперь — преображённой —
с настенной полки наблюдала мир…

…С годами изменились облик дома
и люди за большим столом в гостиной,
что, к счастью, через время сберегли
забытую однажды всуе Книгу:
сегодня к ней как к другу обращались,
с открытостью сердец, благоговейно
притрагиваясь к вороху страниц…

…В часы ночных домашних сновидений
приотворялась дверь в большую залу,
в контрасте с темнотой в дверном проёме
вытаивала детская душа
и до рассвета черпала из Книги,
как из ладоней мудрости почтенной,
прозрачность чувств, надежд, переживаний —
истоки всеспасительной любви.

Две юности, две нежности

Две юности, две нежности гуляли у реки,
им вслед звенели майские последние звонки.
Прощание со школою и первый взрослый вальс
какими-то нездешними казались им сейчас…

Две нежности, две юности смотрели на закат
и будущее строили по звёздам наугад;
их робкие признания слетали с губ в ночи:
не верить счастью хрупкому, казалось, нет причин.

Не знала тишь подлунная, что скоро в каждый дом
беда проникнет исподволь холодным сквозняком
и юность, повзрослевшая за день на три весны,
уйдёт от репродукторов в бессмертие войны.

И разом онемевшие осядут вниз дома:
разлуками разграблены в них счастья закрома;
и долго будут мокрыми подолы у берёз:
не от дождя июньского — от материнских слёз…

…Ответьте, юность с нежностью: в какой искать дали
нам ваши не пришедшие к причалам корабли?
Запытаны, расстреляны, но каждую весну
ранимыми прострелами вы всходите в лесу.

С Великою Победою, с падением оков
с Голгофы вслед за Родиной спустилась в мир любовь,
надеждой и спасением став тем, кто смог пройти
войны освободительной все адовы пути…

…Две юности, две нежности спустя десятки лет
идут, судьбе доверившись, ветрам июньским вслед;
их светлые стремления одобри, высота,
и спрячь до часа звёздного за пазухой Христа.

Прабабушка Анастасия

Никто не знал, когда она спала:
казалось, будто вовсе не ложилась,
чтоб каша в чугунках с утра дымилась
и живность обихожена была.

В годину переломных, вьюжных лет
она, приняв на плечи вдовью долю,
девятерых детей вела на свет,
маячащий поверх разлук и боли.

В святом углу в укромный час ночной
цвёл жёлтым фитилёк свечи церковной;
о старшем сыне, забранном войной,
была её мольба перед иконой.

Заступница для всей большой семьи,
она лишь об одном в трудах мечтала:
чтоб дети стали добрыми людьми
и помнили всегда своё начало.

У домика её на два окна
рос в изгороди пышный куст сирени;
под ним, присев на лавочку, она
вечеровала с книгой на коленях…

…Я с юности искала идеал,
не зная, что заветный образ рядом:
подчёркнутый платком лица овал
и солнечность пронзительного взгляда…

В духовном мире, к счастью, нет границ!
История корнями из народа
мне ближе и дороже год от года
теплом животрепещущих страниц.

Артист и Музыка

Стихотворение-поклон
Дмитрию Хворостовскому

> *Если в стае чёрных птиц*
> *появляется белая птица,*
> *стая сразу же перестаёт быть чёрной.*

Скорбела Музыка: она
была нема, душою льдиста;
в день разлучения с Артистом
ей жизнь казалась так тесна.
Окно б открыть и в облака
за ним взбежать тропинкой взлётной,
чтоб поминутно и понотно
быть сердцем к сердцу на века.
Она не плакала навзрыд,
не жгла свечей подобострастно,
но всем, кто слышит, было ясно:
сегодня Музыка скорбит.
Смотрелась каменным цветком
её фигурка у рояля.
О, как она в те дни звучала,
когда Артист был с ней вдвоём:
её возвышенность, его
на гамму чувств богатый голос,
в дуэте творческом удвоясь,
являли светлых душ родство…
…Недолог счастья яркий блеск,
но и у мрака есть границы:
быть в птичьей стае белой птицей
Артисту благостью Небес…
Вся в прошлом Музыка, молчит,
накинув ночь себе на плечи,
ждёт: возвратится голос певчий,
и вновь союз их зазвучит.

Виктория Побежимова

Кружатся белые журавли

Свобода

Когда я прихожу с мороза, мои щёки пахнут жасмином.
Обними меня.
Слышишь, как я играю?
Это музыка.
Не знаю, когда тебя смогла впустить в себя,
но знаю, что там, где остановлюсь, чтобы прислушаться к своему сердцебиению,—там ты.
Ты там, где моё беспокойство переходит в полное спокойствие,
где появляется музыка ладоней и взглядов.
Это слышат двое.
Вот как сейчас,
когда шёпот едва коснулся меня, а я откликнулась,
и мы глаза в глаза, до каждой косточки совпадаем.
Вселенные рождаются под музыку.
Вселенные звучат струнно и пьяно, как твой голос,
и я умираю, чтобы снова родиться…
И так миллионы раз.
А он: «Знаешь, искусство и здесь состоит в том, чтобы свободно играть словами,
звуками и смыслами—вплоть до их полного соединения и потери.
Цель при этом—свобода или хотя бы её видимость.
Свобода…
А вообще я так по тебе скучаю»

Полёт

Послушай, не надо сшивать эту «куклу вуду»,
она не заставит меня подняться—встать и идти.
Тряпичная птица—у меня диссонанс когнитивный,
а ты, как хирург—стежки ставишь ровно по кругу,
крыло поправляешь, вдыхаешь тихонько душу…
Будто действительно думаешь, что полечу куда-то,
Только я знаю, что в теле у птицы—вата,
Точно такая же, как у меня в ногах.
Да оставь ты несчастную птичью тушку…

Тони, давай потанцуем,
я не забыла движения рук и движения головы.
Держи меня крепче—руками, как берегами.
Я падаю только дождливыми четвергами.
Помнишь, мы были лучшей балетной парой?..
Тони, ну подними меня над головой и кружи—
пусть разволнуются тени.
Кажется, я лечу…
И птица летит
кругами.
Когда будешь вечером уходить, положи мне её на колени.

Малыш

Гложет лунную корочку в белой перине сыночек.
Сладко ему
или горько?
Губками трогает сонно каплю огромную мамы.
Что же тебе, милый, снится?..
Мир, такой ещё тёплый, где невозможно напиться?
Ярких оттенков свобода, завязь синих огурчиков?..
Что тебе снится, хороший?
Сколько будет попутчиков?
Станешь ли первым счастливым?
Нежно сосёшь…
Так нелепо
розовым мокрым пальчиком пробуешь сладкое небо.
Пробуй, роднуля, пробуй —
вкус его самый-пресамый!
Плюшевая головушка,
плюшево одеяло.

Тревожные птицы

Тревожные птицы кричат…
Ты слышишь их: «Скиир…»?
Сколько это будет продолжаться?
Я устала. Они зовут меня ввысь.
Моё сердце им стало гнездом,
и сейчас я чувствую боль в груди,
слышу их клёкот.
Я по-птичьи давно понимаю
и знаю, идут дожди…
Обними меня
и не отдавай никому — ни знахарю, ни врачу,
даже если я волосы вдруг состригу,
даже если я крылья себе смастерю.
Просто прижми меня крепче и прислушайся.
Мне не хватает воздуха, хоть небеса в груди,
губы синеют, и в карих глазах плещется
синева —
такая, что плачут стрижи.
А видит ли нас Господь?
Прижимаюсь к твоей груди
и слышу диковинных птиц, раздирающих
плоть.
«Скиир…» Зовут за собой в путь.

Жёлтый букет

В комнате полумрак…
Ночь по красной тропе восходит,
смуглая луна жаром пышет.
С тёмной её стороны —
река медова.
Мне бы каплю её притяжения,
мне бы янтарный свет…
Искажается пространство:
проявляются стены —
кадрируются ромбы,
прозрачные зеркала.
Может быть…
Ты?
Пальцы касаются.
Нежность — ощущение,
когда теряешь дыхание.
И в меня прорастают пыльцой одуванчики —
ты принёс…
И откуда такой золотой букет?

А потом на старинном,
комоде bombe
приютится этюд —
одуванчиковый рассвет.

Рассвет.
Удивляюсь расцветке:
прозрачный рислинг, розовое вино, щербет.
Утро настало.
На солнце видно:
в комнате, где заблудился свет
немного пыльно.
Но в каждой пылинке
счастье и
маленький
жёлтый цветок.

Томатно-овальное

Томатное дерево—самое сладкое,
макушка его завершается солнцем,—
сипел муравей, подметая свой дворик
в квадратной долине
квадратного мира.
Квадратами стёкол блестели закаты,
но что-то смущало и мучило сердце—
как дед был—овального рыжего цвета,
и это томило овальную память.
А был бы квадратным—
садился бы в угол
и сам создавать мог углы непременно…
Но в жизни его, совершенно квадратной,
висело над домом томатное солнце—
неправильной формы—обычного сердца.
И это давало безумцу надежду
на правильный мир но…
неправильной формы.

Неправильность формы—вот камень—гранит.
Но грызли собратья томатные корни—
и комнаты шире, светлее казались,
и неба клочочек ровнее, квадратней…
Их было мильоны, глядящих не в небо,
а в лужу у дома,
где мир отражался слегка искажённым—
квадратное небо
квадратно краснело.
О чём ты поёшь?
И зачем смертным вечность?
Свобода твоя—лишь свобода на смерть.
Ты, братец, в кольце, хоть оно и квадратное.
Нет шансов, увы…
И не думай!
Хотя…
Зачем он тебе?

Сон в летнюю ночь

Засохли маки—звенят коробки,
и паутина летит на юг.
Я пришиваю ко сну оборки
и, дождик выжав, креплю на крюк.

Пускай просушатся мышьи норки,
и пусть просушится в них урюк.

Спят летней ночью дожди и снеги,
последний гром отгремел весной.
И мы с тобой предаёмся неге
и доверяем луне слепой…

Она давненько дала побеги,
и реки стали её судьбой.

Пусть мне приснится большая рыба,
в реке-кормилице—мотыли.
Ты помнишь место, где у обрыва
кружатся белые журавли?..

Когда проснёмся, я—сброшу крылья,
ты—сложишь синие плавники.

Елена Жарикова

Жизнь на сквозняке

Вечернее

…И падали в траву со стуком яблоки,
И сонно вскрикивали птицы в полусне.
К. Некрасова

1.

На веранде пахнет мятой и чабрецом,
Остывающим прошлым, и ночью веет в лицо,
И тепло клубится яблоневый уют,
Образуя сень, что гладит главу мою
И последним холодом дышит из глубины
Опустевшего сада, где ели едва видны,
Что посажены дедом полвека тому назад,
Оттого и под веком невыпавшая слеза.
И молочный призрак августовской луны,
Покачнувшись, запутается в кроне сосны.
…А мошка́ над лампой выстраивается столбцом,
Осыпаясь на лист тетрадный — словцо за словцом.

2.

Позёмку подволакивая ржавую
Осыпавшейся хвои,
Здесь сумерки кустятся запоздалые,
Дыша покоем.
Они же заплетают канителью
Забора остов
И умирают под косматой елью
В покрове пёстром.
В саду густеет воздух, наплывая
Ночным приливом,
Соседка в доме ставни закрывает
Неторопливо.
И стуком яблок полон сад —
И воздыханьем,
И пряно тлеет аромат
Воспоминаний.

3.

И простирает тёплые крыла
Над старой крышей дедовской усадьбы
Покой вечерний,
        на траву легла
Огромной тенью старая ветла,
Что у калитки вечно стерегла,
Ждала домой, когда пекла оладьи
Бабуля в летней кухне для меня
На склоне остывающего дня.

4.

И на столе дышало росным лугом
Парное молоко вечерней дойки
С душистой пеной, свято сохраняя
Тепло боков коровьих, тихий звон
Росы вечерней и усталость рук,
Которые оглаживали вымя
Кормилицы Беляны перед тем,
Как зазвенят серебряные струи
В подойник голубой наперебой…

5.

Так быть могло, но мне не довелось
Увидеть вживе бабушку и деда:
Благословенный яблочный уют,
Покой вечерний дедовой усадьбы
И гулкий стук упавшей боровинки
Лишь снились мне, когда седой отец
Рассказывал о довоенном детстве:
Как обморочно-сладко на веранде
Под вышитым узорным полотенцем
Дышал огромный яблочный пирог,
И две осы кружились, и взлетали,
И взвизгивали, злясь, что не добраться
До сладостной добычи, как в саду
Сдавалась гнили паданка-грушовка —
И пряно тлел подгнивших листьев ворох,
И ночью тихо веяло в лицо…
Так быть могло, когда б родные братья
(Отец был младшим) не вошли в раздор
Надолго, меж собой деля наследство.
И дедов дом, и дивный старый сад —
Продали всё и поделили деньги,
Но почему-то младшего в обиде
Оставили.
        С тех пор отец не ездил
На родину и горько вспоминал
О том, как густо пахло на веранде
Счастливым прошлым,
        яблоками детства…

Послеснежие

● ● ●

Уюта — нет. Покоя — нет.
А. Блок

Прильнуть к теплу. Смотреть, как ворожит
Над пропастью кварталов снег последний,
Как меряет беспечно этажи —
Воскресных снов тишайший заповедник.
Прильнуть к теплу, остаться за стеклом
И пристально читать слова чужие —
И знать, что там, в покое потайном,
На месте падежи и запятые…
Но безъязыко завопит сосед
С утра пораньше, маясь с похмелюги, —
И прав поэт: опять покоя нет,
Уюта — нет, и вынырнешь в ответ
Из блоковской тоски и синей вьюги —
И выползешь во двор, в последний снег —
Где кружат падежи и запятые,
И где за пивом семенит сосед,
И где другой глядит ему вослед,
Почёсывая раны боевые.

● ● ●

Снег падает, а человек выходит.
О. Горошкина

Снег падает, а человек выходит
На Божий свет, сжимая кулачки,
Непримирим, суров, инопороден —
Умильным ожиданьям вопреки.

Снег падает, а человек выходит
В открытый космос выходного дня,
Одет легко, отнюдь не по погоде, —
и падает опять на гололёде,
себя, чертей и дворника кляня.

Он падает в непознанную бездну —
И снег его выносит на просвет,
Он падает, слепой и бесполезный,
Поэт никчёмный, гражданин безвестный —
Ни счёта в банке, ни прописки нет.

Снег падает, и грубо жмут ботинки,
На рынке обретённые вчера,
А он намерен вытоптать тропинку
Из тишины заброшенной глубинки —
Как минимум на гору Арарат.

Снег падает, а он стоит в сторонке
И мелочь зажимает в кулачке —
Под кровом остеклённой остановки,
Непримиримый, сумрачный, неловкий, —
Над бездною вися на волоске.

● ● ●

Стихов никчёмных безрассудный рой
Над головою непокрытой кружит…
Как в детстве: рот открой, глаза закрой —
И на язык поймаешь пару дюжин
Ненужных слов-снежинок… и пока
В раю оконном тают облака,
Пытай неспешно глубину предсердий
И вслух — к недоумению соседей —
Своди случайно и наверняка
Созвучия в пожизненной беседе.

Из цикла «Ежевесеннее»

● ● ●

Жизнь упрощается до четырёх стен,
До пары втиснутых в тесную печь полен,
До голых окон, затянутых синевой
Внезапной ночи, где плавится дальний вой
Твоей электрички, а может, под шапкой мглы
Жизнь истончается до голубой иглы
Далёкой звезды, вливающей в твой зрачок
Вселенское всезабвение, а ещё
Жизнь уплощается до тоненького листка,
Свёрнутого вчетверо (просвечивает слово «пока»)…
Жизнь укрощается до тихой мольбы в глазах
Девочки, в небо шепчущей: «О Аллах…»

● ● ●

Где невесомый день, несомый сонным смогом,
Плывёт за окоём, ничем не окрылён,
На птичьей высоте, в гнезде своём убогом,
Ты перья очини, склоняясь над столом, —
О жизнь на сквозняке! — взъерошена, тщедушна —
Неловко притулясь, вися на коготке, —
Вся в золотой пыли, наитию послушна,
Всё шепчешь и поёшь на птичьем языке.
И, погрузив перо в туман молочно-сладкий
И трепетно держась невидимой строки,
Рассыплешь там и сям в чудесном беспорядке
Овалы и штрихи, кружки и завитки…

● ● ●

Келейки клейкие покинув,
Впивает устьицами синь
Лист тополиный. Опрокинут
Над ним шатёр земных святынь.
И, околдован бездной звездной
И тополиным мёдом пьян,
Бродяга местный — пёс облезлый —
Один во храме поднебесном
Весенним мраком осиян.
И на лице его застыли,
Упав с заоблачных ветвей,
Не то крупицы звёздной пыли,
Не то чешуйки тополей.

Яков Шафран

Прощание с зимой

● ● ●

Смотрю в окно. Метель. Всё белое.
Сидеть бы дома. Но пора.
И выбегаю смело я
В объятья зимнего двора.
Зима — восторг преодоления.
Из детства радость игр в снегу.
В поток слагаются мгновения.
Душа поёт, когда бегу.
Сегодня я в сугробах первый —
Не жду готовые пути.
В трудах таких крепчают нервы,
И эйфория впереди.
Вокруг меня краса земная.
Но те часы, что ей внимаю,
Не только этим хороши.
Моя пробежка — это знаю —
Этап дистанции души.

● ● ●

Над Землёй плывут невзгоды —
Серых будней облака.
Как пригнула все народы
Неизбывная тоска!
Ходит слух по белу свету —
Как всегда, добро губя:
Упыри хотят планету
Сделать домом для себя.
Может, и ношенье масок —
Тренировка для того,
Чтобы люд от их них сказок
Позабыл про естество?..

Боже мой, когда же песни
Над Землёю полетят?
Светлый мир когда воскреснет,
Затворив дорогу в ад?
Ибо песня — как молитва,
Для которой нет преград,
Ибо песня — это в битве
Самый главный из солдат.
И она одним звучаньем
Тёмных цепи разорвёт,
И весь мир своим сияньем
Солнце радости зальёт!

● ● ●

Метёт, снег метёт беспрерывно,
Сугробы кругом намело.
И ветер поёт заунывно,
Возможно, зиме тяжело.
По тропке, едва проторённой,
Старушка тележку везёт.
И видно по ней, изнурённой,
Как тяжек сознания гнёт.
В тележке продукты, наверно.
Но только откуда они?
Голодному мусор не скверна —
Такие настали вот дни…
Застыла, расправила плечи,
Смахнула снежинки с лица.
А топать в сугробах далече —
Призвала на помощь Творца.
И вспомнилась снова бесстрастно
Судьбы её длинная нить:
Как жизнь протрудилась напрасно —
Теперь на гроши не прожить…
Везёт она груз свой по тропке —
Одна: ни детей, ни родни, —
На встречных взирает так робко,
Во взоре одно: «Подмогни…»

А снег всё метёт над страною
На бедных, богатых, на — грех,
Лавиною вьюжной сплошною
Метёт, невзирая, на всех.
Господь же глядит в поднебесье
На виллы, дворцы и — дворы,
На доброе и — мракобесье,
Глядит до известной поры…

● ● ●

Переменчива нынче погода.
Ведь она, как земля, вся больна.
То же самое с временем года—
То ли осень, а то ли весна.
А в далёкие детские годы
Если грянет зима, то зима!
(Правда, были и там эпизоды,
Только редкими были весьма…)
До сих пор та далёкая сказка
Присылает из детства дары.
Как вчера—мы в мороз на салазках
Иль на лыжах катались с горы.
А потом залезали на печку,
Были мы тогда впрямь богачи:
Там была у нас библиотечка,
Там читали до самой ночи́.
О, как книжки читались с мороза,
Как о дальнем мечталось в тепле!
Недосуг, что в окошко берёза
Нам стучала о будущем зле…
И среди материнской заботы,
И от бабушки ласковых рук
Ещё больше стремились в полёты,
Ещё больше теплело вокруг.
Потому и в сегодняшнем мире,
Среди тьмы равнодушья и лжи,
Видим мы всё яснее и шире
Светлых дней впереди рубежи.
Потому, не приемля содома,
В предвкушении дальних путей,
Тем теплом того отчего дома
Греем души свои и людей.

● ● ●

Почему с каждым годом
Так безрадостен день,
Всяк спешит мимоходом
Бросить тень на плетень?
Почему с каждым годом
Меньше верных путей
И полны безысходом
Взоры встречных людей?
Не читаются книги,
Не мечтается вширь,
И расходы—вериги,
И духовный пустырь.
Нет движения к цели,
Перспектив у детей,
Пустозвонство на деле
Или зыбкость корней…
Пред собой будем честны—
Тот, кто в правде, и свят.
Нам причины известны—
Нашей жизни уклад.
Отвести энергично
Кто же сможет беду?
Капитал, как обычно,
Неподвластен стыду.
И пока только зреет
В своём гневе народ,
Там, вверху, поумнее
Кто-то силу возьмёт—
Восстановит средь башен
Царство правды идей:
Маяки жизни нашей
И России моей?!

● ● ●

Давно отлетели уж птицы,
Что летом так пели в саду.
Давно уже их вереницы
Умчались к другому гнезду.
И их возвращенье нескоро,
Когда песнь продолжат свою,—
В далёкую майскую пору
Я первую встречу семью.
Душа же, застыв в межсезонье,
Хотела бы ввысь улететь
И крылья расправить спросонья,
Покинув квартирную клеть;
Поднявшись к обители Света,
Потом возвратиться к Земле,
Неся с собой зёрна расцвета
Для тех, кто страдает во мгле;
Избыть чтобы тёмную пору,
Избыть чтобы злобу и грязь,
Чтоб люди в духовном опору
Нашли, со Христом единясь,
Сумели от тьмы откреститься
И в руки судьбу свою взять,
Когда перелётные птицы
Вернутся весною опять!

Анатолий Бимаев

Восемь-восемь

Окончание. Начало в «ДиН» №№ 6–7/2021

Часть третья

27.

Я решил не возвращаться в такси.

Сколько лет провёл я за баранкой автомобиля, а обзавёлся только кредитной картой «Сбербанка», которую мне с любезной настойчивостью предложили сотрудники банка, когда я платил очередной штраф за нарушение ПДД. Аренда квартиры, еда по скидочным ценникам и пиво два раза в неделю — вот всё, на что мне хватало заработанных денег. «Разбилась душенька поэта о скалы быта». Так, кажется, прокомментировал Серёга нашу неудачную эпопею с метеоритом. И, сдав библиотечные книги, открыл на центральном рынке отдел с нижним женским бельём «Вероника».

Пожалуй, лучше этого и не скажешь.

В общем, затарившись пивом, я с увлечением ушёл в поиск новой работы. Беспристрастно оценив качества, которые я мог предложить своему будущему работодателю, выяснилось, что единственной открытой для моего честолюбия сферой являлась торговля. Распив две банки «Хайнекена», я наконец-то решился. «Какого чёрта? — сказал я себе. — Разве торговые представители не ездят на хороших машинах, не покупают квартиры, не заводят любовниц, при этом не имея ни образования, ни армии, ни особых достижений в спорте и перед Отечеством?» У меня как раз ничего такого и не было. Стало быть, я и эта работа были созданы друг для друга. Во мне проснулось такое сильное желание стать торговиком, что я добросовестно потратил на составление резюме битый час. В конце концов я придумал что-то вроде шедевра со множеством ярких автобиографических фактов. Хоть сейчас оттесняй на гербовой бумаге и вешай в рамке на стену. Выяснилось, например, что во время учёбы на филологическом факультете я подрабатывал продавцом лазерных дисков. А уйдя в академический отпуск, — представьте себе! — несколько лет держал точку с разливным пивом. Иными словами, знал торговое дело вдоль и поперёк, всё равно что учёные НАСА — подземные озёра Урана.

Я заморочился до такой степени, что не поленился загуглить, как правильно заполнять графу «Личные качества». В итоге, помимо стандартных «коммуникабельности», «целеустремлённости» и «обучаемости», я дополнил её такими непревзойдёнными перлами, как «непоседливость», «трудоголизм», «креативность мышления» и «игра на фортепиано и скрипке». А в конце чистосердечно признался, что не умею расслабиться и не могу жить без работы разъездного характера.

Я отправил резюме сразу в двадцать компаний. По большому счёту, откликнулся на первые в списке, не заморачиваясь. Спустя две банки пива мне посыпались ответы. Из «Балтики» и «Кока-Колы» пришёл отказ, отказал «Филип Моррис» и компания, распространяющая детские игрушки.

Последние, кстати, уверен, совершили самую большую в своей жизни ошибку. Разглядывая все эти ярко-жёлтые, изумрудные и ультрамариновые игрушки, фотографии коих они выложили на своём сайте, я успел в них не на шутку влюбиться. Продавать это дело стало бы для меня подлинным удовольствием. Всё равно что вернуться в детство. И в этом смысле, конечно, они меня обломали. Боже, у них даже был вертолёт. Не радиоуправляемый. Лучше! Дёргаешь за верёвочку в рукоятке — и миниатюрные лопасти начинают вращаться, вертолёт поднимается в воздух. Точно такой родители подарили мне на пятилетие в далёком девяносто четвёртом году. Я сломал его в первый же день, запустив в малогабаритной квартире. Возможно, поэтому я так и загорелся этой вакансией. Хотел излечить детскую психотравму.

Наконец мне пришёл положительный отклик. Меня приглашали на собеседование. Завтра в одиннадцать часов утра, чистый и выглаженный, как кандидат от демократической партии на должность президента Соединённых Штатов Америки, я должен был подойти в офис компании «Грант». Я щёлкнул по ссылке, чтобы узнать подробности. Святые угодники. Компания занималась дистрибуцией семечек и солёного арахиса к пиву.

Я чуть не поперхнулся «Хайнекеном», честное слово.

Но выбирать не приходилось. К этому времени только две фирмы не ответили на моё резюме.

Одна торговала презервативами с жевательной резинкой «Стиморол» и «Орбит», вторая—женской косметикой.

Уже через неделю мне стало ясно: торговать семечками—всё равно что барыжить снегом на Магадане. Продавцы попросту отказывались пускать представителей компании на порог магазинов. Поэтому мы брали точки измором.
— Не ждите, что вы совершите сделку при первом визите,—учил нас супервайзер.—Пятидесятый визит—вот ваша цель.

Возможно, это и правда, пятидесятый визит был решающим, но проверить теорию на практике пока что не удавалось. Люди не выдерживали и подавали заявления на десятом, максимум на двадцатом визите. Эти визиты в своём роде тоже были решающими. Продавцы, как правило, успевали настолько тебя возненавидеть, что готовы были кинуться в драку. Они грозились проткнуть на парковке колёса твоего автомобиля, вызвать Росгвардию, пожаловаться братьям-чеченцам и в Гаагский суд, наслать родовое проклятие. Более робкие просто сбегали в подсобку, завидев в дверях твоё садистки улыбающееся лицо.

Но я был непробиваем. И вскоре действительно был вознаграждён за упорство чередой сделок. Причём подчас ничто не предвещало того, что это вот-вот случится.
— Не приходи сюда больше! Я не шучу!

Так меня изо дня в день встречали в магазине «Околица» на Стофато. Угрозы принимали всё более конкретный характер, всё чаще в наших беседах слышались маты. Под конец я заходил в точку с перцовым баллончиком, чувствуя себя так, будто угодил в Гарлем. Я никогда не глушил двигатель. Если бы мне пришлось отступать с боем, любая заминка, как, например, запропастившаяся куда-то связка ключей, могла стоить мне жизни.

Такая история продолжалась ровно пятнадцать посещений. Я считал. Ставил чёрточки в блокноте напротив каждого контрагента. Но на шестнадцатый визит ситуация вдруг изменилась.
— О, семечки «Грант». Неси сюда скорее две упаковки.

У меня была точка в первом микрорайоне. За прилавком стоял сам хозяин. В прошлом тоже торговик, поэтому до драк у нас дело не доходило. Наоборот, он искренне мне сочувствовал. Обычно мы вступали с ним в долгие, полные неподдельной горечи философские споры, схожие с теми, что ведутся в интеллектуальных кругах относительно подлинного искусства и того, что массовому человеку оно не нужно.
— Хорошо, убедил,—соглашался со мной хозяин. Вид у него при этом был невероятно довольным. Как у Платона на берегу Эгейского моря во время беседы с учениками.—Ваши семечки классные. Но людям-то этого не докажешь. Они берут по привычке. Как брали «Загородные», так брать их и будут. Я вчера предлагал каждому на пробу «Грант» по оптовой цене. И ни один не согласился. Был даже соблазн пересыпать ваши семечки в упаковку «Загородных» и продавать так. Уверен, на следующий день люди бы пришли за добавкой. Скупили бы все запасы, посчитав, что у этой партии какая-то особенная обжарка. Поэтому, извини, ничем помочь не могу, кроме совета менять работу. Устройся на колбасу. Там всегда деньги водятся.

Но я продолжал ходить к нему каждый день. Я забегал даже на выходных, поскольку жил через дорогу от его магазина, и на двадцать третье посещение он встретил меня с сумасшедшей ухмылкой.
— Тащи сюда весь товар.

Вид у него был неадекватный, поэтому я спросил:
— И арахис?
— И арахис. Проведём эксперимент,—тут он рассмеялся. Рассмеялся как человек, поставивший на зеро двухкомнатную квартиру.—Сделаю тебе сегодня недельный план. А в следующий раз ты придёшь и увидишь, что твои семечки не продаются. Даже если ими завалить магазин снизу доверху.

Я разгружал машину, наверное, полчаса. Освободил багажник, заднее кресло, нишу для ног. Блин, семечки лежали даже на переднем пассажирском сиденье. Я пристёгивал их ремнём безопасности, чтобы на крутом повороте мешки не рухнули на меня. Я выгрузил и их тоже. Вспотел, будто пробежал стометровку тысячу раз. И ни разу не позволил сделать себе перекур. Боялся, что хозяин вдруг передумает.

Видимо, порой ему действительно приходили мысли дать заднюю. То и дело он спрашивал, всё так же безумно смеясь:
— Ещё не всё?
— Ещё пара ходок.
— Отлично. Хоть десять. Тащи сюда всё.

Бьюсь об заклад, он не подозревал, сколько семечек может влезть в салон обычной «семёрки». И всё потому, что каждую неделю у нас проводились тренинги по дисциплине. Мы освобождали машину, потом снова её загружали, но уже под чутким контролем супервайзера, который всякий раз давал нам кучу полезных советов. Наверно, всё свободное время смотрел ролики по «Ютубу». Как бы там ни было, но после тренинга машина чудесным образом вмещала в себя на несколько мешков семечек больше, чем до него.
— Двадцать шесть тысяч двести двадцать пять рублей семьдесят пять копеек,—произнёс я, передавая хозяину накладную.
— Ха-ха. Посмотрим, что ты скажешь мне в следующий раз.
— В следующий раз ты попросишь добавки!

После этого случая я стал настоящим героем компании. Целый месяц моя фотография висела на стенде. Я был лидером продаж, причём с внушительным отрывом. Сам региональный менеджер отозвал меня на следующее утро покурить на крыльцо. Если бы я был воскресшим Виктором Цоем, он и то, наверное, смотрел бы на меня не так офонаревши.

— Как ты отгрузил Верясова? Он же непробиваемый!

— Мы решили провести эксперимент.

— Отличная тактика!

— Но что делать потом, когда семечки у него встанут?—пользуясь благоприятствующей обстановкой, спросил я.

Это было чертовски неосторожно с моей стороны. Всех нас учили, что семечки «Грант» настолько охренительны, что просто не могут не продаваться.

— Вот тогда ты предложишь ему мерчандайзинг.

Ну разумеется. Семь бед—один ответ. Мерчандайзинг! Отвратительная фигня. Даже на слух. Звучало как куннилингус или вроде того. Суть его в том, что, помимо непосредственной продажи семечек в точку, ты ещё должен был украсить её подобно рождественской ёлке, чтобы у покупателя при виде этого красочного великолепия появилось необоримое желание что-нибудь пощёлкать. Чушь несусветная, как массовые сеансы Кашпировского в девяностых годах, но чушь согласованная и утверждённая на самом высоком уровне.

Из-за неё на борту у нас всё время болталась огромная картонная коробка с рекламной продукцией. Четыре вида плакатов всевозможных размеров. Воблеры, надувные шары, наклейки на двери, монетницы, коробки под чеки. Всего не упомнишь. Торговую точку, куда ты впыжил хоть одну тридцатипятиграммовую пачку семечек, необходимо было оформить по стандартам компании. Обязательно монетница и плакат в зоне А, обязательно воблер и муляжи в зоне Б, а в зоне С—всё остальное. Господи, если бы мне посчастливилось встретить типа, который разрабатывал эти стандарты, я бы, не задумываясь, разбил ему всё е...ло. На такой должности по определению не может работать добропорядочный человек.

Судите сами, каким кошмаром был для нас мерчандайзинг. Полчаса ты убалтывал продавца заключить сделку, потом пёр товар в магазин, где его предстояло расставить на стеллажах—а это двести, триста, а то и пятьсот пачек в зависимости от заказанных граммовок, и каждая пачка должна была выглядеть на полке как новенькая (обычно после долгих скитаний в тесном багажнике все они выглядели как из-под жопы). Наконец, ты заполнял накладные, отсчитывал сдачу, выгребал из магазина оставленный мусор. И вот после всего этого тихого ужаса тебе ещё полагалось надувать шарики и собирать стойки, к каждой из которых шла десятистраничная инструкция, всё равно что к кухонному гарнитуру Леонардо Ди Каприо. К тому же далеко не каждый продавец соглашался на мерчандайзинг. Поэтому их приходилось снова убалтывать, рискуя довести до истерики, когда они готовы были вышвырнуть и тебя и принесённый тобой товар к чёртовой матери.

Естественно, за мерч нас дрючили большего всего.

Если семечки в точке не уходили, виной всему было отсутствие рекламы. Если магазин не хотел с нами сотрудничать, опасаясь похоронить деньги в товар, значит, ты доходчиво не объяснил, что после соответствующего оформления торговой площади наше семя подсолнуха будет улетать, как мороженое на пляже в Анапе. И даже если точка качала, но в ней не было пост-продукции, тебя опять-таки драли, ведь расклей ты там пару плакатов—и она бы одна делала весь твой месячный план.

У меня была уйма магазинов с идеальнейшим мерчем, но семечки там продавались реже презервативов в Папуа Новой Гвинее. И что, вы думаете, говорило начальство по этому поводу?

— Не забывай о представленности! Внедряй в магазин весь ассортимент—и увидишь, как он заработает.

В общем, навестить Верясова я осмелился только через неделю.

— А, компания «Грант»!—воскликнул он при виде меня.—Ну, иди сюда, иди, мой хороший. Хочешь спросить, не созрел ли я для новой партии арахиса к пиву? Не так ли?

— Именно,—ответил я, держась от него на расстоянии.

— Вон он лежит, твой арахис, на полке посреди круп. И на той, где консервы, он тоже лежит. Его можно найти даже в отделе бытовой химии. А это, думаешь, что такое? Стеклянное и гудит. Скажи мне?

— Холодильник.

— Правильно. И вместо краковской колбасы в нём всё тот же арахис. Проще сказать, где его нет, чем перечислить обратное. Я раздаю твой товар вместо сдачи, а за покупку пива от тысячи рублей дарю просто так. И он всё равно не кончается. Можешь представить?

У меня не повернулся язык предложить ему мерчандайзинг.

План продаж—коварная штука.

Высшим пилотажем было выполнить его тютелька в тютельку. Тогда прибавка на следующий месяц составляла двадцать процентов. Если же ты рвал жилы, как какой-нибудь стахановец, тебе также прибавляли двадцать процентов, но уже не к плану, а к тому, что ты реально продал. Если прожжённым торговикам улыбалось отоварить

магазин по полной программе, они расписывали продажи на несколько недель вперёд. Супервайзер и региональный менеджер молча этому попустительствовали. Они тоже не были заинтересованы в резком увеличении сбыта. Дистрибуция в регионе должна была развиваться постепенно, из месяца в месяц, чтобы планы всегда было можно закрыть и, стало быть, получить достойную премию.

Объяснил бы мне кто эту мудрость заранее! Но, увы, мне пришлось постичь её на собственном горьком опыте. После того как, прогрузив Верясова, я намотался на двухсотпроцентную прибавку к своему валу!

Само собой, необходимо было как-то выкручиваться. Поэтому очередной жертвой я наметил единственный на своём маршруте сетевой магазин «Мирта». Я надел свадебный костюм, начистил туфли, так что сквозь них было видно носки на ногах, побрился и в таком щегольском виде вошёл в просторный торговый зал, благоухавший одурманивающим ароматом «Мистера Пропера» с лимоном и лаймом.

— Семечки? — переспросила заведующая, когда я представился.

Невысокая полная женщина, казалось, воплощавшая собой идеальный образ представителей данной профессии. Уверен, именно так и представлял себе Бог заведующих сетевыми магазинами, когда создавал мир.

— А почему бы и нет? — пожал плечами администратор.

Тридцатилетний тип с аккуратной бородкой, в модных, идеально квадратных очках при чёрной оправе. Уж не знаю, какая муха его укусила, но он явно был на моей стороне. Абсолютно расслабленный тип, как Будда или Гребенщиков. Либо он сидел под феназепамом, либо под планом, либо под чем-то таким, о чём знали лишь избранные. Храни его Иисус.

— Да у нас и так целый стеллаж с семечками, — возразила заведующая.

— Ну, будут ещё одни. Тем более у них есть возврат.

— Возврат и ротация, — подтвердил я. — Товар, у которого заканчивается срок годности, мы меняем на свежий. Вы абсолютно ничем не рискуете, в отличие от покупки семечек «Загородных» с оптового склада.

— Вот видишь, — произнёс администратор.

— Ну, хорошо, Алексей. Уговорил, — произнесла заведующая. — Я сейчас занята, принимаю молочку. Поэтому подготовь пока что товар, только немного, тысяч на десять, и заезжай после пяти.

Десять тысяч! Для семечек это была колоссальная сумма. Даже по самым скромным подсчётам выходило, что «Мирта», с её пропускной способностью, будет закупаться у меня раз в неделю, не реже. И ведь это они взяли только на пробу. На какие же суммы они станут отовариваться, когда потребитель наконец-то распробует наше первоклассное семя подсолнуха, выращенное под ласковым солнцем Краснодарского края? Выходило, что в скором времени мне будет достаточно посещать одну «Мирту». А свободное время можно будет тратить на занятия живописью и литроболом.

В ожидании вечера я дул чёрный кофе вприкуску с пирожным, обосновавшись в кафешке напротив. Наверное, я боялся, что стоит мне отъехать на соседнюю улицу — и магазин тут же закроется. Из него спешно вывезут весь товар и оборудование, а заведующая вызовет такси до аэропорта. Улетит на Тенерифе с тремя пересадками, где я её никогда не найду.

Я пил кофе, выходил покурить и снова возвращался в кафешку. Я не спускал глаз с магазина. А там полным ходом шла приёмка товара. Грузовик с улыбающимся котом из «Простоквашино» сменился машиной с красным быком во весь кузов, затем подкатил пятитонник с пшеничными колосьями на борту, и оттуда принялись выгружать пиво. После пива настал черёд бакалеи, потом свежего мяса, и, наконец, безбожно скрипя сайлентблоками, словно совершив прямой рейс из Узбекистана, к магазину подкатила машина, груженная фруктами. Я, наверное, выкурил целую пачку сигарет и выпил молоковоз кофе, а приёмка всё продолжалась. На моих глазах они приняли товара на несколько миллионов рублей. Товара, содержащего канцерогены, красители, ароматизаторы, идентичные натуральным, и консерванты. Все эти заглавные буквы Е с цифрами как на могильном камне. От них у людей выпадали волосы, разрушалась печень и формировались новообразования. Да весь этот товар не шёл ни в какое сравнение с нашим натуральным продуктом. Содержащим витамины и минералы, эфирные масла, белки и аминокислоты. И вот я сидел и ждал своей очереди, хотя по праву должен был идти первым.

В четыре часа я начал готовиться. Из дома я прихватил две большущие сумки и теперь принялся остервенело забивать их упаковками семечек, плотно утрамбовывая руками товар, чтобы влезло как можно больше. Мешки были пыльными, я перепачкался. Без химчистки костюм уже не отчистить, но мне было плевать. У меня появилась цель жизни. Забить сетевик семечками. Забить до самого потолка. Чтобы двери не закрывались. А если их всё же закрыть то, чтобы где-нибудь обязательно взорвалось хотя бы одно маленькое окошко, не выдержав давления подсолнечной массы.

Ровно в пять я двинулся с сумками к магазину. Заведующая стояла у касс, о чём-то беседуя с продавщицей. Я не успел и раскашляться. Она меня сразу заметила. С сумками и в пиджаке я привлекал к себе внимание почище нудиста на детской площадке.

— А, семечки! Мы с вами, кажется, попрощались?
— Мы договаривались сегодня на пять,— сказал тупо я. Хотя и так всё было понятно.
— Разве сегодня?
— Сегодня.
— Надо же, совершенно вылетело из головы,— она старательно разыгрывала беспамятство, но я видел, что происходящее доставляет ей удовольствие.— К сожалению, я уже сдала все наличные деньги.

Через два дня я снова припарковался у «Мирты». Семечки из сумок я так и не вытащил. Даже напротив. В прошлый раз я приходил с двумя сумками. Теперь их стало четыре. Схватив по две в каждую руку, я бодро взбежал по крыльцу. Двери передо мной спешно раздвинулись. Будь я проклят, если они сделали это не быстрей, чем прежде. Они мне уступали дорогу, чёртовы автоматы с мозгами Каспарова. Чувствовали, что иначе я пройду прямо сквозь них.

Олимпийским шагом я устремился в глубь торгового зала. Люди в магазине провожали меня недоуменными взглядами. Но я невозмутимо пёр дальше, словно имел на это полное право.

Толкнув дверь в подсобку, я оказался в тесном извилистом коридоре, заставленном коробками из-под продуктов. Сумки с семечками нещадно колотили мне по ногам, отскакивая от препятствий. Поэтому я пошёл боком, приставными шагами, как на уроке физры. И именно в этот момент за очередным поворотом столкнулся с администратором. Я чуть не сбил его с ног, честное слово. А он ошалело уставился на меня, как на наркотический глюк.
— Чем могу быть полезен?— наконец спросил он.
— Семечки «Грант». Мы договаривались о поставке. Принимайте товар.

Какое-то время он колебался. Мысль, пришибленная ТГК или чем он там просветлялся, беспомощно ворочалась за линзами квадратных очков. Хотелось протянуть руку и хорошенечко её тряхануть.
— Пройдёмте ко мне в кабинет.

Я с облегчением поставил сумки на пол. Я не чувствовал пальцев. Тонкие ручки передавили их, как удавки. Ещё немного — и пальцы было бы не спасти. Я рисковал стать первым торговым представителем, пострадавшим на производстве. Администратор тем временем принялся пробивать семечки. Штрих-кодер пищал в его руке, словно восьмибитная приставка, когда игрок убивал босса. После каждого писка администратор кидал товар в пустую коробку из-под китайской лапши. Пробивал и кидал, пробивал и кидал. И так без конца. Я нарочно распечатал мешки, чтобы у меня не было пути к отступлению. Этакий психологический ход. Или я выставлю семечки в «Мирте», или, в случае неудачи, в течение нескольких месяцев встреваю при пересчёте бортов.

Полчаса администратор возился с товаром. У него даже сбилось дыхание. Но надо отдать ему должное. Он ничем не выказал неудовольствия. Возможно, просто залип на всё это дело.
— А теперь пойдёмте к Светлане. Она выпишет накладную.

С этого дня у меня началась вольготная жизнь.

Работу я заканчивал ближе к обеду. Объезжал точки, здоровался с продавщицами и сваливал. Маяков у нас не было, чем я бессовестно пользовался. Чем все мы бессовестно пользовались. Веселуха царила как в детском саду в тихий час, пока воспитатели гоняли на кухне чаи.
— Лёха, здоро́во!— звонил мне в четыре часа наш торговик Серёга. Его голос, как правило, был уже пьяным. По утрам он выносил со склада не одну коробку с шампанским, которое нам выдавалось для подкупа продавцов.— Ну что, въе…ваешь в поте лица?
— А как же? Ещё двадцать точек осталось,— отвечал я таким же невменяемым голосом.

Шампанское у меня тоже шло на ура.
— Ха-ха-ха. Поди, уже целый вагон отгрузил?
— Сегодня вообще продаж нет.
— Такая же, блин, херня.

А вечером Серёга публиковал в рабочей группе «Вайбера» отчёт с самыми высокими продажами за день по всему филиалу. Я даже выявил закономерность. Прямо пропорциональную, как говорят математики. Чем больше Серёга жаловался по телефону, тем более высокие продажи потом заявлял. Одним словом, играл краплёными картами. Поэтому я тоже начал хитрить. Такой концентрированной, дерзкой, неслыханной и при этом максимально правдоподобной дезинформации не передавали даже фашистам советские войска во время операции «Багратион».
— Лёха, рад тебя слышать! Ха-ха. Пятницу отмечаешь?— позвонил он мне как-то в день особо удачной отгрузки «Мирты».

Я действительно с одиннадцати утра пил шампанское. Пил, словно изнывающий от скуки гусар между походом Наполеона и восстанием декабристов, но постарался взять себя в руки.
— Отнюдь.
— Удачно сегодня поторговал?
— Вообще по нулям,— с чувством, толком и расстановкой произнёс я.

Эх, дорого бы я отдал, чтобы хоть мельком взглянуть на его рожу, когда вечером он открыл мой отчёт с пятнадцатью мешками семечек и десятью мешками арахиса. И все за наличку. Копейка к копеечке.

А ещё один наш торговик, Ваня, строил в рабочее время дачу. Каждый день, откатав по-быстрому точки, он срывался за город. Сто километров в каждую сторону. Пробеги в конце дня он заявлял

бешеные (для отчётности мы отправляли всё на тот же «Вайбер» фотографии одометра), но продажи у него были стабильно высокими, и Ваню не трогали. Он не признавал продажи нескольких пачек на пробу и отгружал сразу мешками. Заходил в точку, обворожительно улыбался и через минуту отсчитывал сдачу за партию товара. Когда он уволился, весь его маршрут был прогружен на полгода вперёд, а на даче оставалось лишь прикрутить пару лампочек и протереть абажуры.

Саня, так тот вообще вместо объезда маршрута бомбил. Вечером он отчитывался о продаже ровно двух пачек семечек. Ни больше ни меньше. Иногда это были пачки жареных семечек, иногда солёных. А порой он заявлял пятьдесят на пятьдесят. Вот все возможные варианты. Складывалось впечатление, что он их просто съедал в ожидании клиентов. И, конечно же, в понедельник, после двух выходных, у него выстреливал арахис.

Три месяца я закрывал план за счёт «Мирты».

Сначала семечки «Грант» занимали нижнюю полку длиннющего, размером с товарный вагон, стеллажа со снеками. Постепенно, посещение за посещением, ящик шампанского за ящиком шампанского, я захватил и среднюю полку, вытеснив с неё сушёную рыбу, анчоусы и кальмары. И под конец отжал торговое пространство у чипсов, свиных ушей и колбасок к пиву.

Само собой, останавливаться на достигнутом я не мог. Мой план продаж рос быстрей, чем стоимость доллара при Ельцине, и чтобы его выполнять, мне необходимо было продавать не машинами, а складами, и желательно каждый день. Поэтому в начале третьего месяца я подошёл к заведующей с сертификатами «Л'Этуаль». На них я возлагал особенные надежды, хорошо понимая, что советская шипучка с лошадиной дозой диоксида серы не предназначена для утончённых женских желудков. Десять сертификатов по сто рублей каждый. Вот всё, что мне дали на месяц для завоевания мира. Но зато каждый сертификат покоился в отдельном подарочном конверте, выглядевшем так, будто внутри ни много ни мало чек на миллион долларов. Да такие конверты было не стыдно дарить и отдельно, без материального бонуса. Лет через десять, уверен, последний уцелевший реликт этой серии будет выставлен в музее Прадо, напротив полотен Ван Гога и Сальвадора Дали.

— Что же ты не сказал раньше?—озираясь по сторонам, прошептала заведующая, пряча в широком кармане халата сертификаты.—На выходных у моей подруги день рождения. Нужно ей выбрать подарок.

Ха-х! Бьюсь об заклад, что эта жадина никогда не ходила на дни рождения. И свои не устраивала. Напивалась халявным шампанским в одно лицо, принимая поздравления по скайпу. Вай-фай у неё, конечно же, был безлимитным. И оплачивали его такие же бедолаги, как я. Зимой—торговый представитель на мороженом «Славица», летом—на термобелье «Дядя Ваня».

— Видишь стойку с «Бабкиными семечками»?—спросила она.—Перекидывай их в тележку, а на их место выставляй «Грант». Кстати, сколько у тебя ещё сертификатов осталось?

— Пять. Но они под строгим отчётом.

— Можешь занять и стеллаж с «Дачными семечками».

Неделю после этой отгрузки я не выходил на маршрут. Там было просто нечего делать. Единственное, что ждало меня в скором времени,—ротация продукции. Когда до истечения срока годности семечек оставалось несколько месяцев, мы меняли их на более свежие, выставляя старые пачки в качающих точках. Но так как особой уходимостью не мог похвастаться ни один магазин, в конце концов обязательно должно было наступить время, когда просрочка хлынет обратно в компанию, где её немедленно вычтут в виде штрафов из заработной платы торговиков.

Помня об этом, каждый из нас тайно подыскивал «запасной аэродром», как выражался Серёга.

Продаж не было. Дело дошло до того, что, подъехав однажды к своему магазину, я встретил там Ваню. Он шёл вразвалку мимо продовольственных полок к стойке с семечками, явно намереваясь восполнить убыль товара.

Увидев меня, он расплылся в своей бесподобной улыбке:

— А, Лёха, здоро́во!

— Ваня, что ты здесь делаешь?

— Просто проезжал мимо. Решил узнать, как дела.

Он улыбался, как какой-нибудь мультяшный герой. До самых ушей. Его выпученные глаза нездорово поблёскивали. Он буквально гипнотизировал меня своим взглядом.

— Ваня, какого чёрта?

— Послушай, если у тебя не получается прогрузить магазин, давай это сделаю я. Стойка почти что пустая. А до тебя я работал на этом маршруте. У меня тут всё схвачено.

— Ваня,… твою мать!

— Всё-всё, ухожу,—произнёс он, улыбаясь.

А следующим утром подал заявление.

28.

— Вы нам подходите.

— Что ж,—от неожиданности откашлялся я. Собеседование длилось от силы минуту, за которую мы только и успели что друг другу представиться да поговорить о детстве и погоде на завтра.—И когда можно приступать к исполнению своих обязанностей?

— Сегодня же. Сперва поработаете на подмене. Потом мы выделим вам собственный маршрут,—затараторил Виктор Романович, начальник отдела

продаж компании «Бизон».—Сотрудники у нас не были в отпусках несколько лет. А мы трепетно относимся к своим кадрам. Можно сказать, мы здесь одна большая семья. Вместе празднуем дни рождения, новоселья. Я, например, крестил первенца Павла Николаевича. А Вячеслав Викторович был свидетелем на свадьбе Игоря Александровича. Сказать откровенно, Игорь Александрович познакомился со своей женой здесь же, в компании. Она работала в сегменте B2B продаж. Три месяца как ушла в декрет. Теперь мы гадаем, кому из нас выпадет честь крестить сына Игоря Александровича.

На мой взгляд, всё это больше напоминало не семью, а какую-то религиозную секту. Разумеется, деструктивного плана. Из тех, где всё крепко замешано на промискуитете.

— Да, мы не просто продаём отличную колбасу, доля рынка которой, к слову сказать, составляет тридцать пять процентов от общего вала по югу Красноярского края,—продолжил начальник.—Но и завязываем товарищеские отношения. Пройдут годы, мы давно сменим места наших работ, но дружба, которую мы здесь обретём, останется до конца жизни.

— Очень на это надеюсь,—произнёс я.

— В таком случае распоряжусь, чтобы девочки из бухгалтерии подготовили ваш трудовой договор.

И он выскочил из кабинета.

А мгновение спустя снова появился в дверях.

— Алексей Владимирович, пройдёмте в цех на экскурсию.

Я поднялся, и мы побежали на улицу. Вниз по лестнице, потом по коридору налево, мимо поста КПП. Видимо, охранники давно привыкли к манере передвижения Виктора Романовича, потому что зелёная стрелка на табло электронного турникета загорелась ровно за мгновение до того, как он пролетел пост на всей своей бешеной скорости.

— Можете не одеваться. Тут близко,—бросил он, не оборачиваясь.

Через мгновение мы оказались снаружи. Территория завода больше всего напоминала провинциальный аэродром. Теряющаяся вдали дорога, заметённая снегом, и ряд бесцветных ангаров чёрт его знает как далеко. Производственное здание из синих панелей ЛДСП было еле видно сквозь утреннюю морозную дымку. Отсюда оно казалось игрушечным. Я с содроганием вспомнил, что сегодня по радио передавали тридцать градусов ниже нуля, но уже буквально в следующую секунду обнаружил себя взбегающим по металлической лестнице ко входу в цех.

— Производство, как я говорил, у нас небольшое. Зато мы используем только качественную продукцию. Никакой химии,—тараторил начальник, выхватив из рук встречавшего нас технолога спецодежду—белый халат, бахилы и шапочку. Одевался он на ходу. Я с трудом за ним поспевал.—Это цех обработки сырья, цех дефростации, производственный цех, помещение для хранения и подготовки специй, посудомоечное отделение. Как видите, везде царят полный порядок и образцовая чистота.

Мы перебегали из помещения в помещение, будто кто-то гнался за нами. Железные баки сменились конвейерной лентой, которая, в свою очередь, упёрлась в огромный барабан похожей на центрифугу машины.

— И наконец—цех копчения,—торжественно объявил начальник, проведя меня в комнату со здоровенными металлическими ящиками, напоминавшими древние холодильники.—Уже сегодня из этого самого цеха на прилавки магазинов нашего города отправятся «Москворецкая» и «Новороссийская» сырокопчёные колбасы, разработанные по моей собственной рецептуре. Москвичи, не буду называть компанию, вам она, несомненно, известна, предлагали мне хорошие деньги за то, чтобы я раскрыл тайну превосходного вкуса нашей продукции. Но я отказался. Для меня интересы собственного работодателя важней всего. А также интересы наших людей, обыкновенных сибиряков, заслуживших того, чтобы питаться экологически вкусным продуктом по демократичной цене. А теперь прошу вас проследовать на дегустацию.

Мы вернулись к исходной точке маршрута.

Технолог стоял на прежнем месте. На этот раз в руке у него была керамическая тарелка с кусочками порезанной колбасы на пластмассовых шпажках. Для полного счастья не хватало только рюмки ледяной водки.

— Пожалуйста!—произнёс начальник.

От сытного вида колбасы у меня потекли слюнки. Но в тот самый момент, когда я потянулся к тарелке, дверь в цех открылась, и на пороге появился меланхоличного вида молодой человек с планшетом в руке.

— Павел Николаевич, вы как раз мне нужны. Сегодня отправитесь на маршрут вместе с Алексеем Владимировичем. Введите его, пожалуйста, в курс дела. Ознакомьте с ассортиментом, спецификой нашей работы, программой в планшете. А мне пора бежать.

— Хорошо,—ответил грустный торговик.

Начальник пулей выскочил из помещения. И тут же в рабочую группу в «Вайбере», куда я, зарядившись чудовищной работоспособностью Виктора Романовича, уже успел сегодня вступить, пришло сообщение.

Вернее, письмо на несколько тысяч знаков, не меньше.

«Дорогие коллеги!

Только что я подал заявление о своём уходе из компании „Бизон“. В связи с чем хочу поблагодарить вас всех за сотрудничество. Это был интересный

и крайне плодотворный период моей жизни, который многому научил меня как руководителя и человека. У нас были победы. Были и трудности. Но мы успешно их преодолели благодаря сплочённым усилиям всего коллектива. Так что теперь, по прошествии восьми месяцев совместной работы, могу с гордостью заявить: компания уже не та, что была прежде. Она больше не находится на грани банкротства, а уверенно развивается, из месяца в месяц увеличивая долю продаж. Это наше общее достижение. Без вас ничего бы не получилось. Вы настоящие профессионалы своего дела, и я буду скучать по каждому из вас до конца своих дней.

К сожалению, жизнь не стоит на месте. Нужно двигаться дальше. Мне поступило выгодное предложение из другой компании, и после долгих раздумий я решил согласиться. Как любому женатому человеку, мне нужно думать в первую очередь о своих близких — жене и новорождённом сыне. Ради их счастья, складывающегося в том числе и из материального благосостояния, я и живу. Надеюсь, вы поймёте меня и не осудите.

Я же со своей стороны заверяю, компания не останется без надёжного руководителя. Через две недели, когда моё заявление вступит в законную силу, кресло начальника отдела продаж займёт Игорь Александрович. Это опытный, зарекомендовавший себя исключительно с положительной стороны человек, знающий специфику нашей работы не понаслышке. У него, можно сказать, в компании семейный подряд, поэтому и относиться к своей работе он будет со всей возможной ответственностью. На маршрут Игоря Александровича, в свою очередь, встанет Алексей Владимирович — новый член нашего коллектива. Крайне перспективный работник. Думаю, вам известно, насколько безошибочно я разбираюсь в деловых качествах приходящих к нам кандидатов. Поэтому, как говорится, прошу любить и жаловать.

На этом, пожалуй, всё. Продолжаем работать в прежнем режиме. У нас амбициозные цели — к концу года выйти в лидеры продаж. И мы сможем достичь этого лишь сообща».

— Ну вот, — меланхолично произнёс Павел Николаевич, — ещё один не выдержал и сбежал.
— Текучка кадров? — спросил я.
— Третий за последние два года.

Я всё-таки отправил в рот «Балыковую». Вкус у неё был отменным. Как у туалетной бумаги «Зева плюс», если её хорошенечко поперчить и пропитать усилителем вкуса.

29.

— Что с продажами, Лёха?
— Лучше всех, как всегда, — произнёс я.
— За…ал! — выпалил супервайзер. Его глаза остекленели от гнева. Причём моментально. От нуля до сотни за долю секунды. — У тебя каждый день лучше всех, а процент выполнения в заднице. Ты продал бочку «Митасу» Заболоцкому? Осталось три дня, а у тебя по маслу провал.
— Он всё ссылается на какой-то кредит. Говорит, денег нет.
— Ты совсем долбо…б или придуриваешься?
— Выбирай выражения, Андрей!
— Да, Андрей, — вмешалась в разговор Света, выделенный бренд-менеджер по «Total». — Такое поведение для начальника неприемлемо. Нужно, в конце концов, соблюдать субординацию.
— Ты вообще замолкни там, курица крашеная.
— Что значит «замолкни»? — распалилась Света. Её нарисованные татуашью брови подскочили под самую чёлку. — Ты хоть маленько следишь за своей речью? У тебя же через каждое слово «бл…», «придурок» и «долбо…б».
— Потому что вы, тупорезы, только это и понимаете.
— Это не мы тупорезы, а ты. И уж если на то пошло, я считаю, что компетентный начальник должен находить более корректные, а главное, действенные методы воздействия на подчинённых. Если он умеет только орать, значит, ему место на плацу в армии.
— Какой плац, дура? Начиталась «Горе от ума» Достоевского?
— «Горе от ума» написал не Достоевский.
— А кто тогда, курица?
— Гоголь! — торжествующе воскликнула Света.
— Какой Гоголь, придурошная? — кричал супервайзер. Слюни вылетали из его рта, падая от меня всего лишь в нескольких сантиметрах. — Лёха, ты у нас учитель литературы. Кто написал «Горе от ума»?
— Они оба, в соавторстве.
— Вот видишь, придурок?! — торжествующе воскликнула Света.

Но супервайзера смутить было нельзя. Склонившись над компьютером, он яростно защёлкал мышью, явно намереваясь совершить какое-то зло. Его глаза блестели сатанинскою ненавистью.
— Так, сколько тонн у тебя стоял план по трансмиссии? — спросил он у Светы.
— Пять. И я уже их закрыла.
— Как бы не так. Теперь у тебя план десять тонн!

Его слова тут же вызвали всеобщее оживление. Торговые представители, сидевшие до этого, уткнувшись в ноутбуки, принялись громко смеяться, подтрунивая над провинившейся.
— Светка намоталась на штраф.
— А давайте повесим на неё и план по тосолу? А то я в душе не е…у, кому его ещё можно скинуть.
— Нет, пусть лучше займётся аккумуляторами.
— Минуточку! — перекрывая шум голосов, проверещала Света. — Одну минуточку, пожалуйста. Андрей, ты не имеешь права менять план в конце месяца. Так не делается.

— Кто тебе такое сказал? Может, это у тебя в трудовом договоре написано, которого нет? Лучше закрой свою дырку для члена, пока я не подкорректировал и твой план по «Elf».

Тут торговики согнулись напополам. Смеясь, они стучали рукой по столу, словно прося пощады на ринге.

— Так, Лёха, напомни, на чём мы с тобой остановились, пока не вмешалась придурошная?

— На том, что у Заболоцкого нет денег.

— Ты совсем долбо…б или как? — войдя с ходу в прерванный диалог, злобно произнёс он. — Он вешает тебе лапшу на уши, а ты веришь. Это у тебя денег не будет, если ты не размотаешь его до конца месяца. Пойми, никто не будет заниматься бизнесом себе в убыток. Таких дураков нет. Он же сидит там каждый день? Ну скажи мне: сидит?

— Сидит.

— И полгода говорит, что продаж нет. Тебе самому-то не кажется, что здесь в чём-то подвох? Значит так, — выдержав паузу, продолжил Андрей. Его глаза, казалось, сейчас треснут от гнева. Как иллюминаторы батискафа, опустившегося на дно Марианской впадины. — У тебя остаётся три дня, чтобы продать Заболоцкому полтонны «Митасу». Отвечаю, вечером тридцать первого я разобью тебе весь е…льник, если ты не дожмёшь план.

— Андрей, хватит орать на меня!

— Тогда повтори, чтобы все слышали, что к четвергу ты это сделаешь.

— Продам, зае…ал!

— Что именно продашь?

— Продам две бочки «Митасу».

— Е…на в рот. Мне из тебя клещами, что ли, тянуть?

— Торжественно обещаю, что к четвергу сего месяца этой недели я продам гражданину Заболоцкому Александру Николаевичу две бочки синтетического масла «Митасу» вязкостью пять вэ сорок и пять вэ тридцать.

Походило на детский сад, честное слово.

— Ребята! — привстав, прокричал супервайзер. — Все слышали Лёху?

— Слышали, да! — раздалось отовсюду.

В офисе опять поднялось оживление. До конца рабочего дня оставалось всего пять минут. Был шанс, что, закончив со мной, все отправятся по домам, избежав собственной головомойки. Поэтому каждый старался вставить свой комментарий, выслушать ответы других и снова прокомментировать услышанное, запуская механизм генерации реплик по новому кругу.

— Лёха, — толкнул меня локтем Жека, тип с зализанной гелем причёской. — Можно, после смерти я заберу твой телефон?

— Эй! Тогда я забираю машину, — воскликнул Валера.

— И машина достанется мне. Понял, жирдяй?

— Ни черта подобного.

Жека неожиданно рванулся к Валере. Поставив ногу на стол, словно готовясь немедленно прыгнуть на неприятеля, он широко замахнулся правой рукой, демонстрируя самые враждебные намерения. Но Валера сидел как сидел, не моргнув глазом, и Жека с достоинством опустился на стул, прикрывая отступление остроумными шутками.

— Ударю — ты ещё забрызгаешь стены жиром. А мне убирать.

— А сдача не зае…ёт?

— Ну-ка, — снова дёрнулся Жека.

На этот раз Валера рефлекторно подался назад. Офис тут же отреагировал на это приступом хохота.

Бросив в Валеру шариковой ручкой, Жека принялся потешно кривляться, изображая бесстрашного мачо. Он показывал бицепсы, боксировал с тенью, рвал чьё-то горло зубами. Наконец, прикоснувшись рукой к невидимой шляпе, он исполнил дорожку Майкла Джексона. Продефилировав к выходу, Жека задом выплыл наружу, что-то провизжав на прощание.

— Господи. Ведёте себя как малые дети, ей-богу, — закатив глаза, рассмеялась Света.

30.

— Добрый день, Наталья. Как ваши дела?

— Здрасьте, здрасьте, — добродушно отозвалась клиентка. И тут же без какой-либо связи со сказанным её глаза округлились, будто она увидела привидение. — Ой, Алексей. Алексей! — истошно прокричала она, хотя была от меня только в шаге.

— Что случилось? — как можно спокойнее произнёс я.

— На прошлой неделе мы заказывали с вами камеру на тринадцать, а она оказалась дырявой.

Наталья принялась суетливо бегать по своему вагончику с автомобильными запчастями взад и вперёд, на каждом шагу что-нибудь задевая. То высоковольтные провода и шланги, то канистры с тосолом, то коробки с компрессорами и зарядными устройствами. Объёмной она была, как два двойных гамбургера на открытии «Макдональдса», и едва помещалась в узеньком павильоне.

— Вот посмотрите.

Она протянула мне камеру с робкой, полной надежды улыбкой.

— Без проблем, — сказал я. — Сейчас напишем претензию. Отдадите её завтра вместе с камерой водителю-экспедитору, и в течении двух недель на ваш счёт придут деньги.

— Да, будьте добры, напишите. Водитель, наверно, проткнул её чем-то при перевозке. У него была полная машина глушителей. А вчера, когда я её продавала, покупатель заметил прокол. Она не использованная. Честное слово. Скажите, пожалуйста, там у себя.

— Обязательно. Не переживайте, Наталья.
— Ой, Алексей! Алексей! — снова заорала она на весь мир.

На этот раз меня передёрнуло. Я сделался очень нервным в последнее время. И всё из-за этой безумной работы. Как хорошо было бы жить на космической станции. Не спеша мастерить какой-нибудь модуль или рекламный щит для туристов, а на связь с Землёй выходить раз в неделю. Но Наталье я, конечно же, этого не показал. Я даже выдавил из себя какое-то подобие улыбки. В конце концов, улыбаться — главная обязанность торгового представителя. Улыбка была производной успеха. Выяснение потребностей, борьба с возражениями, заключение сделки — всё это следовало делать только после того, как ты хорошенечко кому-нибудь улыбнулся.

— Я вас слушаю, — сказал я.
— Хотя ладно, — рассмеялась Наталья. — Отбой.

Что́ она вспомнила, знать, честно говоря, не хотелось. Даже из чистого любопытства. Нужно было срочно направить её в плодотворное русло, пока ей кто-нибудь не позвонил, не зашёл в гости, не умер, не родился, не заболел, не забеременел и не запил. Мир таил в себе столько всевозможных комбинаций событий, способных отвлечь внимание Натальи, что практически не было никаких шансов их избежать.

— Итак, что у нас сегодня первое в списке?

Наталья взяла в руки тетрадку с заявкой. Она читала медленно, с совершенно неуместной восторженностью девочки-комсомолки, словно перед ней были стихи Мандельштама или «Капитал» Карла Маркса:

— Масло «Роснефть», пять вэ сорок, полусинтетика. Две четырешки и пять литрушек.
— Готово. Дальше.
— Масло «Синтек» появилось?
— Пока нет. Привезут через неделю.
— Тогда красный антифриз, упаковку пятёрок.

Постепенно я стал успокаиваться. Если мы и дальше пойдём таким резвым галопом, то наколотим заявку за пару минут. У меня даже появилась надежда продать Наталье «Митасу». Хоть несколько четырёхлитровых канистр. Но тут, будь прокляты двери, к нам на огонёк заглянул дядя Натальи. Он как две капли воды походил на похудевшего Петросяна. И был таким же нудным и несмешным. Почему-то он всегда приходил именно в тот момент, когда я делал заявку.

Стоило ему появиться, и Наталья отложила тетрадь, расплывшись в такой счастливой улыбке, что мне сделалось дурно. Я понял: это надолго. И действительно, обсудив преступника-наркомана, разбившего прошлой ночью припаркованный во дворе Натальи чей-то новенький автомобиль, они переключились на внешнюю политику. Нефть дешевела, американцы снова разместили в Европе ракеты, на этот раз почти у самых наших границ, а на Японию, будь она проклята, обрушился небывалый тайфун. Они говорили и говорили, а когда тема, подобно угольному разрезу, полностью вырабатывалась, переключались на новую, и так без конца.

— Два комплекта ромашек на восьмёрку, — бросила клиентка мне между делом и повернулась опять к своему родственнику. — А мой-то, балбес, вчера схлопотал двойку по математике.
— Это ничего, — ответил он с видом Петросяна, только что вернувшегося из буддистского монастыря. — Как-то моему сыну задали сочинение на тему: «Как я провёл лето». Так он написал: «Летом было жарко. Потом пришла осень», — Тут Петросян выдержал паузу, чтобы мы могли оценить шутку юмора. — Зато сейчас работает дальнобойщиком. Заколачивает огромные деньги.
— Вот видишь, как оно в жизни бывает!
— Глядишь, с такими успехами твой ещё станет физиком-ядерщиком.
— Ой, да ладно тебе.
— А чему ты удивляешься? Недавно где-то читал: мол, учёные доказали, что талант есть у каждого человека. Нужно только дать ему возможность раскрыться.
— Так два комплекта ромашек? — перебил я.

Это было чертовски невежливо с моей стороны. Но что делать? От этих двоих у меня уже кипели мозги. Я начинал понимать, почему сын Натальи получал одни неуды. Они просто не давали бедному ребёнку готовиться. Забалтывали его до полусмерти.

— Поставили? — спросила Наталья, опустив голову в свои записи. — Кронштейн краба на «Жигули», одна штука, — и снова обратилась к гостю: — Нет, дудки. Пойдёт, как мамка, торговать запчастями.
— И то хорошее дело. А считать ты его быстро научишь.

В этот момент в магазин зашёл мальчик.

— А вот и Вячеслав, — пропел дядя. — Ну что, пойдёшь к мамке торговать запчастями?
— Пойду, — охотно ответил мальчишка.

Он был очень милым созданием. Улыбчивый, ласковый мальчик с синеньким ранцем. Он в жизни не совершил никакого греха, но я готов его был убить, честное слово.

— Хорошо учишься в школе? — поддерживал разговор дядя.
— Не-а, — улыбнувшись, покачал головой мальчик.
— Плохо?
— Так себе.
— Четыре и пять?
— Есть несколько троек.
— А пятёрки?
— По физкультуре. Хм-м… И ещё музыке.
— Петь, значит, любишь?
— Ага. Вот так, — сказал мальчик и начал петь.

Пока он пел, Натальина улыбка становилась всё светлее и шире. Она чуть не плакала. А мальчик пел одну ноту. Тянул ля в фа-мажоре. Под конец в магазине все улыбались. Я тоже постарался придать лицу как можно более дружелюбные очертания. Не думаю, что у меня получилось. Но, к счастью, на меня никто не смотрел. Все смотрели на мальчика, который, закончив упражняться в вокале, отвесил галантный поклон, как дворянин после танца.

— Что-нибудь ещё?—спросил я Наталью.

Но она всё ещё пребывала в блаженной прострации, явно грезя о тех временах, когда её сын станет оперной дивой, собирая многотысячные концертные залы, и не ответила.

— В таком случае до пятницы. Всего вам доброго. До свидания.

Закрыв ноутбук, я потянулся к входной двери.

— Ой, Алексей, Алексей!—заорала Наталья.

— Да?

— А как же возврат?

31.

— Так, мне хомутиков на десять три штучки,—диктовал Лестин.—Медных шайб на восемь. Пять штук. Затем болтиков, тоже на восемь. В какую они у вас нынче цену?

— Два рубля семьдесят копеек.

— Подорожали, однако. А, чёрт с ним. Поставь парочку.

— Будет исполнено,—отрапортовал я.

— Теперь, мне нужны два лобовых сальника на «Жигули». И упаковку вот таких клипс,—при этих словах он начал по-стариковски беспомощно шарить глазами в округе в поисках клипсы, верно, чтобы показать её мне воочию. Он был слеповат и забывчив.—Галя, ты помнишь, куда я дел клипсу?

Из подсобного помещения вышла Галя. Светловолосая женщина лет тридцати, с грустными, как у сексуальной рабыни, глазами. Ещё неделю назад она абсолютно охотно откликалась на Иру.

— Лежала у тебя на столе.

— Где? Я не вижу.

— Да вот же она, под тетрадкой,—воскликнула Галя.

— Ага,—сощурившись, произнёс Лестин. Несколько секунд он пристально разглядывал клипсу.—И вот их поставь штучек семь. Хотя нет, лучше восемь. Да, восемь.

Я начинал закипать. Почему, собственно, восемь, а, скажем, не семь с половиной? Мой месячный план по валовой выручке составлял семь миллионов. А мы потратили пятнадцать минут, забивая десять позиций на общую сумму двести двадцать рублей.

Но Лестин на то и был Лестиным, чтоб удивлять.

— А теперь поставь крестовин «Браво» на «Жигули»,—произнёс он.—Двести штук.

— Двести?—не смог я сдержать удивления.

— Да, двести.

— Но они дорогие!

Встрепенувшись, Лестин подался к ноутбуку, ткнувшись носом в экран.

— Сколько стоят?

— Двести десять рублей одна штука.

— А-а-а,—протянул расслабленно он.—Так это недорого. Ставь.

Что на него нашло? Астрологи предсказали, что в ближайшее время мировые валюты обвалятся и единственное, что будет оставаться в цене, это российские крестовины китайского производства? Или он впыживал их вместо леденцов детям? Бог его знает. Но лучшего момента, чтобы предложить «Митасу», было трудно придумать.

Зевнув, я как можно безразличнее произнёс:

— А как у вас продажи по маслу?

— Нет, спасибо. Масла у нас ещё есть. Будем ждать акции, чтобы потом хорошо закупиться.

— Но вы должны понимать, что впереди сезон. Никто не будет понижать сейчас цены,—начал вешать я лапшу на уши.—Наоборот, цены будут только расти. Поэтому выгоднее купить не откладывая. К тому же для вас продолжает действовать персональная скидка на масла фирмы «Митасу» восемь процентов. Если мы поставим с вами, например, бочку вашей любимой трансмиссии с допуском Gl-5, то ваша выгода составит…

Я уже открыл калькулятор на ноутбуке, но Лестин меня перебил:

— Э, нет-нет. Никакой мне бочки не нужно. Куда её ставить? Да и вообще—куда столько масла? Пару вёдер я, может, и взял бы. Но только в следующий раз. А сейчас трансмиссия ещё есть.

— В следующий раз цены поднимутся.

— И ладно. Сегодня денег всё равно нет. Считай, на пятьдесят тысяч заказ сделали. Теперь подкопить нужно.

— Возьмите в рассрочку. Мы можем дать вам сорок дней.

— Нет, даже не уговаривай,—раздражался всё больше Лестин. Он уже почти меня ненавидел.—Говорю же, долгов выше крыши. Берёшь чужие, а отдаёшь-то потом один чёрт свои.

— За сорок дней вы продадите пять таких бочек. С нашей скидкой один литр масла обойдётся вам в двести пятьдесят рублей. Даже если вы накрутите на него пятьдесят процентов, оно всё равно будет дешевле фасовки. А это сто двадцать пять рублей чистой прибыли! С бочки вы поднимете двадцать пять тысяч. Скажите, кто ещё сделает вам такое выгодное предложение?

Я замолчал. Чёрт подери, это была одна из лучших речей за всю мою жизнь. Но в ответ Лестин только бесконечно печально вздохнул. Я зае…ал его, это было понятно.

— Вот так,—сказал он и поднялся.

Он молча вышел из магазина. Возле крыльца стоял его велосипед. Лестин ездил на нём в любую погоду, даже зимой в тридцатиградусный холод. И вот он сел на него и беспечно покатил куда-то в сторону Красноярска.
— Уехал на обед,— виновато произнесла Галя.

32.
— Ты кто такой?
— Компания «Автопартнёр»,— сказал я.
— А, эти ублюдки,— агрессивно произнёс Прутиков.

Невысокий, красный от вечной злобы старик в неизменной дерматиновой кепке. Он был похож на таксиста, откатавшего по чудовищным пробкам пять суток в компании наркоманов и алкашей и теперь вместо отдыха вынужденного продавать автозапчасти.
— Почему сразу ублюдки?
— Ублюдки и есть. Кто же ещё? Да не смотри на меня таким рыбьим взглядом. Знаю я всю вашу шайку-лейку. И директора вашего знаю, Виктора Владимировича. Мы в девяностые начинали с ним вместе.
— Друзья юности?
— Таких друзей вешать на фонарных столбах нужно. Бандюга форменный. Что думаешь, он остался белым и чистым, пока колотил свои миллионы? Да он человек сто за городом прикопал. Он и его подельник, Кинжеев. Куда, кстати, делся ваш предыдущий рассказчик? Тот, что ходил до тебя?

Я работал в компании полгода, но у Прутикова была феноменальная память на лица. При первом моём посещении он сказал мне: «А ведь я тебя где-то видел! Да-да, я тебя знаю». И потом уже никогда меня не узнавал. Конечно, я не баловал его своими посещениями. Жаль было времени слушать о том, какие вокруг все козлы и как они его нае…али. Но раз в месяц я всё же появлялся у Прутикова, подписывал акты сверок. И он никогда меня не узнавал. По его мнению, к нему приходили всякий раз новенькие. Все сплошь мудаки, ублюдки и прочие нехристи.
— Перевели на другой маршрут,— произнёс я.
— Значит, уволили. Тоже ещё тот мудила. Я у него как-то спросил, какая оборотка у Чистанова. Знаешь же Чистанова? Или ещё не успел всех клиентов запомнить?
— Знаю, у него магазин в начале улицы.
— Вот-вот. Так этот мудила говорит: полмиллиона в месяц, и это не считая того, что Чистанов берёт у сторонних поставщиков. Сказочник, бля. Так я ему и поверил. Будто у людей есть столько денег. Ко мне если и зайдёт один мудозвон в час, так и то нос воротит. Всё ему дорого, бля, всё ему не по карману. Почему-то ни один из этих умников никогда не торгуется в продуктовом или в аптеке. А в магазине автозапчастей — пожалуйста, сколько угодно. Будто мы сами запчасти выстругиваем. Они мне уже весь мозг выели, эти козлы. И знаешь, какой я для них фокус придумал?
— Не имею ни малейшего представления.
— Разлил отработку по тарам,— по-мефистофельски захохотал Прутиков.— Написал маркером вязкость, там, «Лукойл» или «Роснефть», и выставил на продажу по сто пятьдесят рублей за литр. Дорого тебе по пятьсот рублей покупать — на, пожалуйста,— и он достал из-под прилавка пластиковую бутыль, в которой тяжело плеснулась чёрная маслянистая жижа.— А что с ним на хрен сделается? Срок службы присадок закончится? Так на кой чёрт они вообще тут нужны? Засрут масло химией и продают втридорога. Чистящий эффект, противозадирные свойства. Ха-х. Приманка для дураков. Им напиши на бутылке, что этим маслом гастрит можно лечить, они и в это поверят. Вон, в советское время ездили на автоле, и ничего. Тогда люди были не в пример умней нынешних. А сейчас пошло какое-то свихнувшееся поколение. Сплошь придурки и курицы со своим безмозглым потомством.

На мгновение он замолчал, переводя дух.
— Придут, походят вдоль витрин и уходят. И куда, спрашивается, они все идут? К Чистанову, разумеется. Он понабрал китайского хлама и продаёт его как немецкий. А они, олухи, верят. Какой-то Х…й Вен Лин написал на коробке «Ховер», и они думают, что это поставщик БМВ штампует им водяные насосы на «Жигули». Да кому на хрен нужны их драндулеты? Чем чаще они будут ломаться, тем лучше. Для них же самих. Будут больше работать, а не сидеть перед теликом — засирать мозги американскими фильмами. Тут пришёл ко мне на днях один такой мудозвон,— продолжал Прутиков.— За стартёром на «десятку». И говорит: «А подешевле нельзя?» Мол, когда-то там, наверное, когда его стручок был пять сантиметров, брал дешевле. Ну, я пошёл в подсобку и в упаковку из-под «Крафта» засунул «Старый Оскол». «Вот,— говорю,— старый привоз. Продаю по цене позапрошлого года». Так этот дурак ускакал отсюда, будто ему всучили золотой слиток вместо лопаты дерьма. Так только с дураками и нужно. А то такие, как Чистанов, быстро тебя оприходуют. Или что думаешь, он не такой, этот Вячеслав Олегович? Думаешь, он не ходил тут с блокнотом, не записывал цены, ассортимент, не прикидывал мою выручку, прежде чем открыть свою богадельню? Ходил, будь уверен! Своей-то головы нет, обязательно нужно украсть у другого. Еврей, бля. Была б моя воля, я бы таких собственноручно расстреливал.

Признаться, мне стало жаль мужика. Зря я ему рассказал про эти полмиллиона. Но уж больно достал меня Прутиков в прошлый раз. Достал этими своими «мудилами» и «мозгоё…ами» так, что у меня напрочь поехала крыша. Я готов был

взять на себя десять убийств и двадцать разбоев, заявить, что являюсь американским шпионом, лишь бы скорее свалить от него.
— Нет,— произнёс озадаченно я, словно действительно силясь понять, как могло такое случиться,— полмиллиона — чересчур много. Это он, конечно же, приукрасил.
— Ага, припи…ел, стало быть. Ну-ну.
— В прошлом месяце Чистанов взял у нас на сто пятьдесят тысяч. И это одна из самых высоких обороток за последние несколько лет. Я даже премию получил за него.
— Вот это уже похоже на правду,— повеселел Прутиков. У него даже отхлынула кровь от лица. Из бордового оно сделалось розовым, как у младенца.— Максимум, что он накручивает на товар,— пятьдесят процентов. Значит, его доход составляет семьдесят пять тысяч. А из них ещё нужно заплатить за свет, коммуналку, налоги. Магазин-то он вон какой отгрохал себе, двухэтажный. Одно отопление зимой, поди, двадцать тысяч выходит. Плюс зарплата работникам. И в остатке выходит всего ничего. Больше мороки, чем заработка. Нет, уж лучше не рыпаться. Так вернее выходит. Держать и дальше свою говнобудку, зато по ночам спать спокойно.

В этот момент Прутиков на мгновение замолчал. Времени среагировать у меня было немного, какая-то доля секунды, поэтому, не подбирая слов, я немедленно выпалил:
— А я, Пётр Викторович, как раз по этому вопросу.
— По какому вопросу? Я у тебя пока ничего и не спрашивал.
— По поводу дохода,— перехватив инициативу, сформулировал я.— Недавно у нас стартовала акция на моторные масла фирмы «Митасу». Можно хорошо заработать. Например, канистра «Платинум 5W-40», изготовленного на основе четвёртой группы базовых масел, обойдётся вам всего лишь…

Прутиков весело рассмеялся. Будто я травил анекдоты, честное слово.
— …В одну тысячу пятьсот рублей,— закончил я фразу.
— Вот ещё один мудозвон выискался,— не прекращая смеяться, произнёс Прутиков.
— Это вы мне?
— Кому же ещё? Да я в вашей фирме ни одной шайбы не куплю больше. Не говоря о другом. Или ты думаешь, всё коту Масленица? Ничего, дойдёт и до вас очередь. Будто я не знаю, что у вас упали продажи. Всё знаю, хоть и сижу с утра до вечера за прилавком,— он говорил, а на его лице играла злорадная улыбка убийцы. Как в финальных сценах боевиков, в которых злодей наставлял на главного героя оружие.— Если раньше я брал у вас на сто тысяч в месяц, то теперь на двадцать едва набираю. А всё потому, что на хрен вы мне не нужны. И скоро все откажутся с вами работать. А тебя уволят к чёртовой матери. Акция, говоришь, новая? А я скажу, не акция это, а распродажа. Потому и скидываете ценник, что запахло жареным.

Выходило, Прутиков вводил против нас единоличные санкции. Хотел задавить экономически. Я развернулся и направился к выходу. Ловить тут всё равно было нечего.
— Что, не нравится? Колет глаза правда-матка?— кричал он мне вдогонку.— Но ничего, поезди пока ещё. Вишь какой — в чистой рубашечке, в брючках. Прям дипломат в английском посольстве. Покрасуйся. Коли так…

Я закрыл за собой дверь. На улице пели птицы.

33.

— Ночь. Деревня,— войдя в кабинет, с ходу начал коренастый лысый мужик лет пятидесяти, руководитель отдела доставки.— В дом к девушке через окно пробирается молодой парень. И залазит к ней под одеяло. Ну, понятное дело, давай они обниматься там, всё такое. И тут парень и говорит: «Люблю тебя, мать, больше жизни. Давай, что ли, сделаем это?» А девушка, ясен пень: «Да ты что? Я ещё, типа, целка,— тоненьким девичьим голоском пропищал за девушку рассказчик.— Разве можно до свадьбы? Да и бабушка спит на печи. Разбудим».— «А мы потихоньку»,— произнёс парень. «Нет, нет и нет»,— категорически ответила девушка. «Ну давай тогда хоть на полфёдора, раз ты так боишься лишиться невинности?»— «На полфёдора? А это как?»— «Да очень просто. Я возьму его в руку. Ты возьмёшь его в руку. Что останется, то и будем использовать. Только смотри, держи крепко, чтобы, не дай Боже, не выскользнул». Подумала девушка, подумала и согласилась. Взяли они, значит, хрен в две руки и давай друг об дружку тереться. Минут пять всё шло у них благополучно. И тут, как водится, рука девушки случайно соскальзывает. А парень и подавно ничего не держал. Ну и засадил он ей с маху всё, что у него было. Чуть напополам, бедную, не порвал. Девушка, понятно, в слёзы. Парень её успокаивает: «Ну, не переживай, милая,— ласково просюсюкал начальник.— Всё у нас будет с тобой хорошо. Поженимся, нарожаем детишек, я на работу устроюсь в совхоз. Хозяйство богатое заведём». Тут с печи слышится голос старухи: «Тьфу на вас,— говорит,— ироды. Вы и х…я-то вдвоём удержать не смогли. Какое вам на хрен хозяйство?»

Торговые представители прыснули смехом. Под всеобщий хохот начальник отдела доставки торжественно прошёл к столу супервайзера и передал ему документы с возвратами. Затем развернулся и так же торжественно вышел. Как рок-звезда мирового масштаба.
— Ха-х! Смешно,— воскликнула Света.— Ржу не могу!

— Молчи, придурошная,— сквозь смех произнёс супервайзер.— Тебе с куриным мозжечком не понять.
— Ты зато больно умный, как я посмотрю!
— Совсем, что ли, страх потеряла? Или думаешь, раз твоя зарплата за этот месяц ушла нам на корпоратив, тебе теперь и терять нечего?
— Так и думаю, Андрей!— вспылила Света.— Вы, значит, будете жрать шашлыки за мой счёт, пить пиво, париться в бане. А то, что меня через неделю выгонят из съёмной квартиры за неуплату, на это вам наплевать. Я так просто этого не оставлю. Я пожалуюсь Владимиру Анатольевичу. Пусть знает, какой беспредел творится у него в отделе продаж.
— Ты всё сказала?— вытирая с глаз слёзы смеха, спросил Андрей.
— Пока всё!
— А теперь смотри, что у меня есть для тебя.

Открыв ящик стола, он вытащил из него резиновый член.
— О Господи!— воскликнула Света.
— Видала?!
— Ты совсем, что ли, ё…нулся?

Поднявшись, Андрей молча двинулся к Свете. Массивная, как набалдашник трости, головка члена размеренно, будто с ленцой, качалась вверх-вниз. Казалось, член соглашается с чем-то.
— Нет,— взвизгнула девушка.

Вскочив со стула, она бросилась к выходу. Супервайзер рванул за ней следом. Высокий, как подающий надежды баскетболист, он в один прыжок перемахнул через стол, чуть было не задев головой висевший под потолком проектор, и скрылся за дверью. Из коридора послышались истошные визги. Будто там продавали пылесосы с пятидесятипроцентной скидкой.

Торговики дружной гурьбой бросились к двери.
— Андрей, я поставил на тебя два косаря!— зазвучали комментарии.
— А ты, Света, расслабься. Тогда ничего не почувствуешь.
— Ха-ха. Ты что, Валера, уже проходил через это?
— Да иди на хрен. Мне бывшая рассказывала.

Сжавшись всем телом, Света бежала маленькими, семенящими шажками. Разогнаться ей мешали туфли на каблуках. Андрей стремительно её догонял. С выпяченной вперёд грудью и членом в руке. Чем ближе он подступал к девушке, тем истошнее она визжала. В какой-то момент визг стал таким громким, что нельзя было разобрать собственных мыслей.

И всё-таки Света добежала до выхода первой. Приложив ключ-карту к замку, она бочком прошмыгнула в образовавшийся перед нею проход, немедленно захлопнув за собой дверь.
— Открой, придурошная,— прокричал супервайзер.
— Андрей, ты что, забыл ключ?
— Конечно, блин. В куртке остался.

Торговые представители захохотали:
— Ну ты и лошара, Андрей.

34.

Выйдя из офиса, я поехал домой.

К херам эту работу. Хватит с меня, решил я. Хватит маразматических планёрок, увеличивающихся из месяца в месяц планов продаж и бесконечной погони за этими планами. Отныне я снова принадлежал себе. На этот раз окончательно. Больше на этот крючок я не клюну.

Работал я без договора, поэтому решил не утруждать себя четырнадцатидневной отработкой, пока они будут искать мне замену. Сколько раз они увольняли людей в один день. Ещё вчера пили вместе на корпоративе, а в понедельник утром— пошёл на хрен, ты нам не нужен. Без объяснения причин. И плевать, что у человека кредиты и съёмная хата. Я решил сделать так же. Пусть немного побегают. Да, в такси было трудно. Но автомобиль ломался, и когда я продавал семечки, вместо гаишников штрафы выписывались супервайзером, а психи стали попадаться мне даже чаще, чем в бытность работы шофёром. Я обманывал сам себя, убеждая, что деваться мне некуда. Но резиновый член в руке супервайзера меня отрезвил. Не знаю, почему мне потребовалось на это так много времени.

Вечером, когда я хорошенько надрался пивом, они мне позвонили.
— Ваше высочество, вы, собственно, где?— спросил Андрей.
— Дома. Где же ещё?
— А какого хрена ты дома?— проорал он.

Если он не поменяет работу, у него случится инфаркт. Или кровоизлияние мозга. Он уже каждое утро мерил давление, хотя ему было всего тридцать семь. Так орать вредно. Это же очевидно. Но ради денег люди готовы пренебрегать очевидным. Поэтому они и сходят с ума. Потому что всю жизнь делают то, чего им не хочется.
— Я больше у вас не работаю.
— Ну-ка, заканчивай эту хрень и пи…дуй в офис.
— И я записываю наш разговор. Если мне не выплатят деньги за отработанный месяц, эта запись попадёт в трудовую инспекцию. Посмотрим, как вы объясните, что официально у вас работает всего три человека.

Он бросил трубку. Представляю, как он сейчас там орал. Орал на весь офис. Этим криком можно было глушить рыбу в озере. Жаль, мне этого не увидеть. Я пропустил необыкновенное зрелище.

А на следующий день я устроился сразу в две конторы такси. Первая была моим старым местом работы, где меня ещё хорошо помнили, вторая— новомодным федеральным диспетчером. Даже

по лицам сотрудников, которые там сидели аж в количестве пяти человек, было понятно, что всё это очень серьёзно. В глухомань пришла цивилизация! Заявки они раздавали по телефону через специальное приложение, причём ближайшей машине. Приложение показывало и расстояние до точки, что значительно упрощало жизнь новичкам. Да и ветеранам, к которым я себя причислял, тоже. До сих пор, случалось, прилетали заявки с незнакомыми улицами. Проулками в пять-шесть домов. Этакими аппендиксами, незаметно сворачивающими с широких проспектов в непролазный кустарник. И чёрт знает, где они находились. Возможно, в какой-нибудь сотне метров, а быть может, и в другом конце города. Теперь с этим была полная ясность. Бери всё, что находится в пределах двух километров, а потом спокойно открывай навигатор и прикидывай кратчайший маршрут. Технологично, как на заводе «Тойоты».

Федеральный диспетчер быстро набрал популярность. Когда я только устраивался работать торговым представителем на семечки, о них ещё никто толком не знал. А два года спустя они вышли в единоличные лидеры по перевозкам, разорив множество мелких компаний. Людей подкупала низкая стоимость поездки и быстрая подача машины. Потеснили они и «Альянс», где я катался до этого. Теперь я практически ничего не зарабатывал по рации. Пять, от силы десять заказов за смену, остальное давал федеральный диспетчер. Но отказаться от рации я не мог. Без неё я не ощущал себя больше таксистом. А просто хмурым типом, который от нечего делать подрабатывает частным извозом. Никакой романтики. Только ты, машина и приложение с жёлтыми иконками свободных заказов. И никакого милого сердцу потрескивания рации с неизменными шутками и переругиванием водителей.

Во всяком случае, когда я вышел на первую после своего возвращения в такси рабочую смену, меня никак не оставляло это дискомфортное чувство. Рация упорно молчала. И я брал заказы через приложение. Один за другим. Я сам себя развлекал, представляя, будто прохожу уровни в компьютерной игре. Конфликтный клиент выступал в роли босса, в прохождении которого требовалась особая тактика. Остальные были массовкой. В общем, катайся и зарабатывай виртуальные очки в приложении, как в «War Thunder». За пятьсот выполненных заказов — бонус. И ещё еженедельные акции «Приведи друга», «Обклейся за счёт фирмы», «Ночная охота», «Три месяца пользования лицензией бесплатно» и прочие штучки-дрючки.

Создатели приложения явно ориентировались на молодёжь, желая оттащить их от мониторов ПК. А я, видимо, становился уже динозавром. Всё новое вызывало у меня отторжение.

Или, быть может, дело объяснялось иначе? Гораздо проще? Раньше я считал таксистов хозяевами собственной жизни. Вольными птицами без начальства и обязательств. Но вот пришли люди с толстыми кошельками и всё переиначили на свой вкус, не спросив на то нашего разрешения.

А мы подчинились…

И всё же рация наконец ожила.

— Мальчики, Некрасова, двадцать два Б, — объявил знакомый голос.

Маша! Она так и не ушла из «Альянса». Осталась. Со своими двумя малолетними детьми, то и дело ночевавшими с ней в офисе, привычкой называть водителей «мальчиками» и энциклопедическими знаниями улиц.

— Оставляй за восемь-восемь, — проорал я.

— Принято, восемь-восемь.

— О, здоров! Ты опять с нами? — поприветствовал меня пять-четыре.

Я его сразу узнал. У него был такой хриплый, такой заспанный голос, что казалось, будто он с вечного бодуна.

— Где же мне быть, пять-четыре? — спросил я, выезжая с парковки.

— Да где угодно. Хоть в министерстве транспорта и путей сообщения. То-то у нас наконец взялись за дороги. Никак, думаю, восемь-восемь теперь у них там всем заправляет.

Я рассмеялся. От всей души. Ничего особенного. Юмор измученных, ошалевших от жары и пробок мужчин не может быть утончённым. Но сейчас он был мне милее шуток Харламова на ТНТ.

— Жизнь чиновника невыносимо скучна, — произнёс я в ответ.

— Устал перекладывать бумажки с места на место?

— Распиливать бюджет. Пришло время подумать о бессмертной душе.

— Ха-х, — рассмеялся пять-четыре. Его смех походил на кашель туберкулёзника — следствие миллиона выкуренных за рулём сигарет. — Да, в наше время спастись можно только в такси.

Я просто опешил. До того неожиданно было услышать из уст пять-четыре подобное. Но что, в конце концов, я о нём знал? Что я знал о ком бы то ни было? В такси, как и в монастырь, приходили люди самой разной судьбы. И далеко не всегда это были безграмотные неудачники, не сумевшие найти себя в жизни. Для многих лямка пятидневной рабочей недели была нестерпима. Вот они и шли работать водителями, спасались. Современные Канты, Колумбы, Викторы Гюго и Васко да Гамы.

— Восемь-восемь на месте, — сообщил я по рации.

— Принято, восемь-восемь. Звоню.

Пожалуй, я действительно был «на месте». Лучше не скажешь.

35.

У кого только каких проблем не было.

Проблемы со здоровьем, законом, начальством и автомеханиками. Неразберихи с наследством, геморрой с межеванием, хлопоты с похоронами, а ещё коллектора́, психопатки-свекрови, ранние заморозки, глобальное потепление и плоскоземельцы. Когда тебе едва исполнилось двадцать и ты управляешь машиной, будто дома у тебя на плите кипит молоко, никто не будет говорить с тобой по душам. Ближе к тридцати всё меняется.

Теперь люди шли ко мне, как на исповедь к батюшке.

Проблем было так много, что почти не осталось людей, кто смог бы утешить. Только таксисту, выслушивающему за рабочую смену столько историй, что их с лихвой хватило б на десять романов, можно было, не таясь, признаться в любом смертном грехе, в любом горе, зная, что он не осудит.

— Здорово, батя! На Вяткина?

— На Вяткина, да! Куда же ещё?

В машину сел пьяный мужик. С многодневной щетиной и красовавшимся на майке свежим пятном, по форме напоминающим древний суперконтинент, на котором обитали огромные ящерицы.

— О, да ты не батя ещё. Ты — шеф, — сообщил он, посмотрев на меня.

Я ничего ему не ответил. Молча тронулся с места. В целлофановом пакете клиента угрожающе загремели бутылки. А сам он громко икнул, с трудом сдержав позыв рвоты.

— А я ведь алкоголик, шеф, — произнёс пассажир.

— Да бросьте. Совсем не похожи. Просто перебрали чуть-чуть.

— Нет, алкоголик. Никак не могу остановиться.

— И давно пьёте?

— Уже четвёртые сутки.

— Ну, это не срок. У меня есть друг в Новосибирске, так он…

— Совсем ты ещё молодой, — перебил меня пассажир. — Салага, можно сказать. Вот таких же, как ты, тысяча триста двадцать три пацана я потерял на войне. Считай, целый полк. Выстрой их на Первомайской площади — и места яблоку не будет упасть. Понимаешь? Многие ещё девчонок не успели попробовать. И погибли. Тысяча триста двадцать три солдата. А я вот остался. И как жить с этим дальше, не знаю.

Так это и происходило обычно. Люди раскрывались внезапно. Будто внутри у них разрушалась плотина.

— Но вы ведь не виноваты, — произнёс я.

— А кто ты такой, чтобы меня обвинять? — спросил резко он. Глаза его были влажными, как при простуде. — Ты что, Господь Бог? Или, может, ты был там? Видел всё своими глазами?

Он спорил с собственной совестью. Это было ужасно.

— Меня будет судить только Бог. Ясно тебе?

На следующем перекрёстке он вышел, а я закурил сигарету.

36.

В другой раз я вёз старушку из военкомата.

«Интересно, что она там могла делать?» — спрашивал я себя. Когда проводишь за рулём по четырнадцать часов в сутки, волей-неволей учишься находить себе развлечения. Иначе свихнёшься. Мне вот нравилось строить догадки о том, кто твой клиент и почему он едет туда, куда едет. Некоторые маршруты действительно не укладывались в голове. С кладбища люди могли поехать на свадьбу или, хорошенько попарившись в сауне, в автосалон за машиной. А однажды мне довелось везти в морг из пивной двух студентов юрфака — сдавать зачёт по судебной медэкспертизе.

Словно почувствовав мой интерес, старушка заговорила:

— Ох, наконец-то домой. Весь день сегодня катаюсь.

— Сына в армию отправляете, что ли?

— Да какой сын? Если бы сын, — вздохнула она. — На днях пришло из министерства письмо. Оказывается, моему мужу полагается выплата. Он служил на вредном объекте. Сам-то он умер в прошлом году. Очень сильно болел из-за облучения. Вот теперь бегаю по всему городу, получаю вместо него. Сначала приехала в городской военкомат. Меня оттуда отправили в республиканский. А в республиканском понадобилось свидетельство о смерти. Пришлось возвращаться домой и снова ехать обратно. Я у них спрашиваю: скажите, сколько хоть мне причитается? А то, может, зря я на такси трачусь?

— И сколько, если не секрет?

— Сто восемьдесят три тысячи.

— Неплохо, — произнёс я, чувствуя, что ответ мой чудовищен.

— Да, деньги немалые, только куда они мне? Племянникам если отдать. Будет память о муже.

— Детям отдайте. Или не заслужили?

— Да нет у нас детей, — снова вздохнула старушка.

Я промолчал. Вот уж и вправду: разговаривать с людьми — всё равно что ступать по минному полю.

— Как выходила за него, он всё молчал, — прервала тишину пассажирка. — Ни за что не признавался, где служил. Говорил, это из-за тебя, это ты виновата, что у нас нет детей. Я все больницы объездила. В Красноярске была. Все в один голос твердили: здорова. Ну а потом, когда у старших сестёр внуки пошли, я его к стене и припёрла. «Хватит с меня, — говорю. — Давай-ка, милый мой, теперь ты на обследование». Он понял, что я от него не отстану, и говорит: «Да и так всё скажу, без обследования». И сказал. «Бросишь меня?» — спрашивает. Эх, — печально вздохнула старушка. — Была

б молодая — может, и бросила бы. А в тот момент кому я уже нужна была, старая?
— Любил вас, — произнёс я.
— Любил. Конечно, любил, ничего не скажу. Много у нас было хорошего. И работящим был. Пока не болел. Жили в «однушке». Так он заработал на трёхкомнатную в новом доме. Я ему говорю: «Куда нам двоим такие хоромы?» А он: «Хочу, чтобы у каждого было по своей комнате». Таким был человеком. Потом построил коттедж, а квартиру сдавал. А как умер, я всё продала. Опять взяла однокомнатную, а вырученные деньги — племянникам. Куда мне столько одной? Всё равно скоро в землю.

37.

— Держись правее, дружище.

В голосе пассажира слышался страх, поэтому я перестроился.
— И не гони. Шестьдесят километров — самая оптимальная скорость. На дороге может случиться всё что угодно. Пусть придурки несутся хоть двести. КАМАЗ, под который они улетят, ещё впереди. Возможно, он уже выехал. Не гони и держись ближе к обочине. И никогда не выезжай на левую полосу. Никогда, — говорил молодой человек, то и дело присасываясь к пивной бутылке. Глаза его неотрывно глядели вперёд, прямо на трассу. — Если во встречном потоке кто-нибудь не справится с управлением и вылетит прямо на нас — в этот самый момент! — что ты предпримешь?
— Сверну в кювет, — пожал я плечами.
— Правильно. С правой полосы ты уйдёшь в кювет и не пострадаешь. Можно так же перестроиться в левую полосу, если она будет свободной. А с левой полосы у тебя только один выход — направо. А если там будет занято? Что тогда? Бабах! — заорал пассажир, хлопнув в ладоши. Но так как в правой руке у него была пивная бутылка, хлопка не вышло. Только обручальное кольцо звякнуло по стеклу. — Всмятку.
— Осторожнее с пивом, — предупредил я.
— Не переживай. Я не свинья. Ни в одной машине ни капли ещё не пролил. Ты, может быть, даже знаешь меня. Я рэпер Кент. Выступал на прошлой неделе в «Атоне»!
— Нет, — сказал я. — Меня «Наутилус» вставляет.
— Бутусов. Чёткая группа. И всё равно вот эту песню ты наверняка должен был где-то слышать.

И он запел. Что-то про правильных пацанов, неправильных девок и дворы Абакана. Он пел, превращаясь в совершенно другого человека. Отрешённого от грузовиков, скоростных ограничений и окровавленных трупов. В тексте у него встречались выражения типа «ёу», «чикса», «кореша» и всё в этом духе. Типичные рэперские словечки, которые прежде в разговоре со мной он не использовал, отчего ощущение, что передо мной сидел другой человек, лишь усиливалось. Я даже рискнул притопить. Осторожно, чтобы он ничего не заметил. Но стоило стрелке спидометра подползти к отметке шестьдесят пять, как молодой человек прекратил петь.
— Эй, не гони. Ты смерти моей, что ли, хочешь?

Я сбавил скорость. Мы ехали в Черногорск по федеральной дороге, и за нами к этому времени скопилась длинная вереница машин. По левой полосе шёл сплошной поток обгоняющих. Вклиниться в него тем, кто замешкался на правой, было непросто. Я буквально чувствовал лопатками, как нервничали все эти упёршиеся мне в задний бампер водители. Иногда кому-то всё же удавалось перестроиться влево, и тогда они проносились мимо, разгоняя мотор до закладывающего уши рёва. Некоторые оборачивались, бросая на меня мрачные взгляды. Словно говоря: «Я запомнил тебя, мудила. Лучше не попадайся больше мне на дороге».
— Видишь следы от колёс? — спросил Кент.

По трассе действительно тянулась пара чёрных, будто нарисованных тушью, следов от шин. Они петляли из стороны в сторону по всё более размашистой амплитуде.
— Смотри, ушли вправо, в кювет, — произнёс пассажир, приложившись к бутылке. — Знаешь, что случается, когда грузовик сходит с трассы? Груз срезает кабину. Если не успел спрыгнуть — стопроцентная смерть.

Почти каждый день я ездил этой дорогой, но на следы от шин не обращал никакого внимания. Теперь я всюду замечал зловещие отметины. Дорога была буквально исчерчена ими. Казалось, это какая-то шутка. Дети нарисовали. Но тут же, будто отозвавшись на мои мысли, справа в пролеске показался свежий венок с трепетавшей на слабом ветру чёрной лентой.
— Это война, — сказал многозначительно Кент. — Мы все воюем друг с другом. То кого-нибудь собьют на переходе, то пьяный вылетит на встречную полосу, то какой-нибудь придурок проедет на красный. Вчера ночью ехал домой из гостей на такси, так на Попрошайке разбились мотоциклисты. Парень с девчонкой. Пожарные ходили с фонариками, искали фрагменты их тел. Наверное, летели под двести. Война, — снова повторил он, глотнув пива. — У меня самого в голове стальная пластина. Вот такенный кусок. Две недели пролежал в коме. Месяц ничего не мог вспомнить. А когда память вернулась, выяснилось, что мой лучший друг мёртв. И я виноват в его смерти.
— Пьяным за руль сел? — спросил я.
— Лобовое столкновение. Как раз выпал снег. Так мело, что ничего не было видно. Тут ещё эта фура. Всё время приходилось выруливать на соседнюю полосу. А друг сидел слева, на переднем пассажирском. Весь удар пришёлся в него.

Какое-то время мы ехали молча. Я сбавил скорость до пятидесяти и включил аварийки.
— Он как спал, поджав под себя ноги, так его, говорят, и достали. Хоронили в закрытом гробу. А я вот теперь только на такси и катаюсь. Не могу заставить себя сесть за руль.

38.

— Мальчики, Пирятинская, семь,— послышалось в рации.

Не ближний свет катить из Энергетиков в мпс. Но если ждать, когда заявка упадёт тебе прямо на голову, можно просидеть в машине не один час. Особенно на окраине города. А за это время ты так изведёшься, что работать дальше уже не захочется.

В общем, я решил не искушать судьбу. Поднёс гашетку ко рту, чтобы выкрикнуть свой позывной, и в этот самый момент у меня с бардачка упала икона. Я не был верующим человеком. Триптих достался мне от отца вместе с машиной. Но спокойно смотреть, как образа лежат на грязном коврике, я не мог. Отложив гашетку, я потянулся к упавшей святыне. Странно, но она легко прикрепилась на прежнее место. Для верности я пошатал её из стороны в сторону. Иконка держалась надёжно, точно на жидком гвозде. При всём желании я не смог бы её теперь оторвать.
— Ну же, ребята, никого, что ли, нет в мпсе? Заявка хорошая. Правда!— уговаривал тем временем нас диспетчер.— Восемь-восемь, ты уже освободился со Второй Проточной?

Я промолчал. Слова застряли у меня в горле.
— Ребята, вы чего?
— Шесть-два заберёт,— произнёс неохотно Олег.

И это тот самый шесть-два, которого мы называли Торпедой? Он носился по городу как очумелый, выкрикивая свой позывной, всё равно что участники телешоу «Угадай мелодию»— названия песен.
— Шесть-два, поедешь в Пригорск. Цена пятьсот рублей.

Тут я, естественно, выругался. Самыми грязными выражениями. Заказ оказался и вправду хорошим. Диспетчер не обманул. А этот дубина промычал: «Шесть-два заберёт»,— таким тоном, словно ему предложили за пятихатку сгонять в Красноярск и обратно. «Бестолочь. Остолоп,— говорил я себе.— Сколько лет работаешь в такси, а заявки брать не научился. Сиди теперь, протирай бесплатно штаны да любуйся, как другие проезжают мимо тебя с пассажирами». Некрасиво, конечно. Но что сделать— эмоции! У всех нас были кредиты, арендная плата и семьи, которые нужно было кормить.

С отчаянья я выхватил первую же заявку, которая пришла следом. И снова мне не фартануло. Из Энергетиков тащиться за город, на дачи «Ивушка». Сто пятьдесят рублей заработка. И возвращаться обратно порожняком. Почти сто процентов. Больше бензина сожжёшь, чем заработаешь.
— И как, по-твоему, это всё называется?— спросил меня пассажир.

Видимо, всё время, пока ждал машину, он вёл в своей голове диалог, пытаясь решить для себя какой-то вопрос. Но прозвучало это так, будто его тоже всерьёз волновала упущенная мной заявка в Пригорск.
— Да понятия не имею,— произнёс в сердцах я.
— Что, день сегодня херовый?— поинтересовался клиент.
— Это ещё мягко сказано.
— Херня. Вот у меня в последнее время действительно чёрная полоса. Расскажу— охренеешь. Помнишь грозу неделю назад?
— Помню. Столько деревьев свалило. Два дня их вывозили из города.
— А я, бля, дурак, поехал в эту грозу по работе,— грустно улыбнулся клиент.— И на пересечении Ленкома и Кирова угодил в ямину. Решил проскочить перекрёсток на жёлтый. Втопил хорошенько— и в лужу. Гидроудар. Водой пробило первый и третий цилиндры.
— Да, действительно охренеть можно.
— Совершенно новая «Бэха» была. Брал из салона в прошлом году. На сервисе насчитали сто семьдесят тысяч. И всё равно посоветовали от неё избавляться. Как долго прослужит мотор— неизвестно.

В ответ я только присвистнул.
— И это не всё. На следующий день я взял машину жены. Не успел выехать со двора, как попал в аварию. Прилип ещё на семьдесят косарей. А позавчера,— остановил меня рукой клиент, как бы говоря, что для комментариев время не наступило,— а позавчера двоюродный брат дал мне «восьмёрку». Так у меня на трассе вырвало шаровую. Двести километров пёр её на эвакуаторе в город. Приехал и забухал. И до сих пор пью.
— Просто мистика какая-то.
— Ага, знать бы ещё, что она означает, мистика эта,— с досадой произнёс он.— Убил за неделю три тачки и сам чуть не разбился к чёртовой матери. Я уже за руль садиться боюсь. Сглазили меня, что ли?

Начинало светать, когда я подкатил к офису. Отключив рацию, я привычно взбежал на крыльцо по металлической лестнице, стараясь, чтобы антенна не угодила между ступенек, и открыл дверь.
— Маша, я отстрелялся. Считай, сколько с меня.

Но никто мне не ответил. Я поднял глаза. За столом, заваленным сотовыми телефонами, сидела Маша и плакала. На диване напротив расположились два полицейских и хозяин такси— молодой парень, откатавший в прошлом не одну тысячу смен на арендной машине.

Он молча курил, а полицейские заполняли бумаги.

— Что случилось? — произнёс я.

Несколько долгих секунд все молчали.

— Олега убили, — вдруг заревев во весь голос, выдавила диспетчер.

— Олега? Шесть-два?

— Да. По дороге в Пригорск.

Будто сквозняком потянуло из-за спины.

Я понял: то была сама Смерть. Отлепив от меня осклизлые щупальца, она пронеслась мимо. Энергетика от неё исходила безумная. Как от трансформаторной будки. Всё это время, Бог знает как долго, она сопровождала меня по пятам, обволакивая своими электромагнитными волнами. Вибрирующим, полным потусторонней враждебности полем. Я только сейчас это почувствовал. Когда она улетела.

— Господи, — произнёс я, прислонившись к стене.

— Кто это? — внимательно посмотрел на меня полицейский.

— Алексей, наш водитель, — ответил хозяин.

— Будьте добры, Алексей, продиктуйте свою фамилию и телефон. Возможно, нам понадобятся ваши показания. Вы ведь всю ночь были на смене? Погибшего хорошо знали?

Позже мы вышли с Машей покурить на крыльцо.

— Тридцать три ножевых ранения, — сказала она. — Они выбросили его в поле за Усть-Абаканом. Он был ещё жив и каким-то чудом дополз до дороги. Там его подобрала попутка. А через час в больнице он умер. У него остались жена и двое детей.

— У меня даже в голове не укладывается, как такое возможно.

— У меня тоже. Сукины дети.

На глаза сами собой навернулись слёзы. Я должен был оказаться на месте Олега. Бог мой, я ведь почти взял эту заявку. Убить должны были меня, не его. Но смерть по ведомым только одной ей причинам обошла меня стороной. Произошло чудо. Но Олегу от этого нисколько не легче. Почему так? Почему кого-то из нас должны были непременно убить? Может быть, там, на небе, тоже всё давным-давно перепуталось и боги не ведают, что творят?

— Их уже взяли? — не узнал я собственный голос.

— Да, почти сразу же, по горячим следам. Говорят, хотели попасть к другу на день рождения. В Боградский район. А денег на проезд не было. Вот они и убили таксиста, чтобы на его машине добраться до места. Весь день планировали нападение. Это пока всё, что известно.

Во дворе напротив заскрипели качели. Размеренно, как метроном. Женщина в белой сорочке с босыми ногами. Она качалась, уставившись отстранённым взглядом на восходящее солнце, и улыбалась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Всего лишь женщина. Всего лишь качели.

На часах было без пяти шесть.

39.

— Законы личного квантового пространства, — произнёс Игорь, разливая коньяк. — Можешь называть это и чудом, как тебе нравится. Просто твоя жажда жизни была такой сильной, что, когда возникла опасность, кванты перестроились определённым образом и отвели от тебя смерть. Она была чужеродна твоей энергетике. Как два магнита, которые отталкиваются друг от друга. Если не было бы икон, случилось что-нибудь другое. Машина бы не завелась, или тебе приспичило бы поссать, и ты не взял бы заявки. Так это работает.

— Не знаю. Я уже не знаю, что думать.

— Не надо ни о чём думать. Давай выпьем.

Мы подняли рюмки. Удивительно, но мне удалось немного отвлечься. Все эти разговоры о квантах производили умиротворяющее действие. Игорь умел вытаскивать из негатива. Этого у него не отнимешь.

— Однажды вёз я одного мужика, — выдохнув коньячный жар, просипел я. — И он мне рассказал такую историю. Несколько лет назад от несчастного случая у него погиб брат. Совсем молодой. Его дочке только-только исполнилось четыре года. И вот как-то она оказалась в комнате одна, без присмотра, и, забравшись на подоконник, выпала из окна. Она упала с десятого этажа на асфальт и осталась в живых. Ни одного перелома. Врачи только разводили руками: мол, родилась в рубашке. Тогда мама спросила у девочки, помнит ли она момент падения. «Меня папа поймал. Взял на руки и положил на землю. Папа, а с ним было ещё двое мужчин в белых одеждах». Так она ей ответила. И как ты это всё объяснишь? Тоже квантовое пространство?

— Разумеется. Только оно.

— Выходит, по-твоему, дети умеют лгать? В четыре года?

— Я сейчас не об этом. Ты пойми, я не отрицаю того, что, возможно, тебя спас умерший дед. Вернее сказать, я понимаю, когда пользуются подобной системой мышления. Квантовая физика пока что плохо изучена. И тем не менее и отец выпавшей из окна девочки, и иконки, и то, что ты работаешь водителем, так же как дед, всё это — квантовая физика. Человек пытается дать объяснение непознаваемому и придумывает метафизику. Загробный мир, богов, переселение душ. Так же как древние люди, объяснявшие грозу гневом Зевса. Настоящий же порядок вещей до сих пор скрыт от нас. Мы только чувствуем это что-то великое, и не больше. Очень может быть, что мы никогда не сможем его объяснить. Возможно, оно находится за пределами нашего разумения. Как теория относительности для одноклеточных организмов.

— Да, — согласился с товарищем я, — но ведь есть вероятность того, что это что-то великое, как ты говоришь, как раз и окажется метафизикой.

Человек докажет существование потустороннего мира.

Боже, до чего я напился. Ещё немного — и я был готов выступить с речью перед Нобелевским комитетом. Но сейчас мы, похоже, перетягивали одеяло, которым вполне могли укрыться вдвоём.

— Хорошо. Какова тогда доля истины в том, что грозой управляет бог-громовержец? — снова потянулся за бутылкой Игорь. — Я ни в коем случае не отрицаю существования загробной жизни. Взять, к примеру, осознанные сновидения. Ты просыпаешься там, во сне, в своей комнате. Всё вокруг точно такое же, как в реальности, только при этом ты спишь. Ты можешь выйти из дома и, допустим, увидеть, как наркоманы грабят твоего соседа с пятого этажа, а на следующий день выяснится, что это действительно было. Ты в самом деле путешествовал по реальному миру. Только в астральном теле. Так же и смерть. Материальная оболочка — условность. Помнишь, о чём я говорил? Если сильно захотеть, можно превратить себя в лужу воды. Или, напротив, самовоспламениться. Таких случаев в истории сколько угодно. Ты знал, что на девяносто девять целых девяносто девять сотых процента наши тела состоят из пустоты. Ядра атомов настолько малы в сравнении с самим атомом, что соразмерны пылинке, помещённой посреди футбольного стадиона. Мы скорее аморфны, чем материальны. Но это не значит, что мы можем объяснить эти факты рассуждениями спекулятивного характера. Потусторонний мир, как ты его называешь, существует, так же как молния летней грозой, но на деле он может оказаться совсем не тем, что мы привыкли о нём воображать. Вот что я хочу сказать по этому поводу.

— Игорь, ты практикуешь осознанные сновидения? — решил поменять я тему беседы.

Иначе бы мы ни к чему не пришли. Никто до сих пор не пришёл. За многие тысячелетия.

— Практикую. И уже второй год.

Прозвучало это настолько торжественно, что мы, не сговариваясь, чокнулись рюмками.

— Но зачем? Ты же бизнесмен. Стив Джобс уже не котируется?

— Без этого невозможно заниматься делами. Все великие люди пользовались трансцендентными практиками. Не только бизнесмены. Писатели, философы, учёные. Например, Тесла испытывал в астральном мире свои изобретения. Сначала конструировал их в сновидениях, а потом проверял, правильно ли они работают. Это гораздо дешевле и, что самое главное, быстрее, чем создавать прототип, испытывать его, создавать ещё один и ещё, пока устройство не начнёт работать как нужно. Теперь бóльшую часть работы я делаю в снах. Заключаю контракты, нанимаю бригады рабочих. Если во сне где-то что-то не клеится, то я предпочитаю не связываться с этим заказчиком. Можешь не верить, но в большинстве случаев после подобного моделирования всё проходит без сучка без задоринки. То же самое и с медитацией. Сливаясь со Вселенной, я достигаю максимального умиротворения, что просто необходимо для успешного ведения дел. Я медитирую всякий раз, когда меня что-то тревожит. Например, жена просит денег на шубу, а у меня нет мелочи даже на сигареты. Поверь, такое тоже случается. Своё дело — это ещё и большие долги. Долги за аренду офиса в центре города, кредит за машину, без которой тебя не будут воспринимать должным образом. Одежда — и та стоит денег. Всё уходит на понт, на то, чтобы пустить пыль в глаза. А сам ты, быть может, в это самое время доедаешь последний хер с хлебом и не знаешь, что будешь есть завтра. Так вот, когда мне клюёт мозг жена или, скажем, генеральный подрядчик задерживает очередной транш, а рабочие стучат ко мне в дверь с требованием выплатить им зарплату, в таких случаях я закрываю глаза и растворяюсь в пространстве. Моё эго подобно бревну, разделяющему реку на два потока. Я вынимаю бревно, и река становится снова единой. Я сам становлюсь рекой, рекой мироздания. Что значат мои проблемы по сравнению с вечностью? Они лишь круги на воде, ничего больше. Зачем придавать им неоправданно большое значение?

Игорь действительно закрыл глаза. Только сейчас я понял, насколько он был напряжён всё это время. Погружаясь в медитативное состояние, его мышцы лица постепенно разглаживались, как восковые. Он ещё что-то шептал, но голос его становился всё тише. Вскоре он совсем замолчал. Где он сейчас находился? Кто знает?

Осторожно, чтобы не разбудить, я перетащил его на диван.

Затем налил себе рюмку и выпил.

40.

Шёл дождь.

Из подъезда вышел мужчина в толстовке с накинутым на голову капюшоном. Маслянисто-чёрные лужи пузырились под свинцовыми ударами капель, но человек, не замечая ненастья, прошёл к водительской двери и постучался. «Чёрт, — выругался про себя я, взглянув на вытянутое, с белёсым шрамом во всю правую щёку, лицо пассажира. — На улице льёт как из ведра, а ему понадобилось меня о чём-то спросить».

— Садился б уже. Сиденье замочишь, — произнёс я, опустив окошко.

Мужчина выпрямился, отстраняясь назад. В правой руке его что-то тускло блеснуло. Я не успел рассмотреть, что это было. В следующую секунду пассажир резко выбросил в мою сторону этот блеск, и обжигающий холод полоснул моё горло. Я не почувствовал боли. Лишь жгущий

холод, обжёгший шею, да то, как по груди потекла отвратительно липкая кровь. Она вытекала из раны и, как мне казалось, через пупок возвращалась обратно в кишки. Она бежала по кругу, увлекая меня за собой. Моя кровь и я—мы кружились как одно целое. Как планета и спутник. Как Жизнь и Небытие. Приводимые в движение одними и теми же шестернями мироздания.

«Конец?»—пронеслось у меня в голове. Сколько раз я представлял себе смерть. Из любопытства или из жалости к себе самому воображал последние мгновения жизни. Но всё это были лишь бледные видения, не имеющие с действительностью ничего общего. Сожаление. Я чувствовал глубокое сожаление. Я не хотел умирать. Это можно было выразить так. Но как мало способны передать эти слова. Всё, что я испытывал в течение жизни. Всё, что я видел, любил, ненавидел. С самого детства и до этого дня. Города, люди, рассветы. Стрекот сверчков. Операция по удалению аппендицита в одиннадцатом классе. Сливочное мороженое в жаркий день. Шум ветра. Измены и расставания. И то, как мой сын встал в первый раз на ноги. Всё, что происходило когда-то впервые. И летние ночи, когда утром никуда не нужно идти. Смех жены. Голос матери. Наставления отца. Всё это умирало вместе со мной. Всё это и то, что уже никогда не случится. Если бы воспоминания можно было забрать вместе с собой, смерть была бы не такой страшной.

Я заплакал, если бы мог. Но тело всё дальше от меня отдалялось. Отдалялось вместе с миллиардами желёз, синопсисов и нервных окончаний. Я кружился, ввинчиваясь в плотный, как могильная почва, мрак, на самом дне которого уже раскинуло свои объятия беспамятство.

— Нет,—попытался выкрикнуть я, собрав последние силы.

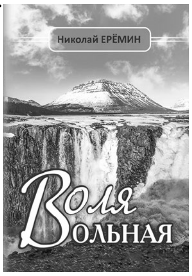
Я рванул на поверхность, прочь из этого мрака, рванул всем своим оцепеневшим, уже поддавшимся неживой слабости телом и, истошно крича, вдруг ожил, судорожно дёрнув ногами.

— Милый, что с тобой? Дурной сон?

Жена…

Смятая простынь…

Истошный стук сердца…



Николай Ерёмин

Воля вольная

Красноярск: «Литера-принт», 2021

●●●

Очарован звёздными путями,
Сзади—церковь,
Впереди—погост,

Я в России—инопланетянин,
Освещённый светом
Вечных звёзд…

И вокруг—
Куда ни кинешь взор,
И в душе—космический простор…

●●●

Раньше пел я на просторе,
А теперь вот—
Не могу…

Мой корабль уходит в море—
Я стою на берегу…
Вслед смотрю—
И ни гу-гу…

●●●

Гармония нарушена—
Нет сил
Соединять прекрасное с полезным…

А помнится,
Я в сердце их носил,
Пока не стал обычным и болезным,
Познавшим все законы бытия…
Прости меня,
Гармония моя!

●●●

И я заметил вдруг,
Что рядом нет подруг…
Идёшь на Енисей—
А рядом нет друзей…
Ни друга, ни врага—
Пустынны берега…
Увы, на сотни вёрст…
Лишь церковь да погост…

Эльдар Ахадов

Цветок Чжэнь

Грязное предложение

Задыхаясь от слёз, она долго не могла вымолвить ни слова, пока, наконец, не призналась родителям в том, что сегодня ей сделали грязное предложение.

Обеспокоенные состоянием дочери, её родители сразу же направились в дом родителей молодого человека, дабы в их присутствии узнать от него обо всех подробностях сказанного их дочери.

Оказалось, что их дочь призналась не в том, что произошло на самом деле, ибо никакого предложения вовсе не было, а то, что случилось между молодыми людьми, называется иначе. Родители будущего жениха заверили незваных ночных гостей, что давно советовали своему сыну хорошенько приглядеться к этой… м-м-м-м… порядочной девушке.

Молодой человек, оказавшийся в столь неловкой ситуации, в присутствии своих родителей дал слово завтра же утром явиться вместе с ними к родителям невесты для совершения древнего обряда сватовства, свидетелями которого должны были бы стать все жители близлежащих окрестностей. Его родители со своей стороны заверили будущих сватьёв в том, чтобы они не сомневались в серьёзности намерений их семьи, попросили назвать номер банковской карты отца девушки и тут же по Интернету перевели ему на карту сумму, приличествующую социальному статусу сторон и сложившейся ситуации.

В общем, все расстались довольными. За исключением девушки, разрыдавшейся ещё сильнее после того, как родители вернулись и рассказали ей о мирной договорённости, которая только что произошла в доме молодого человека.

Только сейчас до родителей дошло, что дочь говорила о другом молодом человеке с похожим именем, которое она невнятно произнесла во время бурных рыданий, связанных не с его грязным предложением, а с тем, что он уехал из их города и больше не вернётся. А про предложение—это она так, ляпнула, не подумав.

«Хатуля»

Она отдавалась любви легко, свободно, задорно, весело—в общем, с радостью.

Её тело вздрагивало от удовольствия, и по упругому животу пробегали мелкие волны…

Удлинённые полуприкрытые восточные глаза её в полузабытьи сладко улыбались чему-то потаённому, своему, чего не высказать и не понять никому.

А губы шептали нечто нежное и древнее, библейское… «Хатуль, Хатуль…»—снова шепнула она нежно и встала с постели. Потом они обедали в ресторане. Меню изучалось недолго: голод—не тётка.

У неё был чудесный аппетит, она заказала уйму вкуснейших блюд, однако пробовала от каждого по чуть-чуть, подобно хохлу из анекдота, который якобы сказал: «Съем—не съем, но надкушу!» В ресторане было светло и просторно, сверкало множество зеркал, у каждого стола «на подхвате» дежурил официант в экзотических восточных одеждах.

После бокала изумительного коллекционного вина её головка немножко закружилась от каких-то своих мечтаний. Кто знает, может быть, она представила себя властительной царицей в том старинном дворце, который она видела однажды на фотографии из туристического буклета, случайно попавшего в её обшарпанную комнатку в конце грязного полутёмного коридора коммуналки?.. Никто этого не знает. Но разве нельзя погрезить вот так—хоть немного? Разве это запрещено хоть одним законом?..

И тёплые солёные слёзы потекли по её лицу…

У озера

Она была внезапной и прекрасной, как звезда, выпавшая из ночного тумана над озером… Её томный грудной голос, её огромные завораживающие цыганские очи, её густые тёмные волосы и округлые мягкие и нежные руки—всё в ней казалось ему внезапной головокружительной сказкой. Он так и не понял, откуда она появилась осенней ночью, из темноты, на берегу дремлющего лесного озера и куда исчезла с рассветом…

Всю ночь звучала гитара. Всю ночь она пела… Ах, как же она пела, колдунья, ночное божество, нимфа, явившаяся из шёпота осыпающихся листьев, незримой измороси тумана и холодяще-ласкового чуть слышного ветерка…

Слова старинных романсов—словно яркие тёплые капельки живой крови, падающие в бокал

красного вина… И бесконечная, кружащая головы, нежданная, немыслимая, невозможная любовь, захлестнувшая сердца обоих.

Она медленно гладила его забубённую бедовую голову, покоящуюся на её коленях, и пела. Пела всю ночь… Эта любовь была мгновенной, взаимной, чистой и искрящейся, как хрусталь их бокалов.

Он заметил, как заблестели слёзы в её глазах, когда они расставались. Они не были близки. Обнимая её на прощанье у самого берега возле озёрных камышей, он спросил только её имя. «Лариса…» — послышалось ему из сумеречной предрассветной тишины. И голос тут же растворился в осеннем тумане.

Гроза над морем

Над приморским городом полыхала гроза. Удивительное явление для знойного южного города, где порой за несколько месяцев могло не выпасть на землю ни единой дождинки. Ветер швырял ему в лицо пригоршни небесной влаги, море кипело у его ног.

В мокрой белой рубашке школьника выпускного класса он шёл и шёл, не разбирая дороги, а сердце его захлёбывалось от любви к той, кого он, как казалось ему тогда, больше никогда не увидит.

Уже отзвенел последний звонок. Уже сданы все экзамены. Сказаны все слова. И вчера состоялся прощальный школьный бал. Он так и не решился признаться ей в своих чувствах. И оттого, что жизнь идёт своим чередом, а значит, больше не будет школьных уроков и не будет причин видеть её, ему было невыносимо тяжело. Гремела утренняя гроза, а казалось, будто рушится весь его мир!..

Через пятнадцать лет они встретились на улице. Совершенно случайно. Она окликнула его первой. Радостная, запыхавшись, подбежала к нему, а он… Он никак не мог разрешить себе узнать её. Никак не мог поверить своим глазам, поверить тому, что эта расплывшаяся, беззаботно щебечущая, дородная мамаша с дряблыми ногами, морщинами на шее и тёмными мешками под глазами и есть та самая красавица-одноклассница. Он растерянно говорил какие-то ничего не значащие общие слова. Вспомнил только веснушки на лице. Раньше они были едва заметны, словно лёгкие брызги, оставленные солнечными лучами. А теперь — это были безобразные пятна, портившие немолодую кожу. Ему вдруг стало стыдно за себя, за то, что теперь в его душе не было ничего, кроме желания поскорее уйти…

Та гроза прошла навсегда. И высох не только асфальт…

Признание

— Признавайся, баба: грешила?
— Нет.
— Грешна?
— Нет.
— Признавайся!
— Признаюсь!
— Значит, грешна?
— Нет.
— А дети откуда?
— Святым духом, батюшка… Святым духом.
— Так много?
— Это ещё не много, у других больше.
— А что же ты признаёшься, если не грешна?
— Так вы ж хотите, чтоб я призналась: как же я могу вам отказать?
— Безотказная ты, о-хо-хо. Ладно, иди с Богом.

…И она ушла. И Бог шёл рядом с ней…

За что?

«За что ты так меня любишь?» — спрашиваешь ты. «За твою прекрасную душу», — отвечаю я и ласково поглаживаю тебя по нежно-выпуклой попке.

Мы занимаемся любовью каждый вечер. Мы занимаемся любовью каждое утро. Иногда мы одновременно вздрагиваем во сне, просыпаемся среди ночи, загадочно смотрим друг другу в глаза и опять занимаемся любовью…

Ты даже не представляешь себе, как я тебя люблю. Думаешь, я — представляю? И я не представляю.

Ты есть

Не знаю, где ты сейчас, но если ты читаешь эти строки, значит, ты меня слышишь. Пожалуйста, посмотри сейчас в окно. Хотя бы просто взгляни в его сторону. Что там? Рассвет или закат? Ясный день или тёмная ночь? Или ветер? Или туман? Или дождь идёт? Или снег мелькает? Что бы там ни было, но, пожалуйста, поверь: именно сейчас твоя душа не одинока. Пусть я совсем не знаю тебя, пусть так, но не некто безликий и абстрактный, а именно я, пишущий тебе эти строки, очень хочу, чтобы вот сейчас, здесь, немедленно, пока ты читаешь мои слова, твоя душа ощутила моё присутствие…

И если там, за окном, солнечно — это я улыбаюсь тебе. И если там сияет звёздное небо — мы оба глядим на него сейчас. Льют ли дожди, шумят ли ветра, летят ли снега, сияют ли радуги — посмотри же, посмотри в окно!

Чувствуешь, как я радуюсь, как печалюсь вместе с тобой? Пусть я не знаю, где ты, но я чувствую твоё присутствие. Спасибо тебе за это… За что? За то, что ты есть…

Люблю и помню

Брат моего отца, дядя Юсиф, был настолько старше остальных братьев, что все их дети называли его не иначе как Юсиф-баба (дедушка Юсиф), хотя он был им, как и мне, дядей, а не дедушкой.

Когда грянула Великая Отечественная война, то дядю Юсифа в армию так и не взяли, всю войну он проработал в колхозе. Колхоз в Уладжалах был хлопководческий, а значит, стратегически очень важный, поскольку хлопок нужен был для изготовления взрывчатки.

Всю свою жизнь дядя Юсиф проработал на земле. Лицо у него всегда было тёмным от загара. Когда он почувствовал приближение смерти, то позвал родных, сказал им, что он умирает, и попросил постелить ему во дворе своего сельского дома — на голой земле. Ему постелили. Он лёг и умер.

Через много лет его сын Билял, мой двоюродный брат, попросил однажды ночью о том же самом свою жену Джамилю. Она, плача, постелила ему на земле… И он тоже лёг и умер. Они были сельскими тружениками, жили и работали на своей земле и всю жизнь преданно любили — свой дом, своих близких, своё село, свою землю.

Дед мой, Аббасгулу Ахадов, жил с семьёй на берегу реки Куры, в селении Уладжалы Сабирабадского района Азербайджанской ССР. Знаю, что родился он в 1870 году (то есть был ровесником В. И. Ульянова-Ленина), а умер в 1959-м, не дожив, к сожалению, около года до моего рождения и своего девяностолетия.

Имя своё дед, возможно, получил в честь первого азербайджанского просветителя нового типа Аббасгулу Бакиханова. Сын последнего правившего бакинского хана, Бакиханов — основоположник азербайджанской научной историографии, а его труд «Гюлистане-и-Ирем» — первое монографическое исследование академического плана. Вот та причина, по которой в середине девятнадцатого века в мусульманском Закавказье имя «Аббасгулу» было весьма популярно. Мой сын Тимур родился в 2011 году. Разница в возрасте с прадедом — сто сорок один год, с дедом — семьдесят восемь. Впрочем, ничего особенного в этом не вижу, поскольку со школьного детства помню Ширали Муслимова, легендарного талышского чабана, родившегося в селении Барзаву двадцать шестого марта 1805 года и скончавшегося там же второго сентября 1973-го, как раз когда я пошёл в шестой класс. То есть по возрасту он мог быть свидетелем Бородинского сражения с войсками Наполеона, мог встретиться с Грибоедовым и Пушкиным, а потом делиться с моими ровесниками своими впечатлениями, однако на самом деле дедушка Ширали так и прожил всю жизнь в родном Барзаву на юге Азербайджана.

Алихас Аббасгулу оглы Ахадов, мой отец, родился в 1933 году, когда моему деду было шестьдесят три года. Он был его самым младшим сыном. После окончания школы в начале пятидесятых годов он поехал в Баку, поступил в индустриальный институт (АзИИ он тогда назывался), окончил его и остался работать в городе. Здесь мама и отец познакомились и поженились. Здесь родились я и мои сёстры.

Бабушку мою, 1874 года рождения, звали Сярфиназ, она происходила из другого села, ближе к Сабирабаду, и была дочерью обедневшего землевладельца Таги-хана. У неё было два брата. Знаю, что бабушка не только занималась обычными домашними делами, но и ткала прекрасные ковры. Я никогда её не видел (бабушки не стало задолго до моего появления на свет), но ковёр, вытканный её тёплыми добрыми руками, помню в нашей бакинской квартире с раннего детства: с ею набранной нитками и шерстью в уголочке ковра датой — «1944», а ещё со старинным национальным орнаментом — бутой — по всему ковровому полю.

Детьми Аббасгулу и Сярфиназ были дядя Юсиф (Юсиф-эми), тётя Азизбеим (Азизбеим-биби), тётя Рубаба (Рубаба-биби), дядя Алибала (Алибала-эми), дядя Ханбала (Ханбала-эми) и мой отец — Алихас. Слова «эми» и «биби» в азербайджанском языке означают соответственно «дядя» (со стороны отца) и «тётя» (тоже со стороны отца).

Дед работал бакенщиком на реке, отлично плавал, как, впрочем, и мой отец, переплывавший стремительную широкую Куру в обе стороны. Река Кура в тех местах течёт настолько стремительно и непредсказуемо, что порой местные её называют «дэли Кюр», что означает «сумасшедшая Кура».

У деда были довольно обширные земли, расположенные между озером Ахмаз и рекой Курой. Ахмаз представляет собой старицу (отрезок бывшего русла) реки Куры. Сейчас эти земли разделены между теми его внуками и правнуками, которые продолжают жить в Уладжалах. И всем их достаточно.

Говорят, отцом Аббасгулу, то есть моим прадедом, был Ахад, родившийся ещё в годы правления императрицы Екатерины Второй. Возможно, Ахад был единственным сыном своих родителей, поскольку его имя в переводе с арабского и означает «единственный» (это — шестьдесят седьмое из девяноста девяти имён Аллаха Милосердного и Всемилостивого). В любом случае фамилия наша произошла от имени моего прадеда.

Однако не всем членам семьи удалось её сохранить. При оформлении документов дяди Ханбалы произошла ошибка, и его записали Ахмедовым. Так вместо Ахадова ниоткуда возник Ахмедов Ханбала. В дальнейшем его потомки остались Ахмедовыми.

Дядя Ханбала ушёл на войну в сорок третьем, когда подошёл призывной возраст. Успел повоевать на Украине, был автоматчиком. На юго-западе Украины в бою Ханбала получил тяжёлое ранение: фашисты прострелили ему автоматной очередью лёгкие. Мало того, у него, девятнадцатилетнего паренька, в госпитале начался туберкулёз… Дядю

Алибалу очень любила его мама, моя бабушка Сярфиназ. Он ушёл на фронт раньше Ханбалы и… пропал без вести. Бабушке было очень тяжело, она говорила, что он был очень добрым, послушным ребёнком в детстве. Если б он дерзил или вёл себя как-то нехорошо, то, может быть, его было бы легче забыть, но она не могла вспомнить ни одного такого случая, их не существовало. И от этого становилось ещё тяжелей, невыносимо тяжко… Кстати, первым в военкомат с запросом об участи Алибалы обратился его старший брат Юсиф. Увы, безуспешно.

Нет уже на свете ни набожной, соблюдавшей все намазы тёти Азизбеим (а в кармане широкой юбки — прячутся припасённые конфетки для маленького Эльдара), ни радушной, улыбающейся тёти Рубабы (она в моей памяти такой и осталась — с распростёртыми руками, радостной, громкоголосой, бегущей по сельскому двору навстречу мне, своему племяннику), ни дяди Ханбалы (с пахучими нежными персиками в раскрытых ладонях: «Бери, сынок, это тебе»).

Остались их дети, мои двоюродные братья и сёстры: Али-Магомед, Нигяр, Шофкет, Тейбала, Теймир, Алибала, Эльсафа, Низам и другие, много… Народились их внуки и правнуки. И в Азербайджане, и за его пределами они теперь: растеклось по всей земле потомство моего прадеда — Ахада, чьё имя означало «единственный».

Голоса

В юности мы то слушаем эти голоса, то не слушаем их, иногда спорим с ними, иногда даже обижаемся на них… Всякое случается в жизни. Но однажды наступает время, когда нам уже всё равно: хвалят они нас или ругают, узнают или уже не узнают. Не важно. Главное — чтобы они были, чтобы длились и звучали каждый день, каждый час, каждый миг… голоса наших родителей… Потому что других таких родных голосов у нас никогда уже не будет…

Мамина долма

Самое вкусное в мире блюдо — это мамина долма. Поскольку ни повторить, ни тем более превзойти его никому никогда не удастся, ибо для его приготовления нужны руки и душа моей мамы, то перейдём к долме обыкновенной, которую могут приготовить все, даже я.

Что для этого нужно? Во-первых, виноградные листья. Не крупные и не мелкие — средние. Желательно свежие. Мама отправила мне такие в полулитровой пластмассовой бутылке, доверху набив её скрученными виноградными листьями и хорошенько закупорив. Теперь, чтобы их осторожно расправить, я складываю листья в небольшую кастрюлю и заливаю их горячей водой из чайника — так они легче расправляются. Когда не сезон и нет под рукой свежих виноградных листьев, тогда можно использовать маринованные. Если у вас в городе есть базар, то там они непременно должны где-нибудь быть.

Мясо лучше выбирать самому и делать фарш — самому. Поскольку, увы, времени у меня на это, а главное, терпения, не хватило, я купил готовый нежирный говяжий фарш. По виду — свежий. Я не люблю жирную долму. Кто-то, может быть, и любит, но не я. Вкус жира перебивает всё. И даже долма становится мне неинтересна. И это несмотря на то, что давным-давно, когда я ещё учился в школе, мама сказала мне: «Сынок, я заметила, что если даже я буду готовить тебе долму все триста шестьдесят пять дней в году, то ты спокойно будешь её есть и ничего больше не попросишь из еды». Это правда, мама знает, как я люблю мамину долму. Но не любую, а именно мамину.

В фарш нужно обязательно добавить риса. Я предпочитаю делать это интуитивно. Ничего я в пропорциях не понимаю, но получилось вчера очень даже нормально. Рис должен быть рисом, а не дроблёнкой, не окатышами и прочим непонятно чем. Так, чтобы в приготовленной долме рис в начинке выглядел как в плове — рисинка к рисинке, а ни в коем случае не слипшейся склизкой массой.

В фарш ещё добавляется мелко-мелко нарезанный репчатый лук, зелень мяты (нанэ) или базилика (рейхан). Или того и другого, если есть. И, конечно, нужно заправить фарш чёрным молотым перцем и простой поваренной солью. Готовый фарш заворачивается в виноградные листочки. Получается сырая долма.

В кастрюлю лучше всего сначала положить однудве-три небольшие мясные косточки. Поскольку я делаю долму с говядиной, то косточки должны быть говяжьи. Сверху укладывается долма.

К готовой долме я делаю соус. Если есть мацони или катык, то добавляю в них мелко нарезанный чеснок (по вкусу) и хорошо перемешиваю, чтобы чеснок там распределился равномерно. Всё. Можно выложить долму, полить соусом и есть. Что я сегодня и сделал…

Ем долму, а сам вспоминаю разные-разные мамины блюда… И ароматный суп кюфта-бозбаш с крупными мясными шариками, внутри которых цельный чернослив, с крупным горохом — нохуд. И плов с мясом в каштанах, и каурма-плов, и сабза-каурма-плов, и кялям-долмасы, и холодную, с зеленью, довгу, и пити, и душбара, и лявянги (особенно кутум-лявянги), и, конечно, кутабы — с мясом и зеленью… И пярямяча — ну разумеется!

А сладости? Боже мой, сладости, которые мне давно уже нельзя есть, увы… От простого лябляби (смеси орешков и изюма) до кяты, шекер-буры, пахлавы и даже шор-когала — он солёный, его мне, наверное, можно немножко…

А потом я включаю музыку «Яных-керем», потому что помню её с детства, и грущу. Почему

я, сытый, в тепле, всё равно грущу? Я не умею делать мамину долму — наверное, поэтому? Нет, не поэтому. Не скажу — почему. Не хочу говорить. Это моё. Извините…

Двое и звёзды

— Ты кто?
— Я — Повелитель Ветров. А ты?
— А я — Король Сумасшедших. Давай дружить!
— Давай.

И они подружились. И вскоре поднялся сумасшедший ветер. Но они не заметили его. Они ловили звёзды, чтобы вернуть их обратно. Ничего не получилось. Но было весело.

О голосе на ветру

Однажды поспорили два короля: чья земля лучше? чьё солнце выше? чьё небо краше?

Смешные они, эти короли, правда? Нашли о чём спорить! Тут и спорить-то не о чем: все знают, что наше небо краше всех, наше солнце выше всех, а уж лучше нашей землицы во всём свете не сыскать! Потому что всё это наше. А как там у них — нам даже неинтересно.

Нет, ну не совсем неинтересно, но так, чуть-чуть. Вот если бы оно было хоть чуточку нашим… тогда другое дело. Тогда уже поинтереснее.

— Отдай мне свою страну, — говорит один король другому, — тогда я точно признаю, что она, по крайней мере, не хуже моей.

— Это почему же я тебе свою страну отдать должен?! — возмутился второй король.

— А у меня армия больше твоей! На одного твоего воина у меня тысяча моих. На каждого жителя твоей страны у меня сто солдат! Будешь перечить, всех вас перебью!

Ой-ё-ёй-ё-ёй! Как же не стыдно первому королю! Ушёл он домой, дверью хлопнул, не попрощался даже, сказал только, что утром вернётся с войсками и всё отберёт.

Загоревал второй король. Война — невесёлое дело, когда не понарошку. Вызвал он знакомую фею и говорит:

— Любезная, пожалуйста, сделай так, чтобы мы победили. И чтобы никто не пострадал от этой войны. Чтобы все после сражения домой целыми вернулись. Даже наши враги.

Так сказал король потому, что на самом деле он был очень добрым и никогда никому зла не желал.

Задумалась фея, а потом и говорит:

— Хорошо, мой король, пусть будет по-твоему. Но ты ведь знаешь, что такое настоящая война? На настоящей войне обязательно хоть кто-то должен погибнуть. Иначе она ненастоящая. Ты победишь. И страна будет ликовать и прославлять тебя, победоносного короля. И никто в стране не пострадает. И никто из врагов твоих тоже не пострадает. Погибнет только один человек…

— Кто? — дрогнувшим голосом спросил король.

— Твой сын, — чуть слышно ответила фея.

— Почему? — простонал побледневший король. — Почему именно он? Почему не я? Почему не кто-то другой?!

— Твой сын — храбрый мальчик. Он очень любит своих родителей и свою родину. Ты знаешь об этом. А война — это потеря. Война всегда забирает самое дорогое, то, что дороже собственной жизни. Ты не отдашь врагам свою родину ни за что. Значит, ты должен заплатить за это самым дорогим для тебя, мой король… Иначе не бывает. Никогда не бывает.

— Да что же это такое?! — вскричал король от горя. — Почему? Почему так?! Пусть приходят и забирают всё, пусть! Я не король! Я просто отец! Просто отец… Мне ничего не нужно! Оставьте, оставьте мне моего ребёнка! Оставьте мне сына!

— Если враги придут сюда, ты знаешь, мой король, что они не пощадят никого. Им нужны ваша земля, ваше небо, ваше солнце. А люди им не нужны. У них достаточно своих людей. Крепись, мой король. И поступай как знаешь.

Настало утро. Огромное грозное вражеское войско колыхалось, словно океан, на одном краю горизонта, а напротив него недвижно стояло маленькое войско короля. И впереди в сияющих доспехах гарцевал принц на белой лошади — с чёрной чёлкой и красивыми большими ресницами. Возле шатра на походном стульчике сидел молчаливый бледный король.

— Не бойтесь, ребята! Мы победим! — бодро воскликнул принц. — Их много, но наша любовь к родине гораздо больше их числа и их силы! Видите, они волнуются, как море, а мы спокойны, как скалы. Смотрите, смотрите, я их сейчас совсем напугаю!

Принц, как озорной, задиристый мальчишка, достал из кармана рогатку, вставил в неё золотую монету, прицелился и запустил ею в сторону вражеского войска.

Монета полетела, сверкая на солнце, как молния. Она летела высоко-высоко и долго-долго, пока не упала далеко-далеко за горизонтом… Всё вражеское войско наблюдало за этим странным явлением. Зоркие глаза одного из солдат успели заметить место, куда упала сверкающая монетка. Он тут же сообразил, что это такое, и решил потихоньку подобрать её. Ну а как это потихоньку сделать? И солдат рысцой на цыпочках побежал к монетке, поблёскивавшей в траве.

«Куда это направился мой сосед?» — подумал стоявший рядом другой солдат и из любопытства последовал за ним. Их командир заметил, что двое солдат куда-то срочно улизнули из строя. С криком:

— Вы куда?! Ну-ка назад! — он помчался за своими подчинёнными.

Тут весь отряд заметил, что трое куда-то бегут, но не на поле боя, а совсем в другую сторону.

Оставшиеся без начальства солдаты этого отряда решили, что командир их куда-то срочно зовёт, а они просто не расслышали, и в полном составе ринулись следом. Соседние отряды и целые полки заметили такое передвижение; некоторые даже кинулись вдогонку, чтобы вернуть этих трусов и беглецов… Но поскольку команды ни от кого никакой не было, а все ждали начала сражения, то возникла неразбериха; командиры вражеских армий говорили на разных языках и не понимали, что происходит. Переводчики сходили с ума, пытаясь что-то перевести. Кто-то крикнул:

— Нас окружают! Противник зашёл с тыла!

Вот тут-то и началась настоящая паника! Через десяток минут всё огромное вражеское войско вдруг распалось на части, разбегающиеся во все стороны от маленькой победоносной армии молодого принца.

В ярости и бессилии метался по полю вражеский король, пытаясь собрать разбегающуюся гигантскую армию, но, пока он собирал одних, другие рассыпались, как песок сквозь пальцы, а когда он устремлялся за ними, начинали разбегаться те, кого он только что с трудом собрал… И он остался один. Тогда король подобрал с земли чьё-то брошенное ружьё, зарядил его и выстрелил в сторону маленькой армии принца. А что он ещё мог сделать? Ведь он, грозный завоеватель, проиграл войну какому-то мальчишке!

Звук выстрела далеко разнёсся над полем.

— Сынок! — закричал побледневший отец принца и схватился за сердце, как будто пуля попала именно в него.

Сын обернулся к отцу, улыбнулся и кивнул ему, прижав руку к груди, а потом крикнул своим солдатам:

— Вперёд, друзья мои! За родину!

И маленькая армия ринулась вперёд. И отец встал и тоже побежал вперёд. Побежал к сыну. Но белая кокетливая лошадка унесла принца далеко-далеко, пешком не догнать.

Было много пленных, много трофеев, и никто не погиб; злой король раскаялся, и все были прощены, и все были счастливы… Было огромное торжество с тортами и фейерверками, с парадом и танцами, с песнями и играми — со всем, что так любят люди, когда радуются.

Только не было короля на этом празднике. Он извинился перед людьми и сказал, что больше не может быть королём. Он сказал, что ему надо найти сына и его лошадку, которые так и не вернулись с большого-большого поля.

С тех пор он всё ходит и ходит по полю. И зовёт, зовёт… Может быть, его самого уже давно нет, а голос остался. Слышите, ветерок вдали шелестит? Далеко-далеко… Это он. Я его часто слышу, особенно ночью…

Фисташковое дерево

Посреди широкошумного моря, на пронизанном солнцем и ветром каменистом и пыльном полуострове, есть древнее место под названием Гала. Когда-то там, в домах из спрессованных временем окаменевших ракушек, жили люди. В их жилищах не было окон: свет проникал внутрь через сдвоенные широкие дымоходы, именуемые «дубла». Теперь на этом месте — музей под открытым небом. По каменным тропинкам между домами ходят палимые солнцем любознательные экскурсанты и бегают их неугомонные дети.

В одном из каменных дворов стоит одинокое живое фисташковое дерево. Ствол у него ребристый, кора — светло-серая, а корни уходят далеко в глубь земли… Фисташковые плоды упоминаются в Библии. Читал о том, что царица Савская обожала фисташки. Но не в этом дело. Дереву несколько сотен лет. Обратил внимание на невероятную гладкость древесного ствола, такое бывает только от бесчисленных касаний человеческих рук. Оказывается, в Гала существует поверье: если дотронуться до этого фисташкового дерева и загадать желание, то оно непременно сбудется. Дотронулся. Зажмурился. Загадал…

Сбылось или нет — не помню, но теперь я точно знаю, где растёт дерево счастья и как оно называется.

Война кончилась

Война закончилась за пятнадцать лет до моего рождения. Естественно, что ни я, ни мои младшие сёстры её не видели. Мы читали повести, рассказы и стихи о ней, ходили с родителями на парады Победы, смотрели художественные и документальные фильмы. Но нам повезло: всё, что мы знаем о войне, нам не довелось испытать на себе. Видеть на экране и читать в книге — это совсем другое. Ты ведь знаешь, что, как бы ты ни переживал описываемое или показываемое, на сам деле всего этого сейчас уже нет. На самом страшном месте книжку можно закрыть, а телевизор — выключить. И всё. И нет никакой войны.

Во дворе я играл с ребятами в войну. Тогда во всех дворах можно было увидеть, как бегали мальчишки с вырезанными из досок «автоматами», а то и просто палками, в «атаки», кричали «ура» и в итоге всегда побеждали всех «врагов». Ими назначались такие же мальчишки, но помладше, потому что «пленными немцами» добровольно не хотел быть никто.

Я любил фильмы про войну, такие как «Отец солдата», «Баллада о солдате», «Подвиг разведчика», «Два бойца», «Жди меня» и другие. Тогда было много хороших фильмов, в том числе и документальных. Вместе с нами их смотрела мама. Однажды я заметил, что в определённые моменты просмотра она вдруг исчезает из комнаты.

Поскольку это повторялось постоянно, я обратил внимание на эти моменты из фильмов. Они были разными, но общим в них было одно: с жутким воем пикирующие немецкие бомбардировщики. Как только возникал этот звук, иногда даже без показа самих самолётов, мама буквально испарялась из помещения. Долгое время это оставалось загадкой для меня.

…Когда началась война, моя мама была пятилетним ребёнком и ни в каких сражениях, естественно, не участвовала. Но она, как и её старшие сёстры и моя бабушка, оказалась тогда в особом месте — в блокадном Ленинграде. В её детской памяти запечатлелись от той войны на всю оставшуюся жизнь два момента: ощущение вечного, непрекращающегося голода и этот невообразимо страшный вой пикирующих самолётов.

Много раз она пыталась рассказать об этом и не могла, потому что вспоминать это было невыносимо.

В сорок втором году семью мамы эвакуировали. Во время переправы через Ладожское озеро их в упор расстреливали с самолётов. Представьте себе: маленькая, худенькая русоволосая девочка с большими глазами, какой я видел её на единственной сохранившейся довоенной ленинградской фотографии, и огромные, пикирующие на неё с воем и стрельбой фашистские самолёты. Каково было этому ребёнку? Какой безумный ужас пережила её детская душа в те мгновения? С чем это сравнить? Не знаю. Не с чем. Мама помнит, как моя бабушка обняла плачущих дочек, накрыла их собой и начала молиться о том, чтобы их убили вместе, чтобы не оставляли страдать никого…

Прошло много лет. Очень много. Моя старенькая мама ещё жива. Но всякий раз, когда где-нибудь случайно она слышит тот самый знакомый ужасный звук, она прячется. Да, прячется ото всех, и нужно бежать скорее за ней, найти, обнять и сказать тому плачущему ребёнку с морщинистыми старческими руками: «Мама! Война кончилась, мама! Кончилась война…»

Острова

Люди — дрейфующие острова в океане времени. Одних годы разделяют, других — сближают. Возникая из океанских глубин, острова живут некоторое время, разрушаясь незаметно для себя, пока однажды, оплакиваемые волнами времени, не растворятся полностью в шёпоте их воспоминаний…

Доброе сердце

Был у меня двоюродный брат Вова. Однажды, в детстве, когда лет ему было не больше пяти, взял Вовкин отец его с собой в лес за дровами. Как раз в тот день бабушка связала Вовочке варежки из козьего пуха. Красивые, пушистые, новенькие. Зима была морозной. Поехали они с отцом на санях, запряжённых лошадкой. Отец дров нарубил и вернулся с сыном домой, а варежек нет. Куда подевались? Смотрят взрослые на Вову: как так? Неужто потерял? А бабушка ведь так старалась! Эх!..

Вова ладошки замёрзшие в карманы прячет и тихо отвечает: «Нет. Я их не потерял. Я их зайчику оставил, на кустике. Зайчик всё время в лесу живёт. А там холодно. Мороз крепкий. Увидит зайчик мои варежки, обрадуется, наденет на лапки и согреет их». Посмеялись взрослые, не стали Вову ругать за его доброе детское сердце.

Немало воды утекло с тех пор… Нет на свете ни нашей бабушки, ни Вовиного отца, ни его самого. Но историю эту буду помнить и другим рассказывать, сколько смогу. О добром нельзя забывать.

Мнимое и реальное

Каждую ночь мы видим свет звёзд, многие из которых погасли миллионы лет назад. Сейчас на их месте нечто другое: оно светит, но мы этого не увидим никогда. Не всё, что ты видишь, действительно существует. Не всё, что действительно существует, можно увидеть.

Муся

У мамы живёт кошка Муся. Она ещё подросток и любит играть с фантиками, нитками, всем, чем могут играть молодые кошечки. А ещё она умеет мастерски открывать двери платяных шкафов и прятаться в них, чтобы потом как выскочить оттуда, задрав хвост и выпучив глазки! Ага! Не ждали?! Испугались?!! То-то же!.. Вот мы, кошки, какие неожиданные!

Сегодня уговорил маму сфотографироваться. Она этого не любит, потому что никак не получается, чтобы она на фотографии оказалась такой же, как в двадцать лет. Смотрит на свежие фотографии и опять расстраивается. А я всё уговариваю, мне ведь без разницы, сколько ей лет, дорого то, что она — мама моя родная, единственная и неповторимая. Короче, пока мы препирались и выбирали ракурс, Муся времени даром не теряла: забралась на подоконник и занялась свежим отростком фикуса, который вчера принесла маме соседка. Муся любит вытаскивать из горшочков и баночек свежевысаженные растения. Такая вот у неё тайная страсть. Но на этот раз Мусины проделки выдал её хвост. Он попал в кадр, и теперь ей будет трудно отпереться: у нас есть реальная улика — мамина фотография с Муськиным хвостом на заднем плане!

В доме у нас живёт домовой. Люди его не видят, а Муся видит: лежит спокойно, свернувшись калачиком, и вдруг как вскочит, шерсть дыбом, глазки навыпучку! И смотрит куда-то в иной мир сквозь всё реальное. Не бойся, киса, это наш домовой, он — добрый. Он маму оберегает.

Тайны поэтов

Шорох — уже не тишина, но ещё не звук.

Паузы — слова, нырнувшие в тишину, чтобы вынырнуть из неё иными.

Словно ветры, утонувшие в парусах, плывущих по небу, непокорные ничему, следуя курсом, к которому можно приноровиться, но который невозможно изменить, просыпаются на рассвете поэты — вместе с птицами, наверное, затем, чтобы услышать, как звучат стихи на их родном птичьем языке. Вот странные мысли подступили к одному из них отовсюду, заплясали вокруг — и вдруг все разом накинулись, хлынули, охватили пламенем своим, закружили и понесли, понесли в неведомую, глубокую, неотвратимую, невозвратную даль. И вот уже вспыхивают и тают слова, как свечи, оплывая в пространстве пауз меж ними и возникая снова из сумерек тишины. Так и текут тишина и речь, пересекаясь и ныряя друг в друга.

На языках птичьих, простым людям неведомых, говорят поэты. Говорят, говорят и слышат что-то своё, чего никто иной слышать не приспособлен. То смеются, то плачут, то молчат, а о чём смеются, о чём плачут, о чём молчат — тайна. Иной раз и друг друга не понимают. Глядят куда-то в никому не ведомое, то ли птичье, то ли вовсе неземное, а мы удивляемся и мимо проходим. Нельзя их трогать, знают они что-то особенное о жизни, о смерти, обо всём, что-то своё, чего никому другому знать не положено. И колдуют словами, и пересвистываются…

Цветок Чжэнь

Китаец Ляо всю жизнь мечтал о цветке Чжэнь. Когда он был ещё маленьким, мама Ляо часто рассказывала ему сказку о прекрасном цветке, который невероятно красив, нежен и благоухает так, что люди больше не в состоянии ссориться друг с другом. Они становятся учтивыми к старшим, интересуются здоровьем близких и стараются помочь каждому на своём пути. О таких хороших людях мама говорила: «Они знают запах цветка Чжэнь». Отец Ляо ещё до рождения сына ушёл к далёким горам и не вернулся. Взрослые изредка поговаривали, что он пытался что-то найти, чего нет в обычной жизни…

А однажды большая белая птица унесла мать Ляо в заоблачные края, откуда никто не возвращается, потому что там всем хорошо. Так сказали ему добрые соседи… У Ляо не было ни сестёр, ни братьев, ни дядюшек, ни тётушек — он остался совсем один. Много страданий пришлось перенести ему в жизни, много счастья и любви встретилось ему на земле. Выросли его дети и внуки. И появились у внуков правнуки… И все почитали его за мудрость, доброту и благочестие. И настал час, когда большая белая птица прилетела за ним.

— Ляо, тебя ждёт мама, — сказала она.

— Хорошо, — улыбнулся Ляо. — А мой отец? Он будет там с нами?

— Нет, Ляо, — ответила птица.

— Он не помнит о нас?

— Помнит, Ляо. Но там его нет.

— Теперь, когда я улетаю с тобой, расскажи мне, что случилось с отцом? Почему он не вернулся домой?

— Ляо, твой отец — великий человек. Он не только знал о том, что ты должен родиться. Он предвидел твою мечту о цветке Чжэнь и хотел добыть его для тебя и мамы.

— Он любил нас, — вздохнул Ляо.

— Далеко-далеко отсюда, за мёртвыми горами Тянь-Фэй, на берегу тихого бездонного озера Шинь-Цу, у подножия волшебной скалы Минь-Дао, похожей на выпавший зуб дракона, там — возле самого входа в глубокую мрачную пещеру, где обитают демоны тьмы, — твой отец увидел и сорвал чудесный цветок Чжэнь. В тот же миг застонала, зашевелилась под ним земля, и огненный ветер полыхнул ему в лицо. И вздрогнули мёртвые горы Тянь-Фэй, и обрушилось на свои берега озеро Шинь-Цу, и пробудились, вышли из древнего мрака демоны тьмы, оберегавшие покой священного цветка Чжэнь.

— Они убили моего отца?

— Нет, Ляо, нет. Владеющего священным цветком Чжэнь невозможно убить никому.

— Они отняли у него цветок?

— Ни угрозами, ни силой, ни колдовством, ни хитростью — ничем невозможно лишить цветка Чжэнь того, кто им обладает. Только он сам по своей доброй воле может передать его другому. И никто — ни на земле, ни под землёй, ни на небе — не в силах изменить этого. Демоны знали о том и сделали всё, что было в их власти: они заточили твоего отца в самой тёмной и мрачной подземной темнице, а вход в неё завалили волшебной скалой Минь-Дао.

— Почему демоны тьмы так поступили с моим отцом?

— До тех пор, пока люди творят на земле зло, ссорятся и губят друг друга, демоны бессмертны, потому что происходят они из тьмы человеческой: из чёрной зависти, лютой злобы, горьких обид и беспросветного отчаяния. Но демоны не властны над цветком Чжэнь… Твоя мама была права, Ляо: если у людей появится этот цветок, они перестанут ссориться между собой, и тогда демоны тьмы сгинут навсегда. Ни исполинские силы, ни колдовские чары не способны помочь человеку, разыскивающему заветный цветок, но искренняя добрая душа сама чувствует дорогу к нему, а бескорыстное сердце и несгибаемый дух одолевают любые препятствия… Непрост цветок Чжэнь, и не каждому, кто его найдёт, он позволит сорвать себя! Но лишь тому, кто хочет сделать это

из любви к другим людям и ко всему живущему на земле… Таков твой отец, Ляо. Всё, на что способен один человек, он совершил.
— Могу ли я помочь ему?
— Нет, Ляо. Ни ты, ни кто-то другой из людей не в силах поднять скалу Минь-Дао, заклятую демонами тьмы.
— Значит, нет никакой надежды?
— Есть, мудрый Ляо. Цветок Чжэнь рождён любовью и не погибнет до тех пор, пока она есть: любовь матери к своему ребёнку, любовь юноши к возлюбленной, любовь детей к своим родителям, любовь каждого живущего на земле ко всему сущему и ко всем, кто нуждается в любви. А нуждаются в ней все, Ляо. И она будет всегда. Когда все живущие поймут это, демоны тьмы сгинут сами собой. И скала Минь-Дао исчезнет. И зазеленеют, зацветут мёртвые горы Тянь-Фэй, и станет ласковым и тёплым озеро Шинь-Цу…
— Ты можешь подождать меня немного, белая птица?
— Да, Ляо. Я подожду.

И тогда Ляо созвал всех своих детей, внуков и правнуков. А когда все они собрались, он поведал им то, о чём рассказала белая птица.
— Я созвал вас, чтобы попрощаться со всеми,— сказал Ляо.— Живите же на земле, заботьтесь о ней и любите всех, кто живёт на ней. Если есть у вас враги, простите их и предложите помощь. Откройте ваши сердца миру и сделайте так, чтобы одна лишь любовь была в нём повсюду. И однажды в вашу дверь постучится улыбающийся молодой человек, а в руках у него будет невероятно красивый, нежный, благоухающий цветок Чжэнь. Скажите ему, что ваш дедушка Ляо всегда помнил о нём и любил его. Скажите ему это, когда он придёт.

Прекрасное мгновение

Вот мы кричим: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!..» И мгновенье останавливается, оторопев, словно выглядывает из окна бытия: кто его тут позвал? И зачем? Приглядывается к себе: «Я прекрасно? Чем же таким?» И, любуясь собой, незаметно исчезает. Ибо вслед за ним уже теснятся другие, такие же нетерпеливые и любопытные. Такие же прекрасные…

Семь роз

Однажды на Крайнем Севере, в середине лета, а точнее, в день моего рождения, друзья подарили мне семь высоких голландских роз, как обычно, напичканных химией для того, чтобы им простоять до следующего после продажи дня и умереть, как говорится, «с чувством исполненного долга». Розы были столь прекрасны, что хотя я и понимал, какая участь ожидает их в ближайшее время, но мысленно всё же взмолился, обращаясь к Тому, Кто Может всё, с просьбой продлить жизнь хотя бы на сколько-нибудь семи моим красавицам. И чудо случилось: розы не завяли, а засохли — примерно через неделю, но рядом с засохшими веточками появились новые, более мелкие, с изящными молоденькими листочками. А через месяц все семь роз расцвели снова. На этот раз распустились не семь, а несколько десятков небольших пылающих бутончиков. Наступила осень. Грянула зима. Но розы продолжали цвести. Одни бутоны сменялись другими.

Наступило время моего отпуска. Время, которое я посвящаю родным и семье. Мне нужно было ехать на юг, чтобы навестить маму. Уезжая, я попросил коллег по работе присматривать за моими розами. Они старались. Но напрасно. Когда я вернулся, то увидел, что из всех семи роз живой осталась только одна веточка с единственным ярким бутончиком, а все прочие — умерли… Десять дней и ночей я отчаянно боролся за жизнь своего последнего цветка. Но всё было напрасно. Одинокая розочка умерла, так и не пожелав оставить своих подруг.

Прошло несколько лет, но каждый раз в день своего рождения, едва проснувшись, я невольно бросаю взгляд в сторону пустого подоконника, словно всё ещё надеюсь на чудо.

Другие

Люди говорят иногда с ожесточением о других людях: «туп, как дерево» или «глуп, как осёл». На мой взгляд, совершенно неприемлемые сравнения. Каждый вид живых существ находится в своей системе измерений и, исходя из этого, имеет свою шкалу оценок состояния внешнего и внутреннего мира. У дерева — своё, у осла — своё, у человека — своё. Некорректно сравнивать разные вселенные, живущие по разным законам физики, химии и математики. Человек не мудрее муравья. Просто у муравья иная система оценок иного мира. Мира муравьёв. И мы, люди, ни в чём не превосходим ни муравьёв, ни ландыши. Мы просто — другие.

Бабочка

В пятницу духота продолжалась. Окна, открытые настежь,— надежда на сквознячок. За полярным кругом вентиляторами не принято запасаться. С улицы несёт гарью лесных пожаров. У нас здесь лесов нет: чахлое редколесье в речных долинах и возле — не в счёт, бóльшая часть окрестных земель — заболоченная тундра с одинокими низкорослыми деревцами и кустами. А то и без них. По радио в новостях передали, что в течение трёх ближайших августовских ночей в разных уголках планеты можно будет наблюдать уникальный метеоритный дождь: тысячи звёзд упадут на землю, и самый сильный звездопад случится завтра в ночь. Усмехнулся: какие звездопады? Дымчато-серое небо сплошь покрыто облаками.

Ни единого прогала. К вечеру стало заметно прохладнее и сырей. Заморосил, зашуршал еле слышно мелкий дождичек.

За окнами шипит невидимый мокрый асфальт под колёсами автомобилей. Падают отдельные дождевые капли с карниза. А это что за шорох — непонятный, громкий и совсем рядом? Вроде и не на улице, а в соседней комнате. Заглянул туда и обомлел: бабочка! Большая, красивая, яркая. С густо-оранжево-коричневыми крыльями в чёрных и редких белых пятнышках, с чёрно-белой, мелкими зубчиками, каймой по всему периметру. Машет ими часто-часто, то прижимаясь к плоскости оконного стекла, то зависая в уголке рамы. Что за чудо?! За три лета на Севере нигде ни разу не видел бабочек. Комаров, мух, оводов, ос, мошки — видимо-невидимо насмотрелся, но бабочек — не доводилось. А тут — нате, сама в дом залетела. Да такая нарядная и крупная. «Окна открыты, улететь ей несложно», — подумал я и поспешил за фотоаппаратом: хоть сфотографировать на память, не то после сам себе не поверю, решу, что приснилось.

Вернулся: нет, не улетела ещё. Чтобы фотография получилась чётче, приблизил руки с фотоаппаратом к бабочке. Она испугалась, замахала крылышками ещё чаще. Никак снимок не получается. Взмолился мысленно: «Да не бойся ты меня! Не трону. Замри, пожалуйста!» И вдруг, словно услышала, замерла на месте. Снимок получился, и я ушёл, довольный, на кухню, готовить ужин. Потом, как обычно, сидел допоздна в Интернете и незаметно уснул.

В субботу с утра стало ясно, что дождь не прекращался, усилился ветер. Проснувшись от холода, я решил, что давно пора закрывать все окна. Честно сказать, и не думал о бабочке. Просто зашёл в ту же комнату и… обнаружил её на месте. Не улетела. И правильно: на улице зябко, в квартире гораздо комфортнее. Она вновь запорхала вертикально по стеклу, но не испуганно, а как бы приветствуя меня. Я невольно улыбнулся. Привет, привет! Не хочешь ли ты сказать, что решила поселиться у меня? Вот и ладно. Живи сколько хочешь. Я тебя не гоню.

День был выходной, и потому я занялся всякими личными делами: то ходил в магазин, то подметал и пылесосил полы, то стирал и гладил рубашки, ну и в Интернет опять-таки зашёл. Потом на меня снизошло очередное вдохновение, и я начал записывать что-то очень важное для себя на тот момент. Забылся и вдруг почувствовал чьё-то присутствие совсем рядом. Кто это? Начал озираться и заметил краем глаза… бабочку на своём плече. Она сидела спокойно, чуть покачивая раскрытыми крыльями. Я затаил дыхание. Надо же, какие нежности. Так продолжалось некоторое время. Затем я не сдержался, шумно выдохнул. И бабочка улетела в свою комнату.

Нет, она больше не появлялась возле меня, но продолжала скромно сидеть там, у себя, на краю окна. Прошла суббота. Дождь, мелкий, моросящий, продолжался. В воскресенье утром бабочка приветствовала меня так же, как вчера. Я уже как-то привык к её сосуществованию рядом со мной. Словно так и было всегда. На следующее утро, в понедельник, внезапно подумал: а ведь её бы надо кормить! Но чем? Кормят обычно собачек, кошечек, этих понятно чем. Только вот бабочки не едят такую пищу. Чем же её угостить? Решил обратиться к друзьям через Интернет с этим вопросом. Задал его и ушёл на работу. Зябкий, промозглый скучный день.

Поведал коллегам о бабочке. Все подивились. Одна женщина заявила, что за свои двадцать девять рабочих лет, проведённых здесь, на Севере, никаких таких бабочек сроду не видела. Оленей — да, песцов — да, мух — навалом, а чтобы бабочек… Я показал фотографию. Некоторые отнеслись и к ней с недоверием. Однако новость не осталась незамеченной. Коллега из соседнего отдела сообщил следующее: обычно бабочки питаются нектаром цветов и соком перезревших фруктов. Ну да, об этом и я догадывался. Но дома может и не быть нектара, а держать в квартире гнилые фрукты что-то не очень хочется. Оказывается, нужно развести пару чайных ложечек сахара или мёда на половину стакана с водой. Чтобы бабочка догадалась, что это — еда, ей нужно дать попробовать приготовленное на вкус. Для этого необходимо острой тонкой иголкой или зубочисткой раскрутить бабочке хоботок и окунуть его кончик в сладкий раствор, после чего бабочка успокоится и начнёт питаться. Желательно подкармливать её раз в сутки, тогда она дольше проживёт…

Где там у неё хоботок и как всё это сделать, не повредив ей ничего, ума не приложу, но моя бабочка не ела уже три дня! Кое-как дождавшись обеденного перерыва, я помчался домой. Мёд у меня был, поэтому я сразу направился на кухню, развёл его в воде, налил медовую воду в блюдце и вошёл с ним в комнату к бабочке.

В комнате было тихо. Ничто не шуршало. На краю подоконника лежало нечто маленькое, хрупкое и тёмное. Я подошёл, поставил блюдце. Моя бабочка лежала на боку со сложенными крылышками и не двигалась. Осторожно положил её на свою ладонь и медленно открыл окно. На улице тоже было тихо. Дождик кончился. Может быть, это звездопад принёс тебя ко мне? Зачем ты прилетала? Словно в ответ, лёгкий ветерок пошевелил безжизненные крылышки, и первые солнечные лучи пробились сквозь облака…

Рабочий день завершился, настал вечер, затем — ночь… Она так и лежит сейчас там, на подоконнике. А я не знаю, что теперь делать и почему мне так нестерпимо грустно…

И всё-таки жизнь — умнее и милосерднее нас. И всё было не зря! Наступило утро. Только что, десять минут назад, собираясь на работу, я не удержался и заглянул в ту комнату. Она вся залита утренним солнечным светом. И что я вижу на теплом подоконнике? Бабочка ожила! Она стоит на тоненьких лапках, обнимая ими оконное стекло, и греется! Я дотронулся до неё: она тут же замахала крылышками быстро-быстро, как раньше. Торжествуя, как мальчишка, я ринулся за вчерашним блюдцем на кухню. Поставил его перед ней… и почти сразу же догадался, что солнечный свет ей нужнее.

Я распахнул окно и легонько направил её к нему. И она улетела! Красивая. Яркая. Живая! Такое сокровище не может принадлежать одному человеку. Она принадлежит всему миру. И весь мир — принадлежит ей…

Памятник Милосердию

Моя бабушка, какой я её помню, была удивительно добрым человеком. Мне, родившемуся через пятнадцать лет после Великой Отечественной, тяжело даже представить себе то, что ей довелось пережить. Первую, самую жуткую, блокадную зиму она провела с четырьмя детьми — тремя дочками и крохотным сыном, родившимся в 1941-м, — в Ленинграде. Муж на фронте, старший сын — в партизанах. Постоянные бомбёжки и нескончаемый голод, от которого у неё на руках умер младший сынок… Летом 1942-го им удалось эвакуироваться из Ленинграда, до деревни в Пензенской области добирались несколько месяцев. Голодала и деревня («Всё для фронта! Всё для Победы!»), поэтому питались чем могли: например, пекли хлебные лепёшки из крапивы или лебеды вперемежку с редкими истолчёнными зёрнами, добытыми из колосков, украдкой, с великим риском, подобранных в поле.

Прошёл переломный 1943 год, война близилась к концу. Неподалёку от деревни, где жила бабушка, появились пленные немцы. Голодные, больные, обмороженные…

Местные жители встретили их неприветливо. И моя бабушка, пережившая всё то, о чём я сейчас рассказал, начала носить голодным и больным пленным еду. Женщины в деревне ругали её последними словами. У каждой либо отец, либо муж, либо сын — были на войне. Каждая ночами плакала от страха за жизнь близкого человека. А тут на глазах у всех их соседка подкармливала тех, кто был источником их несчастий. Как такое может быть? Но каждое утро, невзирая на ругань и проклятия, бабушка на опухших от голода ногах шла туда, где мёрзли и умирали от голода пленные, и делилась с ними всем, что было у неё и её полуголодных детей.

Однажды женщины не выдержали и, обступив бабушку кругом, начали кричать на неё. Как она смеет носить хлеб немцам? Врагам! Может быть, именно они стреляли в их родных?! И бабушка ответила им: «Я не знаю, где сейчас мой муж и мой сын. И что с ними сейчас, не знаю. Быть может, кто-то из них вот так же в плену, как эти несчастные люди. Я ношу им хлеб и надеюсь на Бога, что если кто-то из них сейчас в плену, такой же голодный и больной, как они, то, может быть, и там найдётся немецкая женщина, такая же мать, как и я, которая сжалится над моим ребёнком и мужем, и даст им поесть, и не позволит им умереть. Я живу только этой надеждой. И я буду носить хлеб этим несчастным, сколько бы вы на меня ни кричали».

Прошло много лет. Бабушки моей давно уже нет. Но вот какая мысль не отпускает меня с той поры, как я узнал эту историю с пленными. В нашей стране и в Европе, да и во всём мире, наверное, установлено множество памятников, посвящённых военному времени. Но я не знаю ни одного памятника, посвящённого Милосердию, без которого на самом деле невозможно выжить иной раз не только в военное, но и в мирное время. Впрочем, один такой памятник всё-таки есть. Знаете где? В Турции. Вот что я прочитал об этом. Во время Первой мировой войны австралийско-новозеландский армейский корпус, поддерживавший англичан, отчаянно штурмовал турецкие позиции, пытаясь сбросить турок в пролив Дарданеллы. Штыковые и огневые атаки продолжались одна за другой, турки из последних сил держали оборону. Обе стороны истекали кровью. После очередного неудачного наступления, когда противоборствующие стороны затихли, чтобы подготовиться к следующему бою, на нейтральной полосе остался лежать раненый австралийский солдат. Он громко стонал, но никто из его товарищей не рискнул отправиться за ним, понимая, что добраться до него под прицельным огнём противника практически невозможно. Солдат был обречён на медленную смерть.

Вдруг стрельба со стороны турецких войск стихла, и из окопа с белым флагом в руке поднялся турецкий солдат. В полной тишине он приблизился к раненому, поднял его на руки и донёс до вражеских окопов, а затем вернулся к своим, после чего сражение продолжилось.

В 1997 году турецкое правительство установило этому подвигу милосердия памятник, изображающий турецкого солдата, выносящего с поля боя раненого врага.

Я не думаю, что моя бабушка была одинока в своём благородном поступке. Мне кажется, что таких историй, какая случилось с бабушкой, наберётся множество. Народ наш по сути своей милосерден и незлобив…

И ещё вот что: можно враждовать и обрушивать праведный гнев на врага до бесконечности, можно гордиться своими победами и не

прощать никому ничего, но никакая война не сможет закончиться, пока не найдутся милосердные люди. О милосердии нельзя забывать. Давайте поставим у нас в стране памятник Милосердию. Хотя бы один на всех.

Надежда

Не ищи свой Храм ни на земле, ни на небе. Твой Храм в тебе. Не всякий знает о своём Храме. Не всякий, кто знает о Нём, видит Его свет. Не все, кто видит Его свет, войдут в Храм. Но у каждого есть надежда.

ДиН перевод

Томас Эрнест Хьюм

Осень

Перевод с английского Сергея Кулакова

Набережная

Фантазия опустившегося
джентльмена холодной, горькой ночью

Изящество скрипок звучащих манило меня
И молнии пяток сверкающих над мостовой…
Теперь знаю я,
Что тепло поэтично весьма.
Уменьши, Господь,
В дырочках звёзд одеяло небес,
Чтоб мог под него, удобно свернувшись, залезть.

Над гаванью

Над гаванью, едва упала тьма,
Запутавшись в канатах стройных мачт,
Висит луна. Далёкие миры—
Лишь шарик, брошенный после игры.

Поэт

Склонившись над столом в экстазе,
В своих видениях
Он был в лесах; там говорил с деревьями
И, оставляя мир,
Обратно приносил с собой миры
И образы
Из драгоценных камней и цветов;
И с ними—ясными и прочными—
Играл в видениях
Своих, склонившись над столом.

Как поступает крокодил

Как поступает крокодил,
Плывя по глади вод,
И золотом сверкает Нил
На чешуе его.
Как он изысканно плывёт,
Учтивым притворясь,
И рыбок глупеньких зовёт
В улыбчивую пасть.

Осень

Холод коснулся осенней ночью—
Я гулял по округе,
И румяная луна наклонилась с небес
Розовощёким фермером.
Я молча кивнул и дальше пошёл,
Под влажными взглядами грустных звёзд
С бледными лицами городских детей.

Чудесный Суп

Суп чудесный, свежий и смачный,
В супнице ждёт горячий!
Кто же не наклонится над ним?
Супом чудным, Супом вечерним!
Супом чудным, Супом вечерним!

Чуде-е-есный Су-у-у-уп! Чуде-е-есный
Су-у-у-уп! Су-у-у-уп ве-ече-ерни-ий,
Чудесный, чудный Суп!

Любят рыбу, любят жаркое
Или блюдо другое,
Но каждый даст немного монет
За Суп расчудесный—разве нет?
За Суп расчудесный—разве нет?

Чуде-е-есный Су-у-у-уп! Чуде-е-есный
Су-у-у-уп! Су-у-у-уп ве-ече-ерни-ий,
Чудесный, чудный Суп!

Сьюзен Энн и бессмертие

Голову нагнув, она
Смотрела вниз пронзительно,
неподвижно,
Как кролик на горностая;
Туда, где была земля
Малахитовым небом,
И плыли лёгкие облака,
Словно тени высохших листьев,
Огибая землю.

Олег Лузин

Друзья пятых этажей

Если ты хочешь любить меня—
полюби и мою тень…
«Наутилус Помпилиус»

На пятом этаже небо всегда кажется ближе, будто живёшь не на земле, а паришь в небесах. Я люблю наблюдать за пролетающими в облаках самолётами. Они видятся мне маленькими серебристыми рыбками, заблудившимися в глубинах бездонного океана. Я закрываю глаза, расставляю руки в разные стороны и подражаю полёту небесного лайнера. Ещё секунда—и ветер подхватит меня, унося в заоблачные дали…

—Сева, вынеси мусор!—слышу я крик отца, и видения полёта обрываются.

Прошло меньше недели, как мы переехали жить в новый дом. Мои родители без особых сожалений расстались со старой квартирой на первом этаже. Их прельстили дополнительные метры и балкон. Мама с папой тут же затеяли ремонт. Мы приводили новое жильё в порядок. Отходы каждый день скапливались в мешках и вёдрах.

Я взял послушно большой пакет и вышел на улицу. Во дворе никого не было. Бункер находился метрах в пятистах от дома. Мусорный мешок изрядно оттягивал руки. На половине пути в зарослях молодых тополей я приметил стихийную мусорную свалку. Воровато оглянувшись и не обнаружив никого, кто мог бы меня осудить, я выкинул мусор в кусты.

Тогда я не знал, что за нами постоянно наблюдают, даже если кажется, что рядом никого нет. Старожилам дома всегда интересно узнать, что за люди к ним переехали и стоит ли ждать от них беды.

Всё моё мусорное путешествие из своего окна тщательно отслеживала бабуля с третьего этажа. Старики часто смотрят на мир, запечатлевая события и нас в них для предстоящей им вечности.

Бабушка увидела моё преступление, сказала об этом внуку, а тот друзьям. Мой поступок тут же вызвал всеобщее порицание.

Мальчишки со двора, быстро собравшись большой компанией, встретили меня на обратном пути от мусорной свалки. Они предчувствовали веселье.

—Иди подбери пакет и вынеси его куда положено,—сказал старший из них.

Я насупился и молча двинулся вперёд. Меня грубо отпихнули.

—Если не подберёшь свою парашу, отхватишь по рылу!—пригрозил мне низкорослый крепкий пацан.

Компания дружно засмеялась. Им нравилось чувствовать себя сильными.

—А сами что, туда не бросаете?—всё ещё сопротивлялся я.

—Мы сейчас твоим родителям расскажем,—сказал старший, а рядом стоящий агрессивно добавил:

—Ты не вкурил, что ли?! Мусорить там, где живёшь, нельзя!

Он двинулся в мою сторону с кулаками. Его порыв театрально сдержали друзья.

—Он дурак, не зли его,—предупредили меня, кивая на бойкого друга.

Я понял, что выхода нет и заставят в любом случае. Втянув голову в плечи, я добрёл до мусорной кучи, взял первый попавшийся пакет (для моих наблюдателей важен был процесс) и отнёс его в бункер.

С мальчишками из нового двора я больше никогда не общался и на улицу гулять с ними не выходил. Ещё некоторое время они подсмеивались издалека надо мной, а потом перестали обращать внимание. Для них я стал чем-то вроде призрака.

—Иди хоть проветрись чуть-чуть!—гнал меня отец.—Надоел, сидишь целыми днями дома!

—Я никуда не пойду, тебе надо—ты и гуляй!—отвечал я грубо ему.

Просьбы отца меня обижали. Я не понимал, что мои родители молоды и им необходимо иногда побыть наедине.

Протестуя, я уходил на балкон, забирался на самодельную деревянную тумбу, в которой мама хранила пустые стеклянные банки, и смотрел часами, как дети играют во дворе. Следил, словно по телевизору, за тем, кто первым собьёт банку, стоящую на кирпиче, или закатит мяч в самодельные ворота. Глаза мои в тот момент наполнялись слезами и обидой за свою судьбу. Мне очень хотелось выйти во двор и поиграть с ребятами, но я не мог преодолеть черту. Чувствовал себя униженным. Мне было стыдно за себя и за тот поступок с мусором. Со своими сверстниками я общался теперь только в школе.

Одиночество сказалось отрицательно на моём характере. Я стал вести себя вызывающе на людях. Привлекал внимание плохими поступками. Спорил по пустякам с учителями, обзывал девчонок, дрался с одноклассниками на переменах. За это в школе меня не любили. Не любила и девочка, которая мне нравилась с первого класса. Маша всегда пренебрежительно смотрела в мою сторону, давая понять своё отношение к моим поступкам и ко мне. От этого я ещё больше злился и старался вывести её из себя. Неизвестно, куда бы завело меня такое поведение, но в нашем классе появился новенький. Судьба неожиданно сделала из этого человека моего соперника.

Поначалу скромный, тихий и вежливый — новенький стоял боязливо на пороге, смиренно опустив голову. Ждал, когда учительница представит его классу.

— Знакомьтесь, дети, — это Дмитрий. Он будет учиться с вами, — представила она новичка.

Застенчивость Димы исчезла быстро. Он сразу смог наладить отношения с лидерами класса и понравится всем учителям. Прошло немного времени, и новенький превратился в «серого кардинала» седьмого «Б». Он ловко манипулировал нами: подговаривал сбегать с уроков, делать пакости педагогам, травить неугодных ему одноклассников. Оказаться под прицелом Дмитрия не хотел никто.

Однажды мы просто дурачились на перемене. Бегали между парт и кидали друг в друга протиркой с доски. Маша с достоинством вышла из класса, показывая всем видом, что осуждает подобные забавы. Никто из нас не бросил ей в спину тряпкой и не отпустил идиотской шутки в след. Мы проводили взглядами Марию. Мой взор задержался на ней чуть дольше положенного. Я оглянулся и заметил, что Дима пристально смотрит на меня, прищурив глаза. В груди беспокойно кольнуло, словно длинная стальная иголочка воткнулась в сердце и замерла. Я понял, что он каким-то неведомым образом проник в мою тайну. Растерянность на моём лице окончательно убедила Дмитрия в своей догадке. Он недобро улыбнулся мне и погрозил, словно маленькому шалунишке, пальцем, как бы давая понять, что всё теперь про меня знает.

Ни для кого не было секретом, что Диме нравилась Маша. Он часто оказывал ей знаки внимания и, в отличие от меня, не скрывал своей симпатии перед одноклассниками. Правда, Мария не отвечала ему взаимностью.

Догадка Дмитрия насчёт моих чувств не сулила мне ничего хорошего. Мы оба молча смотрели друг на друга и понимали, что хотим одного и того же. Я впервые осознал, что молчание нельзя обмануть.

После этого события Дима всегда пытался унизить меня в глазах Маши. Делал он это как бы непреднамеренно, исподтишка. Я чувствовал себя рядом с ним в постоянном напряжении. Дима ловко высмеивал все мои недостатки, начиная с внешности и заканчивая оценкой моих интеллектуальных способностей. Я боялся ему отвечать. Он был физически сильнее и имел непререкаемый авторитет в классе. Мне оставалось лишь терпеть и в мечтах уничтожать своего соперника, представляя его слабым и подлым, а себя сильным и отважным, побеждающим в драке и завоёвывающим сердце Марии.

Как-то раз я привычно сидел на балконе, наблюдая за окружающим меня миром, и неожиданно поймал себя на мысли, что хочу рисовать. Руки сами потянулись к карандашам и альбому. Я решил создать портрет Марии. Закрыв глаза, я долго вспоминал лицо одноклассницы в деталях. Слегка надменный взгляд, чуть вздёрнутый нос, тонкие губы, густые светлые волосы, подстриженные под каре. Я представил, как на этой пышной причёске смотрелась бы диадема с дорогими камнями. К этому украшению я быстро придумал королевское платье, перстень на пальце, трон и пушистого белого кота, дремавшего мирно на коленях.

«Вот такой я тебя и нарисую», — подумал я и открыл глаза.

Но образ одноклассницы не исчез! Он, точно негатив чёрно-белой плёнки, запечатлелся тенью на небе. Я зажмурился и потряс головой. Тень маревом качалась на небесах и никуда не пропадала.

— Вот это да! — восхищённо вырвалось у меня.

«Вот что происходит, когда долго сидишь с закрытыми глазами и вспоминаешь чьё-нибудь лицо!» — подумал я.

Как ни в чём не бывало я улыбнулся Тени и стал срисовывать с неё портрет Марии. Работа завлекла меня до сумерек, пока очертания небесного силуэта не слились с вечерним небосводом.

Мне удалось ухватить внутренне содержание характера Маши. Рисунком я остался доволен и, забыв про таинственный образ, застывший на небе, отправился доделывать уроки и спать.

А утром Тень вновь висела на небосводе рядом с моим балконом и никуда деваться не собиралась.

— Ты кто? — тихо обратился я к Тени, испуганно оглядываясь по сторонам.

Ответа не последовало.

Мне стало страшно. А что, если повредился рассудком? Как теперь быть? Меня запрут в больнице и будут ставить уколы до конца моих дней?!

Я не знал, стоит ли об этом говорить родителям или оставить всё в тайне. Может, если молчать, то никто не заметит, и Тень исчезнет сама?

Прошла неделя, но силуэт Небесной Девушки не исчезал. Постепенно я смирился и привык к ней. Стал воспринимать Тень как естественный ландшафт у себя над головой.

Потом я поймал себя на мысли, что часто беседую с Небесной Тенью, делюсь с нею самыми сокровенными мыслями и обсуждаю собственные

проблемы. Наш диалог выглядел как разговор с самим собой, ведь Тень в реальности не отвечала. Она парила молча в вышине. Все её ответы я выдумывал сам. Свои разговоры с ней и переживания я записывал в большую общую тетрадь. Мне нравилось заполнять страницы дневника и перечитывать их. Я исписал и изрисовал старую общую тетрадь в клеточку практически до конца.

Прошёл год. Мы заметно выросли. Теперь девчонки казались нам маленькими, а не наоборот, как было раньше. Многие мальчишки дружили с одноклассницами: ходили в кино или просто бесцельно гуляли по улицам города. Некоторые хвастались своими первыми поцелуями. Я ничего не мог рассказать им в ответ. У меня не было подруги, если не считать небесный силуэт девушки, который никто не видел.

Насколько я знал, у Маши тоже не было кавалера. Сверстники стеснялись предложить ей дружбу, уж очень недоступной она им казалась. Для мальчишек постарше Мария как девушка интереса ещё не представляла.

Мой конкурент по сердечным делам Дима дружил с девчонками направо и налево. Он в физическом развитии сильно опережал своих сверстников. Дима стал ходить в зал тяжёлой атлетики, и сквозь его одежду заметно выступали накачанные бицепсы. Занятия спортом добавили его стати силы и ловкости. Высокий рост Дмитрия гармонично сочетался с крепкими мышцами. Дима стал мечтой многих девочек школы. Излишнее внимание противоположного пола сделало его взгляд уверенным и надменным.

Единственной «ахиллесовой пятой» Дмитрия оставалось неразделённое чувство к Марии. Маша ничем не выделяла Диму. Он был для неё просто одноклассником. Дмитрия это обстоятельство выводило из себя. Пару раз он даже распускал слухи о том, что Мария писала ему любовные записки-признания, которые он, как истинный джентльмен, сжёг по её просьбе и в дружбе ей отказал. Мы не верили ему, но об этом молчали.

Всю злость за неудачу с Машей Дмитрий вымещал на мне, хотя Мария никак не проявляла своих симпатий в мою сторону, в лучшем случае я был ей безразличен. Он стал публично перед всеми одноклассниками унижать меня, причём уже не только морально, но и физически. Пинки и затрещины от него я получал, как по расписанию, не менее трёх раз в день. Противостоять его силе и дикому напору я не мог. На турнике у меня больше трёх раз подтянуться «с рывками» никогда не получалось. Я был среднего роста, щуплым и неказистым подростком. Отвечать на выпады одноклассника я не без причины боялся.

Дима осознавал свою безнаказанность. Он взял в привычку поджидать меня после школы и, вроде в шутку, устраивать со мною «дружеские бои» в стиле «Мортал Комбат». Дмитрий как бы понарошку наносил мне удары по туловищу, но от этих тычков синяки на теле оставались реальные. В наших поединках я просто стоял и делал слабые попытки защищаться. Проще говоря, служил тренировочным мешком для моего одноклассника. Лицо он предусмотрительно не трогал, так как кровоподтёки могли вызвать множество вопросов у взрослых.

Чтобы как-то ликвидировать физический разрыв между Димой и мной, я записался на секцию бокса и начал усиленно тренироваться. В спорте у меня неплохо получалось. Вскоре я начал ездить на краевые соревнования и побеждать. Всю свою злость за унижения от одноклассника я вымещал на соперниках. Через полгода я получил первый юношеский разряд. Благодаря учителю физкультуры слава о моих спортивных успехах стала известна в школе.

После этого Дмитрий немного поутих. Его нападки в мою сторону стали гораздо осторожнее. Он перестал подстерегать меня после уроков. Я расслабился и почувствовал себя в безопасности.

В один из дней на большой перемене учитель попросила выйти нас из класса, чтобы проветрить помещение. Я бесцельно слонялся по шумным школьным коридорам. Меня утомила суета, и я поплёлся обратно в класс. Кабинет был заперт на ключ. Я подёргал за ручку и услышал за дверью слабый шорох и сдавленный смех. В кабинете кто-то был. Я вновь постучал. Тишина. Не открывали.

У нас часто девчонки любили закрыться в классе и секретничать, не пуская никого до окончания перемены.

— Ну и чёрт с вами,—выругался я.

В школьной рекреации, устроившись уютно на тёплом большом подоконнике, я стал терпеливо ждать звонка на урок. За окном ярко светило весеннее солнце, играли на школьном дворе дети. Их радостный крик, словно щебетание птиц, разносился по всей Вселенной. На небе привычно висела Тень.

Резко и противно прозвенел школьный звонок. Кабинет открыли изнутри. Из-за двери раздался громкий смех одноклассников. Я осторожно зашёл в класс. Все, кроме учителя, уже были там.

В окружении ребят на парте стоял Дима и читал что-то всем вслух. Когда увидели меня, то на секунду затихли, с трудом сдавливая смех. Дима, быстро взглянув в мою сторону, продолжил как ни в чём не бывало декламировать громко вслух:

— «Милая Мария, из мыслей о тебе возникла Небесная Тень. Я буду видеть Её и всегда думать о тебе. Только ты! Только ты! Только ты!»

Класс как по команде громко заржал и начал с нескрываемым ожиданием поглядывать в мою сторону.

Меня подвела привычка таскать с собой свой дневник повсюду. Один раз Дима заметил, как я

пишу в большой старой тетради. Он из любопытства попросил посмотреть. Я сказал ему, что это личное, и спрятал дневник в портфель. На перемене он тайно вытащил тетрадь из моей школьной сумки и прочитал несколько записей. В его голове созрел подлый план ознакомить с моими откровениями весь класс. Дима чётко осознавал, что делает. Он знал, как глубоко этим ранит меня.

Никто, конечно, из ребят особо ничего не понял про Тень, но о том, что я влюблён в одноклассницу Машу, догадался каждый!

Когда я сообразил, что́ именно всем вслух читает Дима, то не смог себя сдержать.

— Гад!—заорал я истошно.—Убью!

В классе стало тихо. Потом кто-то из девчонок завизжал и побежал за учителем. Я ничего не видел вокруг себя и бесстрашно кинулся на Диму.

— Держи его!—успел прокричать он и бросил мой дневник в толпу.

Кто-то подхватил тетрадь. Дмитрий надеялся, что этот манёвр отвлечёт меня и я, забыв про него, кинусь спасать дневник. Но тетрадь, содержание которой знали теперь все, утратила для меня значение.

Трое ребят из класса попытались преградить мне путь.

— Если не уйдёте с дороги—урою! Всех по одному выловлю и порву!—злобно прошипел я им.

У меня не было и капли сомнения, что сделаю как сказал. Я почувствовал их страх.

— Пусть сами разбираются,—сказал один из одноклассников.

Ухватившись за эту спасительную нить выйти из ситуации более или менее достойно, мальчишки отступили.

Дима понял, что уйти от конфликта не удастся. Он смело спрыгнул с парты мне навстречу.

Схватка была кровавой, но длилась недолго. Помешал вернувшийся в класс учитель. Наши рубахи были порваны, на лице сияли свежие ссадины и синяки, из носа Димы капала кровь.

Запал от драки не угас, праведная злость изливалась из меня вулканом наружу. Я вырвался из рук разнимавшей нас учительницы и нагрубил ей в лицо. Потом, не стесняясь в выражениях, сказал всё, что думаю о своих одноклассниках:

— Вы все ссыкуны!—кричал я.—Боитесь этого жлоба и урода, а он использует вас как хочет. Никто не остановил его, хотя все знали, что он совершает подлость. Вы такие же сволочи, как и он!

Дима молчал, не говоря ни слова в ответ.

Во время своего гневного монолога я озирался, как затравленный зверь, искал глазами свою тетрадь. Её в руках держала Мария. Она молча сидела на задней парте и плакала. Я быстро подошёл к ней.

— Отдай,—сказал я.

— Возьми,—покорно ответила она и протянула тетрадь.

Я выхватил дневник из её рук и выбежал из класса.

Учительница была в шоке. Урок был сорван. Из нашей драки она сделала крупный скандал на всю школу. Данное событие обернулось для нас разборкой в кабинете директора, вызванными в школу родителями, неудом по поведению за четверть, но это всё уже не имело значения.

После драки я шёл по улице, утирая слёзы. Было невыносимо больно и стыдно. Я чувствовал себя голым, как будто кто-то сорвал с меня всю одежду и выставил моё тело всем напоказ. Мне нужна была поддержка. Я в надежде взглянул на небо, отыскивая глазами привычную Тень, но её там больше не было. На душе стало пусто.

Я подошёл к сигаретному ларьку. Сонный продавец равнодушно поглядел на меня.

— Коробок спичек,—сказал я без эмоций и протянул деньги.

Продавец ухмыльнулся и с ленцой уставшего от жизни мачо сказал:

— Только не натвори ничего, пацан. Поверь мне: потом будешь жалеть всю жизнь. То, что сейчас видится как конечный конец, завтра покажется полной фигнёй!

Я сделал вид, что согласился с его словами, и чуть кивнул ему головой.

Дойдя до городской рощи, я отыскал укромное место среди берёз, развёл маленький костёр из сухих веток и без малейшего сожаления, вырывая по одной странице из своего дневника, сжёг его весь дотла. Я глядел на огонь. Пламя весело пожирало бумагу.

В свой класс и в свою школу я больше не вернулся. До летних каникул оставалось две недели. Оценок хватило, чтобы получить четвертные баллы. Родители отнеслись к моему решению с пониманием. Осенью я стал учиться в новой школе, у меня появились друзья. Одиночество как болезнь души исчезло в прошлом и со временем практически стёрлось из памяти. Я хорошо закончил школу и поступил в институт.

На первом курсе я влюбился и пригласил одногруппницу на свидание. Мы сидели в кафе, болтали о пустяках и смотрели, как птицы за окном клюют крошки, разбросанные людьми. Про себя я репетировал торжественную речь. И вот решился. Перед тем как произнести признание, я пристально посмотрел ей в глаза и замер от удивления. В них отражались облака и силуэт Тени!

Я быстро встал и выбежал на улицу. Пройдясь немного по тротуару, я забрался на пожарную лестницу и поглядел вновь на небо. Только синь, пустота и одиноко пролетающая птица. Тени нигде не было.

«Что за игры?»—разочарованно подумал я.

Я вернулся в кафе немного растерянным.

— Что с тобой?—спросила с тревогой одногруппница.

— Увидел знакомый силуэт. Была у меня одна подруга в детстве… — начал рассказывать я.

— И ты побежал её искать? — прервала меня сокурсница, недослушав. — Тогда зачем меня пригласил?

В тот вечер мы поругались, и наши отношения не задались.

Этот случай стал для меня знаковым. После него я всегда видел Тень в глазах девушек, в которых влюблялся. Поэтому я никогда не заблуждался насчёт своих чувств. У меня был чёткий ориентир — отражение Небесной Тени в глазах любимой. Если Тени не было — значит, не было и любви.

Став взрослым мужчиной, после долгих исканий себя, проб и ошибок, восторгов и разочарований, я вернулся жить в родной город. Там я устроился на работу программистом в одну из фирм сотовой связи. Начальник мне быстро представил новый небольшой и дружный коллектив. Все — молодые и полные надежд ребята.

Мне выделили маленький отдельный кабинет и рабочее место. Мой труд требовал тишины.

Подошло время обеда. В дверь тихо постучали.

— Входите, — разрешил я.

В кабинет зашла уборщица в длинном сером халате. Я не сразу узнал её, тем больше было моё удивление, когда я понял, кто стоит передо мной!

— Маша! — закричал я, радуясь неожиданной встрече, как мальчишка.

— Привет, — сказала смущённо она и улыбнулась. — Вот, устроилась подрабатывать на время декретного отпуска.

Мы разговорились. Выяснилось, что Мария никуда не уезжала из города. Отучилась в местном техникуме, работала на производстве. Сейчас подрабатывала в офисе уборщицей и училась на курсах парикмахеров. Несколько лет назад она влюбилась без памяти в местного «героя». Он оказался не тем, кем старался быть, и к тому же наркоман. Развелась. Воспитывает дочь.

— А ведь когда дружили, он был таким романтиком. Мы забирались на крыши пятиэтажек, смотрели на звёзды, целовались. Там, на чердаке, и дочку сделали, как коты! — засмеялась Мария.

«А ведь этот рассказ мог быть про нас с тобой», — подумал я, а вслух спросил:

— Что про одноклассников наших знаешь?

— Да у всех по-разному сложилось. Димка встал на дорожку нехорошую. Уже две ходки за мелкое воровство имеет.

— Кто бы мог подумать…

Мы проговорили целый обед, словно и не было расстояния в десяток лет. Весь наш разговор моё внимание было приковано к глазам Маши. Я буквально не отводил от неё взгляд.

— Всю обсмотрел меня? — заметила, не скрывая удовольствия, Мария.

— Всю, — ответил я, улыбаясь.

ДиН ревю

Марина Саввиных

Небо полуночи

Красноярск: «Литера-принт», 2021

• • •

Блаженны кроткие: их взор не замутнён,
Рассудок — трезв, уста — медоточивы…
На их пути — стремнины и обрывы,
Зубовный скрежет и вселенский стон,
Но их глаза взирают, не сверлят,
Их речи — утоляют, не тревожат,
Как Божий дар, они вкушают яд,
И день мытарств как праздник ими прожит…
Нет им преград, и нет у них врагов.
Не знают ни воров, ни дураков
Блаженные: ударь — подставят щёку…
А ты живёшь — мякинный хлеб жуёшь,
Клянёшь, рыдаешь, мучаешься, ждёшь —
И веришь проходимцу, как пророку…

• • •

Каждый волен мыслить себя героем,
Сообразно избранным убежденьям:
Видит Бог — никогда не ходила строем,
Но в хороший хор вольюсь с наслажденьем…
Я с тобой поделюсь и вином, и хлебом,
А споткнёшься — подставлю плечо, дружище…
Но в толпе — как в шеренге — разит Эребом,
А хороший хор — в резонансе с небом:
И душа — свободней, и воздух — чище…
Так споём! Вопреки мировым раздорам —
Люди, ангелы, звери, деревья, птицы —
Мириадоголосым бессмертным хором,
Превышая условности и границы!

Светлана Живнач

Бабье лето

Когда фонарь зажёгся

— Фонаря не видели? — крепкий мужчина в новеньком «адидасе» обратился к курившим у погрузочной рампы продуктового магазина работникам.

Один из них лениво мотнул головой в неопределённом направлении.

Почему за Фонарём давно закрепилась такая кличка, становилось понятно с первого взгляда на его лицо: под глазом, периодически перемещаясь с одного на другой, красовался неизменный «фонарь», переливаясь всеми оттенками разных стадий гематомы. Поводов не дать ему угаснуть находилось предостаточно.

— Фонарь, сюда иди, — позвал мужчина парня, обнаружив того в заплёванной семечками беседке.

— Ты чего, начальник? — вжав голову в плечи, парень нехотя поплёлся к подозвавшему.

— Да ты иди, иди. Дело есть.

Напрягшись вначале, Фонарь постепенно успокоился, слушая обрывистую речь мужчины, и согласился. Дельце представлялось плёвым — так, вылазка на одну ночь, да и дружбанов разрешили позвать. К тому же за деньги.

Смутные сомнения в том, стоит ли участвовать в происходящем, начали проникать в голову разгорячённого выпивкой Фонаря только по прибытии на место, когда вся компания случайно набранных пацанов, выгрузившись из автобусов без номеров, растянулась цепочкой и двинулась к горе, где размещался «вражеский» лагерь. Начальник обещал, что им всё сойдёт с рук и даже многое из прошлых проступков простится. Всего-то надо погнать с горы группку жалких активистов, попугать, в крайнем случае — силу применить, если понадобится. «Но зачем? Ну хотят защищать горы — пусть защищают».

Фонарь немного отстал от остальных и направился в другую сторону, куда никто не пошёл. Накрапывающий дождь раздражал, одновременно придавая злости. Из-за редкого кустарника в темноте показался силуэт. «Сам нарывается», — парень смело зашагал навстречу маячившей в просвете между деревьями фигуре.

— Проваливай, слышь? — не сдерживаясь, проорал во всё горло Фонарь, когда до незнакомца оставалась пара шагов.

— Это наша земля. Наши горы. И мы никуда не уйдём, — спокойно проговорил старик, приблизившись к Фонарю и глядя ему прямо в глаза.

На морщинистом лице читались безграничное спокойствие, глубокая мудрость и непоколебимая уверенность в правоте. Этого нельзя было не почувствовать.

Обескураженный и сбитый с толку Фонарь сник и настороженно замер, не смея отвести глаз от ясного, проникающего в самую суть взгляда старика.

Откуда-то послышался знакомый голос деда, сурового и справедливого: «Вспомни, кто ты? Чей ты? Как твоё имя? Где твоя земля?»

Замотав головой, отгоняя померещившееся видение, Фонарь промычал что-то нечленораздельное и сделал пару шагов назад, споткнулся и стал падать в грязь. Старик ловко удержал его и тихо произнёс:

— Ты хороший парень. Нечего тебе делать на тёмной стороне.

Не в силах противостоять заполнившему сердце необъяснимому трепету, Фонарь выпрямился и протянул руку незнакомцу:

— Дедуля, простите. На самом деле я не хотел…

— Как тебя звать-то? — оборвал невнятную речь старик.

— Фаннур.

— Хорошее имя. Добро пожаловать домой.

Пока приехавшие «молодчики» не пускали обратно в лагерь защитников горы, несмотря на то что тем нужно было в свои палатки из-за непрекращающегося дождя, пока привезённая толпа угрожала расправой лагерю, требовала, чтобы активисты покинули гору, махала руками, пугая, что порежут, Фонарь уже на другой стороне стоял плечом к плечу с внезапно ставшим родным стариком, готовый на всё. Он ощущал, что внутри будто зажёгся «фонарь», которому ни за что нельзя позволить угаснуть. Даже очередной, новый «фонарь» под глазом не пугал: «Пусть впервые появится за дело, важнее которого нет сейчас в жизни».

А люди продолжали ехать изо всех окрестных мест, чтобы отстаивать гору и тех, кто её защищал. В ночь. Несмотря на ливень.

«Это наша земля, наши горы. И мы не уйдём,— как заклинание, твердил Фаннур-Фонарь.—Ҡуштау Йәшә![1]»

Olá![2]

Памяти Diego Frazão Torquato[3]

Сегодня хороший день. Голова у Диего совсем не болит. Да и всё тело такое лёгкое, гибкое и крепкое— это редкость. Диего не перестаёт улыбаться, переходя на другую сторону улицы, вспоминает, как ловко улизнул из дома, хоть Камила и бранилась в спину, разгадав его намерение. Ничего, пошумит и успокоится, тем более дядя Эдуарду в гостях. Вчера, довольный случайным заработком, подобревший от выпитой кашасы, он раздавал детям мелочь.

Теперь Диего ощущает себя богачом и собирается на целый день выбраться куда подальше, для начала—в небольшой полузаброшенный парк на окраине Дуки-ди-Кашиас. По дороге ему на глаза попадается пристроившийся на тротуаре в слабой тени навеса Маркус, наверняка уже поймавший свой привычный кайф. Можно изловчиться, пнуть его сейчас и убежать. Но Диего проходит мимо: не хочет тратить время на мелкие шалости. Вдалеке он видит, как Луис с компанией пристают к местному забулдыге—бедолаге Карлосу, безобидному старику, ветерану тупамарос. И Габриэлла с ними. С недавних пор нравится ей водиться с этими хулиганами. Можно было бы вступиться за старика Карлоса, рискуя быть побитым самому. Интересно, Габриэлла бы оценила? Но сегодня Диего этого не узнает, он скорее сворачивает за угол, избегая встречи с девчонкой и всей компанией. Нельзя портить себе такой счастливый день, выпавший среди беспросветных, всевозможных, привычных бед в жизни мальчишки из фавел.

Толстая продавщица, позвякивая яркими браслетами, с подозрением крутит в руках реал, протянутый Диего, однако даёт сдачу и вручает огромный ком белоснежной сахарной ваты, начинающей мгновенно таять на солнце. Но Диего проворнее, он успевает слизывать невесомую сладость, пробираясь тропинками между пальм в поисках тени. На удивление на небе сегодня несколько пушистых, как вата, облаков. Диего воображает, как можно забраться на плечи Христу, защищающему Рио, и ловко намотать на палку огромный ком облачной ваты, потому что та, что у него в руках, к сожалению, закончилась слишком быстро.

Вдруг внимание мальчика привлекают звуки музыки. Он бесшумно крадётся в поисках источника и видит на скамейке мужчину, играющего на скрипке. Тот сидит, закрыв глаза, водит смычком и отпускает летать над городом красивую мелодию. Диего слушает, позабыв обо всём. И вдруг ловит на себе взгляд скрипача. Первая мысль—конечно, убежать, однако мужчина улыбается и идёт навстречу. Внимательно смотрит в глаза Диего, продолжая улыбаться:

— Привет!

Сейчас Диего не знает, насколько важной окажется для него эта встреча, не догадывается, что предчувствие о хорошем дне сегодня его не обмануло. Ему неведомо, что незнакомец—это Эвандру Жуан да Силва, уважаемый учитель музыки, помогающий детям из фавел вырваться из жизни, полной из нищеты и насилия. Впереди Диего ждёт обучение музыке, игра в струнном оркестре Afroreggae. Ему, мальчику, натерпевшемуся много боли и страха, страдавшему менингитом, уготовано стать «символом надежды» в борьбе с лейкемией и преступными действиями полиции. Не знает он также и того, что учитель будет убит во время полицейского штурма фавел в октябре 2009 года, а он, Diego Frazão Torquato, известный как Диего ду Виолино, будет играть на скрипке на похоронах учителя и попадёт в объектив фотографа Маркоса Тристао. И эта эмоциональная фотография будет долго продолжать цеплять многих людей во всём мире, напоминая о трагедии, о силе музыки, о таких личностях, как Силва, о судьбе самого Диего. Не знает он также, что болезнь окажется сильнее оставшегося одиноким мальчишки, что ученик переживёт своего учителя менее чем на полгода.

Всё это впереди, а сейчас Диего улыбается в ответ, заглядывает в глаза незнакомому музыканту и говорит:

— Привет!

Бабье лето

На поленнице разлеглась греющаяся на солнце кошка, которая только слегка повела ухом на постукивание занавески из ярких, густо нанизанных на леску деревяшек. Открыв настежь дверь и поправив спутавшиеся бусины занавески, на порог своего дома вышла старая женщина в цветастом платке.

Закончив сметать сухие листья, нанесённые ветром к крыльцу, женщина облокотилась на поленницу и замерла, глядя на почти убранный огород. Почесав кошку за ухом, проговорила, обращаясь к ней:

— Гляди, Баська, а летает паутинка-то. И телпынь такая сегодня. Видать, вот оно, бабье лето, и пришло. Наше с тобой лето.

Кошка потянулась и лениво муркнула, поддерживая разговор.

1. Посвящается защитникам башкирских Шиханов и событиям августа 2020 года на Куштау.
2. Привет! *(порт.)*
3. Диего Фразао Торквато (Diego Frazão Torquato), известный как Диего ду Виолино (1997–2010).

Старушка отправилась к навесу у сарая, где на ржавых, вбитых в бревенчатую стену гвоздях висели плетёнки лука, чеснока, пучки трав. Заботливо всё проверив, она сняла несколько высохших охапок фасоли, затем удобно пристроилась у крыльца и начала лущить фасоль. Белые и коричневые семена из стручков сначала звонко, а потом беззвучно падали в железную миску.

Перебирая рукой и пересыпая фасолины, женщина пробормотала, отзываясь на какие-то свои воспоминания:
— А вот, может, столько дней-то и прожито, как фасолин этих, одни светлые, другие тёмные, а в памяти уж всё перепуталось…

Её размышления-воспоминания прервал скрип открывшейся калитки.

Во двор зашёл с лукошком яблок сосед. На самом деле он жил на другом конце деревни, но они все, немногие оставшиеся старики, считали друг друга соседями.
— Здоро́во, Гэлька.
— Здоро́во, Степаныч.
— А я вот тебе яблок принёс, такой урожай в этом году.
— А то я не знаю! У меня свои некуда девать, так ещё ты припёр.
— Ай, у тебя такого сорта нет, да и я ж тебе не опад, с дерева хороших наснимал.
— Лучших, чем Насте Толиковой вчера занёс?
— От ты всё знаешь,— засмеялся Степаныч.— Тебе самых лучших.
— Свисти больше. Ты б почтальонку нашу угостил, что ли, она как раз через пару дней пенсию должна привезти.
— А ты не учи! Угощу, я ей ещё тыкву и картошку подготовил. У меня, может, к ней серьёзные намерения,— приосанился и поправил кепку мужчина.
— Ой, жених нашёлся,— рассмеялась Гэля.— Ладно, спасибо, пересыпай свои яблоки, вон ящик под грушей. О, а может, тебе груши надо?
— Не, что мне твои груши? Мне б того, что ты на рябине настаиваешь,— хитро улыбнулся старик.
— Ага, сейчас, разбежалась я тебе наливать. Нету у меня настоек, а Насте я за её долгий язык ещё выскажу.

Прижавшись плечами к бревенчатой стене дома, прогретой тёплым осенним солнцем, старик закурил трубку. Выпустив несколько колец дыма, он с грустью в голосе поинтересовался:
— Ну что, твои не приедут?
— Нет, всё никак не выходит у них,— тихо ответила Гэля.
— А мои вот тоже за лето так и не выбрались,— не успел продолжить Степаныч, как женщина его резко оборвала:
— Хватит, ты мне уже сто раз одно и то же рассказываешь, уже уши болят слушать. Ты мне лучше скажи: можешь радиоточку поправить? Что-то барахлит.
— Ну, можно глянуть, что там за проблема,— докурив, старик протопал в дом.

Через некоторое время, провозившись с радио, Степаныч вернулся:
— Порядок, там у тебя только проводок отходил, я починил, за что теперь и выпить не грех,— поглядел довольный собой мастер на хозяйку.
— От ты ж не отстанешь. Не готово ещё, настоится — выпьем,— спокойно ответила женщина,— если доживём.
— Э-э-эх… А вот помру, так хоть вся родня соберётся,— отозвался Степаныч,— Ладно, пойду я уже. Бывай.
— Ага. Бывай.

И старик с лукошком на плече поплёлся к калитке. Гэля проводила его и, уже закрыв калитку на щеколду, окрикнула:
— Степаныч, ты это — не помирай пока. Осень такая хорошая, бабье лето во.
— Не боись, Гэлька, переживём твою осень и зиму перезимуем. Надо ж по весне аистов, что у меня на липе возле дома поселились, дождаться.

Кивнув на прощание, старик зашагал дальше по тихой, пустой, приукрашенной жёлто-красным цветом, чуть затянутой дымом редких осенних кострищ деревенской улице.

Александр Таразанов

Бакенщик

Варенька-рыбачка

Июньский полдень. За окном тишина, будто вымерла деревня. Близко скрипнула калитка. В избу шумно вошёл отец. Прямо с порога выпалил, словно из ружья:

— Мать! Война началась с немцами…

Громко чертыхаясь, прошёл и сел за стол. Мать его не поняла, спросила:

— Отец, какая война? Ты недавно говорил, что Сталин заключил с Гитлером мир,—и недоверчиво глянула на отца.

— Да, говорил… Завтра тех, кто подлежит призыву, я обязан отправить в райцентр. Я, например, один из первых записался. Кого-нибудь да пришлют вместо меня. Свято место пусто не бывает,—нахмурившись, серьёзно ответил отец.

— А мы как здесь без тебя? У меня на руках останется малышня. Наташка—та совсем мала. Санька слабак. С Варьки толку мало…—мать расхныкалась и отвернулась.

— Цыц, разнылась. Ещё неизвестно, у меня бронь. Пока. Найдут замену и сразу пошлют на фронт. А насчёт Вари ты, мать, зря наговариваешь, да и Санька не слабак, пущай оба помогают…

Отец нервными движениями зашарил по карманам. Вытащил пачку папирос, закурил. Услышав родительский разговор, вышла из соседней комнаты старшая дочка, семнадцатилетняя голубоглазая Варенька. Прислушалась.

— Советская власть поможет, если что,—уже начал распаляться отец на мать.

«Сходить, что ли, к Шурке, с ней поговорить, та наверняка расскажет что знает. Не зря таскает почту…»—прислонившись к дверному косяку, подумала и молча вышла из избы.

Солнечно. Не жарко. С реки дул ветерок. Во дворе рыбзавода с десяток баб сидели на перевёрнутой рыбацкой лодке. И, между собой тихонько переговариваясь, посматривали на открытые ворота. Походив по двору, присел на завалинку, дымя трубкой, сторож, древний дед Трофим Жаткин. Все ждали бригадира Чалкина. Вошёл во двор и оглядел людей:

— Начну с того, чтоб на работе не сачковали, а работали нормально. Сегодня должны подготовить две сети и законопатить лодку на завтра. Вопросы?..

В ответ—молчание.

— Тогда расходимся…

Чалкин подошёл к лодке и внимательно её осмотрел, недовольно покачал головой.

— Много гудрона уйдёт? А, дед?—обратился к сторожу.

Тот не сразу ему ответил:

— Есть такой кусок на складе, лично при мне Клавка получала год назад, с неё и спрашивай.

— Что-то я не вижу её средь нас.

Бабы тут же загудели.

— Сына завтра провожает на фронт. Сегодня ему стукнуло восемнадцать годков. День рождения справляет,—за всех громко выкрикнула долговязая русоволосая вдова-солдатка Капитолина.

— Всё равно должна присутствовать на собрании или отпроситься. Ладно, прощаю. Варя!—обратился к дочери.—Сходи и позови тётю Клаву Шестакову с ключом от склада. Да поживей…

Варенька, выслушав отца, ответила:

— Хорошо! Тятя, я сейчас…—и немедленно отправилась за кладовщицей.

— А вы чего расселись?! Кто будет чинить сети?—в приказном тоне обратился к бабам Чалкин.

Они с неохотой встали и пошли…

Как и рассчитывал Чалкин, в складе нашлись кусок гудрона и несколько мотков с «ниткой», чтоб «заштопать» дыры между ячеями. До позднего вечера бабам пришлось повозиться с лодкой. И с неводом…

Утро следующего дня. Погода, как по заказу, тёплая. Ветер временами легонько раскачивал речные волны. Солнечные блики от воды слепили глаза. Без суеты рыбачить начали с Первых Песков. Закинув невод на середине Тагана, рыба́чки немного подождали. Один конец тащили по суше возле воды, а потом по берегу к кустам, другой с помощью лодки подтягивали к берегу. Варенька с пятью бабами, взяв конец с лодки, тянули к другому концу невода. Пока шли, меняли руки, перебирая сырую сеть. Она вреза́лась с каждым разом в ладошки, скользкая и пропахшая рыбой и речными водорослями. Наконец, вытянув полностью из реки, стали выбирать рыбу с водорослями. Улов оказался небогатым, в основном попались скользкие чебаки с ельчиками и колючие ёршики

с окуньками. Рыбёшка средних размеров. Подошёл Чалкин, посмотрел, сказал:
— Негусто! Завтра нам пришлют катер, Фадей Кузнецов с Киреевска пригонит, остался от райпотребсоза. Нынче их организацию наполовину расформировали ввиду военного положения в стране. Так что станет вам полегче, бабоньки, таскать невод. С утра с Иринска приедут два парня и дед Кондрат вам на подмогу. Рыбу в лодку, траву в сторону. Ещё разок закиньте, может, да поймаете чего.

Действительно, на этот раз рыба́чки поймали более крупную рыбу. Они её рассортировали, загрузили и поплыли в деревню. Так закончился первый трудовой день для Вареньки и всех остальных рыбачек.

Утро следующего дня оказалось пасмурное, слегка лил дождик, где-то по западу ходили серые тучи. Собравшийся народ ждал Чалкина в рыбзаводском строении. Варенька стояла возле входа и посматривала на калитку двора.
— Слышь, чего говорю,— обратилась к ней Капитолина.— Отец сегодня будет? У нас дел дома знаешь сколько?
— С утра ушёл на Вторые Пески встречать катер,— она посмотрела на Капитолину, а в их разговор встряла баба Дуся:
— Я смотрю, тебе, Капитолина, неймётся болтовнёй заниматься. Сходи к деду Трофиму. Может, до чего-нибудь договоришься с ним.

Бабы тут же захохотали, лишь покраснела Варенька. Не обращая внимания на насмешки, Капитолина как ни в чём не бывало отошла в сторону.
— Хм...— ухмыльнулся недовольно бородатый, похожий на старовера дед Кондрат.— Мели, Емеля, твоя неделя.
— Вот-вот, я тоже об этом, дядя Кондрат,— стоял в проёме входа и почему-то улыбался Чалкин.— А чтоб не сплетнями заниматься, шли бы невод грузить в лодку. Время не ждёт.

Закинув невод, через некоторое время медленно его вытягивали к берегу. Вытянув полностью на сушу, стали собирать улов.
— Ну что такое? У тебя руки подо что заточены?..— начала возмущаться и размахивать руками Капитолина на Посохина Женьку: собирая рыбу, он неловко кидал её в кучу.

Зато у Гришки Кедрова, за что бы ни брался, получалось ловчее. Варенька, видя неловкость горе-рыбака, прыснула от смеха:
— Хе-хе...
— Да дурака валяет этот Посохин. Старший брат Николай решил Женьку забрать в город, да не куда там, а пристроить аж в горком комсомола,— высказался в его адрес рыжий увалень Кедров, смачно плюнул.
— А тебе завидно?! Смотри, пожалеешь, рыжий,— прошипел и показал кулак долговязый Посохин.
— Ты ещё пугаешь?! Ах ты, глист в обмотках,— отбросив рыбёшку в сторону, пошёл на него в атаку раскрасневшийся от гнева Гришка.

Они сцепились, бабы заорали, дед Кондрат схватил весло и несильно ударил сперва одного, а потом другого драчуна.
— Ишь, распетушились! А ну-ка прекратить драку! Мальчишки! Я вам щас...— сделав свирепое лицо, погрозил обоим кулаком.

Они тут же расцепились, тяжело дышали, исподлобья поглядывая друг на друга, разошлись в разные стороны...

Вечером подсчитали, улов получился неплохим. Драка не прошла мимо Чалкина. О ней рассказала Капитолина. Дома решил на всякий случай расспросить Вареньку:
— Давай рассказывай!
— О чём это, тятя?— удивилась дочь.
— Как Посохин с Кедровым подрались.
— Посохин тот ещё сачок, так сказала тётка Капитолина. Они с Гришкой подрались, что тот сказал ему при людях.
— А что ему сказал Гришка?
— Женин брат должен его взять на работу в горком комсомола.
— Ага, значит, вон куда метит этот Посохин. Пущай катится к едрёне...— в горячке ругнулся Чалкин.— Чем быстрей, тем лучше... Нам нужны здесь трудовые руки... Завтра отправлю с рыбой в город, пусть сдаёт и остаётся там.

На этот раз Варенька промолчала.

Ёжась в старой телогрейке, Варенька смотрела на закат. Выпавший под утро снежок лежал и не таял по всему огороду. Сзади скрипнула калитка, она обернулась.
— Вот что тебе скажу, дочка,— обратился к ней отец.— Скоро меня должны забрать на фронт, ты давай тут помогай матери. Сейчас конец октября, зима вот-вот настанет. Я на тебя надеюсь.
— Хорошо, тятя,— услышал её ответ.
— И ещё вы завтра с Санькой съездите и уберёте наши сети. Ты знаешь, в каких местах они находятся.

Варенька лишь кивнула ему. Отец ушёл, она осталась. Ещё раз окинула взглядом чёрные волны Тагана и пожухлый берег, за которым спряталось солнце, направилась к калитке: «Зима нынче будет лютой, на днях сказала баба Дуся».

Утром Варенька с Санькой отчалили от берега и поплыли на вёсельной лодке в сторону протоки, идущей вдоль полуострова Золотого. Холодный ветер с севера дул им в спину, они с ожесточением работали вёслами, чтоб не мёрзнуть. Наконец доплыли к цели. Здесь уже не чувствовали холода. Проплыв с десяток метров, Варенька скомандовала:
— Стоп! Влево, к тем кустам...

Санька не стал возражать и вёслами начал как бы притормаживать. Лодка постепенно подплывала к нужному месту. Встали боком. Варенька сунула руку в воду, нащупав сеть, стала вытягивать её наружу. Санька с другого края затаскивал сеть на дно лодки. Улов оказался не очень богатым. Вытащили всю, поплыли дальше. Проплыв немного вперёд, остановились напротив куста черёмухи. Там стояла вторая сеть. Она оказалась короткой, с несколькими окунями. Вытащив её, развернулись назад, поплыли в деревню.

Доплывая к устью протоки, Варенька с Санькой увидели на берегу, как им махала Шурка. Подплыли, забрали. Она, сидя на носу лодки, сразу затараторила:

— Наш катер сломался, пришлось на моторке переплывать с той стороны на эту,—кивнула головой в сторону Кожевниково, заговорила:—Три повестки везу и одну похоронку.

Вздохнув, поглядела на Варьку, как бы говоря: «Я не виновата, такая моя работа».

— А что замолчала?—спросила её Варенька, налегая на вёсла.

— На твоего отца и дядю Сашу Кадкина эти повестки, и ещё на Гришку Кедрова. А похоронку отдам Маньке Солдаткиной.

Шурка замолчала, подплывали к берегу.

Лодка только приткнулась к берегу, Шурка соскочила и торопливо направилась с неполной почтовой сумкой по тропинке. Варенька с Санькой стали вытаскивать всё содержимое из лодки. Развешивая сети во дворе, чтобы они просохли, Варенька размышляла: «Наконец-то тятенька дождался повестку. А вот как нам здесь без него? Он всегда сам всё решал. Кедрову, можно сказать тоже „повезло“, на фронт уйдёт, а то участковый с Киреевска приезжал, им интересовался с подачи заявления Посохина. Хотел посадить Гришку, а отец его отправил в Могильники за рыбой. Дядя Саня Кадкин хоть хорошо стреляет, может, и возьмут в снайперы. Солдаткина не пропадёт, мужик сейчас живёт у неё на постое из ссыльных».

Вышла мать и её окликнула:

— Ты там не уснула? Айда в избу.

Она тут же очнулась от раздумий:

— Я сейчас, мама.

Снег лежал, не таял. Синева. Во дворе районного военкомата очень оживлённо. Молодой безногий мужик-гармонист в телогрейке нараспашку, откуда была ещё видна гимнастёрка с нашивкой о тяжёлом ранении, с орденом, играл и тут же себе громко подпевал: «Три танкиста, три весёлых друга, экипаж машины боевой…» Чалкин стоял в окружении жены и Вареньки.

— Ну вот, отец, и пришёл твой черёд,—и у матери навернулись слёзы. Она уткнулась к нему в грудь.— Митя, я люблю тебя. Ты только возвращайся. Я, кажется, забеременела.

Чалкин сразу начал её гладить:

— Если вернусь живым, даю тебе слово, для меня семья —святое. Свидетель—Варя. Погодите, прикурить надо на дорогу,—он легонько отодвинул мать от себя и направился к гармонисту:—Прикурить дай!

Тот кончил играть и полез в карман гимнастёрки. Вынул коробок и протянул ему.

— Это где тебя так угораздило?—спросил гармониста Чалкин.

— Дай лучше закурить,—взяв гармонь под мышку, чуть хромая на протезе, прошёл к высокому крыльцу и боком к нему прислонился.

Чалкин вытащил пачку и протянул. Гармонист достал одну папиросину, прикурил. С удовольствием затянулся.

— Под Бродами меня зацепило. Я же танкист. Меня комбат вытащил из горящего танка. Вот, живой остался,—снова затянулся, взгляд его стал суровым.—Если бы не он, лежать мне там с моим экипажем. Я сам с Киреевска.

— Погоди, ты не сын Кузьмы Воронова? Уж больно похож на него.

— Угадал!

— Ладно, передай ему, что Митьку Чалкина с Молчаново видел. Ладно, пойду к своим. Вот, возьми ещё одну папироску.

Он сунул её и слегка хлопнул его по плечу. А в это время вышел крепенький на вид, среднего роста майор и зычно заорал:

— По машинам! Готовься!

Толпа тут же зашевелилась. Чалкин подбежал к жене, дочери, обеих крепко обнял:

— Мать! Варя! Прощайте! Авось увидимся…

Вскочил, ловко перемахнул через борт машины. Грузовики с призывниками заурчали, тронулись с места. Мать с Варенькой обнялись и горько заплакали, не стесняясь друг друга.

Прошёл ровно месяц, как отца забрали на фронт. Варенька чуть ли не каждый день спрашивала письмо у Шурки. Почтальонка постоянно от неё отмахивалась, а сегодня после обеда увидев её:

— Давай пляши!—подошла и сунула ей треугольник-письмо.

Варенька не стала его вскрывать, а понесла показывать матери. Мать лишь сказала:

— Читай!

Отец писал, что они пока находятся на сборах в Кривощёково. Мужики поговаривают, что должен через несколько дней приехать уполномоченный— и сразу начнёт набирать на передовую. Мать может приехать на свидание, есть место, где они смогут встретиться на целых двенадцать часов. И на этом заканчивалось отцовское письмо.

На следующий день мать у временно исполняющего обязанности бригадира деда Кондрата взяла лошадь с санями и поехала через Киреевск в Кривощёково к отцу. Варенька осталась одна

разбираться с малышами, а тринадцатилетний Санька пошёл за двоих отрабатывать трудодень. Через день к вечеру вернулась с красными глазами мать—видимо, когда ехала, постоянно плакала. Покормив Наталью грудью, она с нею уснула.

Утром мать заговорила с Варенькой:

— Отец как огурец. Всё у него в порядке. Нового бригадира прислали, я его с Киреевска забрала. Пока ехали, мне надоел: ох и нудный он, злой. В районе был помощником секретаря, на собрании не так высказался. И за это его к нам послали. Будет жить у Капитолины.

Варенька в ответ ей ничего не сказала, а только дёрнулась плечиками от нехорошей вести.

Выпавший снег, пушистый, хрустел под ногами. Погода нынче изумительная. Варенька торопилась на двор рыбзавода. Почти все бабы собрались, не хватало Капитолины. Пыхтя, торопясь, вошёл среднего роста усатый мужичок с крысиной мордочкой, в бурках, в белом тулупе и барашковой папахе, а сзади него выглядывала Капитолина.

— Здравствуйте, товарищи! Я Крысин Фёдор Павлович,—поздоровался вошедший.

Собравшийся народ в ответ ему промолчал.

— С сегодняшнего дня командовать парадом буду я. Вы меня поняли?!—внимательно посмотрел, продолжая:—Сачки и прочий сброд здесь не нужен. Отправлю в Магадан. Так что вот таким образом. Вопросы есть?

Молчание.

— Ну, раз нет, расходись. Завтра в это время здесь я жду всех. Приму дела у исполняющего.

Бабы вышли и между собой начали переговариваться. Варенька заспешила домой, краем уха услыхала, обходя их:

— Этот нам такой свободы не даст, как Митька Чалкин. Партийный отморозок…—отборная матерная брань в его адрес.

Две недели бабы без отдыха рыбачили на Тагане, в эту обойму попала и Варенька. Крысин, как надзиратель, постоянно поторапливал баб, которые от его визга уши затыкали и молча прекращали работать. Новоявленный бригадир ещё сильней начинал словесно воевать с ними. Вытащив весь невод на берег, бабы подбирали и тащили его сушиться к костру. Два костра нужно было жечь постоянно. На одном греть невод, на другом—чтоб бабы обогрелись. Два человека уже выбыли из строя. Варенька и несколько баб ходили чуть дыша, кашляли и чихали. Крысин ходил—руки за спину—и орал:

— Вы—враги народа, мать вашу… Да я вас, б…, под трибунал отправлю. Сучки деревенские…

Бабы не вытерпели:

— Чем орать, взял бы да помог нам, ты же видишь, что девка молодая, не может, болеет. Ангина. Встал и командывает…

Тётя Даша подтолкнула его к Вареньке и дала в руки невод. Крысин даже растерялся:

— Вы не имеете права, я здесь главный…—поскользнулся, упал в прорубь.

Тётя Даша не растерялась, подала попавшую ей под руку пешню:

— Держи!

Стала вытягивать горе-бригадира из проруби. Подоспела Солдаткина и приняла участие в спасении. В конечном итоге Крысина вытащили и отвели к костру. Обогрели и обсушили. На сегодня работу решили закончить. Капитолина повела Крысина домой, на ходу они о чём-то переговаривались между собой.

Вареньку вместе с Крысиным повезли в Киреевск. Фельдшерица определила гнойную ангину и отправила девушку в город. Когда в городской клинике Вареньку осматривал доктор, спросил:

— Как ты себя довела до такой степени?

— Я здесь ни при чём, меня не отпускал бригадир.

— Я за такое его бы засудил, по нему тюрьма плачет!

Варенька промолчала.

Она долго лечилась, но всё же получила осложнение—болезнь сердца. И врачи запретили ей иметь детей.

…Прошли годы, и всё-таки я родился.

Бакенщик

Включив последний бакен, Шакир возвращался на моторке в Киреевск. Плыть против течения не очень-то приятно, обские волны сильно били в борта и днище, «казанка» то и дело подпрыгивала и качалась в разные стороны. Впрочем, Шакир уверенно ею управлял. Пока плыл, вспомнил о телеграмме, присланной от вдовы Василия Сурова, что тот недавно скоропостижно умер. Из всей разведгруппы остался теперь один он, командира Скрипченкова убили в конце войны. Заступившемуся за официантку в ресторане бывшему старшине Захарчуку после войны дали срок—хорошо набил морду выпившему офицеру, из зоны не вернулся. Несколько лет назад погиб в горах Памира Коля Петров, попал под лавину. Так распорядилась судьба над разведгруппой, с кем он воевал во время войны…

…Особенно запомнил тот день, каким образом попал в разведку. Рядовые Альмекеев с Белоусовым провожали за линию фронта группу разведчиков в составе трёх человек. Первые двое успели переползти, немцы начали обстреливать наши позиции, Шакир заметил, как замыкающего бойца ранили, подполз к нему, тот лежал с простреленной ногой. С ним увязался напарник, рядовой Степан Белоусов.

— Ты его тащи, а я вместо него с ними пойду. Хочу помочь разведке,—сказал Шакир Белоусову.

— Тебе за самоуправство знаешь что будет? Смотри,—недовольно ответил Белоусов.
— Если живым останусь, вернусь и отвечу. Бывай, Стёпа.

Он пополз следом за разведчиками.

Шакир застал их в огромной воронке. Старший группы капитан Скрипченков, не оборачиваясь, спросил:
— Петров, ты что там долго? Нам за пару часов взять «языка» и вернуться назад.
— Товарищ капитан, разрешите с вами в разведку?
— А ты откуда здесь взялся? А ну марш туда, откуда приполз,—скомандовал ему Скрипченков,

Шакир не спешил уползать и всё ещё оставался с разведчиками.
— Вашего бойца в ногу ранили. Может, я на что-нибудь сгожусь?
— А ты знаешь, что бывает за самоуправство? Штрафбатом пахнет, не отмоешься никогда, ты не только себя подставляешь, но и нас двоих,—немного помолчал, заговорил:—Ладно, пошли. Посмотрим, на что способен, комбат мужик нормальный, а вот капитан безопасности может подосрать тебе.

«Языка» они взяли, причём офицера. После возвращения Шакиру сильно досталось от капитана безопасности, вызывал на допрос и бил нещадно, предъявлял ему, что тот хотел сдаться немцам, а в это время мимо капитанского кабинета проходил полковник, увидел через приоткрытую дверь, как тот сильно избивал Шакира. Вошёл и выяснил, отправил Альмекеева к Скрипченкову, а капитану сделал выговор…

…Заглох мотор, лодка уткнулась в берег, Шакир, не вылезая, закурил и вновь задумался…

…Группа из пяти человек во главе с капитаном Скрипченковым шла гуськом. Они оторвались от линии фронта в глубь тыла врага приблизительно на три километра. После Нового года на здешнем участке фронта небольшое затишье. Разведка докладывала, что на ближайшей узловой станции Горюново скопилось большое количество немецкой техники и живой силы. Командование фронтом решило послать на станцию за «языком» лучшую группу под руководством капитана Скрипченкова.

Пройдя немного на лыжах, рядовой Альмекеев, мощный двухметровый сибиряк-татарин, начал хватать горстями снег и совать себе в рот.

«Давно не ходил на лыжах, а если и ходил, то уже и не помнит когда»,—подумал Шакир.

Он шёл последним, замыкал группу.

Вылезла из черноты луна, и всё в округе окрасилось серебристым цветом. Шакир остановился, вспомнил сибирские места, откуда был сам родом. Сейчас эта внеземная красота создавала лесу обворожительную сказочность…

Вдруг услышал оклик командира:
— Альмекеев, ты что там, уснул?

Шакир двинулся следом за всеми. Группа прошла сотню метров, вышла к охотничьему домику.
— Ну, вот и пришли,—сказал командир,—нам придётся здесь заночевать, но рано утром мы должны отсюда уйти в небольшую деревушку Зайцево, где возьмём «языка», там находится штаб немцев этого участка фронта. Повторяю ещё раз: две группы, посланные в Зайцево, уже провалились. Наша задача—взять «языка».

Бойцы меж собой переглянулись, промолчали.
— Старшина Захарчук, заступишь первым в караул на два часа. А потом Суров, Альмекеев и Петров,—обратился капитан к усатому здоровяку.

Тот быстро ему отчеканил:
— Есть!

Утром чуть свет вся группа была на ногах. Командир вытащил карту и внимательно посмотрел на неё, что-то проверяя, вчетверо свернул, спрятал:
— Идём как обычно, замыкает группу Альмекеев.

Дошли до огромной кривой берёзы. Командир поднял руку:
— Разбиваемся на две подгруппы. Со мной пойдёт Петров, а ты, старшина, забирай остальных. Встречаемся в старой конюшне. Когда обойдёте деревню, там и увидите её. Каждые полчаса выходит патруль. Будьте предельно осторожны. Расходимся.

Как и предполагал командир, патруль ходил на лыжах вокруг деревни действительно каждые полчаса. Подгруппа старшины прошла немного, хрустнула ветка, он дал команду:
— Фрицы!

Бойцы едва успели спрятаться за сугробы, как пять лыжников в белых халатах будто пролетели мимо них.
— Ничего себе,—удивился Шакир, продолжил:—У них что там, волшебные лыжи?
— Ага, по щучьему велению…—захихикал ефрейтор Суров.
— Отставить!—резко оборвал его старшина, наступила гробовая тишина.—Наши не напоролись, а если бы напоролись, мы сразу бы услышали стрельбу. Фриц нашего брата боится как огня. Короче, двигаемся потихоньку,—сказал старшина, встал на лыжню, покатил первым.
— Командир, наши идут,—всматриваясь в сторону леса, сказал Петров.
— Хорошо!—ответил капитан.

Уже в конюшне командир обратился к Захарчуку:
— Каким образом увернулись от патруля?
— Я шёл первым и услыхал хруст, это нас и спасло.
— А меня успел за ёлку Петров спихнуть, патруль, как привидение, проскочил мимо нас,—и удивился:—Я не успел даже моргнуть глазом, так что будем готовыми на всякий случай. Короче, не расслабляться. Ждём темноты. Я видел, в крайнюю избу заходил долговязый офицер с портфелем.

Вот он нам и нужен будет. Альмекеев, готовься, старшина тоже. Вам доверю этот груз.
— Так точно, товарищ капитан,— отчеканил старшина.
— А сейчас завтракайте и по очереди начинайте следить за объектом,— ответил командир.

Прошло предостаточное время. Разведчики поодиночке менялись, следили. Уже стало темнеть. Пошёл обильный снег. Видимость становилась плохой, но для разведчиков лучше — легче укрыться в такой обстановке.
— Петров, видишь стожок рядом с объектом? Давай туда, смотри в оба. Когда фриц появится, мигни фонариком, Альмекеев со старшиной к тебе придут, его лучше перехватить при подходе к дому. Он там появится, вы его на месте и возьмёте. Вопросы?
— Ясно! — за всех ответил Петров.
— Ну, раз ясно, тогда все по местам.

Пока командир давал указания, пошёл ещё сильнее снег. Как только Петров исчез в снежной пелене, где-то недалеко залаяла собака.
— Фрицы усилили наряд, не прошло и получаса, это не к добру,— высказался Суров.
— Суров, засеки время и гляди, когда Петров даст нам знак, а я за тыльной стороной посмотрю.
— Есть! — твёрдо отчеканил тот.

Ждать немца с портфелем долго не пришлось, он приближался к дому, чуть-чуть покачиваясь из стороны в сторону. Состояние само говорило, что он хорошо поддал. Старшина с Шакиром выскочили, ударили с двух сторон под дых немца, вырубили на месте. Подхватив, потащили в конюшню, а Петров прикрывал их сзади.
— А сейчас нам отсюда нужно сматываться, чем быстрей, тем лучше,— сказал командир.
— Командир,— встрял Петров,— наряд патруля через четыре минуты должен пройти. Может, подождём?
— Хорошо! — ответил Скрипченков.

И действительно, через несколько минут из леса выскочили лыжники-немцы и подались дальше в обход деревни.

Взвалив немца на горб, старшина тронулся в обратную сторону по лыжне. Следом за ним цепочкой потянулись остальные разведчики.

Когда подходили к своей позиции, взметнулись ракеты, освещая низину, куда нужно было спускаться. Пришлось залечь. Немец-офицер проснулся и залепетал. Петров не вытерпел и сильно ударил по голове, вырубил.
— Так, Петров, если ты немца убил, я тебя посажу на губу, а лучше расстреляю,— подполз недовольный командир.— Немец нужен живой, а не труп,— взял запястье и нащупал пульс у «языка».— Твоё счастье, живой.

Немцы «проснулись» и стали стрелять куда попало. Постреляли и угомонились. Тем временем разведчики с «языком» подползли к нашей батарее. Там их уже встречали.

Как потом оказалось, у немецкого офицера была карта этого участка фронта. На нём немцы хотели прорвать оборону, но разведчики успели перехватить этот важный документ…

…Закрыв на замок моторную лодку, бакенщик взвалил мотор на плечи, взял под мышки вёсла, хромая, пошёл в горку.

Дома Шакира ждал страж двора, старый пёс Дружок, единственный и последний друг на всём белом свете.

Беглянка. Рассказ деда

Жаркий день. Лето в самом разгаре. Фельдшер настоял, чтобы Митрич с контузией полежал в госпитале.

Сегодня он выписывался. Чистое обмундирование на нём, а на гимнастёрке сверкает орден Красной Звезды рядом с гвардейским значком. Он пожимает руку каждому палатному. Прощается. Взял котомку. Вышел. За оградой лазарета поймал попутку, которая направлялась в сторону его части. Пока лежал, фронт так и не передвинулся. Затишье. Проблема, может, и не в этом, хотя — кто его знает? А пока Митрич едет и ничего не подозревает — путь в десять километров ещё надо проехать. Проехали пару километров — с правой стороны у самой дороги стоял разбитый грузовик. Дымилась рядом с ним воронка. Грузовик с Митричем остановился. Трупы водителя и сидевшего рядом лейтенанта залиты кровью. Только что приняли смерть два молодых мужика. На них страшно глядеть. Усатый водитель грузовика, на котором ехал Митрич, залез в кузов. Подозвал Митрича и показал на ящики, накрытые плащ-палаткой. Вскрыли первый попавшийся. Тушёнка. Ящиков было тринадцать. В углу сидела и мяукала рыжая кошка. Рядом находился труп её хозяйки. Прошитая насквозь пулемётной очередью, лицом в небо лежала старуха в чёрной длинной юбке и ситцевой блузке. На голове повязан белый платок. В глазах её застыл гнев. Лицо искажено до предела. Руки сжаты в кулаки.
— Нужно их похоронить по-людски,— предложил водитель Митричу.

Где-то рядом заблеяла коза. Услышав человеческую речь, она пошла на голос. Выглядела коза изящной и бело-пуховой, с озорными глазами. На шее болтался кусок верёвки.
— Вот так подарок! — воскликнул радостно водитель.— Товарищ гвардии ефрейтор, у меня есть верёвка, мы её на рога накинем и привяжем,— разговорился водитель.
— Ты её ещё поймай,— высказал сомнение Митрич.

Ловить пуховую озорницу не пришлось. Коза сама подошла к Митричу и давай его рогами бодать играючи. Он только успел погладить бок, как

она сама его подставила и успокоилась. Видимо, хозяйка таким образом козу успокаивала. Открыв задний борт, козу приподняли и осторожно поставили на пол кузова. Она даже не сопротивлялась. Успев закинуть шесть ящиков в свой грузовик, они издали увидели впереди себя чёрную «эмку». Сразу прекратили загрузку ящиков.

— Спокойно!—обратился Митрич к водителю.

Эмка приближалась быстро. Видимо, высокий чин, ехавший на ней, очень спешил. Поравнявшись с ними, машина резко остановилась.

— Что случилось? Кто вы такие?—выглянул из кабины генерал.

— Гвардии ефрейтор Чалкин, возвращаюсь после лазарета в свою часть. А тут немец подбил эту машину. Три трупа, кошка и коза. А ещё несколько ящиков тушёнки,—быстро отрапортовал Митрич.

— Так, говоришь, ефрейтор, тушёнка?—и генерал вопросительно посмотрел на Митрича.

Митрич головой кивнул на подбитый грузовик. Генерал нехотя вылез из машины и пошёл проверить.

— Действительно, тушёнка,—высказал своё мнение генерал.—Закинь мне пару ящиков, а остальные сдай в свой пищеблок, и козу тоже. Козье молоко полезно для раненых и тяжелобольных бойцов. Солдат на войне должен хорошо питаться, чтоб отлично воевать. А этих похорони.

— Есть, товарищ генерал!—взяв под козырёк, отрапортовал Митрич.

Генерал залез в машину, а Митрич с водителем погрузили в багажник тушёнку. Захлопнув багажник, Митрич махнул рукой, и генеральская машина тронулась с места. Сделав свою работу, они засобирались. Только на этот раз Митричу пришлось залезть в кузов—из-за козы, держать её за верёвку. Водитель пожалел кошку и забрал её к себе в кабину. Посадил в дырявую корзину. Проехав несколько километров, перед сожжённой деревней, где торчали, как головешки, печные трубы, грузовик остановился. Возле вырытой наспех землянки сидел на земле чумазый пацан. Водитель подозвал его, но тот не сразу среагировал:

— Малой, а ну-ка подойди сюда.

Пацан недоверчиво посмотрел на него и не тронулся с места. Вышла, вся в чёрном, старая женщина:

— Чего сидишь? Тебя зовут.

Только тогда пацан встал и подошёл к грузовику.

— На вот, держи, в хозяйстве пригодится,—и водитель сунул ему кошку.

Пацан тут же расцвёл, схватил и уже было потащил кошку в землянку.

— Погоди, вот тебе ещё гостинец,—и водитель протянул комковой сахар.

Пацан повернулся к нему и взял кусок сахара.

— Пожалуй, отдам им козу. Как-то этим горемыкам в этой жизни выжить нужно,—вслух проговорил Митрич.

Водитель промолчал и пожал плечами. Митрич открыл задний борт, и коза спрыгнула на землю, водитель только и успел её поймать за верёвку. Митрич тут же спрыгнул вслед за козой, взял её за обрывок и повёл к женщине. Вручил козу, повернулся к водителю:

— Ну, поедем, что ли?

Вслед за водителем Митрич залез в кабину, и грузовик тронулся с места. Довольный таким событием, пацан помахал им рукой. Проехав немного, они увидели, как слева замелькало белое пятно. Пригляделись: беглянкой оказалась старая знакомая. Водитель остановил машину, коза подбежала и заблеяла. Митрич и водитель вышли из машины. Обошли её кругом и снова взяли козу, приподняв осторожно, поставили в кузов. Митрич полез за ней, и грузовик тронулся, подняв за собой пыль столбом. Весь остальной путь они проехали без приключений.

Наконец-то часть, и сразу заехали на пищеблок. Вызвал старшего повара и передал ему ящики согласно тому количеству, сколько было. Выгрузили козу и увели на верёвке в неизвестном направлении. Митрич сразу пошёл к командиру, майору Свинцову.

— Разрешите войти, товарищ гвардии майор! Прибыл после лечения.

— А, Митрич, подлечился! Завтра жди пополнение. Я тебе дам пятнадцать человек. А теперь рассказывай, что с тобой приключилось по дороге. Мне уже звонили из штаба.

— А чего рассказывать? Как было, так и было,—усмехнулся Митрич.

— С тушёнкой ладно, а с козой?!—серьёзно посмотрел майор на Митрича.

— Приказ генерала!—отрапортовал он.

— Действительно, его приказ. Только где изволите держать козу? Ни вольеров, ни больших ящиков. Одна проблема с ней,—недовольно проговорил майор.

— Пока на верёвке. Может, не убежит,—ответил майору Митрич.

— Ладно, ступай. Отдыхай сегодня, а завтра приступишь к своим обязанностям,—посмотрел майор на Митрича.

Митрич отдал честь, развернулся и вышел.

Лёжа у стенки в блиндаже, Митрич думал о разном. Больше всего о козе. Даже генерал не стал возражать, а майор принципиально высказался против. Ладно, видно будет. Так мысленно он себя успокаивал. Клонило ко сну. Он не заметил, как уснул. Сквозь сон почувствовал, что кто-то его тормошит:

— Товарищ гвардии ефрейтор! Вставайте!

Он вскочил с топчана:
— Что случилось?
— Выйдете — и увидите, — всё тот же голос ответил ему где-то рядом в тёмном блиндаже.

Митрич встал в полный рост и пошёл на выход. У входа в блиндаж стояла коза с оборванной верёвкой на рогах.
— Ну вот, ещё тебя здесь не хватало, — проговорил вслух, поглядев на козу, Митрич. — И почему я тебя недооценил? Майор тебя точно отправит на живодёрню.

Взяв за обрывок верёвки, Митрич повёл козу на пищеблок. Коза не упиралась, а преспокойно пошла за ним.
— Хоть идёшь — не упираешься, и то хорошо, — повернул голову и заговорил с ней Митрич.

А коза шла как ни в чём не бывало и успела что-то по дороге зажевать. «Рассвет вот-вот должен наступить, надо поторопиться!» — про себя подумал Митрич и ускорил шаг.
— Пароль! — окликнул часовой.
— Дон, — ответил Митрич.
— Проходи! — разрешил часовой.

Впереди показались очертания пищеблока: навес с длинным столом, закрытый маскировочным материалом. Рядом стояла палатка. Митрич подошёл к ней и открыл полог:
— Кашевар, вставай!

Внутри кто-то зашевелился. Вышел заспанный здоровый мужик в гимнастёрке нараспашку.
— Чё надо? — но, увидев козу, понял. — Дурная коза. На неё верёвок не напасёшься.

Митрич спросил, в каком месте коза стояла на привязи.
— Пошли, покажу, — ответил кашевар и повёл к уцелевшему телеграфному столбу.

«А место неплохое, трава есть», — подумал Митрич. Один конец пятиметровой верёвки был привязан к столбу, а другой валялся тут же на земле. Митрич развязал рога, а оборвыш верёвки откинул в сторону. А конец, который валялся на земле, подобрал и крепко привязал к рогам.

«Может, в этот раз не убежит», — подумал он и, не оглядываясь, зашагал в свой блиндаж.

День стоял пасмурный. Ветер гонял тучки по небу и разгонял их дальше, за серый горизонт. С востока тянуло гарью. Видимо, что-то горело рядом. Митрич ходил и проверял посты. Дошёл до своего блиндажа. Кроме него, там располагался фельдшер, сержант медицинской службы Семён Кузьмин, мужик среднего роста, серьёзный молчун родом из Донбасса. И ещё связист, рядовой Алексей Прокопьев. Высокий, обаятельный парень, говорливый волжанин из Астрахани. С ним скучно не бывает. Приоткрыв полог, Митрич вошёл. Из небольшого отверстия падал свет, и видно было, как на свету связист, рядовой Прокопьев, ковырялся в своём вещмешке, насвистывая себе под нос весёлый мотив про чижика. Фельдшер сидел на топчане и курил. Думал о чём-то своём. Они даже не обратили внимания, когда Митрич вошёл.
— Погодка сегодня скверная, — проговорил Митрич.

Никто не ответил. Он присел на свой топчан. Вытащил из кармана кисет. Закрутил козью ножку и ловко высыпал внутрь её махорку, прикурил, затянулся. И с блаженным удовольствием выпустил струйку дыма. Прислонившись к бревенчатой стенке, задумался. Старшая дочь Варька написала, что мать родила девчонку. И ещё корова отелилась, и что бригадир, который бабами командует, дурак дураком, его прислали из района вместо ушедшего на фронт Мишки Жаткина. Вот такие пришли новости из дома. Закончив курить, он затушил окурок. Распотрошил и положил его в коробочку из-под леденцов. Кинув вещмешок под голову, прилёг и укрылся шинелью. Закрыл глаза. Уснул.

Проснулся, тряс его Прокопьев.
— Митрич, вставай. Коза опять сбежала и стоит за пологом у входа. Мёдом, что ли, здесь для неё намазали? Бегает, не сидится, — недовольно высказался он в адрес козы.

Митрич откинул шинель, сел. Встал. Пошёл на выход. Только открыл полог, коза тут же его начала бодать.
— Ишь ты, разошлась, — проговорил спокойно Митрич и начал гладить ей бок, та и успокоилась.

Взяв за обрывок верёвки, Митрич снова повёл козу туда, откуда она сбежала.

Они спокойно дошли до места. Митрич хотел отвязать обрывок на козе, та резко дёрнулась — решила убежать, что и сделала. Коза ломанулась через дорогу в кусты и быстро засеменила к болоту. Митрич с досады плюнул и пошёл за ней. Пройдя немного, он чуть было не наткнулся на торчащую авиационную бомбу. Встал перед ней, осторожно повернулся назад, пошёл по своим следам. Только вышел с опасного места, коза стояла и ждала его. Митрич взял её за верёвку, повёл к месту и там крепко привязал.
— Стой смирно и не сбегай.

Ласково погладив ей бок, Митрич отправился к майору — доложить о бомбе. Оттуда пошёл в свой блиндаж.

В блиндаже Прокопьев разговаривал с Кузьминым:
— Ты вот не представляешь, как всё это было. Я, значит, выхожу, а здесь она стоит. А чего стоит? А мне нужно по-маленькому сходить. И никак не обойти, не обойдёшь. И что у неё на уме, не понять. Пришлось Митрича будить.

Он замолчал. Вошёл Митрич.
— Мог бы и не будить. Погладь бок козе, та и успокоится. Умная животина, — высказал свою точку зрения Митрич и поглядел на Прокопьева.
— А мне что, из-за неё и в туалет нельзя сходить?

— Штаны сухие? Какие вопросы?
— Ну скажет тоже! — тихо засмеялся Прокопьев и хитро посмотрел на Митрича.
— У нас ещё пара часов на отдых. А сейчас спать! — скомандовал Митрич.

Все трое улеглись, каждый на своём топчане. Так они лежали до рассвета.

Уже и день подходил к концу. Митрич с самого утра находился в землянке майора. Того вызвали в штаб, откуда он ещё не возвращался. Так за весь день Митрич ничего не сделал, хотя надо основательно просмотреть всё обмундирование вновь прибывших новобранцев. Сам лично хотел проверить, а тут застрял, ожидая майора. Правда, пообедал.

Смеркалось. Затянуло. Закапал мелкий дождик. Зашуршало за дверью. Дверь распахнулась, и возник майор. Отряхиваясь у порога, он присел на табурет.

— Хорошо-то как, дождик всё смоет. И самое главное — скоро на нашем участке начнётся наступление, а именно с твоей позиции мы и начнём, — и он внимательно посмотрел на Митрича. — Время и дату мне в штабе не сказали. А теперь разойдись по своим местам, — скомандовал майор.

Митрич отдал честь и вышел из майорской землянки, направляясь к своей позиции. Шёл, шёл, вроде оступился, как ему показалось. Повернулся, а сзади стояла коза и тихонько заблеяла.

— Вот чего тебе-то опять не сидится на месте? — и, взяв козу за верёвочный оборвыш, повёл её обратно.

Прошли спокойным шагом до пищеблока. У пищеблока стоял кашевар и курил. Увидев Митрича с козой, он тут же выкинул окурок на землю и затоптал его сапогом, пошёл, не оглядываясь. Они подошли к столбу, куда козу привязывали.

И в этот момент у Митрича что-то оборвалось в душе. Беспокойство какое-то одолело.

Неожиданно земля пошла ходуном. Митрич только и успел лечь на землю. Вой, визг и канонада смешались в кучу. Этот ужас длился всего несколько минут, но казалось, что длится целую вечность. Наша сторона не успела дать ответный удар.

Когда всё закончилось, на наших позициях наступила гробовая тишина, как и у немцев. Основной удар получил Митрич со своими бойцами. В подразделении у Митрича недосчитались нескольких солдат. Двое убиты, четверо ранены. Причём один — тяжело. В других подразделениях незначительные потери. Снарядом разнесло полевую кухню и осколком убило козу. Война никого не щадит.

ДиН ревю

Василий Киляков

От истока к устью

Воронеж: «Воронежская областная типография», 2021

• • •

Цепью загремев, толкаю лодку,
слышу плеск весла…
Не беда, что эта жизнь короткая —
мигом нам мила!

Снова правлю на огни далёкие.
Млечный Путь пылит…
Там — луна, косая и пологая,
и туман разлит.

Жизнь — веснянка в васильковом платьице
под колючий снег…
Весь-то смысл — в надежде и в сумятице,
друг мой, человек.

• • •

Кричит испуганная птица.
Ночь распахнулась, как крыло,
и на уснувшее село
холодный лунный свет ложится.

Я, очарованный луной,
смотрю на дальнее светило.
И вдруг очнулся: что за сила!
И что за бездна надо мной!

А там, в мирах иных полей,
так мрачно облака теснятся,
что хочется к земле прижаться,
как в детстве — к матери своей.

Елена Басалаева

Сказки девяностых

Продолжение. Начало в спецвыпуске, 2021

Глава 4. Дядя Гена

Отца своего я не знала. Когда мне было уже лет десять или одиннадцать, мама решилась показать мне его карточку—крохотную, два на три сантиметра. С неё на меня смотрел молодой, но усталый человек с крупными, но правильными чертами лица и немного грустными глазами. На мои вопросы об отце мама либо отвечала молчанием, либо, если я начинала настаивать, щедро посыпала его ругательствами. Выведать что-то о моём втором родителе удалось только у тёти Любы.

— Он симпатичный был,—говорила она.—Мать твоя кричит на него: «Вот что́, что́ в тебе хорошего?!» А он отвечает: «Я красивый!»

— Что он любил делать больше всего?—спрашивала я.

— Ну-у-у… Он рисовать любил. Корабли какие-то рисовал, коней… И пел. Кажется, он даже в церковном хоре был. А, ещё! Он очень любил два фильма: «Любовь и голуби», ты его уже знаешь, и «Свадьба с приданым». Слышала такой?

— Нет,—призналась я.

— Может, фильм не знаешь, а песни мы пели. «На крыле-е-ечке твоё-о-ом каждый ве-е-ечер вдвоё-о-ом…» Помнишь?

— Помню, помню!—обрадовалась я.

— Ну вот! Он это любил. И другую: «Хвастать, милая, не стану—знаю сам, что говорю…»

Поздне́й, когда я уже выросла, мама сказала мне, что в церковный хор отца действительно звали, но он от этого приглашения отказался, сославшись на то, что слишком грешен.

О родственниках по папиной линии я слышала только то, что они жили где-то под Омском и что мой дед по отцу был одно время председателем колхоза. Неудивительно папе было любить фильм про двух влюблённых друг в друга бригадиров соревнующихся колхозов.

Другого своего дедушки я тоже не знала: мамин отец умер за полгода до моего рождения. От него, правда, остались кое-какие воспоминания. В девятнадцать лет моя бабушка вместе с подругами собралась ехать в Барнаул поступать на штукатура-маляра, но, по несчастью, сломала ногу. Её товарки благополучно укатили в город, а на бабушку, отлучённую от образования, откуда ни возьмись свалился дед и так быстро взял её в оборот, что через год она уже родила первого ребёнка. Но деду не нравилось сидеть на одном месте, дух авантюризма погнал его искать золото в казахские степи, где было плоховато с медициной, и крохотный младенец едва не умер у бабушки на руках. Поразмыслив здраво, она вернулась в родную деревню и вы́ходила дочь. Дед благополучно возвратился через некоторое время, сделал бабушке ещё ребёнка, но спустя год с небольшим опять поехал в неведомые края за длинным рублём. Так он и жил с бабушкой набегами до самой войны, после которой, наконец, осел дома. Потом мама забрала родителей к себе в город, но моего рождения дед не дождался: он ушёл из жизни незадолго до него, аккурат восьмого марта.

Был у моей мамы и брат, но тот умер в тридцать с небольшим лет страшной смертью: уснув совершенно здоровым, стал задыхаться ночью так сильно, что его не удалось откачать.

Слыша от своего друга Володи, что отец живёт вместе с ними, я поначалу немало этому удивлялась и очень хотела сходить к ним домой только для того, чтобы посмотреть, как это бывает, когда мужчина всё время дома: и ест, и отдыхает, и ложится спать—никуда не уходит.

Однажды осенью, когда я ещё была первоклассницей, мама велела мне одеваться, и мы с ней вместе пошли в гости к какому-то её знакомому. У него была маленькая квартира без кухни, всё пространство в которой, как мне показалось, занимали огромные лосиные рога и стопки виниловых пластинок. Одну из этих пластинок, на которой аккуратными буквами было написано «Иваси», хозяин квартиры поставил проигрываться. Довольный голос запел, что лучше быть сытым, чем голодным, и лучше быть нужным, чем свободным. Я была вполне согласна с песней, да и мамин знакомый показался мне неплохим, даже когда, смеясь, предложил выпить пива. Но мама, похоже, составила о нём другое мнение, поэтому больше в ту комнату с рогами и пластинками мы не возвращались.

А когда я пошла учиться уже во второй класс, в нашей жизни неожиданно появился дядя Гена.

Как почти все знакомые мне взрослые, дядя Гена пришёл с завода. Тётя Люба встретила его на каком-то концерте или спектакле в Гордк и нашла повод, чтобы пригласить к себе. Меня и маму она позвала тоже. Они с тётей Любой смотрели на этого худого темноволосого человека с ясными голубыми глазами и наперебой говорили ему:

— Помнишь?

— А помнишь?

Оказалось, что дядя Гена был старым знакомым моей мамы и тёти Любы. Они знали друг друга уже больше десятка лет. Всё, о чём ему любезно подсказывали, дядя Гена помнил. Он улыбался, кивал и пил столько горячего чаю, словно приехал с Северного полюса.

На следующий день дядя Гена познакомился и с тётей Томой, которая в тот раз почему-то неожиданно быстро собралась домой. Мама опять расспрашивала его о заводе, о том, как закрылся один цех, другой, куда девалось оборудование, сколько кому дали каких-то ваучеров, и зачем-то разузнавала прочие до зубовного скрежета скучные вещи.

В следующее воскресенье дядя Гена зашёл за мамой, и они вдвоём отправились гулять. Я посматривала на них с любопытством. Мама завила себе волосы и накрасила губы розовой помадой.

— Я тебе шоколадку куплю, «Сникерс»,—зачем-то сказала она мне перед уходом.

Дядя Гена поначалу не обращал на меня никакого внимания. Но когда он пришёл в третий раз, я сама решила с ним заговорить:

— А вы тоже делали телевизоры, да?

— Нет,—улыбнулся он.—Я работал инженером-технологом на заводе медпрепаратов. Антибиотики мы выпускали.

— Понятно, очень хорошее дело,—с умным видом кивнула я.

— А ты шишки любишь?—ни с того ни с сего поинтересовался дядя Гена.

Я ответила, что люблю, и дядя Гена почему-то обрадовался и заулыбался. Вот чудак-человек!

Чудаком его окрестила не только я. Однажды, когда они с мамой втроём сидели у нас на кухне за чаем, тётя Люба позвала его на танцы, но тот отказался:

— Не в наши годы уже по танцам бегать. Да и костюма приличного у меня нет.

Тётя Люба в ответ на это рассмеялась:

— Гена, да ты же меня младше на два года! Ты что себя в старики-то записал, чудак? Тебя бы в порядок привести—орёл-мужчина!

После этих слов мне стало интересно, как бы в самом деле изменился дядя Гена, если бы тётя Люба взялась за приведение его в порядок. По мне, он и в нынешнем виде был всем хорош, но тёте Любе видней: она ведь шьёт одежду, значит, знает толк в красоте. Подумав немного, я решила, что первым делом она бы заменила дяде Гене куртку: куртка у него была чёрная, вытертая на локтях, со скрепкой вместо бегунка на молнии.

Но время шло, куртка у дяди Гены не менялась, а чай пить он оставался теперь обычно только с моей мамой. Мама старалась накормить его маслом, которое ей задёшево продавали какие-то знакомые в поликлинике, однажды подарила две банки с консервами: солёными огурцами и лечо. Кухня у нас была крохотная, стол там стоял впритык к стене, так что уместиться за ним могло только два человека. Я забирала у мамы две тарелки с едой и уносила их в комнату, себе и бабушке.

Бабушку наш гость почти совсем не интересовал. А мне иногда очень хотелось посидеть на кухне и узнать, о чём говорят мама и дядя Гена. Делая вид, что мою руки, я потихоньку подслушивала их из ванной. Но всё подслушанное казалось мне скучным: в разговорах мелькали слова «цены», «Ельцин», «база», «приватизация», «коммунисты»… Только одно слово было смешным и непонятным—«Хопёр». Этот самый «Хопёр», как мне удалось понять, что-то продавал, а потом закрылся. Я рискнула спросить у дяди Гены:

— А что сделал «Хопёр»?

— Денежки мои увёл,—грустно улыбаясь, ответил он мне.

Мне от всего сердца стало жалко дядю Гену. Он всегда улыбался одними только губами, а глаза—ясные, светло-голубые—оставались у него печальными. Я подумала, что надо научиться шить и как-нибудь заштопать дырку в кармане дяди-Гениной куртки.

Дядя Гена стал приносить мне маленькие подарочки: то кедровые шишки, то кусок лиственничной серы, то шоколадные фигурки в фольге. Как-то он подарил мне прозрачный мячик-попрыгунчик, но стоило только подкинуть этот мячик во дворе, как он бесследно пропал. Я тщетно искала его в кустах, у скамеек, светила фонариком в щель у подъездной двери, но подарка нигде не было.

— Ничего. Вырастешь взрослой, будут у тебя дети, выйдешь с ними гулять во двор—а тут и мячик вдруг найдётся. Вот, скажешь, примета моего детства—игрушка-исчезайка.

Я не могу вспомнить, как часто он бывал у нас, но я быстро привыкла к нему и стала считать, что этот человек теперь для нас почти что родственник. В один из дней он спросил у меня:

— А ты отца-то своего помнишь?

— Нет!—бодро, почти радостно ответила я.

— Это хорошо!—обрадовался и дядя Гена.

Он повесил нам на кухне фанерный шкафчик, починил протекающий кран, залатал мои белые зимние сапоги, прибил оторвавшийся плинтус,—и всё это у него получалось удивительно легко, просто загляденье!

Однажды он привёз мне в подарок тёмно-золотистую рамку, в которую можно было вставить мой рисунок деревни. Я с любопытством повертела гранёную рамку в руках и брякнула:
— В тюрьме делали?
— Почему в тюрьме? — растерялся дядя Гена. — Это я сам…

Я извинилась и стала объяснять, что тётя Тома несколько раз привозила мне подобные сувениры — то шкатулочку, то браслет, то какую-нибудь фигурку из хлеба, и я привыкла, что такие занятные штуки умеют делать арестанты. Дядя Гена посмеялся, похлопал меня по плечу и, кажется, впервые показался мне по-настоящему довольным.

И я стала всерьёз подумывать: не залучить ли нам этого дядю Гену к себе? Он добрый, мама с ним становится веселее… Правда, его придётся кормить, но он рассказывал, что умеет собирать ягоды и грибы, даже рыбу ловит в речке, — небось с голоду не пропадём. Я стала вдвойне внимательно прислушиваться к тому, что говорит о дяде Гене мама, и решила потихоньку помогать этим глупым взрослым посильнее влюбиться друг в друга, как это делали девчонки в фильме «Я и моя тень».

Однажды мама обсуждала дядю Гену с тётей Любой:
— Люба, ну разве это мужик? Ходит как бомж…
— Его приодеть можно. Так-то он парень симпатичный.
— Ну, можно… — нехотя согласилась мама. — Главное, конечно, другое. Ну уволили тебя с завода, сократили. Ну помыкался ты месяц, два. Но ты другую-то работу найди! Мужик… руки вроде на месте, ноги, слава Богу, ходят. Так устройся ты на работу нормальную! Нет, переминается… Ещё с «Хопром» этим связался, дурак на поле чудес…
— Ну, на чё-то он живёт…
— Шабашит понемногу… Кабель медный отшелушил, на цветмет продал… Но это же не дело. У частников дрова колет. Печку вроде кому-то перекладывал там, у себя, в Водниках. Грибы, ё-моё, даже собирал и на какой-то пункт сдавал. Мужики вон в строительные бригады объединяются, ремонт, отделку делают. Ну можно при желании дело себе найти! А он мне что говорит? Хвастается, что грибы да бруснику собирает. Топинамбур у себя посадил, тоже ест! Кормовой овощ. Тьфу…
— Стало быть, так ему нравится. Ему для себя хватает.
— Вот то-то и оно, что для себя. Он всю жизнь привык один жить… Боюсь, Любовь, его уже не переделаешь. Не поймёт, каково это, когда у тебя ребёнок есть, пить просит, которого лечить, учить надо…

Я вздохнула: рассказывать, как тяжело поднимать ребёнка, моя мама очень любила.

Мне захотелось побывать у дяди Гены дома, посмотреть, как у него сушатся грибы, узнать, что за инструменты лежат на его чердаке, какие передачи он любит смотреть по телевизору. Он жил в каких-то далёких Водниках, сама дорога до которых обещала для меня приключение.

Хотя мама продолжала ворчать насчёт дяди Гены, я видела, что она всё-таки ждёт его прихода. Однажды в выходной, пока я лепила из пластилина человечков, она отмывала кафель на кухне и — удивительное дело — запела! Мама запела! Не бабушка, не тётя Люба:

А за окном то дождь, то снег,
И спать пора,
И никак не уснуть.
Всё тот же двор,
Всё тот же смех,
И лишь тебя не хватает чуть-чуть.

За окном и вправду творилось что-то непонятное: падал мокрый снег с дождём, дороги не чистились, и пройти по рыхлой снеговой каше от остановки до нашего подъезда было, наверное, не так-то легко. Но я знала, что дядя Гена пройдёт.

Поняв, что мама всё же неравнодушна к дяде Гене, я немедленно увлеклась мыслями о нашей будущей жизни с ним. Вначале я подумала, что он, конечно, переедет к нам и будет спать с мамой на диване, бабушка останется на своей кушетке, а я, так и быть, буду ночевать на раскладушке, которую мы сейчас достаём для тёти Томы. Потом я решила, что каждую ночь на раскладушке спать слишком уж неудобно — нужна кушетка. Но кушетку уже занимает бабушка. Стало быть, бабушку надо куда-то деть. Куда? Само собой — на дяди-Генину дачу! Ведь там у него деревянный дом, огород, рядом лес — красота! Разве не по всему этому скучала бабушка?!

Я уже разворачивала в своей голове целые картины: вот дядя Гена приходит за мной в школу, и я знакомлю его с Володей, вот мы с ним бродим по лесу с большими корзинами под грибы, вот мама хвалит его за пойманную рыбу… А вот мы все втроём приезжаем в Водники к бабушке, которая наконец-то радуется деревенскому дому, свободе и довольно щурится от солнечных лучей.

Эти мысли так сильно занимали меня, что я предавалась им даже на уроках, и Раиса Ивановна стала делать мне замечания:
— Лена! Витаешь в облаках!

Да, я витала, погружалась в сладостные мечты, в которых все, кто мне дорог, были счастливы, и тётя Тома с тётей Любой тоже. Мне страшно хотелось сделать их всех счастливыми, а кто бы мог взяться за это нелёгкое дело, если не я? Бабушка уже совсем старая, а мама постоянно жалуется на жизнь, особенно когда смотрит новости на втором канале, и говорит: «Куда мы катимся? Что будет дальше?» Страшно ей думать о будущем, надо её поберечь и позаботиться о ней.

Я всё же догадалась спросить у бабушки, хочет ли она переезжать в деревенский дом, и она, к моему разочарованию, ответила, что, может быть, и хочет, но жить там одна уже не сможет.
— Почему?—горько удивилась я.
— Там же, дева, надо печку топить, надо хоть мал-мало дрова колоть, а я уже ничё не могу…

Я упала духом и несколько часов пребывала в растерянности, но потом нашла другое решение: раз бабушка уже не может сама жить в деревенском доме, тогда мы оставим её в квартире, а сами переедем в Водники. Правда, я тоже не умею топить печку и колоть дрова, но тётя Люба и сам дядя Гена как-нибудь меня научат… Я сообщила о своём плане Вовке, который, конечно, уже знал про дядю Гену. Друг, хотя поддержал меня, с грустью воспринял новость о моём возможном переезде. Но я заверила его, что разузнаю, какой автобус ходит из Водников, и каждую неделю в субботу стану приезжать к нему.

Я стала подступаться к матери:
— Ты к дяде Гене домой-то ездила?

Она странно посмотрела на меня:
— Ты о чём это?
— Ну, как у него там, дома? Места много?

Мама пожала плечами:
— Ты дачу имеешь в виду? Много места, только холодно там, неуютно. Полы дырявые… А что?
— Ну всё-таки там можно жить?
— Летом можно… Обычно-то ведь он в квартире однокомнатной живёт, такой как у нас. Приглашал и тебя в гости. Да ехать долго, не ближний свет.
— Как?!—возмутилась я.—Он меня уже приглашал, а ты не говоришь?!

Мам рассердилась:
— Что ты вообще пристала?! Скоро Новый год, он сам приедет к нам.

Но на Новый год дядя Гена не приехал—сильно заболел. Мама звонила ему по телефону, а я с нетерпением ждала, когда он поправится и появится у нас снова.

Следующим праздником был тёти-Любин день рождения, и туда выздоровевшего дядю Гену пригласили. Мы уже съели фаршированную рыбу и яичные рулетики с сыром, когда он появился в комнате и торжественно поставил на стол бутылку вина:
— Дорогой имениннице в подарок!

Тётя Люба приподняла бутылку, и стало заметно, что вина в ней налито только две трети. Хохотнув, именинница плеснула красненького себе и пришедшему гостю и предложила выпить:
— За то, чтобы стаканы у нас всегда были наполовину полные, а не наполовину пустые!
— А у меня и закуска есть,—оживился дядя Гена, доставая из широких штанин половину большущей шоколадки.

Мама едва досидела до конца дня рождения, а назавтра долго, очень долго повторяла тёте Любе:
— Это же надо! Как он меня опозорил!
— Лопухнулся мужичок,—соглашалась тётка.—Лучше б, конечно, одну шоколадку принёс, да целую. Или у соседа какого-нибудь занял, раз денег нет.
— Прости, Любовь!—горячо извинялась мама.—Разве я знала, что этот, прости Господи, Гена такое выдаст? Так опозорить!
— Не бери в голову,—махнула рукой тётя Люба.—Он и в молодости был странный. Ты-то здесь ни при чём.

После этого случая дядя Гена больше не появлялся у нас дома. Поняв, что рухнули все мои планы с переездом, грибами, рыбалкой и кем-то похожим на отца, я заревела и кинулась на мать с обвинениями:
— Что ты так на него обиделась?! Подумаешь, человек полшоколадки принёс! В стране кризис, денег нет, «Хопёр» разорился, война Чеченская идёт, а ты жалуешься, что полшоколадки!!

Мама попыталась урезонить меня:
— Пойми ты, что так не делается. На день рождения несут хорошие вещи. Мы что, когда-нибудь дарили тёте Любе полфлакона шампуня вместо целого?

Я насупленно промолчала. Мама продолжала:
— И тем более мужчина должен ухаживать за женщиной, дарить ей подарки. Мы ещё с тобой не затрагивали эту тему, но теперь знай.
— Он подарки дарил,—буркнула я.
— Это какие? Шишки и бруснику? Подарки должны быть другими. Вырастешь—и поймёшь.

Я чувствовала, как из глаз у меня сами собой катятся горячие слёзы:
— Нормальные подарки! Это ты жадная! Много хочешь! Поехали бы к нему в Водники, жили бы там! А полы бы тётя Люба помогла отремонтировать!

Мама рассерженно фыркнула:
— Знаешь что, моя дорогая! Вот вырастешь, и желаю тебе самой встретить такого вот дядю Гену. Тогда поймёшь, что это за сомнительное счастье.

Оставив меня подумать и поплакать, мама ушла на балкон.

О великая сила материнского слова! Я действительно выросла, встретила и поняла. Я узнала, каково это—смотреть на то, как любимый человек, которому ты желаешь всяческого блага, потерял себя в этой жизни и, пытаясь отыскать, бродит по лесам и плавает по речкам. Я собирала вместе с ним бруснику, лазила на горы и извинялась перед подругой за его странности…

Но—была счастлива.

Глава 5. Побег

Когда я пошла в третий класс, мама устроилась на вторую работу, в частную клинику. Там обещали небольшую, но стабильную зарплату. Без

этой подработки нам было попросту не выжить: в поликлинике мамина получка стала не дотягивать даже до миллиона, а бабушкина пенсия была вовсе невелика.

На второй маминой работе я бывала часто. Туда к ней приходили богатые тётеньки. Они ложились на кушетку, мама подключала к ним аппараты, и тётеньки худели, попутно изливая маме душу. Мне их рассказы были скучны и непонятны, но в памяти осталось, как мама делилась с тётей Любой чьей-то историей:

— «Я,—говорит,—живу как в золотой клетке. У меня и деньги есть, и одежда, но я не могу никуда выйти. Только сюда, в салон красоты, и к маме с сестрой». Вот жизнь-то!

— Несладко бабоньке. Богатые тоже плачут,—посочувствовала тётя Люба.—А мы с тобой, мать, свободны как ветер, только что в карманах пустота. Зато никто за нами не следит. Гуляй—не хочу!

Я молча согласилась с тётей Любой и подумала, что уж за богатого нипочём замуж не пойду. Охота была сидеть в золотой клетке!

После частной клиники мама возвращалась домой, наскоро готовила ужин и усаживалась со мной за уроки. Русский и чтение я могла сделать, пока была дома с бабушкой или на маминой работе. Английский язык, к моему счастью, мама не знала от слова «совсем», поэтому я делала его сама, как могла. Зато к математике, природоведению, изо, трудам и предмету под названием триз («Теория решения изобретательских задач») я даже не прикасалась без маминой команды.

— Ну, Лена, открывай уроки,—говорила мне мама часов в девять или десять вечера.

Вначале она тщательно проверяла у меня русский, потом просматривала дневник и, если назавтра значились изо или труды, принималась за них. Когда нам нужно было сшить мягкую игрушку, мама нашла чертёж милейшего Чебурашки, ловко обрисовала контуры деталей на куске плюша и заставила меня их вырезать. Я повторяла стихотворение, погружаясь в дрёму, а мама до часу ночи шила Чебурашку. Он получился чудным: с зелёными глазами-пуговицами и милой, застенчивой улыбкой из алого сатина. Ребята восхищались моей игрушкой, но мне в глубине души хотелось сделать что-нибудь страшненькое, кривоватое, зато своё.

Такая же история была и с рисованием. Мама считала, что я не умею рисовать красками, поэтому, посмотрев задание по изо, сперва тщательно выбирала картинки, с которых мне предстояло срисовывать людей, деревья, дома, потом усаживала меня за карандаш и ватман, а после уж сама раскрашивала то, что получилось. Я робко возражала ей, что помогать не надо, что я справлюсь сама, но мама была уверена, будто я крашу неаккуратно, да к тому же не умею подбирать цвета. Поэтому она сидела над картинками сама—то в выходной, то до ночи, вызывая упрёки бабушки:

— Ни сама не спишь, ни людям не даёшь…

— Так ты спи,—говорила мама.

— Я не андел, при свете-то спать не могу…

Мама тщательно вырисовывала ветки деревьев, прутья забора, тротуары, перила, узоры на одежде. Иногда она даже отправляла меня спать и доделывала всё сама, а утром я видела перед собой идеально закрашенную многоцветную картинку, в которой не было ни одного случайного пятнышка. Однажды нам задали нарисовать вид из окна, и тут я замучилась, изображая и переплёты на окнах соседнего дома, и собаку на чьём-то балконе, и рекламу на гараже. Около часа ночи я попросилась спать, а мама всё раскрашивала, неутомимо обмакивая кисточку в воду и набирая новый цвет для отделки очередной детали. Она тогда легла около четырёх часов, а в шесть с половиной уже встала, чтобы собраться в поликлинику. Картину нашу повесили на втором этаже школы.

Но рисование—это было полбеды. Настоящее бедствие являла собой математика. До первого класса я сносно решала примеры на сложение и вычитание, справлялась с простыми задачками из весёлой книжки Остера, могла начертить простые фигуры и сложить несколько узоров «Уникуба». Но в школе вслед за первым и вторым десятком пошли двузначные числа, которые надо было как-то складывать, вычитать и, наконец, самое страшное—умножать и делить.

Умножение во втором классе мама вбила в мою голову нудными объяснениями и деревянной линейкой.

Я наивно думала, что уже постигла арифметическую премудрость, но к середине третьего класса началось деление. Мама поначалу действовала упорством, терпеливо показывала мне, как нужно выполнять примеры. Я смиренно слушала, пыталась запомнить, но потом всё равно делала ошибки. Мама кричала, ругалась, а однажды даже подошла к иконе Богородицы, которая висела у нас на кухне, и воскликнула отчаянно:

— Господи! Дай Ты ей ума!

— Не чересчур бы много,—откликнулась из комнаты бабушка.

Однажды случилось так, что мама пришла с работы поздно, потом ещё занималась на кухне каким-то варевом, и села со мной за уроки уже после десяти часов. После «лёгких» уроков мы принялись за математику.

Математику в те времена преподавали не простую, а развивающую. Героями ярко-голубого учебника были бабушка Варвара и четверо гномов: Дитрих, Руди, Аристарх и ещё один, имя которого стёрлось из моей памяти. Неугомонная бабка сажала огород, вязала гномам носки, красила

пол, и все эти метры земли, мотки пряжи, банки краски надо было бесконечно подсчитывать, да ещё и рисовать на каждый случай какие-то мерки и схемы.

На сей раз бабушка Варвара накупила гномам целую кучу конфет, и нет бы отсыпать каждому по горсти, так задала задачу разложить эти конфеты в коробку, да ещё с нелепым условием: чтобы в одном ряду было не больше стольки-то штук. Есть же такие люди: вроде и сделают добро, а взамен столько тебя намучают, что проклянёшь их подарки и помощь!

Мама, сама изрядно уставшая, вталдычивала мне условия задачи, рисовала какие-то клетки, повторяла про увеличение мерки. Я пыталась слушать её, но глаза у меня сами собой слипались, и я была в состоянии думать только о том, что завтра будет пятница, последний учебный день, что Володя обещал показать мне свою коллекцию смурфиков из «Киндер-сюрприза» и подарить одного, который мне больше всех понравится.

Мама спросила, всё ли мне понятно. Я, разумеется, ответила, что всё, но решить ничего не сумела. Закипая, родительница принялась объяснять мне задачу во второй раз.

Я, конечно, сидела смирно и делала вид, что слушаю, но голова сама собой клонилась к столу, и, сколько бы я ни пыталась стряхнуть сон, он подкрадывался ко мне, как кошка на мягких лапах, чтобы поймать в свои объятия и утащить прочь от всяких мерок и таблиц.

Когда я опять не смогла написать ничего толкового, мама швырнула в меня учебник, стала трясти за плечи и кричать, что я не сойду с этого места, пока не сделаю домашку.

Во мне взыграла обида, и я, подскочив, стряхнула со стола тетрадь и пенал, а несчастный учебник математики подобрала с пола и с наслаждением швырнула в стену.

— Вот тебе! — крикнула я проклятой голубой книжке. — Я тебя порву, растерзаю, выброшу!

Мама вдруг обрела хладнокровие и скептически промолвила:

— Ну-ну. Порви.

— И порву! — воскликнула я, но уже с шевельнувшимся опасением.

Я закинула учебник на шкаф, надеясь, что оттуда мама его не скоро достанет.

— Села быстро! — приказала мне родительница. — Ты у меня будешь делать, что я скажу.

Я вспыхнула. Нет, до каких пор это может продолжаться? К чёрту всю эту математику, деление, домашку! Я вообще не хочу больше оставаться здесь!

— Прощайся со мной! — крикнула я маме.

Я схватила старый советский портфель с енотом, который мне подарила одна тётенька с завода, и стала складывать в него всё, что могло пригодиться в пути. Я вытащила из шкафа две пары носков, три пары трусов, одни шерстяные колготки и всё это уложила в рюкзак. Немного подумав, кинула тапочки и расчёску.

В тот момент я была серьёзна как никогда. Вытирая бегущие по разгорячённому лицу слёзы, я думала, что переночую в подъезде, а утром сяду на троллейбус «пятёрку» (у меня хранился тайный запас в семь или восемь тысяч) и доеду до железнодорожного вокзала. Там прокрадусь на какой-нибудь поезд, который идёт на север, а может быть, на юг... На юг, пожалуй, лучше: там тепло и, наверное, есть море. И никакой больше математики!! Я попрошусь куда-нибудь в столовую мыть посуду или буду мести двор. Теперь я это уже умею, значит, заработаю. Главное — продержаться до лета, а там я напишу письмо Володе, и он приедет ко мне...

Вытирая слёзы, я решительно направилась к книжному шкафу и вытащила оттуда «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

— Мать, ты глянь-ка, чё она делает... — пробормотала бабушка. — Она ведь правда уйдёт.

— Ну конечно, — усмехнулась мама. — Куда ей идти?!

Чувствуя, что к горлу опять подступает комок, я прошмыгнула на кухню и схватила со стола первое увиденное — завёрнутый в пакет из-под молока кусок белого хлеба.

В коридоре мама уже без усмешки смотрела на то, как я надеваю шапку, белые сапоги, застёгиваю красную искусственную шубу. Накинув на одно плечо рюкзак с енотом, я отомкнула дверь и выбрела в коридор.

Не видя ничего перед собой, я наугад нажала кнопку лифта, вошла внутрь и ткнула на первый этаж...

Мама каким-то чудом оказалась уже внизу. Она сгребла меня в охапку, отобрала портфель и втолкнула обратно в лифт. Она повторяла одни и те же слова:

— Ты что, правда?! Ты что же, правда?!

Я опять заплакала, но уже не зло, а обессиленно. Мама впихнула меня в квартиру, раздела, уложила на диван. Бабушка что-то причитала, мама отвечала ей, но я их не слушала, погрузившись в усталое равнодушие. Уже на пороге сна я неожиданно вспомнила:

— А математика?

— Какая математика?! — всплеснула руками мама. — Спи! Я тебе сделаю всё... Завтра с черновика перепишешь.

Я погружалась в блаженный отдых, с наслаждением вытягивала ноги на прохладной простыне и выхватила краешком сознания, как родительница, потроша мой портфель с енотом, повторяла:

— Нет, она же сумасшедшая... Она всё может... Сумасшедшая. Такие в партизаны шли.

С тех пор мама отступилась от меня с уроками. Она, конечно, продолжила их проверять, пыталась объяснять все темы и задания, но если мы чего-то не успевали после двенадцати, мама, потеряв надежду качественно объяснить мне материал, сама писала всё нужное на листочке. О прикладных предметах и говорить было нечего: тут она продолжала рисовать, клеить и шить по большей части самостоятельно. Как, к сожалению, и многие другие мамы из нашего класса, судя по прекрасным поделкам и плакатам, которые приносили на уроки мои товарищи.

Третий класс незаметно подошёл к концу. В двадцатых числах мая мы с родительницей, наряженные и с завитыми на термобигуди локонами, отправились поздравлять тётю Тому, праздновавшую в том году свой юбилей. По дороге я напевала недавно разученную в школе бодрую весеннюю песенку:

У дороги чибис,
У дороги чибис,
Он кричит, волнуется, чудак!

— Перестань ты орать, а?—просительно сказала мне мама.—Привыкли с бабушкой голосить с балкона, людей пугать…
— Не бойся!—махнула я рукой.—Машины гудят—не слыхать ничё!

После шумного Свободного проспекта я всё-таки замолчала, но спокойно идти не могла: ведь впереди был тёти-Томин день рождения, а потом лето—яркое, звенящее, весёлое! Тротуары были устланы опавшими и уже подсыхающими пурпурными серёжками тополей, черёмуха одуряла кондитерским запахом, а небо сверкало, как чисто вымытое зеркало. Нарядность весны затмевала бедность кварталов на Маерчака и Калинина, унылых и грязных в зимнюю пору. На фоне пышного праздника природы не замечались изгаженные граффити стены двухэтажек, битые стёкла, шприцы и мусор. Из всех домов, жилых и заброшенных, в детстве привлекал моё внимание только один. Это был красный кирпичный особняк, расположенный по ту сторону улицы Калинина, которая была ближе к железной дороге. Он казался мне похожим на средневековый замок—и огромной толщиной стен, и высокими узкими окнами, и зубчатыми круглыми башенками. Я думала, что в таком большом доме должно жить много людей, но даже сквозь высокий забор было видно, что пространство около него всё поросло бурьяном.
— Мам, а почему этот дом пустой?—спросила я.
— Хозяин помер, видно. Бандитом был, свои уложили. Вот и дом бесхозный остался,—усмехнулась мама.—Полягут они когда-нибудь все. Отольются им наши слёзы.

Я посмотрела на неё с удивлением, но уже через несколько секунд вновь стала думать о лете, о том, как с Витькой и Танькой—братом и сестрой, соседями по подъезду,—стану ходить по дворам и собирать бутылки, сдавать их в ближайшем магазинчике и покупать жвачку «Лав из» или «Турбо» за тысячу, вкуснейшую китайскую лапшу «Александра и Софья» за две тысячи, а если повезёт, то и «Марс» или вафли «Кукурука»…

За тёти-Томиным столом были и уже знакомые мне Снежана с её сыном, и около десятка других родственников и знакомых. Я основательно заправилась картошкой, курицей, греческим салатом и тортом «Черепаха». Кто-то из гостей или соседей вынес во двор двухкассетный магнитофон. Из больших динамиков послышался стук барабанов, заискрилась весёлая мелодия, и под песню про мальчика, который неведомо почему хочет в Тамбов, мы с Сашкой и какими-то девчонками скакали и носились по двору. Потом, немного отдохнув, прыгали с невысокого гаража, пускали мыльные пузыри и расстались в самом хорошем настроении.

Для полного счастья мне хотелось ещё остаться у тёти Томы ночевать, но в синих сумерках мы с мамой вернулись на остановку и сели на покачивающийся четвёртый троллейбус, который, проплыв уже пустынную улицу Калинина и весь Северо-Западный район, вернул нас домой.

Я снова погрузилась в сладостные мечты о лете и успела даже подумать, что, может быть, тётя Люба снова возьмёт меня в деревню. Но мама огорошила меня новостью:
— Тебе к началу июля нужно ложиться в больницу.

Я так и подскочила с дивана:
— Зачем?! Ничего же не болит!!
— Мало ли что не болит. Ты в два года, а потом в пять лет с почками лежала, с пиелонефритом. Так, думаешь, это бесследно проходит? Надо всю жизнь, по-хорошему, проверяться. Ляжешь на обследование.

Я начала ворчать, и мама добавила:
— Тем более не на всё лето. Две недельки, максимум три, и гуляй ты в своём дворе…

Июль наступил быстро. Меня положили на четвёртом этаже краевой детской больницы. Из окна палаты были видны дорога и краешек прохладной сосновой рощи, куда очень тянуло убежать.

Моей соседкой по палате была симпатичная кареглазая девочка из маленького городка. Первым делом после знакомства она спросила меня:
— Ты что слушать любишь?

Я назвала ей несколько песен из нашего семейного репертуара. Девочка округлила глаза и укоризненно сказала:
— Ну ты даёшь. Сейчас все «Нэнси» слушают. Ещё Таню Буланову. И Женю Белоусова. И Влада Сташевского.

Девочка (звали её Света) привезла с собой кассетный плеер и дала мне послушать «Нэнси»

и Сташевского. Мне понравилась песня про девушку мечты, которую нарисовали, да любви её так и не получили.
— Ты из какой деревни-то?— спросила меня Светлана.
— Из главной,— ответила я.— Называется Красноярск.

Света была удивлена.
— А что делаешь, если музыку не слушаешь?
— Читаю,— ответила я.— Ещё рисую.

Рисунки мои девочке очень понравились, и мой имидж в её глазах несколько улучшился. Добавили мне плюсов и «Сказки Западной Европы», которые я принялась пересказывать девочке по вечерам.

Она научила меня стирать на руках и причёсываться. Я носила длинные волосы, и моя соседка с удовольствием расчёсывала и заплетала их, используя целый ворох привезённых с собой резиночек и заколочек. У моей новой подружки была густая чёлка до бровей, которая показалась мне очень красивой. В один прекрасный день я свесила большую прядь своих волос на лоб, взяла ножницы и решительным движением отчекрыжила себе чёлку.
— Ну как?— поспешила поинтересоваться я у Светы и двух других ребят из соседней палаты, с которыми мы тоже стали общаться.

На меня смотрели сочувственно.
— Знаешь, Лена… Тебе чёлка не очень идёт.

Я придирчиво оглядела себя в зеркале. Чёлка и вправду лежала как-то кривовато и не сказать чтобы красила меня. Веря, что любое нечаянное действие всегда можно исправить, я снова схватила ножницы и обрезала этот неудачный эксперимент под корень.

Светка так и ахнула, а я, поплевав на руку, пригладила ёжик и уверенно изрекла:
— Так тоже интересно.

Спустя неделю нам всё-таки стало скучно в больнице. Из развлечений у нас были телевизор, который выключали после восьми часов, игровая комната, работавшая до пяти вечера, альбомы с карандашами и Светкин плеер с модной музыкой. После восьми мы забавлялись моими сказками, чтением журнала «Попкорн», несколько номеров которого оказалось у мальчика из соседней палаты, и ловлей тараканов, которые поздним вечером обильно выползали в санузел и коридор. Мы хлопали их тапками и, насобирав порядочное количество, выбрасывали в мусорку. Однажды я и соседский мальчик даже устроили соревнование, кто больше тараканов поймает за час. Кажется, он победил.

Вдобавок ко всему на город опустилась жара. Нас выпускали гулять исключительно с родителями, которые, само собой, работали и могли навестить своих болящих отпрысков только по вечерам. Утром и днём нам приходилось томиться в четырёх стенах. Мы спрашивали медсестёр, можно ли выйти погулять, но они разрешали прогулку в присутствии если уж не папы и мамы, то какой-то специальной тётеньки, назначенной приглядывать за нами. Эта тётенька была почему-то занята, и нам оставалось ждать вечера и слоняться по больничным коридорам, ища прохладу возле приоткрытых окон.
— До каких пор это может продолжаться?!— возмутилась однажды я.— Сидим мы тут взаперти, сидим и не боремся за свои права. Нам свободы не дают, а мы терпим!
— Это точно,— согласились ребята.
— Так надо убежать!— загорелась я идеей.— Неужели мы не можем хотя бы на какой-то час выйти погулять? На дворе лето, а мы все тут торчим.

Ребята грустно кивали, а соседский мальчишка спросил:
— Как же нам выйти?

Я задумалась и через несколько секунд сказала:
— Устроим…

Внизу около стеклянной двери, ведущей на улицу, был пост, где дежурили молоденькие медсёстры. План побега родился у меня спонтанно, когда я увидела, что к стеклянной двери подошли какие-то мужчина и женщина, которые, похоже, не спешили уходить, а что-то внимательно читали на противоположной стене.
— А к нам с сестрой пришли,— я выхватила Светку за руку и притащила к посту.— Вон они стоят.

Света увереннейшим образом кивнула головой и состроила милые глазки.
— Ну мы пойдём?— непринуждённо спросила я и для верности помахала своим названым родителям через стекло.

Медсестра разрешила нам выйти, но начала что-то искать в столе и, похоже, не найдя, сказала неизвестно кому вслух:
— Надо сходить…

Не договорив, она поспешно выбежала в коридор.
— А вы что стоите?— махнула я соседям из другой палаты.— Пошли скорей к нам!

От крыльца мы поскорей рванули в сосновую рощу и метрах в трёхстах от забора больницы остановились, переводя дух.
— А что теперь делать?— спросила меня соседская девочка.

Я оказалась в затруднительной ситуации, в какую попадают все прошеные и непрошеные благодетели, когда «доброе дело» уже сделано, а вместо благодарности предвидятся вопросы и непонимание.
— Как что?! Гулять! Сейчас будем собирать грибы!— нашлась я.— Мы со Светой идём в эту сторону, вы— в ту! Соревнуемся, кто наберёт больше!

В урожайный год маслята и шампиньоны в Красноярске растут прямо в городе. Нам повезло:

совместными усилиями мы отыскали штук пять или шесть грибов и сложили трофеи в общую кучку.
— У меня бабушка возле ДК «Кировского» каждый год ходит за подтополёвиками,— похвастался мальчик-сосед.

Светку передёрнуло:
— Их же нельзя есть! Они отравленные!
— Сама ты отравленная… Бабушка маринует каждый год. У нас ещё и кабачки с тыквами возле подъезда растут. Всё едим.

Я запереживала, что ребята поссорятся, и с не остывшим энтузиазмом предложила:
— Теперь шишки будем собирать! Потом из них поделки сделаем в больнице!

Мои подопечные кинулись на поиски шишек, а я вдруг увидела, как сквозь золотистые стволы сосен к нам стремительно приближается какая-то белая фигура. Зрение в тот год у меня уже начало сдавать, так что я далеко не сразу поняла, что это всего-навсего медсестра, и спервоначалу изрядно струхнула.
— Нашла! Нашла!— ошалело кричала она, пытаясь прямо на ходу уцепить Светку за кофту.— Ой, хулиганы!

Она причитала высоким голосом, ругала нас хулиганами, обманщиками и врединами, но все эти слова звучали у неё нисколько не обидно— наоборот, как-то жалостливо.
— Вы знаете, что со мной сделают, если вы пропадёте?!— воскликнула с тоской медсестричка.
— Нет,— честно ответили мы.
— Голову с меня снесут, вот что!

Я была поражена. Мне не приходило на ум, что наше безобидное желание погулять принесёт кому-то такие беды.

Медсестра привела нас четверых к главному врачу. Главврач, усатый плотный дядька, вперился в нас изучающим взглядом и вопросил довольно сурово:
— Ну и кто всё это придумал?

Я молча сделала шаг вперёд и, набравшись смелости, посмотрела на него. Главврач стал глядеть на меня ещё пристальнее.
— Жарко очень. На улицу хотелось…— вздохнула я.
— Выходит, ты придумала?

Я медленно кивнула.
— Молодец,— неизвестно за что похвалил меня главврач.— Ну и как нам вас наказать?

Медсестра, будто опомнившись, зачастила словами:
— Вот эта девочка высокая… вот она подошла ко мне с этой, тёмненькой, и говорит: «Там наши родители». Я ещё хотела отметить фамилии, а смотрю— списка нет. Я побежала…
— Понятно это,— остановил её главврач.— Что они не любят, эти чудо-дети?
— Спать!— обрадованно крикнула медсестра.— Всё время по ночам шараборятся да смеются.
— Ну, вот и выход. Пусть прямо сейчас идут и спят. И не выходят из своих палат до обеда. Чтоб лежали тихо, как мыши!
— А после обеда что, опять спать?— грустно вопросила Светка.
— Не опять, а снова. Сам буду контролировать. Марш в палату!

Ах, как часто во взрослой жизни вспоминалось мне это наказание сном! Когда оно успело превратиться в награду?

Мама всё-таки устроила мне в то лето настоящий отдых. Когда я вернулась из больницы, обогащённая новыми знаниями о музыкальных группах и опытом стирки мелких вещей, она обильно накормила меня печёной цветной капустой в сухарях, сахарным горохом, смородиной и объявила:
— Звонили из соцзащиты, неожиданно дают тебе путёвку в лагерь. Поедешь?
— Поеду!— немедленно согласилась я.

Лагерь находился в Сосновоборске. За пару дней до отъезда мы отправились на КрасТЭЦ— китайский рынок, вещевые ряды которого неимоверно пахли резиной и пластиком. Мама накупила там для меня всякой всячины: миниатюрную юбку-резинку ядрёного зелёного цвета, вельветовые бермуды, штуки четыре футболки, силиконовые вьетнамки, разнообразные резиночки и заколочки.
— Будешь там не хуже других одета!— радовалась она.

Но главной нашей покупкой стала шикарная разноцветная сумка с надписью «Coca-Cola». Эта сумка прожила долгую и весьма насыщенную жизнь: она бывала со мной во всех последующих «лагерных» поездках, в ней я перевозила вещи на свою первую отдельную квартиру, в неё неоднократно складывали картошку и прочие огородные дары знакомые из деревни. А однажды сумка даже побывала в Париже: мама одолжила её моей однокласснице, и на одной фотографии, сделанной во французской столице, очень чётко видна моя замечательная сумка с расцветкой и надписью девяностых.

Девочки в лагере с порога комнаты встретили меня расспросами:
— Ты где живёшь?
— Наклейки собираешь? Какие?
— А чупа-кэпсы?
— Видела фильм с сёстрами Олсен? Тебе кто из них больше нравится?
— Журнал Cool читаешь? У нас несколько номеров лежат.
— Сериалы какие смотришь? Мы— «Элен и ребята». И «Секретные материалы».
— «Инвайт» с каким вкусом любишь? У нас малиновый и ананасовый есть.

Переведя дух, я не спеша ответствовала, что хотя видела и читала не всё, но вполне понимаю,

о чём ведётся речь, продемонстрировала тетрадку с приклеенными вкладышами от жвачки «Лав из» и была единодушно принята в местную девчачью компанию.

На открытие лагеря нам устроили шикарную дискотеку, где мы, одетые кто в спортивные костюмы, кто в джинсу, отплясывали под «Иванушек», «Руки вверх» и ставшего модным Рики Мартина с его песней Livin' la Vida Loca. Мне казалось, что пылкий пуэрториканец кричит и жалуется: «Обдурился я! Время любви далёко!»

Лагерь, как любая детская организация, жил по расписанию, но свободы нам давалось достаточно. Мы ходили гулять в лес неподалёку, собирали малину и крупную костянику.

Я жила в одной комнате с тремя соседками, а в соседней располагались ещё три девочки. Больше всех я сдружилась с Наташей, степенной девицей, которая, когда сердилась, смотрела на виновников беспорядка по-учительски укоризненно. Наташа охотно рассказывала о своём брате, дедушке, маме, показывала мне их фото. Отец её тоже не жил с ними—ушёл, верней, ему пришлось уйти, когда он сильно пристрастился к выпивке.

— А я про папу своего вообще не знаю. Мама не говорит,—сказала я.

— Тоже, значит, пил, как мой,—вздохнула Наташа.—Кругом одно и то же. Пьют мужики.

Эту серьёзную девочку с толстой косой принялась дразнить белокурая бестия Соня. Наташа была неловкой, однажды поскользнулась и упала на физзарядке, и Соня—сама гибкая, прыгучая—стала откровенно насмехаться над ней. Наташа приходила ко мне в комнату и жаловалась, что Сонька перепрятывает и перекладывает её вещи, испачкала кремом полотенце, передёргивает её слова и походку. Всё это было хоть неприятно, однако терпимо. Но когда плачущая Наташа сказала мне, что Сонька ночью разлила на её вещи газировку, чтобы все думали, будто она описалась, я возмутилась по-настоящему:

— Так! Больше это продолжаться не может!

— Я не буду с ней спать!—плакала Наташа.

— Не будешь!—неожиданно для себя поддержала я её.—Это я с ней буду спать вместо тебя!

Натаха удивлённо привстала с кровати.

— Ты это всерьёз?—прошептала она.—Сонька очень вредная…

— Всерьёз, всерьёз. Надо же что-то делать!—бодрила я сама себя словами.

Наташа растерянно улыбнулась:

— Тогда нужно постельное переменять.

— Зачем?—не поняла я.

— Ну как же? Ты же после меня не будешь спать на этой простыне. Постелем мне мою.

Подумав, что некоторые всё-таки любят излишние сложности, я согласилась и нехотя стала стаскивать пододеяльник.

Сонька встретила меня насмешливо. В глубине души я и сама побаивалась жить с ней в одной комнате. В плане ловкости я недалеко ушла от Наташи, и подразнить меня, как всякого человека, разумеется, было за что. Сонька уже ехидно поинтересовалась, не писаюсь ли я по ночам, как некоторые, и мне становилось всё больше не по себе.

Спасла меня гроза. Рамы у окон в лагере были старые, фрамуги открывались на себя и, когда к ночи задул крепкий ветер, предательски пошатывались и гремели.

— Как страшно!—прошептала Рита, тоненькая девочка небольшого роста.

Соня проворчала, что такая мерзкая погода не даёт ей спать:

— Сейчас ещё молния как шарахнет по нам… Между прочим, может и человека убить.

Она забилась в угол и закуталась в одеяло.

А мне до смерти захотелось вдохнуть свежий запах дождя.

Я забралась на стол, открыла верхнюю фрамугу и высунула голову в окно.

— Ты сумасшедшая!—закричала Сонька.

— Знаю!—крикнула я, подставляя лицо под тёплые водяные потоки.

Я выскользнула обратно и собралась открыть другое окно—большое, нижнее, но девчонки завизжали хором и замахали на меня руками.

— Ладно уж,—как бы снисходительно сказала я, закрывая крюк.—Хорошо-то как в грозу! Я вот люблю дождь!

— Дождь и я люблю,—сказала Соня.—Но не такой же! Тихий, тёплый. А это безумие какое-то.

— Зато красиво! Молнии золотые сверкают… И вода шумит, как масло на сковороде. Небо такое тёмное, бездонное… Красота!

Назавтра о моих подвигах доложили начальству, то есть воспитательнице. Факт самовольного переезда в другую комнату был налицо, Наташка при первом допросе свалила ответственность на меня, а о том, что вчера ночью я высовывала голову в окошко, доложила уже Сонька. Причём последнее обстоятельство было ещё и приукрашено: по словам моей соседки, я ещё и стояла на краю подоконника, якобы собираясь прыгнуть.

— Это она уже врёт!—защитилась я.

Насчёт окна воспитательница поверила мне, но за переселение отругала и лишила полдника. Впрочем, поговорив с Наташей и Сонькой, разрешила остаться нам на новых местах.

Я взяла с собой в лагерь множество интересных вещей: россыпь винтиков, пластилин, изоленту, наклейки, складной ножик, свечку и спички. Принеся однажды из столовой кусок хлеба, я задумала немного поджарить его на свечке, чтобы стал хрустящим. План удался: хлебушек обуглился,

но стал как будто чуть ароматнее и, кажется, впрямь слегка хрустел.

Я стала таскать хлеб с ужина и паужина почти в оптовых масштабах. Тосты на свечке по моему рецепту полюбились и Соне, и Натахе, и другим девчонкам. Обнаружив под моей подушкой хлебный склад, воспитательница во второй раз наказала меня, запретив идти на самодеятельное шоу «Угадай мелодию».

Был чудесный тёплый вечер, до меня доносились радостные возгласы участников игры и всплески музыки. Я заплакала от обиды. Что же я сделала плохого?! Спасла девочку, угощала всех вкусным хлебом… И меня же за это ругают. Вот уж правильно говорил кто-то: «Не делай добра — не получишь зла». Ничего хорошего всё-таки нет в этом лагере… Не такой была моя Раиса Ивановна… Она бы уж, наверное, не стала меня ругать за добрые поступки.

Затаив обиду на воспитательницу, я спустя пару дней после этого шоу затеяла с Ритой и Сонькой какую-то шумную игру в тихий час. Тут же появилась воспитательница. Мои соседки немедленно попадали по кроватям, делая вид, что спят. Я же демонстративно осталась стоять посреди комнаты. Воспитательница вздохнула и за руку отвела меня в коридор, велев ждать её там к концу тихого часа.

Я стояла одна в скучном коридоре и с тоской думала, что меня никто не понимает. Пришла не совсем серьёзная, но сладкая мысль о том, что надо убежать отсюда, раз ко мне относятся так несправедливо. Начав размышлять в этом направлении, я стала вспоминать, как мы добрались на автобусе до лагеря, и, кажется, припомнила дорогу.

«Если что, можно будет и у прохожих спросить, — говорила я себе. — Ну и что, что нету денег? Можно в крайнем случае и на машинах доехать».

Погружённая в свои планы, я не заметила воспитательницу, которая возникла прямо передо мной и изрядно напугала неожиданным появлением.
— Лена, зачем ты это делаешь? — спросила она.
— Что? — притворилась я.
— Зачем хлеб таскала, на сон-часе кричала?
— Так я обиделась, что вы не разрешали Наташку переселять.
— Я не разрешала?! Я такого не говорила. Говорила другое: надо было предупредить меня. Объяснить, что, как, почему. А то твоя Наташа молчит и терпит, а ты самовольничаешь. А хлеб зачем брала? Тебя что, дома не кормили?

Я как-то сразу смутилась.
— Хлеб — он, понимаете, очень вкусный… Такой белый, свеженький. А когда его на свечке ещё поджаришь, получается неповторимый аромат…

Воспитательница усмехнулась.
— М-да, художественно описываешь. Ну что ж, выведем вас всех в лес, разведём костёр и поджарим хлеб и сосиски. А тут нечего тараканов разводить.

Я согласно кивнула.
— Больше ты ничего не хочешь сказать?
— Нет пока…

Воспитательница молчала и пристально смотрела на меня. Я совсем не догадывалась, что стоит извиниться, и пустилась в красочные воспоминания:
— Знаете, хлеб когда свежий — так вкуснее лакомства нет. Вот маме моей в этом году от соцзащиты дали такую льготу: бесплатно хлеб в пекарне получать. Я туда бегаю через день. Прибежишь, а он такой мягкий, душистый! А корочка такая хрустящая… Пока до дома его несу, корочку и сгложу всю. А хлеб, жалко, только через день выдают. Думают, мы два дня его едим.

Воспитательница задумчиво кивнула и сказала, что я могу быть свободна. Мне уже никак не хотелось огорчать её, я послушно ушла в комнату и пролежала весь остаток тихого часа на кровати, не говоря девчонкам ни слова. Вечером после ужина воспитательница встретила меня на крыльце корпуса. Вечер был такой тихий, щемяще нежный, что многие из ребят и взрослых наслаждались им, просто сидя на ступенях или лавочках возле корпусов.
— Лена, ты где живёшь? В Красноярске? — спросила меня воспитательница.
— Ага.
— С кем, с мамой?
— С мамой, с бабушкой, — охотно отозвалась я на вопрос, очень радуясь, что между нами убрана какая-то мешавшая преграда. — На окраине мы живём, — прибавила я, зачем-то желая подчеркнуть, что не в центре, хотя до настоящей окраины нашему дому было ещё очень далеко.
— Там и огород у вас есть?
— Есть, — почему-то соврала я. — Кабачки выращиваем, картошечки полоску, ну и так, по мелочи — зелень, редиску… Бабушка подтополёвики собирает в парке возле дк. А ещё у нас дядя есть — он в Водниках живёт. Он по тридцать килограммов грибов за сезон берёт! Бруснику берёт, ягоду морозит, изо всякой травы чай делает. И шишки с кедров бьёт. Ударит в кедр — шишки сверху валятся! Ещё тётя есть у нас из деревни, одежду шьёт; и другая тётя — та медсестрой работала и на Крайнем Севере жила. Она рыбу очень любит, солить её вкусно умеет.
— Большая у тебя семья, — сказала воспитательница.
— Ещё какая, — согласилась я.
— Нравится тебе в лагере?
— Да, — ответила я просто.

Воспитательница улыбнулась и некоторое время помолчала.
— Поможешь мне список номеров составить для концерта? И вместе с Соней плакат сделаете на ватмане.

Я с удовольствием согласилась. Мне больше не хотелось куда-то бежать. Здесь было хорошо.

Глава 6. Чудеса

В последние дни тепла, в пору угасающего лета, бабушка вдруг позвала меня и, смотря тускло-голубыми глазами в неведомое, сказала:

— Пиши. Я тебе буду говорить, а ты пиши.

— Что писать? — не поняла я.

— Бери бумагу.

Голос бабушки был ровным и уверенным. Я принесла альбомный лист, фломастер и села на полу возле её ног. Положив руки на колени, она стала медленно и отчётливо диктовать мне:

— Отче наш, иже на небесех… Да святится имя Твоё. Да придёт Царство Твоё…

На словах «воля твоя, яко на небеси и на земли» я запуталась и написала: «воля двоякая на небеси и на земли», а потом вместо «даждь нам днесь» отметила «дождь нам нёс» — вышло, что хлеб наш насущный принесёт дождь, и это было очень даже складно: какой хлеб без летнего тёплого дождя?

Я уже со второй фразы догадалась, что пишу молитву, поняла даже, что в конце надо просить избавить от какого-то хитрого человека, но не могла уразуметь, что означает: «Не введи нас во искушение».

— Значит — по силам нас испытай, — сказала бабушка. — Ты не думай пока, просто знай! Ты и так много думаешь.

Я кивнула в знак того, что поняла.

— А когда тебе страшно будет, то крестись. Смотри на меня: пальцы в щепоть, клади на лоб, на пупок, на правое плечо и на левое плечо, — учила бабушка.

Я несколько раз попробовала перекреститься.

Бабушка умерла под утро. Я слышала, как она хрипела и пыталась что-то сказать, а мама держала её за руку и вкладывала в рот таблетку. Приехала скорая. Врач с усталым лицом потребовал:

— Ребёнка в другую комнату.

— Да была бы она у нас, эта комната-то! — воскликнула мама. — Одна и спальня, и едальня.

Врач подошёл к бабушке, потрогал её за руку, за шею и через время сказал:

— Повезло ей. Инсульт, мгновенная смерть. Некоторые годами лежат, родственники ухаживают. Ваша бабушка избавила вас от мучений. Она умерла легко.

Мама заплакала.

День прошёл в суете. Мама куда-то звонила, что-то записывала и много плакала. К вечеру приехала тётка Маша, и мама с порога кинулась ей на шею. Обе зарыдали в голос. Я ещё никогда не слышала таких рыданий и чуть испуганно наблюдала за мамой и её сестрой со стороны.

— Сегодня к тёте Любе пойдёшь ночевать, — объявила мне мама спустя время.

Тётя Люба сама пришла к нам. Взрослые втроём пошли сидеть на кухню, а я осталась рядом с бабушкиной кроватью. Я села на пол и осторожно взяла бабушку за руку: пальцы её были холодные и жёсткие, не такие, как раньше, когда бабушка распутывала ими мои волосы. И даже постоянно исходивший от её кровати запах лекарств как-то стёрся, пропал.

— Баба, ты здесь? — позвала я.

Никто мне не ответил. Я склонилась на подушку, обняла её и лежала молча, а потом достала изнутри наволочки пластмассовую розовую расчёску и стала медленно водить пальцем по зубчикам. Чуть позже мой взгляд упал на костяной гребень, которым бабушка закалывала волосы, потом на белый головной платок. Я осторожно потрогала эти вещи. В них оставалось совсем мало бабушки, и мне стало жаль, что я слишком плохо её знала, не понимала её языка и не смогла с ней попрощаться.

— Бабушка, жаль, что ты умерла, — шёпотом сказала я. — А то я только немного начала тебя любить, а дальше не успела.

На моё плечо положила руку тётя Люба:

— Ну как ты тут?

— Нормально, — отозвалась я, снова приклоняя голову на подушку.

— Спать хочешь или по бабушке скучаешь?

— Спать хочу, — на всякий случай скрыла я свои мысли даже от тёти Любы.

— Собирайся, пойдём ко мне.

У себя дома тётя Люба почти сразу устроила мне постель, но уснуть я не могла, и она легла на диван вместе со мной.

— Бабушка ваша ведь не всегда такая была, Леночка. Когда только переехала сюда, так по магазинам ещё бегала. И в церковь в Николаевку на праздники ходила. Очень по деревне своей скучала. Мама у тебя давным-давно в городе, забыла уже деревенскую жизнь. Так я как приду, она мне говорила: «Там у нас, Люба, всё кипело! Огурцы растут, индюшата растут, хлеб растёт. Колхоз богатый был. И всё заботы требует, целый день крутишься. И в колхозе, и дома. А тут что делать? От безделья не знаешь, куда себя девать». Ну а потом болезни навалились…

Тётя Люба вздохнула и, похлопав меня по спине, отвернулась и велела спать.

На похороны бабушки собрались тётя Люба с тётей Томой, две старухи из подъезда, мамина сестра со своими сыновьями. Старухи при мне переодели бабушку в чистое чёрное платье с белыми мушками, которое она заранее отложила для себя в шкафу в особом узелке. Я не могла поверить, что она умерла насовсем, и чувствовала себя будто во сне — томительном и бессмысленном. Я ушла на какое-то время в кухню, поиграла там с посудой (у меня при случае и чашки, и ковшики становились в игре живыми), а когда вернулась, то увидела, что гроб уже положили на два табурета.

Мама опустилась перед гробом на колени. Она прислонилась лбом к чёрной ткани обивки и вдруг резко вскрикнула:

— Одна я осталась!

Тётя Тома наклонилась над мамой, будто над ребёнком, и осторожно погладила её по плечу.

— Кто нам поможет?! Кому мы нужны?! — плакала мама.

— Ну, ну… — одна из подъездных старух забормотала что-то успокоительное.

На кладбище я поехала вместе со своим старшим двоюродным братом — тем самым, который когда-то в юности ушёл из дома и женился, хотя мать ему запрещала. Я давно хотела его увидеть, спросить, как ему живётся, и всю дорогу пытливо наблюдала за ним, ожидая, что она заговорит первый. Но он не проронил ни слова. Зато когда на кладбище двое работников уже стали забрасывать гроб землёй и я, чтобы не смотреть на это печальное действо, разглядывала всех собравшихся, оба сына тёти Маши стояли рядом со своей матерью — один по левую, а другой по правую сторону от неё.

«Значит, всё-таки простила!» — успокоенным сердцем заметила я, вспомнив, как мамина сестра грозилась, что до самой смерти не простит своего старшего.

Время на кладбище было тянучим, вязким, как будто застревало сквозь обильно росшие там кусты сирени, ивы и ольхи, мешавшие ему течь быстро, как в городе. Постояв ещё немного, я подумала, что тётка Маша говорила всё правильно: она не прощала своего сына до смерти, а вот теперь бабушка умерла, и, наверное, настало время простить.

Обратно я поехала уже с двумя своими братьями, и младший из них, который раньше изредка приходил к нам с мамой в гости, сказал неожиданно ласково:

— Ты в кого же такая высокая? Э-э, как выросла, к солнцу тянешься.

От его слов у меня посветлело на душе, и я завела какой-то разговор про пластилиновые игрушки. К тому времени у меня была налеплена целая полка: в одной коробке стояли пластилиновые коровки и овечки — ферма, в другой располагался сосновый бор с медведями, а в третьей, высокой и самой большой, была коммунальная квартира из пяти комнат. Понемногу заканчивая возиться с куклами, я переключилась на эти поделки и часто после школы разыгрывала с ними целые сюжеты. Послушав немного о моём пластилиновом царстве, брат сказал:

— Ну, это, похоже, у нас семейное. Я тоже в детстве много лепил. Только у меня были солдатики и лыжники.

— Тоже две полки занял своим художеством, — добродушно усмехнулся старший мой брат, наконец-то заговоривший.

Мне было уютно с братьями, и я даже пожалела, что дорога так быстро кончилась. Дома ели блины, пили кисель и вели томительные разговоры. Я подумала, что в эту ночь снова пойду спать к тёте Любе, но через какое-то время все гости разошлись, оставив нас с мамой одних. Было непривычно видеть бабушкину кровать пустой, и пару раз мне показалось, что сложенные на ней в горку подушки и одеяла похожи на ссутулившегося человека.

— Есть хочешь? — спросила меня мама.

Я удивлённо помотала головой: ведь только что ели. Мама ещё походила по квартире, поделала какие-то дела, потом вернулась в комнату и вдруг бухнулась на колени перед бабушкиной кроватью.

— Мама, милая моя мама! — зашептала она. — Прости ты меня! Прости, что я тебя обижала, что не слушала! Раньше надо было о тебе заботиться, а теперь тебя нет больше, и некому прощать!

Я в изумлении остановилась возле кровати и спросила:

— Ты что, так её любила?

Мама рванулась с места и выкрикнула мне в лицо:

— Конечно! Меня когда не будет — тоже всё вспомнишь! Вспомнишь, как по пустякам обижалась, как глупой считала… Когда меня уже рядом не будет, поймёшь, что потеряла…

Я продолжала растерянно стоять рядом и ждала, когда мама успокоится.

Но она не успокаивалась долго. Прошла одна, другая неделя. Я начала учёбу в пятом классе, пропустив четвёртый — мне только недавно исполнилось десять лет. Мама, как раньше, ходила на работу, тянула воз домашних дел, проверяла мои уроки, но почти каждый вечер останавливалась возле пустой бабушкиной тахты и тихим голосом, в котором звучала томительная боль, говорила:

— Мама ты моя, мама! Плохой я тебе дочерью была! Что теперь с тобой? Как я без тебя?! Кому я нужна теперь…

Сначала я слушала мамины слова молча и без особого внимания, но она всё продолжала и продолжала горевать, и мне сделалось её очень жаль. Я попыталась утешить её на свой лад:

— Что ты всё говоришь: кому нужна да кому нужна? Много кому.

Мама посмотрела на меня непонимающе и секунду молчала, а потом сказала:

— Глупая ты ещё. Никому человек по-настоящему не нужен, кроме матери своей. Мать только тебя примет и в зной, и в стужу. А я как её благодарила-то за это?! Господи… Ты вот тоже бабушку обижала! Кричала ей, помнишь: «Замолчи!» Теперь вот нету её. Она одна меня любила.

— Тебя тётя Тома любит, — не соглашалась я.

— Тётя Тома… Ох, Ленка, маленькая ты ещё. Тётя Тома к нам ходит по выходным, потому что ей податься некуда. У неё сын невесту себе нашёл, им квартира нужна, а тётя Тома им мешает.

— Неправда! — выпалила я, не сдержавшись, и сразу почувствовала, как к горлу подступает

болезненный комок.— Не поэтому она ходит, а потому что она добрая и хорошая. Она любит нас!
— Вот и иди к ней!— озлилась мама.

Я уже решила, что она, как бывало, теперь не будет со мной разговаривать несколько часов, но мама протяжно вздохнула и, напротив, села ко мне близко, обхватив мою талию в кольцо своей руки.
— Тётя Тома, доча, она ведь странная… Конечно, она кое в чём помогает нам, но это разве то?.. Ой, Ленка, то ли ты маленькая ещё, то ли уж такая и есть… Никто, как мать, не любит и не полюбит. Просто это не всегда видно. Вот бабушка не очень-то ласкала нас в детстве. Редко-редко когда по голове погладит. Пряник принесёт. А как её сердце за нас болело! Вот, думаешь, эту квартиру как я купила?! Это бабушка с дедом мне денег дали на кооперативный взнос. Маша уехала когда первая, бабушка как переживала! Всё говорила: как там она?! Ох… К чистоте нас приучала. Каждую субботу половики вытряхивали, дом подметали, двор убирали. Это уж вот в последнее время она такая неряха стала… разум потеряла. А всегда была чистоплотной, всегда дома беленькие салфетки лежали…

Мама печальным напевным тоном продолжала рассказывать, какую работу они с братом и сёстрами делали в доме, как бегали искать блудящую корову, как потом пришлось уехать учиться в город, бросить родных и как это приходилось тяжело. Она продолжала держать меня в кольце своей руки, время от времени прижимая к себе совсем плотно, и я настороженно принимала эту внезапную ласку, не зная, верить ей или нет. Ясно было одно: мама не просто скучает по бабушке, но не находит без неё себе места.

В ближайший выходной, когда тётя Тома привезла нам из «соевого магазина» диковинное «растительное мясо» (настоящее мы ели только в виде американских окорочков — «ножек Буша», да и то редко) и фальшивое молоко, я в каком-то порыве сочувствия решила рассказать, что видела покойную бабушку во сне.
— А знаете, она ведь ко мне приходила,— начала я как можно непринуждённей.— Сплю я тут как-то и вижу: вот дорожка из бетонных плиток на Гордк, сбоку акации цветут. И вот идёт бабушка. В руке у неё сумка хозяйственная, сама в платье чёрном, в котором хоронили. Сначала она была такая… не очень плотная, полупрозрачная, а потом уже как настоящий человек. Подходит она ко мне и говорит: «Здравствуй, Лена. Как живёшь?» Я ей ответила, а она потом дальше говорит: «Пошли со мной».
— Ой, Господи!— в глазах мамы отразился страх.

Я поспешила успокоить её:
— Ну, я ей отвечаю: нет, спасибо, тут останусь. Она тогда из сумки вытащила вкусный хлеб, который из пекарни, потом сушёные бананы, лапшу «Александра и Софья» и отдала мне. И говорит: маме привет передавай, скажи, чтоб не плакала. А ещё Томе и Любе.
— И куда, куда она пошла?— взволнованно спросила тётя Тома.
— Пошла куда-то на Гордк. И вроде как растворилась,— выдохнула я.

Я ожидала, что взрослые сокрушённо покачают головами, может быть, всплакнут, но тётя Тома вдруг сделалась мрачнее тучи.
— Не хочется расстраивать тебя, Любочка…— издалека начала она.
— Что случилось? Говори!— всполошилась мама.
— Лазарев… ну, помнишь, который написал «Диагностику кармы», я тебе говорила?— он считает, что умершие снятся не просто так. По-хорошему, между тонким миром и нашим физическим миром не должно быть контактов,— вздохнула тётя Тома.— Если контакт возник, ну вот как у Лены во сне, значит, произошло слипание полей живого человека и умершего. Лазарев пишет, что это бывает от обиды на умершего…
— Обижалась на бабушку?!— тут же накинулась на меня мама.

Я отчаянно замотала головой.
— Да это не обязательно от обиды,— продолжала тётя Тома.— Может, у тёти Фени здесь, на земле, какие-то вопросы остались нерешённые. Лазарев пишет, что поэтому тоже душа может приходить…
— Что-то сделать ведь нужно?— нетерпеливо спросила мама.

Тётя Тома кивнула:
— У меня в книжке телефон женщины одной есть. Инга зовут. На шёлковом комбинате работала. Соседка моя, Огурцова, к ней ходила, мужа вернула… Ну, она и по другим делам. У неё дар. Может, сходите к ней с Леной, посмотрите, что да как?.. Может, она энергетический контакт с тётей Феней установит. Или просто хоть по здоровью поможет…
— Давай телефон,— согласилась мама.

В ближайшее воскресенье до Инги мы добирались долго: она жила возле шёлкового комбината, благополучно закрывшегося, как и остальные предприятия в городе, но когда-то, видимо, давшего ей квартиру.

Я ожидала, что на Ингиной двери будет прибита какая-нибудь табличка вроде «Ведунья в третьем поколении», «Сибирская целительница», «Белая колдунья». Подобными заголовками пестрела популярная в те годы газета «Комок», рекламный отдел которой предлагал богатейшее разнообразие услуг — от починки ботинок до обретения душевного покоя. Но на скромной деревянной двери не было ничего, и выделялась она разве что тёмно-синим цветом: остальные двери на площадке были бордовые.

Сама хозяйка тоже показалась мне обыкновенной и какой-то усталой. Шелестящим голосом она пригласила маму пройти в маленькую комнату, а меня пока попросила остаться в зале, где на круглом журнальном столике лежала раскрытая книжка загадок.

В траве у речки
Лежит колечко.
Колечко с ядом,
С холодным взглядом,—

прочитала я.

Скоро меня тоже позвали на приём, и я с изумлением увидела, что в маленькой комнате у Инги всюду стоят иконы. Тут были седобородый старик с плащом в крестах, стриженая худая женщина с голой грудью, другой старик—согнутый, с посохом в руке. Но больше всего меня удивила уже знакомая икона Пресвятой Девы, которая висела у нас дома и которой молилась в фильме про Розу крёстная Томаса. Только здесь Дева была совсем юной и очень красивой. Мне почему-то показалось, будто она грустит и нисколько не хочет оставаться в этой маленькой душной комнате, где все стены покрыты бликами от лампадок и свечей, а её маленький сын смотрит на меня строго и предостерегающе.

— Ну, садитесь,—пригласила Инга маму и начала водить над ней руками, что-то шепча.

Это продолжалось долго, и мне уже становилось скучно, но Инга вытащила с полки ковшик, налила в него воду, зажгла толстую свечу и, наклоняя её над самой водой, стала капать в воду воском. Я осторожно заглядывала в ковшик через край.

— У вас обиды,—изрекла Инга маме, закончив капать.—Большая душевная боль и зацикленность на своих обидах. Головные боли беспокоят? Шейные, в грудном отделе позвоночника?

— Ой, и те, и другие, и третьи,—охотно отозвалась мама.—А вы можете их снять?

— Могу, но нужна будет работа. В том числе работа над собой. Первое—нужно себя простить.

— За что?—вырвалось у мамы.

— За всё. Есть такая книга «Душевный свет». Там говорится, что все наши беды от непрощения. Нужно простить себя, полюбить себя. Потом простить и других. Я вам заговор дам, он белый, безгрешный. Будете читать. Это поможет настроиться на волну прощения. Вы же в следующий раз придёте?

— Д-да,—кивнула мама.—А вы посмотрите ещё мою девочку?

Инга знаком пригласила меня усесться на стул. Я выпрямилась как струна в ожидании чего-то интересного и гадала, что будет сказано насчёт меня. Напрасно: Инга выдала такое, чего я никак не смогла бы предугадать:

— Она проклята.

Я едва не поперхнулась, но осталась сидеть на стуле, чувствуя, что манипуляции над моей головой ещё продолжаются.

— Кто же её проклял?!—задалась закономерным вопросом мама.

Инга всё тем же невозмутимым тоном вещала:

— Это мы узнаем спустя время. Пока чтó сами можете предположить?

Мама погрузилась в раздумья и через несколько секунд выпалила:

— Знаю кто! Это первая жена её папаши. Она всегда мне зла желала. Хотя я, между прочим, и не уводила его. Она сама ушла в своё время, а потом злоба-то, видать, взяла её! Всё говорила мне: чтобы тебе ребёнка больного родить, да чтобы тебе счастья не видать... Вот и напророчила...—мамин голос срывался в слёзы.

— Спокойно, спокойно,—ободрила её Инга.—Она хоть и проклята, но, мне кажется, у неё сильная энергетика. Когда я заговор над ней делала, чувствовала сопротивление. Ну-ка, девочка...

Она дала мне в руки свечу и велела читать по бумажке слова.

— Води свечой у мамы над головой,—сказала она.

Я делала, что мне говорили, и чувствовала, как от моих слов в комнате будто поднимается какой-то ветер, колеблется пламя свечи, подрагивают огоньки лампад.

— Легче вам? Головная боль отступает?—спросила Инга маму, когда заговор был прочитан трижды.

— Вроде бы да...—неуверенно ответила родительница.

— Видите!—торжествующе объявила Инга.—У девочки дар. Она сможет словом исцелять. Поэтому она и вошла в астрал к вашей покойной матери. Нужно сделать отвязку её поля от поля бабушки. Но это в следующий раз. Пока вам задание: читайте заговор, прощайте себя, прощайте других. Вспомните, кого вам нужно простить, и прощайте.

Мама рассеянно кивала и продолжала сидеть.

— Вам всё ясно?—учительским тоном спросила Инга.

— Да-да... Только это... по цене меня сориентируйте, пожалуйста.

— Хм, ну, по цене... Смотря какого эффекта вы хотите. Отвязку, я думаю, точно будете делать? Девочки от бабушки?

— Отвязку—конечно... ну вот и от головной боли хотелось бы избавиться,—робко попросила мама.—А то работаю сутками, устаю, а тут ещё стала и голова болеть, да хондроз...

— Ну, я думаю, тысяч в двести мы уложимся. Или даже в сто восемьдесят, скажем... Приезжайте в пятницу вечером. Пятница—женский день. Женщин удобнее лечить.

— Хорошо,—послушно пообещала мама.

Всю неделю до пятницы меня распирало от гордости: оказывается, я не просто какая-то глупая пятиклассница — я проклята, как героиня страшного фильма, да к тому же у меня *дар!* Я похвасталась об этом сначала Вовке, но тот насмешливо фыркнул:

— Да ты врёшь!

Я впервые в жизни обиделась на него и поспешила со своей новостью к Кате Мустяца. Её известие о моём даре заинтересовало больше:

— А у тебя глаза зелёные? Если зелёные, значит, ты правда ведьма! Посмотри на свет.

Я подошла к окну в школьном коридоре.

— Зелёные! — ахнула Катька и пристально вгляделась в меня. — А ты добрая?

Я сказала, что, конечно, добрая, но Катька с сомнением покачала головой:

— Не знаю… Ведьмы разве добрые бывают?

Мне пришлось в растерянности отойти от неё.

В пятницу мы снова поехали к Инге, и там после некоторых приготовлений она стала пытать мою маму, смогла ли та простить себя и других.

— Ой, как-то я не знаю… Себя не могу простить за маму, что обижала её… А других… Папашу Ленкиного трудно простить, да и первую жену его… То вроде кажется, что простила, а как-нибудь вот накатит… и опять.

— Это постепенный процесс, — сухо прокомментировала Инга. — Главное, начало положено. Ладно, давайте с девочкой отвязку делать.

Инга усадила меня на стул, велела закрыть глаза и стала что-то читать. Меня вначале клонило в сон, потом стала кружиться голова, накатила тошнота.

— Ну вот, — удовлетворённо сказала Инга. — Работа проведена. Ваша бабушка теперь должна успокоиться. Правда, я ещё рекомендую вам подержать под подушкой монету десять дней и потом отнести на кладбище, на могилу. Ну и никогда не помешает подать заказную записку в церкви. А дар у девочки, вполне возможно, будет развиваться, — кивнула она в мою сторону.

Мне уже почему-то не было интересно оставаться проклятой, да и наличие дара перестало особенно радовать: подступившая к желудку тошнота не проходила, и я с неудовольствием думала о том, что придётся ещё провести час в тряском душном автобусе.

— Ну ладно, — вздохнула мама, когда мы уже направлялись к остановке. — Дороговато, конечно… Если что, у тёти Любы займу. Зато уж бабушка успокоится, надеюсь. Всё у неё будет там хорошо…

Но особенно хорошего не было. Через несколько дней голова у мамы стала болеть по-прежнему и шею начало тянуть как раньше. Однажды она за что-то принялась ругать меня, и я в сердцах крикнула:

— Чтоб у тебя голова ещё сильнее заболела!

Того, что произошло после этих слов, я не могла предугадать: мама бессильно опустилась на диван и обхватила голову руками.

— Что же ты делаешь? — прошептала она. — И так плохо.

Я не сразу поняла, что у неё и впрямь разболелась голова ещё больше. Во мне пока не утихла обида за сказанные мамой недавно грубые слова, и я заявила злорадно:

— Вот-вот! Не будешь больше меня обзывать. Посиди так!

У мамы, похоже, не было сил отвечать мне. Тяжко выдохнув, она легла на диван и замолчала.

Я села на кушетку и сжалась в комок. Злорадство моё быстро прошло. Выходило, что я вначале постаралась утешить маму, поэтому и придумала этот дурацкий сон. А кончилось тем, что я запугала её и сделала всё хуже, чем было.

Мне захотелось плакать, но слёз почему-то не было: были только апатия, желание спать и ничем не заниматься.

Ночью я проснулась от какого-то глухого звука, похожего на стук. Мне сделалось страшно, и первой мыслью было разбудить маму. Но я подумала, что она, пожалуй, ещё сердится на меня, а то и боится. Я пошла на кухню, зажмурив глаза, когда проходила мимо тёмного коридора: мне казалось, что из угольной тьмы на меня вынырнет что-то жадное, ненасытное, окутает с ног до головы и сожрёт.

Я села у входа на кухню под иконой Богородицы и заплакала. Слёзы сами полились у меня из глаз — тихие, обильные. То ли на улице, то ли на балконе что-то опять глухо брякнуло, и страх пробежал по мне холодком.

«Страшно будет — крестись», — вспомнились мне бабушкины слова.

Я перекрестилась раз, другой, третий, думая, что надо бы встать, но вставать мне пока было боязно. На всякий случай я перекрестила стеклянную дверь напротив себя, в которой причудливо отражался свет с улицы, и тогда меня немного отпустило.

— Не надо мне никакого дара, — сказала я вслух, вытирая слёзы. — Не надо мне его, я добрая. Я добрая!

Сказав это, я перекрестилась ещё раз и, уже успокоившись, вернулась в постель.

Когда в следующий раз к нам пришла тётя Тома, мама не преминула похвастаться:

— Были мы у твоей Инги. Денег немало взяла, но колдовала над нами порядочно. Боль головная прошла у меня… Правда, ненадолго. Отвязку сделала. Про Ленку сказала, что у неё дар, энергетика сильная. Представляешь?! С таким талантом не должна пропасть!

Я всерьёз рассердилась на маму и едва удержалась, чтобы не обвинить её в глупости: нашла чем хвастаться!

— Теперь бабушка наша должна успокоиться… Звонила я Инге, договорились, что в пятницу ещё разок сходим, а то хондроз у меня всё-таки вернулся. Надо результат закрепить…

— Не надо!! — завопила я.

Мама и тётя Тома застыли на месте от моего крика.

— Не надо, говорю… Это… — закрыв глаза, я выдохнула. — Это всё неправда! Вы понимаете?!

— Что неправда?! — спросила тётя Тома.

— Я придумала этот сон! Я не видела бабушку!

Мама, потихоньку возвращаясь в своё привычное состояние, скептически хмыкнула:

— И зачем же?

— Ты скучала по ней… Я и подумала: скажу, как будто она передаёт тебе привет с того мира, вот ты и перестанешь так скучать…

Тётя Тома прижала меня к себе и сказала:

— Есть у неё дар. Доброта называется.

Мама больше не пошла к Инге. Вместо этого она решила сходить в церковь и подать там записку на сорокоуст об упокоении. Это значило, что за бабушку должны были молиться целых сорок дней. Такое решение всецело одобрила тётя Люба:

— Вот это хорошо ты сделала! Мамка твоя — она же в Бога верила. Молилась ему. Вот пускай и за неё хорошие люди помолятся. Да и стоит это копейки, между прочим, — ты к своей колдовке в десять раз больше уже снесла! Придумала энергетику-шминергетику какую-то.

— Это мне Тома посоветовала, — оправдывалась мама.

— Ну, Тома… Начиталась она этой макулатуры своей. Нашла колдовку! С шёлкового комбината чесальщицу-мотальщицу! Я тебе сама наколдую, — тётя Люба сделала строгое лицо и начала медленно водить руками надо мной: — Даю установку: дурь из головы всю выбросить! Ой, точно: шитьё брошу, колдовать начну, во дураков-то набежит! От порчи, от сглаза излечу. Мужей буду возвращать! Хотя некоторых и возвращать-то не стоит…

Я засмеялась.

— А что в церковь ты сходила, это правильно, — посерьёзнев, вернулась к началу разговора тётя Люба.

— Что ж сама-то не сходишь? — спросила её мама. — Мы с сестрой Надей хотя бы Ленку в девяностом году крестили, а ты ведь даже не крещёная.

— А я грешная ещё, — опять засмеялась тётя Люба. — Как надумаю покаяться, так пойду и сразу крещусь. Увидите!

Глава 7. Первый грех

Когда я пошла в пятый класс, на дворе был 1997 год. По телевизору показывали важного дядьку с красивой фамилией Березовский: он говорил, что править страной должны самые умные и находчивые, то есть те, кто в ранние девяностые годы сумел прихватить себе побольше акций разных предприятий и вообще всяческих богатств. В школе нам потихоньку тоже стали внушать мысль, что кто богатый — тот и умный, а если бедный — стало быть, дурак. Одна учительница, выбирая учеников для всероссийской олимпиады, говорила:

— Сейчас нужны не только сообразительные, но и с денежками! До Москвы добираться за свой счёт, там жить тоже на свои, а уж на олимпиаде вам пригодятся и ваши знания.

В Москву должна была поехать Вика Иваницкая, но в параллельном классе «А» нашлась девочка то ли умнее, то ли богаче, и Вике пришлось остаться дома. Признаюсь, я со своими приятельницами Дашей и Катькой Мустяца немного злорадствовала. Вика и её приближённые Сонька и Диана всегда демонстративно обходили стороной Катьку, да и к таким, как мы с Дашей, относились с явным пренебрежением, а тут подвернулся случай посмеяться (хотя бы про себя) и над «крутой» Викой, потерпевшей такую досадную неудачу.

Мустяца, конечно, вправду была девочкой своеобразной, не зря и стала потом художницей. Она носила яркие полосатые колготки с джинсовой юбкой, люрексовые кофты, на голову прицепляла белый бант. Мне очень нравились её длинные чёрные волосы, которые она, едва выйдя из школы, всегда распускала.

— Их надо напоить ветром! — объясняла она.

Катька и Даша очень любили передачу «Форт Боярд», которая шла тогда то ли на НТВ, то ли на втором канале. В этой программе условным узникам полагалось добыть ключи от крепости Боярд, что на побережье Франции. Добраться до ключей было ух как непросто: приходилось пробираться через ржавые клетки и лабиринты, наступать ногами в гадкие жидкости, спотыкаться на стеклянных мокрых дорожках, отгадывать мудрёные загадки, а в случае неудачи томиться в каменном мешке, дожидаясь прихода своей команды.

С Дашей мы постепенно стали общаться всё больше и больше, и однажды по дороге домой я спросила:

— Почему ты раньше не подходила ко мне? До третьего класса даже высмеивала!

— Ты была странной, — пожала плечами Дашка. — И всегда с мальчиками. Тебе что, с ними было интересно?

— Интересно, — сухо ответила я, чего-то стыдясь.

— Я про тебя плохо не думала, — оправдалась Даша. — Просто была как все…

На празднике в честь окончания первой четверти нам устроили платную вечеринку. Тётя Люба сшила мне для этого случая платье из чёрной ткани с золотыми нитями люрекса. Взрослые из родительского комитета подсчитали у каждого количество пятёрок и четвёрок, полученных за два

месяца пятого класса, и выдали всем игрушечные деньги — кто сколько «заработал». На эти голубые и зелёные бумажки можно было купить жевательный мармелад в виде бело-голубых акул, чипсы «Принглс» или «Зяки-зяки» (мы звали их «Зяки-бяки»), фисташки, вафли «Кукуруку», холодный чай, кока-колу (Котляренко, не любя вкус модного напитка, нарёк его «кака-кала», что, по-моему, верно отражает суть). Вовка оказался обделён деньгами и «стрелял» у пацанов то чипсинку, то пару фисташек. Мне тоже хотелось угостить его, но он сразу дал понять, что у девочки занимать не будет, и я покорно отошла в сторону. Включили музыку. Вначале ревела ещё советская песня «Мой „Фантом" теряет высоту», потом поставили «Сказочную тайгу» «Агаты Кристи»:

Облака в небо спрятались,
Звёзды пьяные смотрят вниз,
В дебри сказочной тайги
Падают они!

Эта песня очаровывала меня колдовской мелодией и пугала страшными словами во втором куплете, где пелось про чёрные сказки и розовый от крови снег. Я была рада, когда она наконец закончилась и заиграл медленный мотив. Пацаны, одетые в кожаные куртки-косухи и джинсовки, сбились вместе у столов. Классная и мамы из родительского комитета подошли к ним и, видно, подсказали, что они должны пригласить девочек. Первой пригласили Вику Иваницкую, потом Диану. Я замерла в ожидании, скрестила пальцы за спиной, надеясь, что меня пригласит Володя. Но его вовсе не было в классе — как сквозь землю провалился. Я печально опустилась на стул, но вдруг ко мне подошёл тихий мальчик в клетчатой рубахе — Игорь Бавра. Он не входил в компанию «моих» пацанов и вообще по большей части был совсем один. Я с удивлением протянула ему руку, и мы вышли на середину класса. Мы положили друг другу руки на плечи и неловко топтались на одном месте, слегка покачиваясь и стараясь не смотреть друг другу в глаза. Когда песня закончилась, я, наконец, оглядела класс и увидела, что мы остались с Игорем вдвоём: больше никому не хватило смелости продержаться на танцполе до конца под любопытными взглядами.

У Кати дома я была всего один раз, на день рождения. Она жила с мамой и дедушкой: её отец погиб в Приднестровье в девяносто втором году, когда там шла война, и Катькина мать, похоронив мужа и забрав отца, решила вернуться в Россию.

Нас угощали пельменями, запечёнными с картошкой, сырными лепёшками, сладкими кубиками пористого печенья со смешным названием «Бабка Нягрэ» и только-только появившимся на прилавках заморским фруктом киви. Этого киви выдали по штучке каждому ребёнку и устроили конкурс: победит тот, кто сможет аккуратно выковырять ложкой всю мякоть, оставив от киви одну шкурку. Ни разу не проколоть шкурку оказалось задачей невыполнимой, но приз — шариковую ручку — всё же отдали мне. Пельмени тоже были с секретом. Катькина мама объявила, что в одном из пельменей вместо мяса положен изюм, и все кинулись к тарелкам искать этот сладкий пельмень. Однако никто изюмного пельменя не обнаружил. Уже в конце праздника сама именинница тягучим шёпотом призналась мне:

— Это мне попался сладкий пельмень.

— Почему ты не сказала? — изумилась я.

Катька загадочно прикрыла глаза:

— Если бы я сказала, это уже бы не была тайна… Он был бы просто мой… А так его никто не нашёл, и все думают: где же он?.. У всех есть надежда: может, это им попался сладкий пельмень, просто они его не заметили…

С Дашей мы стали часто возвращаться из школы вместе. Разузнав, что Дашина семья живёт более чем небогато, мама согласилась пустить её к нам в гости. Однако гораздо чаще к Дашке стала ходить я — у неё было побольше места и к тому же имелось несколько интересных вещей: фильмоскоп, в который мы вставляли плёнки и просматривали диафильмы про животных, старые книжки издательства «Шиповникъ» с дореволюционной печатью, красивые ёлочные игрушки и большой цветной телевизор «Радуга». Всё это богатство досталось Дашкиному отцу от его родителей, которые уже с детства жили в Красноярске и работали врачами. Сам Дашкин папа был по образованию инженером-мостостроителем и, мечтая объединить собственную профессию с родительской, планировал видеть свою единственную дочь генным инженером.

По цветному телевизору мы смотрели детские передачи «Зов джунглей» и «Звёздный час», которые вёл весёлый ведущий Сергей Супонев. «Звёздный час», где нужно было отгадывать и составлять слова, я любила без памяти и напевала про себя песенку из заставки этой программы:

Хочешь — не хочешь, днём или ночью
Чудо придёт.
Знаешь — не знаешь, не угадаешь,
Где нас найдёт.
Веришь — не веришь, в сказку поверишь,
В нас поверь.
Днём или ночью чудо откроет дверь!

Как-то я сказала подружкам, что было бы здорово однажды попасть на «Звёздный час» и приехать в Москву. Но они больше любили «Форт Боярд», а Катька — ещё и воскресный «Клуб кинопутешественников».

— Когда мы вырастем,— заговорила однажды Мустяца,— мы тоже отправимся в путешествие. Мы пройдём весь Красноярск, спустимся по дороге «Тёщин язык» прямо к Дивногорску, а оттуда… Оттуда мы отправимся к степям и озёрам!

Последнюю фразу Мустяца произнесла с таким восторгом, что мы с Дашей мгновенно поняли: степи и озёра — это лучшее, что может встретиться страннику на пути.

Я осторожно заметила, что хорошо было бы, во-первых, уже сейчас заняться бегом, чтобы натренировать дыхание для долгой дороги, а во-вторых, взять с собой мальчиков.

— Дались тебе эти мальчики,— насупила чёрные брови Катька.— Не доведут они тебя до добра.

Но без одного мальчика я никак не могла. Мы с Вовкой стали чего-то стесняться и при встрече уже не махали яростно друг другу, не бежали навстречу, а сдержанно говорили: «Привет!» Но мы продолжали сидеть вместе на уроках и в столовой, иногда гуляли на переменах по школе. Я показывала ему свои рисунки и зверей из пластилина, а он хвастался успехами отца: тот открыл свою точку на рынке, стал торговать пирогами, беляшами и очень цветной газировкой — такой яркой, что от неё оставались оранжевые и зелёные следы в кружках.

Однажды мальчишка из параллельного класса дал Вовке заполнить анкету в каком-то журнале с наклейками и постерами. Я сидела рядом с ним, делая вид, что рисую, но на самом деле заглядывала через его плечо, стараясь прочитать каждое слово. Вовка написал, как у него отчество и фамилия, что он больше всего любит из еды («Куру с картофаном»), какая ему нравится передача («Сам себе режиссёр»).

Дальше была строчка с названием «Мои друзья», и тут я, кажется, перестала дышать и вся превратилась в зрение. Тёмной гелевой пастой Володя вывел первое имя — «Саша»; через длинную нервную запятую второе — «Семён». Я слышала, как колотится моё сердце, и боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть Вовкины мысли. Он написал «Вася» и, остановившись на долгую секунду, на оставшемся маленьком пространстве строки аккуратно вывел «Лена» и поставил большую блестящую точку. Я выдохнула. Моё имя было записано в личную Вовкину книгу жизни.

Мне очень хотелось, чтобы все были счастливы. Бабушки больше не было, и маме не осталось с кем ссориться, но всё равно она не выглядела счастливой, да и сама говорила, что живёт как в тяжёлом сне. Однажды я напомнила ей про дядю Гену, всё ещё надеясь, что мать позвонит ему и пригласит к нам домой, но она только махнула рукой на мою просьбу. У тёти Любы появились новые клиентки, которые заказывали костюмы, пиджаки с плечиками, платья, и она шутя хвасталась иногда, что скоро разбогатеет на шитье, снимет помещение под ателье, заведёт двух работниц и уедет отдыхать на Канары. Но вместо ателье она купила только новую ванну, а отдыхать уезжала к деревню к своей многочисленной родне. В пятом классе мне дали задание сшить фартук, и тётя Люба, подумав, наверное, что наконец-то появится возможность обучить меня своему ремеслу, взялась кроить со мной вместе. Но когда она сказала мне отметить и вырезать карманы, я, недолго думая, вырезала их прямо из полотнища фартука, уже постфактум сообразив, что вместо карманов получились две дыры.

— Да-а,— только и сказала тётя Люба, глядя на мою кройку.

— Зато я умею из солёного теста лепить,— попыталась утешить её я.

Труды в школе вообще давались мне непросто, хотя я очень благодарна учительнице по этому предмету и жалею, что такого урока больше нет. За пятый класс мы сшили фартук и косынку, с которыми я изрядно намаялась, в шестом принялись за юбку — с ней возни было ещё больше. Кройку и шитьё мы перемежали с лепкой из солёного теста, которая была для меня сущим праздником, и ещё с теорией. Если учительница объявляла: «Сегодня теория»,— то это означало, что мы должны были конспектировать учебник — переписывать в высокую общую тетрадь виды всяких манжет, воротничков и швов. Учительница на таких уроках зачастую оставляла нас одних и уходила в подсобку, и тогда наши девчонки начинали разговор — правда, не все, а только те, кому было что сказать.

Вика Иваницкая, Диана с Сонькой и ещё парочка их подружек всегда сидели возле самой доски, а все остальные — дальше. Диана любила рассказывать о своём папе, который ездил в заграничные командировки то в Египет, то в Таиланд и привозил оттуда ей разные модные вещи. Вике папа-депутат тоже привозил одежду, но она редко хвасталась этим, говоря в основном о том, что через несколько лет их семья переедет в Питер, а оттуда — за границу.

— А куда за границу, в США?— спросила как-то рыжая Сонька, у которой не было папы-депутата.

— Не знаю… Возможно, во Вьетнам. Там у папы фирма есть.

— А я здесь останусь,— возражала Диана.— Здесь тоже прибыль хорошая. И природа родная. У меня отец с друзьями на охоту ездит, на косулю. И на рыбалку весной. Рыбу потом на базу продаёт. Один раз меня с собой брал, клёво было!

Слушая рассказ о рыбалке, я украдкой вздыхала, потому что вспоминала дядю Гену, который тоже мог меня куда-нибудь свозить; но мельком вспомнила и урок биологии, на котором говорили, что в конце весны рыбачить вроде бы запрещено.

Среди богатых девочек была ещё Бессменова Настя. Ей по статусу вроде бы полагалось тоже хвастаться шикарным отдыхом и планами на будущее, которое при отце-банкире, казалось, разворачивалось перед ней во всей широте. Но Настя училась плохо и, осознавая свои небольшие успехи в учёбе, держалась всегда скромно. Про неё ползли слухи, что она приёмная, что семья Бессменовых удочерила её в три года, потому что не могла иметь родных детей. Я знала, что Настина мать одолжила моей маме деньги, когда я потеряла сбережения из классной копилки, и сказала, что вернуть можно хоть через год.

Настя, похоже, любила урок трудов и, пока её номинальные подруги обсуждали свою жизнь, аккуратно рисовала эскизы в тетрадь или делала намётку на деталях. Заметив однажды, как небрежно я запихиваю в пенал ручки и карандаши, она вдруг сказала мне тихим голосом:

— Пожалуйста, не делай так. Разложи всё как надо, будет красиво.

Я в изумлении пообещала разложить.

— И покажешь мне,— с шутливой требовательностью промолвила Настя.

На следующий день я продемонстрировала ей аккуратно заполненный пенал. Настя вытащила из сумки новенький блестящий пенал и с улыбкой сказала:

— А это тебе.

Я была поражена ещё больше, чем во вчерашний день, замотала головой и отказалась от подарка. До сих пор от таких, как Диана и Вика, я не видела и не слышала ничего хорошего, а тут вдруг — подарок! Я рассказала об этом случае Катьке. Мустяца внимательно выслушала, а потом, вздохнув, сказала:

— Настька вообще-то меня никогда не обижала. Я думаю, у неё мама добрая. Хоть богатая, а добрая.

Хотя я скучала по Раисе Ивановне (пару раз — вначале с Вовкой, потом с Дашей и Катькой — я заглянула к ней в гости), учёба в пятом классе мне понравилась. В то время программ по предметам было целое море, творческую свободу педагогов ещё никто не ограничивал, и при желании учитель мог вести урок так, как считал нужным. На физкультуру мы ходили в соседний сквер, играли в подвижные игры. Физрук был небольшого роста, весёлый и сыпал поговорками, среди которых любимой у него была «Волка ноги кормят» — так он шутливо говорил про себя.

Нашим здоровьем занимался не только физрук, но и школьная медсестра, которая с пятого по восьмой класс вела у нас диковинный предмет — валеологию. Там говорилось обо всём понемногу: о правильном питании (на которое у многих наших родителей попросту не хватало денег), о занятиях в спортивных кружках (которые мы с трудом могли посещать из-за учёбы во вторую смену), о правилах личной гигиены. Пару уроков нам рассказывали об Агни-йоге — учении художника Рериха и его жены, которые разговаривали с какими-то духами в горах (я так толком и не поняла о чём), а потом ещё пару занятий — о другом учении, «Детке», которое придумал бородатый босой человек Порфирий Иванов. Про «Детку» я уже немного знала от тёти Томы: она рассказывала, что Порфирий Иванов учил всех пить побольше воды, ходить по снегу босиком и молчать с вечера пятницы до утра воскресенья. Но просто знать для урока валеологии было мало: нам предложили ещё заполнить специальную анкету в рабочей тетради, где спрашивали, пробовали ли мы ходить босиком, умеем ли молчать и очищаем ли разум от ненужных мыслей. И, как помнится, намекали, что не худо бы каждому пятикласснику научиться всё это делать. Бывали и практикумы: однажды мы с медсестрой вышли всем классом на улицу и протягивали ладони солнышку, черпая от него энергию.

На улицу нас водила и учительница математики, наглядно показывая нам при помощи мела и верёвок, что такое ар, десятина, сажень. Я боялась, что по математике сразу съеду на тройки, ведь тут будет не Раиса Ивановна, которая нас всё-таки жалела. Но новая учительница объясняла хорошо, и даже если кто-нибудь, стоя у доски, говорил, что ничего не знает, спокойно вела с ним разговор:

— Как ничего не знаешь? Это что на доске — цветочек, рисунок?

— Пример,— отвечал ученик.

— Так. Пример на что?

— На дроби.

— Дроби какие?

— Обыкновенные.

— И что мы должны с ними сделать?

— Умножить.

— Так. А где бы нам посмотреть и вспомнить, как умножить обыкновенные дроби?

И ученику приходилось открывать учебник, думать и писать. Тем, кто справлялся быстро, учительница давала другие задания — то из учебника, то, чаще, из книги «Занимательная математика». Тугодумие и неаккуратность «математичка» прощала, но за списывание, когда его обнаруживала, наказывала сурово.

— Списывание — это интеллектуальное воровство! Вы обманываете не только меня, но и самих себя. Учёба — это ваша работа, делайте её честно. А если нужно в чём-то разобраться, исправить оценку, то я вас всегда жду во вторник и четверг.

Я прониклась уважением к этой учительнице и вплоть до седьмого класса (пока не появилась геометрия) ничего не списывала, пытаясь делать всё сама, хотя мама заботливо купила мне в книжном магазине решебник.

От уроков истории у меня были противоречивые впечатления. Вела их эксцентричная учительница Татьяна Петровна, которую за её прибаутки и весёлость я стала про себя именовать просто Петровной. Петровна любила рассказывать про бывших учеников, про свою молодость и вообще что-нибудь мало относящееся к уроку. Впрочем, иногда она, словно бы желая догнать упущенное время, забрасывала нас вопросами по параграфу, на которые надо было отвечать быстро, а если ответишь невпопад—не избежишь колкой Петровниной шутки.

Петровна любила задавать нам кроссворды, которые мы должны были делать дома на двойном листке и потом приносить для своих одноклассников. Придумывать эти кроссворды было довольно интересно, однако разгадывать чужой почерк и направления мысли—уже куда хуже. Над одним словом из чьего-то неподписанного кроссворда бесплодно билась сама Петровна. Кто-то написал в задании: «Леденец был лакомством, пряник—…подарком».

Я понаблюдала, как никто не может угадать зашифрованное слово, и, сжалившись над одноклассниками и учителем, произнесла:

— Настоящим. Настоящим подарком.

— Так это твой, блин, кроссворд?!—рассерженно воскликнула Диана, которой достался этот головоломный вопрос.

— Нет, мой у Богданова. Я просто помню текст из учебника.

Петровна хлопнула себя руками по бёдрам.

— Вот Елена! Вот память! Ума палата, да ключ потерян!

Уже в самом начале шестого класса, когда мы начали изучать историю России, Петровна задумала сделать две инсценировки из жизни наших предков-крестьян. Первой сценкой должны были стать похороны, второй—свадьба. На роль умирающего она выбрала не кого-нибудь, а Катьку Мустяца, над которой из-за этой роли сразу же стали глумиться Вика с Дианой и некоторые мальчишки. Я решила, что умру вместо Катьки, и добровольно предложила Петровне свою кандидатуру для главной роли в сценке.

Кроме желания защитить Катьку от нападок, мной руководило ещё любопытство. Мне хотелось попробовать умереть понарошку и почувствовать, как это будет, когда ты лежишь и смотришь на весь мир со стороны, как непричастная ему.

Я стонала, просила воды, дрожащей рукой перекрестила свою семью—Стружкина, Дашу, Богданова, Олю с Камчатки—и с тяжёлым вздохом закрыла глаза. Надо мной выла нанятая плакальщица, меня вывезли на кладбище, накинули сверху серый плед и уехали справлять поминки. Стало скучно, умирать не хотелось, я стала потихоньку подглядывать из пледа за тем, как одноклассники жевали блины и пили газировку, как потихоньку баловались сидящие за партами зрители. На несколько секунд мне стало казаться, что я в самом деле для них теперь не существую и обо мне забыла даже Петровна. Это было немного страшно, но интересно: я-то видела всех, а меня—никто.

Меня, разумеется, в конце концов освободили, а на следующий урок поставили сценку про свадьбу. Замуж выходила рыжая Сонька: у неё были длинные волосы, которые сначала заплели в девичью косу, а потом разделили на две косы и обмотали вокруг головы. В свадебном поезде участвовало полкласса: пели песни, ели бутерброды, поздравляли молодых.

Я ничего не говорила маме об этих постановках, и о режиссёрском творчестве Петровны мама узнала случайно, от своей приятельницы-управдома.

— Ничего себе игрища!—возмутилась мама.— Ладно свадьба, но разве можно со смертью играть?!

Я подумала, что со смертью люди играли всегда—об этом сказано даже в учебниках истории, но вслух не стала ничего говорить.

Управдом хотела пожаловаться на историчку директору, но её дочка попросила этого не делать, потому что вообще-то Петровна классная, и об этих постановках скоро все забыли. А на истории мы хоть и продолжали креативить, но уже не так смело: ограничивались кроссвордами, загадками и рисованием иллюстраций к параграфам.

Больше всего я полюбила учительницу литературы и русского Ирину Васильевну, которую к нам пригласили уже в ноябре в пятом классе. В самом начале года у нас вышла какая-то чехарда с учителями: один через полтора месяца уволился (наверное, из-за зарплаты—не знаю, выдавали её тогда деньгами или натурой, но задерживать продолжали точно), другую почему-то перекинули на параллельный класс, так что русский поначалу вели нерегулярно, а про литературу и вовсе забыли. Когда Ирина Васильевна впервые переступила порог второго кабинета, по нашему классу прошёл удивлённо-неодобрительный шепоток: лицом она была явно некрасива. Но эта некрасивость исчезала по волшебству, когда учительница начинала говорить. Она редко повышала голос, но умела мастерски владеть им, переходила от взволнованного шёпота к мажорным восклицаниям, так что ей удавалось захватывать внимание даже учеников с последних парт.

Через родительский комитет нам купили учебники литературы под названием, кажется, «Родное слово», и по ним Ирина Васильевна стала вести занятия. По этой программе мы сначала изучали русский фольклор: прямо на уроках пели заклички и веснянки, разыгрывали короткие бытовые сказки, рисовали Збручского идола. Я даже готова была признать, что и Раиса Ивановна не вела таких

интересных уроков. Однажды учительница дала задание каждому написать о том, какой русской народной традиции придерживается его семья. Вовка, Котляренко и ещё многие написали о том, что они ходят в баню, Даша—о том, что они с отцом выращивают овощи на огороде. Многие писали про варку варений и солений, про пельмени, которые их семьи лепят вручную перед праздниками. Я же написала про песни—мою отраду и утешение—и сказала, что их научила меня петь бабушка. Ирине Петровне понравилось моё сочинение, особенно в той части, где я рассказывала про совместные с бабушкой концерты. Она сказала, что в песне раскрывается душа, и если мы хотим узнать, чем живёт человек, стоит послушать его любимые песни.

В декабре мы подобрались к разделу «Христианство на Руси». Ирина Петровна рассказала нам, как послы князя Владимира, наслушавшись рассказов от представителей разных вер, захотели посетить греческое богослужение и прибыли в пышный город Константинополь. «Не знаем, на небе мы были или на земле»,—так сказали послы своему князю.

Мне стало любопытно: что же такое могли увидеть эти княжеские посланники в храме, чему они удивились—музыке, пению, свету, золотым окладам икон?! Я никогда не была в церкви дольше пяти минут (мама однажды забегала купить свечки) и задумала когда-нибудь прийти туда.

На следующий урок Ирина Васильевна велела принести детскую Библию. Такой книги у нас дома, конечно, не водилось, в школьной библиотеке её тоже не было. Мама, ворча, что на дом стали задавать не пойми что, отправилась искать Библию по соседям и обнаружила её у своей знакомой из пятого подъезда, учительницы английского языка.

На уроке мы открыли страницу, где был нарисован голубой земной шар на тёмном синем фоне с мелкой белой россыпью звёзд.

— Я расскажу вам, как был сотворён мир согласно христианской традиции,—пообещала Ирина Васильевна.

На истории мы уже читали пересказы древнегреческих мифов, в том числе и о сотворении земли. Мифы были забавными, но нисколько не казались похожими на правду; а то, что говорила Ирина Васильевна, почему-то заставляло меня ловить каждое её слово:

— Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью.

Ирина Васильевна сказала, что небо, которое Бог сотворил первым,—это ангелы. Мне вспомнился фильм «Приключения Буратино», где в темноте по запутанным улицам ходили с факелами фонарщики и, зажигая огни, радостно восклицали:

> Да будет свет! свет! свет!
> Как будто день, день, день…

Бог после этого создал много всего—воду, землю, растения и животных, наконец, людей,—но больше всего мне запомнился свет, без которого ничего другого бы не стало. Дома вечером я подошла к окну, которое уже покрылось тонкой серебристой изморозью, продышала на нём глазок и тихо сказала:

— Бог, а Бог! Ты меня слышишь? Спасибо Тебе, что создал свет! И первых людей, от которых народились все другие люди!

Постояв ещё немного, я вспомнила о бабушке, которая постоянно угрожала маме адом, и подумала, что бабушка, должно быть, заблуждалась и Бог совсем не такой злой. Я снова позвала его:

— Ты же меня слышишь, да? Найди мою бабушку, пожалуйста, Бог. Её зовут Федосья. И пусть она увидит, что на самом деле Ты добрый. Передай ей привет от меня. Только пусть во сне она не приходит: я снов боюсь, я и так Тебе верю, что Ты её найдёшь.

Сказав это, я отправилась было в кровать, но в голову мне пришла одна мысль, из-за которой пришлось вернуться к окну:

— И спокойной Тебе ночи, если Ты когда-нибудь спишь!

На следующем уроке Ирина Васильевна рассказала нам про грехопадение и изгнание из рая. В этой истории Бог наказал людей довольно сурово, однако мне, привыкшей постоянно слышать перебранки родных и обещания никогда не простить и всё припомнить, Он и тут показался достаточно милостивым. Пусть Он выгнал первых людей из рая, но всё-таки пообещал, что вернётся и не бросит,—это уже чего-нибудь да стоило. К тому же меня брало зло на Еву: и что она послушалась этого проклятого змея? Ведь жила в раю, смотрела на красоту, не знала печали—и поверила ползучему непонятному типу! Мустяца тоже осуждала Еву:

— Посмотрела на плод, как на базаре: хороший на вкус, приятный для глаз… А это же чудо! А Адам какой-то глупый оказался…

На третьем уроке Ирина Васильевна рассказала нам про Каина и Авеля, потом про Ноя. Авеля мне было жаль так, что я беззвучно заплакала и подумала, что хуже зависти нет порока—и другому приносит зло, и самого человека мучает. История Ноя понравилась Володе, он стал рисовать в тетради ковчег и прикидывал, где разместит припасы для травоядных, а где—для хищников.

— Я бы им сложил бананы и косточки, как в передаче «Джунгли зовут»,—шепнул он мне.

Люди и звери на ковчеге спаслись, но потом всё пошло по старому пути: мало кто слушался Бога,

большинство предпочитали быть как все. Ирина Васильевна сказала, что в следующий раз будет последний, четвёртый урок по этому разделу, и задала домашнюю:
— Теперь, ребята, вы слышали про Адаму и Еву, про их сыновей, про Ноя и Хама. Вы примерно понимаете, что такое грех. Вспомните, где вы в своей жизни поступали плохо, неправильно, и напишите мне к следующему уроку сочинение «Мой первый грех». Пишите как получится, что вам придёт на сердце.

Вечером я возвращалась из школы вместе с дочкой председателя родительского комитета. Встретив мою маму, председательница начала шумно возмущаться домашкой:
— Что ещё за задание такое? Какие грехи у детей?! Они маленькие ещё! С ума сошла эта русичка.

Моя мама была гораздо спокойнее:
— Ну, странное задание, да... Так а по математике что им задавали всю началку, с этим развивающим обучением?! Какие-то мерки, фигерки... Я голову сломала, решая. А валеология эта? Порфирий Иванов и прочее... Первый грех—это хоть проще.
— Нет уж, Люба,—не соглашалась председательница.—Я этого дела так не оставлю. Интересно вот, знает директор про художества нашей Ирины?.. Я доложу...

Дома мне пришлось задуматься, что написать в сочинении. Воспоминания о том, что было мной сделано плохого, оказались неприятными, и погружаться в них совершенно не хотелось. Я вспомнила, когда грубила, обманывала маму насчёт оценок, чтобы та не ругалась; вспомнила, как соврала Раисе Ивановне, что у меня болел вечером живот и поэтому я не сделала задание. Что же можно было написать?..

Мама быстренько подсказала мне тему, напомнив, как однажды я искала своих пластилиновых зверей и стала кричать на мать, как будто это она их куда-то дела. Вздохнув, я согласилась и написала об этом случае: всё равно, получается, грех, пусть и не первый, а какой-нибудь пятый либо шестой...

У моих одноклассников грехи оказались все будто под копирку. Один не захотел есть котлету и выбросил её в окно, другой выплеснул в унитаз тарелку супа, третья вылила стакан киселя в цветочный горшок, четвёртая раскрошила в мусорку яйцо. Дашкин первый грех был в том, что она отказалась убирать за кошкой, Катькин— что она стала капризничать, когда мама испекла невкусный пирог.

«Скучно вы грешите, ребята»,—подумала я не без гордости.

Хорошо хоть Вовка написал, что украл на базаре несколько конфет.

Но Ирина Васильевна сказала, что Бог отправил своего Сына для спасения даже худших грешников, даже бандитов и убийц. В первую минуту я удивилась, почему Бог не пошёл на землю сам, но тут же объяснила это себе: ведь прошли многие годы—состаришься тут, глядя, как люди бесконечно спорят, враждуют, воюют, и переживая за них всех! Бог, конечно, и сам хотел спуститься на землю, но понял, что лучше будет отправить Сына, чтобы тот всё исправил, вернул бы людям рай.
— Я не хочу обязательно призывать вас в веру,— произнесла Ирина Васильевна, чему я, надо сказать, немного удивилась.—Но это такие вещи, которые должен знать каждый человек в христианской стране. Вы только послушайте, какие это строки: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»...

Я вспомнила папу Карло из фильма про Буратино: вот он, старый добрый мастер, сидит на своём чердаке, разложив инструменты; вот играет на скрипочке сладко-грустную мелодию сверчок; вот приставил к окну лестницу и заглядывает внутрь фонарщик—светлый ангел Божий. Мастерит, мастерит Бог себе Сына, вкладывает в Него доброту своей души. И, хотя знает заранее, что придётся с ним расстаться, надеется, что сын исполнит всё задуманное, и поёт:

> Вот уже почти готов он, добрый человечек,
> Я вложу в него надежду и одежду дам,
> Он спасёт нас от печали, от нужды излечит,
> Будет с кем мне под шарманку топать по дворам...

Ирина Васильевна рассказывала—будто песню пела про то, как Сын, которому выбрали человеческое имя Иисус, жил ребёнком у Иосифа с Марией, как Он вырос и выбрал себе учеников, как лечил и кормил людей... В конце концов Ему пришлось умереть—я не очень-то поняла, почему не было другого пути, чтобы вернуть рай человечеству. Но на третий день, когда уже все считали, что Иисус навсегда умер, Он воскрес, явился своим ученикам и сказал им: «Радуйтесь!»
— Разве это не удивительно?—спросила нас Ирина Васильевна, хотя ответ и так был понятен.—Мы с вами обговорили только самые основы. Ничего не сказали о Марии, о жизни Иисуса на земле... Но всё-таки кое-что мы узнали с вами и теперь сможем дальше изучать наш учебник. Очень многие произведения содержат в себе мотивы Библии. Вы уже сможете их понимать.

Вихри жизни

Стихи и проза участников конкурса
имени Анатолия Третьякова

НОМИНАЦИЯ «ПОЭЗИЯ»

Юлия Тумак

● ● ●

Грунтовая дорога, по ней от трассы влево.
Когда-то были пашни здесь, покосы и посевы.
Вдоль дороги жёлтое море растеклось—
Золотарник, лето, бабочки, тепло…
Все в пыли дорожной мои босые ноги.
Думаю о поле, что справа вдоль дороги.
Когда-то здесь пшеницы по ветру шла волна.
Сейчас до кромки леса лишь полынь видна.
Над дорогой марево, и мысли как в тумане.
Что меня влечёт сюда и что меня так манит?..
Из тумана мыслей очнулась, как от сна.
За поворотом старая избушка из бревна!
Как лицо покойника—серая стена…
Тёмные глазницы открытого окна…
Кто здесь жил, давно ли, и где они сейчас?—
Нет на то ответов. Предвечерний час.
Чувствует избушка себя собакой брошенной,
Безучастно смотрит на гостей непрошеных.
Сначала ждёт хозяев—вернётся человек.
Потом с надеждой тихой коротает век,
Что кто-нибудь найдётся, заберёт себе.
Так гаснет жизнь от холода в бревенчатой избе…
Ослепли её окна, сгнила её спина.
«Послал бы Бог пожару, устала я одна…»
Не осталось прежней в доме красоты.
А в эти стены вложены надежды и мечты.
И я о доме грежу: высокий, светлый, новый!
Смотрю на эти старые чёрные остовы
И вижу в них такие же мечты живых людей,
Таких же, как и я сейчас, полная идей,
Что жизнью наслаждались, как и я сама,
Которые мертвы уже, как и их дома…
Жизнь так быстротечна—пыльная дорога.
Времени для жизни у нас, увы, немного.
Оно дороже золота, кому досталось сколько.
Времени достойна одна любовь, и только.

● ● ●

Самое лучшее в дне—это ночь,
А самое лучшее в нóчи—сны.
Самое лучшее в лете—дождь,
А в дожде—это осень и ждать весны.
Дочь—это самое лучшее в маме,
И лучшее, что есть у сына,—мать.
Жизнь—это то, что случилось с нами,
И лучшее в жизни—дорогу знать.
В дороге же лучшее—чай в подстаканнике,
В чае—заварки янтарный цвет.
Залить кипятком чёрный чай в заварнике—
И лучше не спать, а встречать рассвет!
Лучше читать и страницы главные
Перечитывать там, где до дыр зачитано.
Лучше играть, ведь игра—это жизнь.
Доиграешь когда—лучше слышать: засчитано!

Анастасия Прохоренко

Весенние зарисовки

I.

Ночная парковка. Апрель. Рассветает.
Машины—клавиши пианино.
Под солнцем глазурь потечёт и растает.
Секунды, как птицы, проносятся мимо.
Цвета и мгновенья слились воедино.
Лазурь расцветит проявляемый снимок.

II.

Апрель. Деревья на закате—
как одуванчики. Одни
искрятся золотом несмело,
в других застряли облака.
А ветер солнце тихо катит,
за горизонт с собой мани́т.
Покой, и небо без предела,
и жизнь как чашка молока.

Полина Цыпышева

Девушка-воин

Раны души и тела платьем не стянешь.
Кровь от сражений помадой,
Увы, не замажешь.
Девушка-воин.
В танке женскую нежность
Никто не заметит.
Девушка-воин.
Чувствуешь, как изнывает
Хрупкое тело,
Девушка-воин?
Воином быть—значит быть
Человеком без пола.
Воином быть—погибать
По-геройски достойно.
Девушка-воин.
Воин—как все, без поблажек,
Но больно,
Что девушка—воин.

Евгения Зуева

Кто ещё вспомнит?

Помнишь, несколько песен назад,
Несколько вёсен и несколько лестниц,
Слов нерастраченных водопад,
Нежный развратник-месяц?
Помнишь, крыша, гитара, стакан,
Строки чужого вранья?
Кто ещё вспомнит, если не Я,
Этот обычный обман?..
Помнишь, несколько женщин назад,
Несколько шрамов и несколько болей
Ты появляешься невпопад—
Соль на мои мозоли?
Помнишь, лето без солнца совсем,
Губы, дождинки, мосты?
Кто ещё вспомнит, если не Ты,
Этот обычный Эдем?..

Помнишь, несколько жизней спустя,
Несколько войн и несколько маний
Мы повстречаемся на костях
Наших воспоминаний?
Помнишь этот последний этаж
И поцелуи взаймы?
Кто ещё вспомнит, если не Мы,
Этот обычный мираж?..

Шафраны

Помню, был какой-то день недели—
Холодно, листья повсюду.
Пели, спорили о Боттичелли,
Били на счастье посуду.
Были друзьями—сначала друзьями,
Ну а потом—непонятно…
Думали, сможем додуматься сами—
И отступиться… Внезапно—
Стали чуть ближе,
Чуть резче. И громко…
Нитью волненье по коже.
Я ненавижу—
Брось мне соломку:
Может/не может—поможет…
Слов перестрелка,
Не замечая рваные белые флаги,—
Бьётся тарелка,
Чашечка чая,
Рвутся страницы на стяги.
Скомканы сутки—
Собраны сумки,
Ящик почтовый без спама.
Помню лишь шутки,
Мультик про Умку—
Там он искал свою маму…
Ты, не умея зализывать раны,
Прячешь себя в масках лиц.
Что я имею?—Сухие шафраны
Где-то меж книжных страниц.

Дмитрий Коломыцев

Счастье в танце сорок пятого года

В шумном солнечном скверике центра
Вас кружил легкокрылый вальс.
Под мелодии чудо-оркестра
Ноги сами пускались в пляс.

Вальс врывается счастьем в сердце
И уже будет в нём навсегда.
Так легко друг от друга зажечься,
Чтоб не меркнуть уже никогда!

В шумном скверике веет прохладой,
Но внутри не замёрзнуть от света,
Что людей согревал в сорок пятом
И от гибели вёл до Победы…

Марина Резник

Из глубины

Это была очередная рутинная работа для двух морских дайверов — Джо и Поула. Они и раньше проверяли старые морские пещеры на предмет поиска древних сокровищ. Все клиенты были довольны их работой: иногда они приносили окаменелости из глубины, иногда затонувшие предметы, но часто находилось что-то очень особенное — например, странные камни в форме морских монстров, которые выглядели загадочно и интригующе.

Новое задание было интересным — клиент подал заявку на обыск одной пещеры под Аравийским морем. Мистер Стивенс был уверен, что там спрятаны какие-то древние камни и изделия ручной работы дочеловеческой эры. Он с жаром утверждал, что когда-то давно в этих местах царила очень развитая и процветающая цивилизация.

Джо проверил аппарат; это было его собственное изобретение — с ним он мог дышать под водой без маски и воздушных баллонов. Всё, что ему нужно было сделать, — просто надеть на нос лёгкое и невесомое устройство в форме сифона ракушки. С этим уникальным изобретением друзья могли оставаться под водой в течение пяти-шести часов.

Джо и Поул решили погрузиться на рассвете. Море было спокойным и тихим, все хищные рыбы и морские змеи легли спать, и только маленькие безобидные рыбки плавали вокруг двух человек безо всякого страха. Морские обитатели смотрели на людей с интересом и любопытством, одна храбрая маленькая рыбка даже начала легонько пощипывать ногу Поула.

Они плыли в новую пещеру, которая поднялась с морского дна совсем недавно — после землетрясения. Эта пещера могла быть абсолютно пустой, но клиент желал её исследовать. Возможно, она содержит нечто ценное из давнего прошлого нашей планеты. Друзья не могли даже представить, что́ они могут здесь найти: может быть, вообще ничего, но возможно — скрытые сокровища за пределами геологических времён. Наверняка здесь должны быть окаменелости трилобитов и другие морские реликты.

Новая пещера пока была безымянной — никто не успел ещё дать ей имя. Мистер Стивенс, от которого они получили запрос на исследование, хотел быть её первооткрывателем. Он дал ей кодовое имя «пещера №С8», что наводило на мысль о том, что это далеко не первая пещера, которой он заинтересовался. За молчание дайверов Стивенс готов был хорошо заплатить, он не гнался за славой — только за артефактами. Он готов был купить все находки, которые удалось бы обнаружить в этой пещере, и для морских дайверов это было самой важной причиной, почему они рисковали своими жизнями, выполняя опасные погружения.

Свет от фонариков, прикреплённых к шлемам, был сильным и ярким, и вскоре они достигли указанного места — Джо заранее проверил координаты. Пещера возникла словно из ниоткуда. Её высота была около шести метров, а в нижнем левом углу был вход в виде идеального круга. Камень пещеры был светло-зелёным — возможно, это был базальт, покрытый водорослями или другими растениями.

Перед входом внутрь Поул проверил, есть ли ещё входы в пещеру, но их больше не было — только одна входная яма, и Поул поневоле встревожился: «Мы должны быть очень осторожны! Если что-то пойдёт не так и камни будут в движении, эта пещера навсегда станет нашей могилой». Но работа есть работа! Ничего не поделаешь — они стали пробираться внутрь пещеры. Сначала было очень темно, даже света от фонариков было недостаточно. Вскоре проход повернул налево и ушёл глубоко внутрь пещеры. Спуск вниз занял порядка пятнадцати минут. Оказавшись на дне пещеры, друзья заметили, что стало заметно светлее, словно вода сама излучала свет, сияя от фосфора. Осматривая стены пещеры, дайверы не верили своим глазам: резные каменные фигуры были повсюду. Некоторые из них выглядели как змеи или птицы, а другие — как пришельцы из космоса, с длинными тяжёлыми крыльями и большим количеством шипов. У некоторых были щупальца и присоски. Кем были эти существа? Образами из древних мифов или реальными представителями загадочной цивилизации? И кто мог выполнить такую мастерскую работу в те незапамятные времена?

Внезапно Джо понял, что свет горит так ярко, словно внутри пещеры работала электростанция. Стены были отчётливо видны, и он услышал, как из дальнего угла пещеры играет мягкая, нежная мелодия. Музыка была очаровательной и обладала притягательной силой, заставляя подойти поближе к этому месту. Джо и Поул поплыли навстречу музыке, пытаясь рассмотреть, что за удивительный музыкальный инструмент издаёт такую мелодию.

В самом низу стены они обнаружили небольшую музыкальную коробочку — она была размером с ладонь. Джо коснулся её, и мелодия сразу стихла. Взяв в руки, он сразу отметил, какая она была тяжёлая, словно сделана из особого металла. Малютка весила килограмм десять, не меньше. По её ободку струилась надпись на неизвестном языке. К сожалению, больше из пещеры было нечего

взять, так как огромные статуи были неподъёмны для человеческих рук. Настало время всплывать.

Позднée, вечером того же дня, Джо и Поул встретились с заказчиком. Мистер Стивенс заметно нервничал, ему не терпелось узнать, что же дайверам удалось найти. Джо показал ему музыкальную шкатулку, и тот пришёл в неописуемый восторг. Сделка была быстрой, Стивенс не жалел средств для того, чтобы желанная находка поскорее оказалась у него в доме. На расспросы дайверов о том, что это за устройство и кем было создано, он не стал отвечать, и ребята поняли, что лучше хранить молчание о шкатулке.

Прошло всего три дня, как на море снова произошло землетрясение, а в последующие десять дней они шли ежедневно. Джо задумался о странной находке в пещере и повторяющихся землетрясениях. Была какая-то связь между этими явлениями. Ведь известно, что музыка — это тоже волна, способная вызывать колебания, особенно сильно проявляющиеся в водной стихии. Неужели мистер Стивенс использует шкатулку как орудие для вызывания землетрясений на море? Если да, то с какой целью?

Джо и Поулу удалось проследить за Стивенсом и узнать, где находится его особняк. В одну ночь они решились нанести ему тайный визит. Проникнув в дом с чёрного хода, они нашли огромную библиотечную комнату, полную старинных фолиантов. Ветхие тома находились в плачевном состоянии, многие из них были написаны на неведомых языках. Посреди библиотеки находился стол из красного дерева. Музыкальная шкатулка в качестве пресс-папье лежала на одном из раскрытых фолиантов. Что это была за книга и для чего предназначалась, Джо разобрать не смог. Но изображения морских чудовищ напугали его. Безумный мистер Стивенс старается вызвать из бездны древних чудовищ! Шкатулка действует как будильник для них, воскрешая их гроты из глубины морской стихии.

Никто не знает, что ждёт человечество после возвращения старых хозяев нашей планеты. Навряд ли они окажутся дружелюбными к людям. Поул схватил шкатулку и попытался разбить об пол, но её необыкновенная крепость выдержала этот удар. Требовалось расплавить этот странный артефакт в огне, чтобы остановить гибель человечества.

Джо и Поул действовали быстро — они понимали, что времени у них в обрез. Только одно подходящее место было поблизости — старый металлургический завод. Работают ли до сих пор его домны? Нужно было спешить — необходимо бросить шкатулку в печь. Ребятам повезло — они проникли на завод, где как раз готовились к процессу выплавки металла из руды. Надев защитный костюм, Джо незаметно бросил шкатулку в печь. Поможет ли это? Оставалось только надеяться.

Джо и Поул провели следующие десять дней в тревоге — они ждали появления мистера Стивенса или кого-нибудь пострашнее. Но за это время не было больше никаких землетрясений, даже море казалось спокойным и ласковым. Морские звёзды мирно лежали на дне моря, спали змеи, и бояться было нечего.

НОМИНАЦИЯ «ПУБЛИЦИСТИКА»

Тамара Барбарян

Не хлебом единым жив человек

…но каждым словом, исходящим из уст Божиих…

Чем жив человек? Что живит его сердце, наполняет радостью и миром? Что значит «жив человек»?

У человека есть три яруса жизни: духовный, душевный и телесный. Каждый из этих ярусов имеет свои потребности, и, безусловно, они не все одного достоинства. Одни потребности выше, другие — ниже, соразмерное удовлетворение их даёт человеку покой. Духовные же потребности выше всех перечисленных, и когда человек начинает заботиться о них больше, он обретает внутренний мир, гармонию мыслей, чувств и желаний. Если говорить другими словами, то когда у человека на первом месте Бог, то всё остальное, что хоть немного придаёт жизни насыщенность, встаёт на свои места: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Евангелие от Матфея, 6:33).

«Как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (Первое послание Петра, 2:2). Святой апостол Павел призывает человека возлюбить Слово Божье. Ведь именно оно животворит сердце человека, наполняет благодатью, делает чутким, сострадательным и открытым.

Каждое Слово Божье имеет такую глубину и такую энергию, что это целый необъятный океан, в который погружается человек. Ни одно искусство, ни одно литературное произведение не способно изменить, обновить, возродить человеческое сердце так, как это могут сделать Бог и Его Слово. Когда человек познаёт Бога, его жизнь меняется. Она становится глубокой, содержательной, светлой, доброй и поистине радостной.

На первом курсе я в первый раз прочитала Новый Завет. Позже я стала вновь и вновь обращаться к этой книге, уже подчёркивая для себя важные мысли, которые не дают сломиться в тяжёлую минуту. Читая Божье Слово, мне хочется быть лучше, чище, добрее. Я обрела душевный мир. Я поняла, что это именно то, без чего человек

не сможет прожить свою жизнь. Быть может, и сможет… Но как? Бог необходим человеку каждый день, как хлеб, как воздух!

Без Бога жизнь кажется такой плоской, бессмысленной и пустой. Найти Бога—это как утолить жажду, об этом говорит сам Господь: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей», «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек». И всё становится понятно. И мы отпускаем синицу из рук…

Есть множество людей, жизни которых в корне изменились благодаря Слову Божьему. Как удивительно! Бог действует в нас через Священное Писание. Ты меняешься—и преображается мир, в котором ты живёшь.

Божья благодать полностью преображает внутреннего человека, и он, подобно луне или зеркалу, начинает светить окружающим отражённым светом… Хорошо бы быть зеркалом или луной (а не какой-нибудь коробкой!), чтобы отражать Божий свет. Но чтобы отражать его, нужно в первую очередь быть честным с самим собой, уметь задавать себе вопросы: «Кто я? Зачем я здесь? И куда я иду?» Нужно открывать своё сердце Богу и верить в то, что Он говорит.

Читая Слово Божье, ты действительно наполняешься любовью, и, главное, тебе хочется ею делиться с другими. А ведь этому и учит нас Господь, ибо без любви человек мёртв и жизнь его не имеет никакого смысла.

Для того чтобы обрести мир и гармонию, сегодня многие обращаются к психологам. Но в современной психологии всё крутится вокруг уникальности человеческой личности, вокруг собственного «я». Основа же христианского вероучения—забыть о своём «я», стяжать смирение, служить ближнему. Фундаментально разный подход. И результат.

Бог есть источник жизни. И чтобы человеку быть по-настоящему живым, ему нужно иметь связь с источником жизни. Душа человеческая живёт, пока сохраняет эту связь.

Виолетта Зимницкая

Любите жизнь!

Мы постоянно куда-то торопимся, вечно спешим. Все и всегда. Это факт. Вспомните, когда вы в последний раз смотрели на звездопад, любовались необычными цветами, новогодней иллюминацией, гладили своего питомца, говорили родным и близким тёплые слова, встречали рассвет с друзьями? Давно?

Ежедневно нам внушают, что нужно делать несколько дел одновременно. «Живите в режиме многозадачности! Занимайтесь всем и сразу и не преуспевайте ни в чём!—поют социальные сети, телевидение, радио, Интернет, журналы, газеты и другие сми.—Повышайте продуктивность, тогда вас ждут успех, блестящая карьера и т.д.» Как же меня раздражает эта «продуктивность», даже само слово: относитесь ко всему поверхностно, как к продукту, и не вкладывайте душу в то, чем занимаетесь; перед вами всего лишь продукт; главное—это количество произведённой продукции, качество не важно.

Да-да, дело обстоит именно так. Сейчас вы начнёте оправдываться: таков темп современной жизни, надо сделать много, а время ограничено… А кому надо? Лично вам или кому-то другому? Стоит ли это того? А то, что «времена всегда одинаковые», знаете? Или не смотрели этот фильм, потому что не было времени?

Распыляясь на всё подряд, мы в конечном итоге остаёмся у разбитого корыта. Так случается, потому что выполнение большого количества заданий «как попало» и «абы как» не приводит к желаемому результату. Вместо пяти-шести побед у нас пять-шесть поражений. А так дела не делаются.

Занимаетесь подготовкой домашних заданий и слушаете музыку? Едете в машине и разговариваете по телефону, общаетесь в мессенджерах? И в том, и в другом случае второе (дополнительное) дело снижает вашу концентрацию внимания. С музыкой уроки выполняются дольше, так как вы отвлекаетесь, вникая в смысл песни и подпевая. Приходится перерешивать, перечитывать по несколько раз. Во втором случае вы смотрите уже не на дорогу, а на ваш гаджет. Чтобы осознать происходящее в реальности, нужно выйти из виртуального мира, чего вы, конечно, не торопитесь сделать: действительно, с минуты на минуту вам позвонит или напишет президент или премьер-министр—какие там пешеходы! Кажется, кто-то сигналит вам—это сотрудники гибдд. Они просят предъявить документы, а потом спрашивают о наезде на человека. «Какого ещё человека?»—недоумеваете вы. А ваши собеседники переглядываются и начинают сомневаться во вменяемости водителя. Наверное, этот человек тоже куда-то спешил, до того как вы его сбили—убили. Так совершаются преступления.

Современный человек не останавливается ни на минуту. Не даёт себе отдохнуть, собраться с мыслями. После тяжёлого рабочего дня он едет в автобусе. И, даже устав, продолжает выполнять нескончаемые дела: стоя и держась за поручень, слушает аудиокнигу. Видимо, в вечерней давке, с двумя пакетами продуктов и в вертикальном положении средства образной выразительности воспринимаются более «продуктивно»! За мыслью автора неудобно следовать дома, в мягком кресле, перед сном. Кстати, перед сном—просмотр

телевидения и переписка в социальных сетях. И заметьте: всё это вместе, в синтезе, в тандеме.

Помните советскую комедию «Не может быть!» режиссёра Леонида Гайдая? В части «Свадебное происшествие» главный герой — Володя Завитушкин — рассказывает: «...Сижу я в трамвае и вижу — передо мной барышня вырисовывается. Ничего себе барышня. <...> Вижу я, барышня к выходу тискается. Она к выходу — я за ней, тут и познакомились, стали встречаться». Естественно, что в наши дни такая ситуация почти невозможна: обратить на себя внимание, когда все взгляды прикованы к смартфонам и планшетам, очень сложно.

Мне самой часто приходится ездить в автобусе. И наблюдать за этими гаджетными зомби. Лично я люблю смотреть в окно, читать афиши на баннерах, изучать, как одеваются красноярцы. Мне нравится замечать что-либо новое в моём районе, городе: здесь открылся маленький магазин, тут появился парк, там опять уложили асфальт... Иногда я просто думаю о чём-то: например, что́ буду делать на выходных или каникулах, какой подарок сделаю маме, когда поеду в библиотеку, и какую книгу возьму... Я не из тех, кто берётся за всё и остаётся ни с чем. Если занимаюсь чем-либо, то делаю это «как положено» от начала до конца. Поверьте, это очень удобно!

Хорошо! Сэкономили много времени. На что же вы его потратили? На очередную спешку, на новую «продуктивность»? Что полезного сделали для себя, семьи, общества, человечества? И время лишнее появилось, только друга вы всё равно забыли поздравить. Знакомы с детства? Странно, что вы до сих пор дружите.

В двадцать первом веке каждый стремится к личному успеху. Мне кажется, что его можно сравнить с духом предпринимательства, овладевшим человеком в Новое время. А сегодня наш разум помутился из-за мечты о славе, известности. Голова закружилась, мы заболели. Один падает с крыши для TikTok, другая раздевается для Instagram... В прошлые эпохи, чтобы стать знаменитым, нужно было десятилетиями работать над научным законом, выиграть все войны мира, написать сотни замечательных стихов... Сегодня несколько минут опасности, стыда, позора — и вот она, минута славы. Не долгожданная и однодневная, как окажется впоследствии. И нам абсолютно не интересно, что скажут об этом на работе, что подумают наши дети и друзья. Мнение миллионов чужих, незнакомых людей для нас важнее. Ради него мы тратим время и деньги на фотосессии, перестаём заниматься домашними делами, ссоримся с близкими, теряем контакт с нашими детьми и друзьями... А вы считаете время, проведённое в социальных сетях? Те минуты и часы, которые потрачены впустую. Вот когда нужно экономить время!

А ещё мы стали чёрствыми. Мы стали жестокими. Включите телевизор — и вы ужаснётесь тому, что происходит вокруг нас в мирное время, в дни, когда все говорят о гуманизме и толерантности, о сострадании и волонтёрстве... Детей выбрасывают, как мусор, животных истязают, на замечания отвечают агрессией и стрельбой из оружия... Только равнодушные могут так поступать. А если быть точнее, то не «равнодушные», а «бездушные». Говорят, что наличие духовного мира отличает человека от животного. Наши котики и собачки умеют ластиться, они могут любить нас по-настоящему. А эти изверги, которые с рождения считаются людьми, могут жалеть, сочувствовать? Если нет, то они хуже животных. Если да, то что-то человеческое в них всё-таки осталось. Сегодня люди стали злее зверей. И это действительность, от которой нам пока никуда не деться...

Но нам есть над чем работать. Будем совершенствовать себя. Прямо с этой минуты. Расставим приоритеты: перестанем делать то, что не приносит ни пользы, ни удовольствия. Вспомним, что жизнь даётся нам лишь раз. Забудем о мелочах, постоянной возне. Будем делать всё так, как нужно. Не будем тратить эти минуты впустую. Они неповторимы. К прошлому нет возврата.

Цените жизнь, каждое её мгновение! Любите жизнь! Будьте рядом с теми людьми, в том месте и в нужное время.

Нина Ищенко

Раскольников, Шерлок Холмс и Дионис в «Тайной истории» Донны Тартт

Роман американской писательницы Донны Тартт «Тайная история» вышел в 1992 году и сразу стал бестселлером, завоевав популярность у читателей и исследователей. «Тайная история» — это университетский детектив, написанный с точки зрения убийцы. С первых страниц читатель узнаёт, кто и кем убит, а вся книга посвящена объяснению этого поступка и изображению его последствий. Роман представляет собой интертекстуальное произведение, отсылающее к целому ряду источников, наиболее важными из которых являются античные трагедии, работы Ницше и романы Достоевского.

По сюжету романа группа студентов-античников изучает античную культуру в Хэмпденском колледже под руководством гениального учёного Джулиана Морроу. В группе всего шесть человек, они работают только с одним преподавателем, Морроу, и под его водительством глубоко погружаются в античность. Они не только изучают древнегреческий и читают античных авторов в оригинале, но и под влиянием своего преподавателя пытаются повторить дионисийскую мистерию, войти в вакхический экстаз с помощью древних оргиастических практик: самоистязание, одурманивание сознания вином и наркотиками, сексуальные оргии. Когда им наконец-то это удаётся, в ходе мистерии они случайно убивают человека, местного фермера. Чтобы скрыть это убийство, совершённое бессознательно, студенты сознательно планируют и осуществляют убийство своего одногруппника, который не участвовал в мистерии, но догадался о происшедшем. Именно это второе убийство — в центре повествования в романе Донны Тартт. Юридического наказания студентам удаётся избежать, но писательница показывает саморазрушение персонажей в мире, сломанном в своей сути в результате их поступка.

Самым важным текстом для «Тайной истории» является роман «Преступление и наказание» Достоевского. Влияние романа прослеживается не только в общности темы, которая так или иначе затрагивается в любом детективном произведении, но и в развитии сюжета как антитезиса сюжету «Преступления и наказания», а также в оформлении авторского голоса в романе так, как это делал Достоевский. Рассмотрим эти моменты ближе.

В романе Достоевского студент Раскольников задаётся вопросом о праве на убийство: «Тварь я дрожащая или право имею?» После убийства старухи-чиновницы он понимает, что сама постановка вопроса показывает, что он не относится к сверхлюдям, имеющим право на убийство, у него есть совесть, которая не замолкает, несмотря на рациональные доводы. Признание своей вины становится для Раскольникова началом долгого и мучительного перерождения, в результате которого отвергнутая разумом идея о ценности любой человеческой жизни становится его внутренним чувством. Раскольников не просто понимает, что он виноват, он на эмоциональном и рациональном уровне осознаёт, что убийство разрушает душу убийцы и ломает самые основы универсума. Заповедь «Не убий» написана в онтологических основах мироздания. Так приятие христианской идеи о братстве всех людей и бесценности человеческой жизни позволяет Раскольникову восстановить прореху в мироздании и возродиться к новой жизни.

Инверсию буквально каждого из этих мотивов мы видим в романе Донны Тартт. Её герои также студенты, что является ещё одним сходством с произведением Достоевского. Однако эти студенты не задаются вопросом, имеют ли они право на убийство, они заранее и полностью уверены, что уж они-то, конечно, право имеют. Убийство фермера не заставляет их ужаснуться и внутренне отшатнуться от содеянного, они просто ищут способ замести следы, ничуть не рефлексируя по этому поводу. Перед нами коллективный антигерой Раскольникова — студент, право имеющий.

Этому коллективному антигерою удаётся то, что не удалось Раскольникову: он не просто удачно совершает убийство, он ещё и избегает разоблачения и признания вины. Порфирия Петровича в американском романе нет, студентам удаётся спрятать концы в воду, они остаются безнаказанными, на них даже не падает подозрение. Однако в результате все персонажи становятся на путь саморазрушения, ни одному из них не удаётся наладить нормальные отношения с людьми и встроить свою жизнь в структуру мироздания. Каждый из персонажей тем или иным способом уничтожает

себя: самоубийство (Генри), попытка самоубийства (Френсис), алкоголь и наркотики вплоть до полной десоциализации (Чарльз), самонаказание в виде отказа от радостей жизни и общения с людьми (Камилла), одиночество (Ричард). Таким образом, Донна Тартт доказывает от противного ту же идею, которую высказал Достоевский в своём православном романе: каждая жизнь бесценна, убийство разрушает человека и мир.

Помимо инвертированного сюжета, идейное влияние Достоевского сказывается в оформлении авторского голоса в романе. История рассказана от имени студента Ричарда Пейпена, все персонажи даются с точки зрения этого репортёра. Автор, сама Донна Тартт, появляется в романе на метауровне—ей принадлежат название и эпиграфы, причём первый эпиграф взят из Ницше, что указывает нам на источник идеи о сверхчеловеке в романе. Но есть ещё один момент, когда в герметический мир романа проникает голос автора, и это делается тем способом, который практиковал Достоевский.

Как указывает исследовательница творчества Достоевского Татьяна Касаткина, «в произведениях Достоевского самые ключевые, с точки зрения определения авторской позиции, места текста будут обозначаться словами „сказал непонятно зачем“, „почему-то сказал“ и т. п., за которыми как раз и следуют слова, не имеющие ни причины, ни цели в дискурсе и потому всецело переводящие нас в область, в которой существует авторская позиция».

В романе Донны Тартт тоже есть такой момент, когда рассказчик Ричард Пейпен мысленно произносит слова непонятно зачем, непонятно почему, никак не связанные с верхним слоем событий. Происходит это при встрече на поминках с семьёй убитого студента. В этот момент в голове Ричарда сама собой всплывает фраза: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру её Лизавету топором и ограбил». Эта фраза Раскольникова—краткий конспект сюжета «Преступления и наказания». В романе Донны Тартт эта фраза выражает авторскую позицию, авторское объяснение того, что происходит в книге: другие персонажи в другом мире повторяют судьбу Раскольникова, и автор показывает, к чему это приводит.

Раскольников, по сути, задавался вопросом, сверхчеловек ли он. Сверхчеловек—базовая категория философии Ницше. Сходство идей Ницше и некоторых персонажей Достоевского было замечено ещё в начале двадцатого века, в период первой популярности Ницше в России. Сверхчеловек Ницше—повторяющийся персонаж Достоевского (Кириллов и Ставрогин в «Бесах», Раскольников в «Преступлении и наказании», Ипполит в «Идиоте»). Но если у Ницше сверхчеловек—это цель и задача, к которой нужно стремиться, Достоевский достоверно и обоснованно показывает его крушение, причём страшной ценой. Выходя за рамки человеческого, такие персонажи уничтожают себя и других, физически или морально. Раскольникову удалось спастись, обратившись к Христу и приняв свою человеческую природу. Сверхчеловеку Донны Тартт спастись не удалось, потому что вместо Христа он общался с Дионисом. Рассмотрим эту сюжетную линию подробней.

Ницше в романе Донны Тартт появляется на уровне метатекста (в эпиграфе) и в идеях преподавателя Джулиана Морроу, воспевающего дионисийский экстаз. Сверхчеловек как персонаж имеет у писательницы другой прообраз: это Шерлок Холмс. Главный герой произведения Генри описывается так, как Конан Дойль описывает Холмса: высокий, чуть сутулый, невероятной силы, с железной хваткой, имеющий явные дедуктивные способности и мощный аналитический ум. Донна Тартт даже прямо сравнивает Генри с Холмсом—правда, не с Шерлоком, а с Майкрофтом, что оправданно по сюжету. Шерлок не раз говорит, что брат Майкрофт превосходит его как мыслитель, но совершенно не интересуется карьерой и проводит время на покое в клубе «Диоген». Отсылка к античности тут как раз уместна, потому что Генри тоже не интересуется карьерой, не стремится получить диплом, а делает то, что ему нравится: учит древние языки для собственного удовольствия и интеллектуального роста. В рассказе «Конец Чарльза Огастеса Милвертона» Шерлок Холмс говорит, что если бы он, с его аналитическим умом, решил совершить преступление, никто не смог бы его поймать. В романе Донны Тартт этот сюжет реализуется: великий аналитик, более талантливый, чем сам Шерлок, совершает преступление, и никто не может его поймать. Однако это происходит в православном мире Достоевского, и история заканчивается внутренней катастрофой.

Раскольников смог внутренне переродиться, обратившись к Христу. В романе Донны Тартт божество, с которым общаются студенты,—это Дионис. Дионис, бог вина, вдохновитель экстатического оргиазма, почитается в ритуалах, связанных с уничтожением телесности, разрыванием бога на части. В древности ритуал пожирания божества стал залогом возрождения и возвращения на землю. Как оживает после зимы виноградная лоза, так оживёт каждый причастный Дионису, отведавший его плоти. Это самое главное известное грекам причастие божественной плоти и божественной силы. Таким образом, омофагия, то есть священное поедание растерзанной жертвы, была в древности религиозным обрядом из дионисова круга ритуалов.

Убив и разодрав на части человека, студенты приобщились к божеству в той древней архаичной форме, которую восхвалял их учитель Джулиан

Морроу, соблазнивший их на этот поступок. После такого приобщения к божеству каждый участник ритуала стал сверхчеловеком, которому всё дозволено. В своём романе американская писательница наглядно показывает ложность этого пути. Выход за пределы человеческой природы в дионисийской мистерии осуществляется путём телесного отрицания своей человечности, то есть убийства человека. Этот путь позволяет студентам приобщиться к Дионису, увидеть его и общаться с ним. Достигнутое таким образом общение с божеством показывает Диониса как кровожадного демона, который в лице своего служителя Морроу провоцирует молодых людей на убийство и дальше ведёт их по кровавому пути. Дионисийский экстаз разрушает личность и уничтожает человека не только во время ритуала, но и в целостности всей его жизни.

Таким образом, обратившись к тематике Достоевского, американская писательница Донна Тартт воссоздала в «Тайной истории» основные сюжетные коллизии «Преступления и наказания». Персонажи её книги — студенты, ответившие для себя на вопрос Раскольникова, что они имеют право на убийство. Если Раскольников возрождается к жизни, обратившись к Христу и признав ценность человеческой жизни, то герои Тартт гибнут физически и духовно, отказавшись увидеть человека в своей случайной жертве. Духовная сила, ведущая их по пути превращения в сверхчеловека,—это Дионис, языческое божество, выступающее во всей своей грозной силе, враждебной человеку. В романе «Тайная история» для описания сверхчеловека использованы как прототипы Шерлок Холмс и его более гениальный брат Майкрофт, показано преступление, совершённое великим аналитиком и оставшееся безнаказанным в юридическом плане. Писательница выражает своё отношение к происходящему с помощью заимствованного у Достоевского приёма странной фразы, неизвестно почему и зачем произнесённой героем. Эта фраза прямо отсылает к истории Раскольникова и указывает на христианскую проблематику романа.

Д*и*Н симметрия

Анна Ахматова

Не с теми я…

• • •

И всюду клевета сопутствовала мне.
Её ползучий шаг я слышала во сне
И в мёртвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
И отблески её горят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх.
Я не боюсь её. На каждый вызов новый
Есть у меня ответ достойный и суровый.
Но неизбежный день уже предвижу я,—
На утренней заре придут ко мне друзья,
И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,
И образок на грудь остывшую положат.
Никем не знаема тогда она войдёт,
В моей крови её неутолённый рот
Считать не устаёт небывшие обиды,
Вплетая голос свой в моленья панихиды.
И станет внятен всем её постыдный бред,
Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед,
Чтоб в страшной пустоте моё осталось тело,
Чтобы в последний раз душа моя горела
Земным бессилием, летя в рассветной мгле,
И дикой жалостью к оставленной земле.

• • •

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслёзней,
Надменнее и проще нас.

1922

Светлана Крещенская

Ёлочные бусы

«Неуловимые зрители»

Если учесть, что комплексный обед в школьной столовке стоил всего двадцать пять копеек, а в папином деповском кафе ланч для железнодорожников, сдобренный профсоюзом стаканом сметаны и булочкой, обходился отцу в полтора полтинника, то можно представить, что значили для нас с сестрой, учениц младших классов, два рубля. Как говорила наша соседка баба Сима, тогда это были «самошедшие деньги»!

Ровно столько—по рублю на брата, то есть на сестру,—выделил нам отец из квартальной премии в первый день наших летних каникул. В то время наши ежедневные развлечения состояли из двух пунктов: книги и двор. Поэтому, когда папа выразился фигурально:

—Это вам на кино и на мороженое!—мы с Татьяной восприняли его слова буквально.

Подгоняемые духом свободы, мы умяли по стаканчику пломбира в ближайшем гастрономе и побежали вприпрыжку в наш любимый кинотеатр «Луч».

Благодаря огромной красочной афише весь двор знал, что в «Луче» целую неделю будут демонстрировать новый цветной широкоэкранный фильм «Неуловимые мстители». Многие мальчишки уже пересмотрели его по несколько раз и выхвалялись этим с такой гордостью, будто сами снимались в роли мстителей. Нам с сестрой хвастать было нечем. Мы понятия не имели—что за мстители, кому и за что они собирались мстить.

Это сегодня, когда прошлое и настоящее находится под зорким прицелом вездесущего Интернета, отношение ко всему советскому изменило окраску. И детское кино того времени называют словом, весьма далёким от ребячьего лексикона,—«коммунистической пропагандой». А тогда мы, дети хрущёвок, воспитанные на бесконечной киношной Лениниане: «Ленин в Октябре, Польше, Париже, 18-м году…»—были уверены на двести, на триста, на пятьсот процентов, что живём в самой большой, самой счастливой и самой красивой стране на свете. Благодаря этому самому многоликому Ленину, улыбающемуся богоподобной улыбкой с торца любого дома, да его Октябрьской революции, легенда о которой, претендуя на соседство с античностью, не подвергалась коррекции целых семьдесят лет…

Итак, полчаса под билетной кассой и два билета по десять копеек перенесли нас в мир опасных приключений четырёх отчаянных киногероев: Яшки-цыгана, Валерки, брата и сестры—Даньки и Ксанки Щусь. Огромный зал на триста разновозрастных зрителей—мальчиков и девочек, пап и мам, бабушек и дедушек—то единодушно замирал от волнения и страха, то взрывался безудержным смехом. Если Данька или Яшка по своему же подростковому легкомыслию попадали в какой-нибудь переплёт, из разных концов зала им в попытке остановить, предупредить кричали, надрывая связки:

—Не ходи туда! Дурачок… Там ловушка!

Ну а когда мстители убегали, отстреливались, короче—выкручивались, довольные зрители от радости и свистели, и топали ногами, и подбрасывали к потолку зажжённые спички…

С не знакомой нам ещё вчера шальной четвёркой мстителей мы переживали каждую минуту вместе, только они—по ту сторону экрана, мы—по эту. Но фильм закончился, и мы вышли из кинотеатра с таким тягостным чувством, будто нас разлучили с любимыми братьями и сестрой. У первой лавочки мы пересчитали деньги… В нашей кассе оставался один рубль и сорок две копейки. Этих денег нам хватило бы почти на одиннадцать порций мороженого. Пусть не пломбира, а «Сливочного», в бумажных стаканчиках, по тринадцать копеек за штуку. Но, увидев знакомых ребят из нашего двора, которые, подскакивая на ходу от радости, бежали к кассе, мы сделали то же самое—заняли очередь и снова купили два десятикопеечных билета.

На втором просмотре «Неуловимых» мы с сестрой уже не вели себя так, будто первый раз в гостях. Мы смотрели на наших соседей, вытирающих слёзы в самых драматических сценах, со снисходительностью старых киноманов.

—Да не переживайте вы за Ксанку! Вот увидите, Яшка ей поможет…—успокаивала сестра всхлипывающих за нашими спинами бабушку с внуком.

— Точно-точно… Они с Данькой даже придумали как…— подтверждала я слова Татьяны.— Не верите?! Мы уже пятый раз смотрим…

И хотя на экране под заводную музыку закручивались такие бесшабашные события, что наших увещеваний никто не слышал, мстители нас не подводили. В подтверждение названия картины они оставались неуловимыми, невзирая на все сюжетные лабиринты со стрельбой, погоней, горящим поездом и рухнувшим мостом. После каждого победного эпизода бабушка из верхнего ряда благополучно прятала свой валидол, а её внук под возмущение соседей: «Да тише ты!»— начинал шуршать фольгой, наминая хрустящую шоколадку «Льдинка». До появления в наших кинозалах попкорна и пепси-колы оставалось каких-нибудь тридцать-сорок лет…

За два сеанса, во время которых несколько раз обрывалась плёнка и мальчишки громко свистели и кричали киномеханику: «Сапожник!»— мы так освоились в роли киношных завсегдатаев, что, покинув зал во второй раз и пересчитав наши капиталы, отправились по уже протоптанной дорожке— сначала в кассу, а затем всё в тот же зрительный зал.

Индийский фильм «Бродяга», длиною почти в три часа, за которые мы наплакались больше, чем за всю свою предыдущую жизнь, обошёлся нам в два полтинника. Тогда мы не знали, что смотрели шедевр индийского кино. Для нас «Бродяга» был детской сказкой с положительными героями и— куда ж без них!— отрицательными.
— Как здорово, что мы живём в СССР!— заключила сестра, когда мы, простившись с дружественной Индией, бродягой Раджой и его подругой Ритой, покидали зал.

Мы уходили с той же грустью, с какой прощаются с близкими родственниками на железнодорожном вокзале.
— Да, и хорошо, что наш отец— не судья!— согласилась я, но, как оказалось через пару минут, преждевременно.

На углу кинотеатра нас поджидали заплаканная мама и отец, с рассерженным лицом киношного судьи Рагуната.
— Ищем вас с утра по всему району! Прошерстили все дворы, чердаки и подвалы… Всех соседей подняли на ноги! Все дети как дети, после сеанса играют во дворе или читают книжки… А вы? Про кино теперь и не заикайтесь! Сами себя наказали… В кинотеатр больше ни ногой!— сердито огласил свой приговор отец, хотя мама, обнимая нас и улыбаясь сквозь слёзы, точно так, как полчаса назад это делала индийская актриса Наргис, попыталась выступить в роли начинающего адвоката:
— Давайте дома про всё поговорим… На нас уже люди смотрят… Девочки сделают выводы и, я надеюсь, больше так поступать не будут!

Мы с сестрой, не столько из чувства вины и жалости к родителям, сколько от усталости и голода, уже готовы были просить прощения, но в эту минуту…
— О-о, Маринка!— окликнул меня пробегающий мимо одноклассник Веня Козырев.— Вы с Танькой уже нашлись? Вот здорово! А я бегу в «Буревестник», там сегодня— «Айболит-66», в «Полярнике» с понедельника— «Республика ШКИД», а в «Спутнике»— «Три толстяка»…

В ожидании нашего покаяния отец строго смотрел то на меня, то на Татьяну.
— Ну… что скажете, любители кинематографа? Я жду хоть каких-то объяснений!
— У нас осталось ещё двадцать две копейки…— прошептала мне на ухо сестра.— Как раз хватает на два билета…

Сейчас уже и не вспомню, каким образом нам удалось уговорить отца пересмотреть, смягчить или совсем отменить свой приговор. Но блокбастеры нашего детства— «Республика ШКИД», «Три толстяка», «Айболит-66», «Королевство кривых зеркал» и ещё с десяток, а может, и сотню, детских фильмов— мы всё-таки посмотрели. Как минимум по пять раз каждый… И вряд ли сегодняшние юные зрители, у которых совсем другие герои, нас смогут понять. Ведь они если и просматривают эти картины на своих планшетах, то с той же снисходительностью, с которой мы в их возрасте относились к немому кино.
— Да, действительно…— поначалу соглашается со мной мой внук, копируя манерного телевизионного киноведа.— Детское кино наших дедушек и бабушек забавно, иногда трогательно, местами интересно и даже увлекательно… Но с появлением «цифры» и 3D-формата— уже вчерашний день…

Ёлочные бусы

В детском саду, где мы с сестрой за неимением гувернёров и удалённости бабушек росли до школьного возраста в режиме пятидневки, к новогоднему утреннику начинали готовиться уже с осени. Но какая паника, какая суета сует начиналась с появлением за окном первого снега!

Дворник расчищал дорожки с таким усердием, будто упряжка Деда Мороза прибывала к центральному входу в ближайшие два часа. Переполошившиеся нянечки, вытащив из кладовой коробки с ёлочными игрушками и новогодними костюмами, наспех подклеивали картонных зайцев и петухов, чинили клоунские колпаки, отбеливали марлевые пачки «звёздочек» и обшивали ватой мантию Зимушки-зимы. Вместо занятий физкультуры и развития речи во всех группах— от младшей до подготовительной— колдовали над узорами бумажных снежинок. Медсестра с поваром сочиняли праздничное меню, добавив к обычному немного изюма, немного повидла и немного сгущённого молока.

К середине декабря здание детского сада, украшенное гирляндами и серпантином, дождиком и флажками, напоминало центральный Дворец культуры, готовый к проведению главной городской ёлки. Кабинет заведующей был заставлен под потолок сладкими подарками, в музыкальном зале в двадцатый раз прогоняли новогодний спектакль.

И всё шло бы по отработанному годами сценарию, если бы за день до утренника не позвонили из районо:

— К вам едет проверяющий из министерства! Не ударьте в грязь лицом. Его интересует воспитание дошкольников в духе интернационализма. Набросайте план и продемонстрируйте какое-нибудь мероприятие в этом духе…

— Это накануне Нового года, что ли?—недоумевала методист Анна Васильевна.— Они что там, наверху, совсем с ума посходили? Или это… чтоб нам здесь жизнь раем не казалась?..

Людмила Даниловна, заведующая детским садом, была менее категорична и более осторожна в высказываниях:

— Анна Васильевна, проверяющий из министерства—это не шуточки и не розыгрыш! Так что идите и переписывайте сценарий утренника. Что у вас там?.. Новогодняя сказка, в которой дети до самого конца ищут Деда Мороза? Каждый год одно и то же… Нет, надо что-то поменять… Полистайте материалы последнего съезда партии и вставьте что-нибудь…

По тону Людмилы Даниловны Анна Васильевна поняла, что возмущаться бесполезно. Ночь перед утренником она не спала, но рекомендации районо и указания заведующей касательно директив двадцать третьего съезда КПСС выполнила.

Можно было только гадать, где за ночь Анна Васильевна раздобыла переносной магнитофон «Весна», пятнадцать детских национальных костюмов и пять трёхколёсных велосипедов, когда в нашем детском саду, худо-бедно снабжаемом железной дорогой, до этого декабрьского дня не числилось ни одного.

Ещё только светало, а воспитанницы старших групп уже примеряли вышитые сорочки и домотканые юбки, в то время как пятеро мальчишек осваивали новенькие трёхколёсные байки с соответствующим названием—«Малыш».

Задумка Анны Васильевны была простой: новогодняя сказка начиналась не с поисков Деда Мороза, привыкшего безо всякого стыда застревать с подарками в непроходимом лесу, а с торжественного объезда ёлки посланницами союзных республик. Взобравшись на задний мост трёхколёсного «Малыша» и ухватившись за плечи велосипедистов, девочкам в национальных костюмах полагалось улыбаться во весь рот, демонстрируя министерскому чиновнику благодарность за наше счастливое детство и нерушимую дружбу народов СССР.

Блондинкам из средней группы достались прибалтийские и белорусские наряды, брюнетки-выпускницы распределили по размеру: кому—грузинское платье, кому—узбекская туника с шароварами, а кому—роскошный казахский камзол. Непонятно по каким внешним признакам был подобран сценический русский костюм мне—красный бархатный сарафан и белоснежная батистовая сорочка. После показа «Четырёх танкистов и собаки» я только и слышала в свой адрес: «О-о! Эта наша маленькая Пола Ракса… Посмотрите, как похожа!» Но польский корсет сценарием не был предусмотрен, а в русском костюме для полноты картины не хватало шёлковой ленты и стеклянных бус.

— Так, Марина… Вы с Марком выезжаете самыми последними, после Белоруссии и Украины. Спина прямая, голова гордо поднятая, улыбаешься, как майская роза… Ленту вытащим из украинского венка. А вот бусы сегодня дефицит… Бусы придётся снять…

Анна Васильевна подморгнула мне хитрым глазом из-под очков и сдёрнула яркие стеклянные бусы… с новогодней ёлки.

— И постарайся не вертеть шеей, а то порежешься… Бусам в обед сто лет, края у бусинок щербатые…—предупредила Анна Васильевна напоследок, аккуратно закрутив на моей шее длиннющую нитку разноцветного ёлочного мониста.

Проверяющим из республиканского министерства образования, заставившим перенервничать руководство детского сада, оказалась толстая тётка в тесном костюме джерси, с огромной бабеттой из взбитых рыжих волос. Она по-хозяйски осмотрела музыкальный зал, провела указательным пальцем по подоконнику и, недовольно покачав головой в сторону перепуганной нянечки, уселась сразу на два стульчика в центре первого ряда. Если бы вместо сказки про заблудившегося Деда Мороза мы поставили «Двенадцать месяцев», то на роль мачехи трудно было бы найти более подходящую кандидатуру.

Вслед за проверяющей зал быстро заполнился детьми и воспитателями. В дверной проём втиснулись работники кухни и дворник дядя Коля (он же незаменимый детсадовский слесарь, сантехник и истопник). По примеру заведующей все дружно захлопали, и новогодний утренник начался со стихотворного монтажа.

Ну и ёлка, просто диво,
Как нарядна, как красива!
Ветви слабо шелестят,
Бусы яркие блестят…—

едва не подпрыгивая от радости, отбарабанила свой стишок Надюша Стрельцова.

На словах «Бусы яркие блестят» Анна Васильевна в испуге глянула на ёлку, затем—на проверяющую. Та, театрально насупив брови, рассматривала потрескавшийся потолок, разрисованные карандашами стены…

—Похоже, пронесло!—выдохнула Анна Васильевна, но, как оказалось, преждевременно…

Потому что следующее стихотворение, которая сестра Нади Стрельцовой Полинка оттараторила таким громким голосом, что от перепуга в зрительном зале заплакали несколько малышей, тоже было про бусы:

«Ёлочка, ёлочка!»—
Радуется Полечка.
Ёлочка-красавица
Поле очень нравится.
Как хорош её наряд—
Бусы и хлопушки!
Поля с ёлочкой стоят,
Словно две подружки.
Поля тоже со стола
Бусы мамины взяла,
На себя повесила—
В нашем доме весело!

—Опять про бусы?—возмущённо прошептала Анна Васильевна.—Нет, ну это уже явный перебор… Надо заканчивать с этими стихами…

Она махнула рукой девочкам в народных костюмах, выглядывающим из дверного проёма спальни, и по этому знаку под озорную песенку Пахмутовой из фильма «Девчата» в зал по очереди покатили велосипедисты. «Хорошие девчата, заветные подруги…»—запел магнитофон.

—Дорогие дети, вас приехали приветствовать представительницы всех союзных республик нашей необъятной Родины!—радостным голосом провозгласила Анна Васильевна.

Она была абсолютно уверена, что про этот костюмированный кортеж могут написать если не в центральных газетах, то в журнале «Дошкольное воспитание»—это уж точно!

—Республика с открытым сердцем—Армения!—представляла очередную посланницу Анна Васильевна.—Хлебосольная и гостеприимная Грузия! Литва—край корабельных сосен, средневековой архитектуры и солнечного янтаря! Узбекистан—республика с древней историей, щедрой природой и трудолюбивым народом!

Разодетые в костюмы детского танцевального ансамбля, воспитанницы под популярную песенку объезжали ёлку по кругу, не забывая улыбаться незваной гостье в джерси, после чего одна девчачья пятёрка уступала место на велосипедах другой.

Мы с Марком должны были завершить этот новогодний парад под пятнадцатым номером, в чётком порядке следуя за представительницами Белоруссии и Украины.

—Наша рідна Україна! Чарівні Карпати, оспіваний Гоголем Дніпро…—продолжала Анна Васильевна уже охрипшим голосом.—И заключает наше новогоднее приветствие старшая сестра братских народов—Россия!

Подобрав подол сарафана, я взобралась на заднюю перекладину велосипеда и положила руки на плечи Марку. Наш экипаж медленно тронулся с места. В тот момент Марк был не просто велосипедистом, не просто рулевым. Он был моим принцем. Только вместо гарцующего белого коня он приехал за мной на трёхколёсном красном.

—Ну, с ветерком!—благословила нас Анна Васильевна.

По её лицу было видно, что первая часть утренника прошла без сучка без задоринки, а до второй, с Дедом Морозом и Снегурочкой, не имеющим никакого отношения к партийным директивам, скорее всего, подобревшая инспектриса не досидит.

С места-то мы тронулись, а вот «с ветерком» как-то не получилось. Марк крутил педали в каком-то замедленном темпе, в полном противоречии с бравурностью киношной мелодии. Со стороны могло показаться, что либо велосипед поломался, либо велосипедист просто издевается над непрошеной гостьей, бесцеремонно усевшейся в центре первого ряда.

—Марк, давай жми!—шептали ему со всех сторон и воспитатели, и дети, но Марк как будто не слышал ни возмущённого шёпота Анны Васильевны, ни смеха своих одногруппников—он улыбался согласно сценарию и продолжал ехать с черепашьей скоростью.

Когда мы в конце концов, уже без музыки, объехали несчастную ёлку, проверяющая, с трудом поднявшись с низеньких детских стульчиков, поманила пальцем Марка, продолжавшего как ни в чём не бывало улыбаться. Заведующая, Людмила Даниловна, побледневшая за последние несколько минут настолько, что могла бы без грима сыграть Снегурочку или Зимушку-зиму, подскочила к ней без приглашения.

—И как это понимать, молодой человек? Мол, мы тут сами с усами, а министерство нам не указ. Это что за демарш?

—И никакой не марш…—усмехнулся Марк, глядя безо всякого смущения в сердитые глаза непонимающей тётки.—Просто я боялся, что Марина может порезаться… Если разобьются бусы.

—Бусы?—удивилась Людмила Даниловна.—Какие бусы?

—Ёлочные…—с непосредственностью шестилетнего мальчика пояснил Марк и кивнул в мою сторону.

Как и предполагала Анна Васильевна, проверяющая не осталась на вторую часть новогоднего утренника. Прощаясь с Людмилой Даниловной

возле министерской «Волги», она вдруг неожиданно заулыбалась и так же неожиданно, почти по-родственному, обняла заведующую… Теперь она походила не на злую мачеху из старой сказки, а на благодарную бабушку, приехавшую проведать внучку или внука.

— Подумать только… Мальчишке всего шесть лет! А уже мужчина! Рыцарь… джентльмен… И никого не побоялся. А некоторые товарищи на такой поступок и в тридцать шесть, и в сорок шесть не способны. Хотя… и девчонка — не промах! Маленькая, а сколько обаяния… И не запаниковала… Даже бровью не повела! Ехала как королева. Понимала, что всё это ради неё…

— Да, это был её звёздный час! — согласилась Людмила Даниловна. Она была рада, что так всё обернулось: простое ёлочное украшение исключило политическую подоплёку, хотя за нарушение техники безопасности могли и выговор влепить. — Интересно было бы посмотреть на этого мальчика лет через двадцать. Каким он вырастет… И будет ли он с тем же трепетом относиться к женщинам…

Мне тоже очень хотелось встретить повзрослевшего Марка. Но про такую традицию, как сбор выпускников детского сада, мне не приходилось слышать. Да и если бы кто-то из нас захотел бы заглянуть в тот самый дом на окраине Сталинки, в котором прошла часть нашего детства, то вряд ли это было бы возможно — одноэтажное здание, с печным отоплением, баней, изолятором для внезапно заболевших, давно снесли, а на месте игровых площадок и фруктового сада построили торгово-развлекательный центр.

Но всякий раз, когда мне приходится надевать бусы, накопившиеся у меня после всевозможных путешествий на целых две шкатулки, — из янтаря, яшмы, жемчуга… — я вспоминаю эту новогоднюю историю. Благодаря маленькому кавалеру по имени Марк, который, возможно, уехал на свою историческую родину, а может, до сих проживает в Киеве, ёлочная гирлянда со щербатыми бусинами не оцарапала мою детскую шею, но оставила очень тёплый след в моей женской памяти.

В рассказе использованы стихотворения Елены Благининой и Зинаиды Александровой

ДиН симметрия

Сергей Есенин

Прощание с Мариенгофом

Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств —
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.

Возлюбленный мой! дай мне руки —
Я по-иному не привык, —
Хочу омыть их в час разлуки
Я жёлтой пеной головы.

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз —
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

В такой-то срок, в таком-то годе
Мы встретимся, быть может, вновь…
Мне страшно, — ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня заглушит.
Не потому ли — в лад речам —
Мои рыдающие уши,
Как вёсла, плещут по плечам?

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня,
Но всё ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня.

1922

Борьба за жизнь

Сочинения красноярских школьников

Василиса Арбатская

школа-интернат №1
имени В. П. Синякова, 11 класс

Остаться в живых

Стол. На столе — банка. Простая, из-под огурцов. В ней — одинокий пластмассовый кустик в непонятной слизи плавает в воде. Наклонишься до кромки — почувствуешь запашок; заглянешь — на ребристом дне гниют отходы жизнедеятельности и дешёвый рыбий корм. А у стенки — рыба: бледная, больная, её полоски на некогда золотом теле поблёкли, а её брюшные плавники беспомощно опущены. Она часто дышит и озирается по сторонам своими золотыми умными глазами, мечась при малейшем звуке.

Это — Вечная, моя гурами. Когда-то у меня был аквариум, который я тщательно мыла каждое воскресенье, вынимая оттуда рыб и кладя их вместе в одну ёмкость. Они смешно прятались там, сбиваясь в стайки, и мне нравилось их ловить руками. А потом они все медленно погибли от неизвестной болезни, но я, как ни странно, не расстроилась: мне уже надоело ходить за кормом и чистить надоевший аквариум. Самой смывать их было жалко. Оттуда — пластиковый кустик, оттуда и рыба: она была единственной выжившей, и мне всё ещё приходилось за ней ухаживать.

— Эй, вечная селёдка, пора! Будем мыть твой домик! — со смехом я говорю Вечной и несу в ванную, где выливаю весь этот органический суп вместе с животным в тазик и отмываю стёкла от бактериального налёта.

Гурами мечется: ей страшно. Глупая, не может привыкнуть уже пятый год.

Я наливаю чистой воды из-под крана в банку, беру рыбу — она выскальзывает из рук и падает за работающую стиральную машину!

Я замерла. Глаза — широко открыты. Ещё секунду назад она трепыхалась в руках, а теперь на них — только слизь. А агрегат шатается из стороны в сторону, громыхая и скрипя на всю квартиру.

Что делать?! Я сползаю вниз, на пол. Закрываю глаза. Вдруг вижу: карась. Отец их принёс с работы, говорил, что они плавали в реке час назад. Я видела их: жёлтые бока с крупной чешуёй, алые плавники и закатившиеся глаза. Кажется, взмахнёт хвостом — и свалится со стола в поисках свободы! Но нет — на боку у рыбы алые точки следов от трезубца. Он погибал медленно, мучительно — отец видел его ещё живым. Каково это — медленно погибать?

А, вспоминаю ещё, как я покупала рыб! Множество стеллажей, множество видов — но я выбрала именно её, Вечную, ведь когда я подошла к аквариуму, она подплыла ко мне, взглянула своими большими глазами — казалось, она смотрела осмысленно, с интересом, — и попыталась прикоснуться ко мне сквозь стекло своими плавниками, как руками!

Она каждое утро встречала меня, словом клянусь! Её глаза не теряли своей некой осознанности ни в моём аквариуме, ни в отсаднике, ни сейчас. А я? Заставила её медленно умирать в старой вонючей воде.

Доказано, что рыбки этого вида вне воды живут шесть часов, а в воде — шесть лет. Пять лет ужасной жизни уже прошли… и сейчас шесть часов в темноте и тесноте, когда ты медленно высыхаешь, пыль скапливается в твоих жабрах, а позвать ты не можешь никого…

Я одним рывком сорвала с места тяжёлый вибрирующий корпус, схватила бедную, косящую глазом Вечную и, омыв её чистой водой, быстро осмотрев, бросила в банку.

Гурами была цела. Но только сейчас я заметила, насколько она больна: сгнившие плавники, бледное тело, взъерошенная чешуя и повреждённый глаз. Я полезла в Интернет в поисках способов лечения болезней рыб. Через час я уже сидела рядом с розовой от марганцовки банкой, где плавала моя рыба.

Курс — на три дня. Потом, может, антибиотики добавим. Главное — поменять условия… Купить аквариум, дать отстояться воде, залить с грунтом с живыми растениями, установить фильтр, свет, грелку… Корм разнообразить. Но этим займёмся завтра. Надо будет пересчитать свои деньги, может не хватить.

Я посмотрела на удивлённую рыбу. Она с интересом и страхом изучала моё новое лицо: на нём растянулась весёлая и нелепая улыбка.

— Ну что, селёдка, начнём новую жизнь?

Надежда Уваева

гимназия №11, 8 класс

Что же ты смеёшься, мальчик?

По рассказу В. П. Астафьева «Хвостик»

В этом году у нас новая, совсем молодая, учительница биологии Мария Николаевна Селина. На уроке по теме «Человек как часть живой природы» она показала нам видеофильм, снятый во время плавания по Енисею на теплоходе. Настоящий восторг у нас вызвали скалы, лес и сам Енисей. Мы порассуждали о красоте и величии Сибири, о роли человека в этом мире, а потом Мария Николаевна попросила нас прочитать рассказ В. П.

Первая строчка рассказа: «Смеётся, заливается, хохочет мальчик»,—поначалу направила меня просто искать причину смеха, этого веселья, а когда узнала, никак не могла согласиться с автором, что такое возможно, ведь только что мы с учительницей говорили об ответственности человека за всё живое на земле. Но история смеющегося мальчика всё перевернула с головы до ног.

В правдивости рассказа Виктора Петровича никто из нас не сомневался, как оказалось, с подобной «жестью» мои одноклассники встречались. Мастерство же нашего великого земляка—в умении найти слово, выстроить этот визуальный ряд так, что каждый из нас ощутил своё присутствие рядом с рассказчиком, наполнился его эмоциями, чувствованиями, его переживаниями. Такое ощущение, что я стою рядом с писателем, слушаю и разглядываю:

> «…Возле вчерашнего, воскресного кострища, средь объедков и битого стекла, стоит узкая консервная баночка, а из неё торчат хвостик суслика и скрюченные задние лапки. И не просто так стоит банка с наклейкой, на которой красуется слово „Мясо“, на газете стоит, и не просто на газете, а на развороте её, где крупно, во всю полосу, нарисована художником шапка: „В защиту природы…“
>
> Шапка подчёркнута не то красным ломаным карандашом, не то губной помадой, через всю полосу шатающиеся, промоклые красные буквы, из них составлено слово: „Отклик“.
>
> —Что же ты смеёшься, мальчик?!
>
> —Хво… хво… хвостик!
>
> И „отклик“ на газете, догадываюсь я, написан не карандашом, а кровью зверушки».

После чтения в нашем шумном классе стояла такая тишина…

А передо мной и сейчас стоит эта картина, этот хохот—набат. Убит не только суслик, мальчик—убит. Кто эти убийцы? Кто услышит этот тревожный сигнал?

> «Оглохла земля, коростой покрылась. Если что и растёт на ней, то растёт в заглушье, украдкой, растёт кривобоко—изуродованное, пораненное, битое, обожжённое».

Скоро исполнится двадцать лет, как нет с нами Виктора Петровича. Следующей весной мы решили с нашим учителем съездить, вернее, сплавать на любимый Овсянский остров писателя, надеясь увидеть своими глазами, как борется лес за жизнь; может, эта его борьба откроет и нам путь самоисцеления от нашей душевной немоты и слепоты, от нашего равнодушия.

Влада Мицукова

Литературный лицей, 11 класс

Завтра пошёл снег

Нечаевым Олегу Павловичу и Ольге Петровне пришло письмо. Не одно на двоих, а отдельные с одним содержанием. Текст один, а они разные, слишком разные, чтобы терпеть друг друга ещё восемнадцать лет. Письма звали в суд, хотя ничего предосудительного они не совершали. Наоборот, трудились на благо общества: он—замечательным хирургом в городской больнице, она—учителем в школе. Оба интеллигентны, порядочны и в меру несчастны, как все нормальные люди.

…Познакомились в Анапе в 1987-м. Зачитывались Чеховым, оба очень высокого роста, оба в очках, худые и юные. Ей двадцать четыре, ему двадцать пять. Знакомили друг друга с родителями, фотографировались, прыгали с парашютом, переехали в Москву, спали в одной футболке в холодные зимы. А потом Олегу Павловичу не осталось места под футболкой: там появилась маленькая Оля.

Ольга Петровна её очень ждала, а Олегу Павловичу стало холодно. Он оказался человеком по натуре жестоким, работа изматывала его, он злился на двух Оль, и хотя мать учила дочку не бояться, девочка боялась. Злился он внезапно, без повода, но не часто. Раз в месяц. В остальное время был весёлый и рассказывал Оле про поезда, собак и о том, как жил при Советском Союзе.

Ольга Петровна растила дочь в любви и заботе, она была очень хорошим учителем, читала много книг по детской психологии, но с каждым годом всё больше работала, всё больше седела и всё больше хотела второго ребёнка. Олег не хотел. И Оля не хотела. У неё было много игрушек, наград и счастливое детство. Но каждое лето, возвращаясь с семьёй из Анапы, Оля знала, что обязательно случится такой вечер, когда мама будет плакать, а она не будет знать, что делать, будет и вечер (только

один вечер в году!), когда отец не сдержится и ударит её по щеке, а она назло не заплачет.

…Отец влюбился в женщину из Петербурга и скоро уедет. Ему и маме пришли письма из суда…

«Ничего предосудительного они не совершили,— сказала Оля Нечаева любимой подруге Ире.— Это абсолютно нормальное в нашем мире явление. Ирка, хватит есть, мне полезнее». С этими словами Оля забрала последний кусок пиццы. Сыр тянулся жирной отвратительной ниточкой. Есть не хотелось, но и говорить тоже. Ей в этот день было паршиво, не только из-за писем. Небо было большим и серым, как слон, а ей хотелось последней оттепели… Или настоящего снега. Оля не любила осень, потому что сыро и потому что осенью у неё все поумирали: в позапрошлом году — очень хорошая собака, в прошлом — любимая бабушка, которая была подругой больше, чем все остальные. Осень — предательница. Может ударить в любой момент, закрыться не успеешь.

Расставшись с подругой, Оля побрела по набережной домой, к письмам. Она войдёт и не будет ничего говорить, потому что это сугубо их дело. Глупо думать об этом, ожидаемо, что письма должны были прийти. Летом мама и папа ушли рано утром вдвоём, оба красивые, заказали такси до здания суда, вернулись довольные, впервые за несколько месяцев. А потом купили торт и открыли шампанское… Надо было догадаться, когда на годовщине свадьбы (первого сентября!) пили за Олины успехи, а не за любовь… Надо было понять.

Оля думает об этом, и ей жалко. Жалко, что они, наверное, уже больше никогда не поедут в Анапу, жалко эти чёрно-белые юные фотографии, их ласковые семейные прозвища… Оля вспомнила, как в восемь лет стояла ночью у двери, слышала, как родители часто-часто называют друг друга этими особыми именами, и не смела войти. Так и улеглась на полу…

«Зато теперь мне не будет страшно, почти никогда. Папа теперь не обзовёт „ошибкой природы“, не пожелает умереть, и не будет потом этих унизительно-примирительных соков в коробочках и букетов на столе… Я больше не буду ждать этого дурацкого вечера». В эту минуту Оле показалось, что, кроме плохого, ничего не было. Слишком глубоко эта ранка внутри, слишком боится Оля сделать что-то плохо, слишком недооценивает свои успехи. «Нет! Вспоминай… Было, было хорошее… Не прибедняйся… Анапа, мы все вместе, море, они целуются, чайки над нами! Или истории про поезда. У папы такие большие узкие тёплые ладони: „Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы… Их придумал Ричард Рейнольдс, повтори…“»

Ах, зачем же папа пошёл врачом, если он всю жизнь любил поезда?

Оля идёт и улыбается, небо над ней серое, но это становится уже не важно, а важно то, что в сердце открылась какая-то потайная дверца: она простила… Простила всю эту вывихнутую историю, которая подходит к концу. Теперь всё будет иначе…

«Теперь нам всем наконец-то будет хорошо, мы все будем счастливые. Будем жить вдвоём: две Оли снова подружатся. Как раньше. А папа всегда любил Большой драматический больше Большого, Невский больше Арбата. Я буду приезжать к нему и звонить. Мы будем вместе меньше, но радостнее. Он наконец-то признается, что гордится мной…

Как это, оказывается, легко — прощаться и прощать. Даже корень один. Я напишу об этом лингвистическое исследование, да! Господи, счастье, что я родилась именно такой! Ах да, мудрой. Именно у моей мамочки и моего папки. Они же мне всё дали. Они меня на самом деле очень-очень любят».

Оля бежала домой, и внутри у неё колотилось предчувствие первого снега, предчувствие посадки после шестичасового полёта, ей захотелось кривляться и танцевать, чтобы мир на миг стал мюзиклом, где она — главная героиня удивительной и неповторимой истории. «Я напишу об этом книгу и подпишу: „Выражаю особую благодарность моим маме и папе за всё на свете“».

Оля открыла дверь.

«Олег Павлович Нечаев, всё верно! Нет, это вы меня послушайте. Я не намерен ждать ещё шесть месяцев, это исключено! Это ваша работа, а не моя, моя — горбатиться восемь часов в сутки в операционной. Вы что, издеваетесь надо мной?!»

Нечаев вошёл в прихожую нервным и разгорячённым. Увидев дочь, вдруг остановился и тихо, глядя сквозь Олю, процедил: «Гадёныш». Оля молчала. «Ну ничего… Ещё полгода минимум с вами валандаться. Я из тебя человека сделаю!» — погрозил он пальцем и хлопнул дверью. Однако она снова распахнулась через минуту, вошла мама и, упав на кресло, просипела: «Как я устала! Как у меня болит голова…»

Оля ушла в свою комнату. Внутри у неё было пусто.

«А ночью пошёл снег. Много было снега! Он падал огромными хлопьями, целовал людей в глаза, искрился в свете фонарей. Снег — предвестник чуда и Нового года!» — писала Оля в тетради по математике, и горючие капли падали, растекаясь по полям.

Оля крепко уснула. Мать осторожно накрыла её пледом.

Ночью снег не пошёл. Пошёл на следующий день, но это было уже всё равно.

Из старых тетрадей

Стихи участников конкурса «Чистая купель» (2001)

Марина Китаева

10 лет

● ● ●

Роняют предметы и вещи роняют…
А может, их просто, играя, бросают?
Роняют ракушки и камешки в море.
Роняют надежду, и счастье, и горе.
Но спорить со мной вряд ли кто-то захочет —
Роняем слова мы, ужаснее ночи.
Они нас и режут, и колют, и бьют,
И жить нам спокойно они не дают…
И если недоброе слово уронишь,
Друг убежит, его не догонишь!
Поэтому будем со словом построже,
Пусть каждое слово станет дороже!

Артём Кулешов

12 лет

Конец зимы

Голые ветки, деревьев скелеты.
Белые шапки на землю надеты.
Белые взгляды, холодные лица.
Чувствую я, что весь город злится.
Главное — верить. Главное — знать.
Главное — зиму не обижать.

Константин Котенко

10 лет

Зимушка

Покрылись льдом голубым озёра.
Снег лежит на краю забора.
И на стёклах рисует кто-то —
То пальму, то розу, то… бегемота!

Анастасия Потапова

9 лет

● ● ●

Весна идёт, весна идёт.
Никто её не узнаёт.
Как будто сон,
Как звон в окне,
Как будто надо жить в тепле…
Птицы поют.
Реки журчат.
Звери ревут.
Рыбы молчат.
Кто-то в окне
Вербу сорвал.
Кто-то в ручье
Воды набирал.
Значит, идёт Весна звонкая!
Значит, идёт Весна громкая!

Юлия Калачова

12 лет

Кобра

Злая кобра жарким днём
Чай пила у дуба
И сломала сухарём
Два передних зуба.
Как теперь старушке жить?
Хуже попугая!
Никого не укусить —
Вот беда какая!
Продвигаться ей ползком
По лесной тропинке,
И работать ей шнурком
У слона в ботинке.

стр. 57 **Авласенко Геннадий Петрович**
Червень (Республика Беларусь), 1955 г. р.

Член Союза писателей Беларуси. По образованию биолог, много лет проработал в сельских школах Червенского района Минской области учителем биологии и химии. С 2013 по 2017 год был заместителем главного редактора детского журнала «Бярозка» (Минск). После выхода на пенсию полностью посвятил себя литературе. Пишет стихи, прозу, пьесы. Переводит белорусскую поэзию на русский (для русскоязычного журнала «Неман») и с русского на белорусский (для периодических изданий на белорусском языке). В период с 2010 по 2017 год в ведущих издательствах Республики Беларусь («Мастацкая літаратура», «Выдавецкі дом „Звязда“», «Беларусь», «Харвест» и пр.) вышло более 20 его книг как белорусском, так и на русском языке.

стр. 18 **Адаров Григорий Николаевич**
Махачкала, 1949 г. р.

Родился в 1949 году в Махачкале. Здесь жил, учился и работал до 1980 года. После — в Краснодарском крае, а с 1995 года — в Тульской и Калужской областях. Работал радистом, киномехаником, журналистом, режиссёром в театре. Образование: филология (ДГУ), философия (КубГУ), история искусств (ТулГПИ). Печатался в журналах «Юность», «Аврора», «Приокские зори», «Дагестан» и в периодической печати. Сфера интересов: история и теория поэзии. Поэт, прозаик, критик. Участник литературного клуба «Верба». В настоящее время живёт в Махачкале.

стр. 3 **Алейников Владимир Дмитриевич**
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, детство провёл в городе Кривой Рог на Украине. Поэт, писатель, переводчик, художник. В 1963 году окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Учился на отделении истории и теории искусства истфака МГУ. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

стр. 22 **Астафьева Анастасия Викторовна**
Санкт-Петербург, 1975 г. р.

Родилась в Вологде. Писать начала с 15 лет. Автор многих сказок, повестей, рассказов и статей; участник семинаров и совещаний молодых писателей Вологодчины и Северо-Запада. Печаталась в местной прессе, в «Литературной России», в журналах «Нева», «Очаг», «Мир женщины», «День и ночь», «Невский альманах». По детективу «Сети Арахны» в 1998 году на вологодском областном радио был поставлен одноимённый спектакль. Член Союза российских писателей с 2000 года. В 2003 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького (Москва).

стр. 125 **Ахадов Эльдар Алихасович**
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном Центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия» (Москва), «Мурзилка» (Москва), «Дети Ра» (Москва), «Футурум-АРТ» (Москва), «Кукумбер»(Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Неизвестная Сибирь» (Новосибирск), «День и ночь» (Красноярск), «Обская радуга» (Салехард), «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград.

стр. 154 **Басалаева Елена Михайловна**
Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. В 2009 году с отличием окончила филологический факультет Сибирского федерального университета.

Преподаёт русский язык и литературу в Красноярской гимназии №13. Публикации на сайтах «Добрая лира», «Город детства», в журнале «День и ночь» и др. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Большой финал» (Мурманская область) и журнала «День и ночь» за 2019 год.

стр. 104

Бимаев Анатолий Владимирович

Абакан, 1987 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил юридический факультет Хакасского государственного университета. Публиковался в журналах «Абакан», «Сибирские огни», «Нева», в альманахе «Порог-АК», в сборнике «Антология молодых авторов Хакасии», в газете «Мол», в интернет-изданиях «Пролог» и «Za-Za». Участник 9-го и 12-го Форумов молодых писателей России и стран ближнего зарубежья. Участник Совещания молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока (Томск, 2015). Участник регионального совещания сибирских авторов (Новосибирск, 2016). Лауреат литературной премии имени В. П. Астафьева (2021).

стр. 30

Деменюк Андрей Фомич

Санкт-Петербург, 1960 г. р.

Родился в Красноярске, с 2011 года проживает в Санкт-Петербурге. Геолог. Стихи публиковались в красноярских краевых и городских газетах, коллективных сборниках, журнале «День и ночь» (№№5/2013, 2/2020). Выпущен авторский сборник стихов «Акцент ночи» (Красноярск, «Кларетианум», 1998).

стр. 47

Деревянский Вадим Юрьевич

Макеевка (ДНР), 1969 г. р.

Родился в городе Макеевка (Донецкая область, УССР), по образованию горный инженер-электромеханик. Работает старшим научным сотрудником в Макеевском НИИ по безопасности работ в горной промышленности. В России дважды публиковался в журнале «Смена» (№№2/2019, 5/2020).

стр. 95

Елгина Юлия

Сатка

Родилась и живёт на Южном Урале, в городе Сатка. Окончила филологический факультет Челябинского государственного педагогического университета. Работает ведущим специалистом департамента корпоративного развития и стратегических коммуникаций компании «Группа Магнезит». Состоит в районном литературном объединении «Истоки». Произведения публиковались на страницах городской и районной прессы, в литературных альманахах «Лира» и «Новый век», журналах «Юность» и «Родина», а также в коллективных поэтических сборниках. Участница и дипломантка районных, областных и всероссийских поэтических конкурсов.

стр. 100

Жарикова Елена Владимировна

Красноярск

В 1993 году окончила Абаканский государственный педагогический институт. Преподаватель литературы. Руководитель «Литературной гостиной». В 1998 году удостоилась звания «Учитель года» (Шарыпово). Участница и финалист многих литературных конкурсов. Стихи и проза публиковались в литературной периодике. Живёт в Красноярске.

стр. 142

Живнач Светлана

Минск (Республика Беларусь)

Публиковалась в литературных журналах и альманахах «Маладосць» (Минск, 2019), «Метаморфозы» (Гомель, 2019, 2020), «Литерра Nova» (Саранск, 2020), «Между строк» (Тольятти, 2020). Лауреат международных литературных конкурсов памяти Константина Симонова (2018), «Созвездие Духовности» (2020). Дипломант: I Международного литературного фестиваля сатиры и юмора «СЮИТА в Зелёном Доме» (2020), Шестого Международного литературного конкурса короткого рассказа LITER-RM (2020), межрегионального литературного конкурса «Ты сердца не жалей, поэт» (памяти Фатыха Карима) (Казань, Калининград, 2020).

стр. 53

Жужкова Марина

Тверь, 1958 г. р.

Родилась в посёлке Онохой Бурятской АР. Окончила Тверской государственный университет (филологический факультет). Впоследствии начала печататься в местных периодических изданиях: газетах «Тверская жизнь», «Тверская газета», «Вече Твери» и др., журналах «Русская провинция», «Домовой». Последние 10 лет работала корреспондентом газеты «Так живём». Пишет стихи, рассказы, сказки для взрослых и детей. Опубликовала два сборника своих произведений («Озорное молоко» и «Где спрятана уда») в издательстве «Союз писателей» (Новокузнецк). Принимала участие в коллективных сборниках стихов, изданных местными типографиями. Входит в тверское литературное общество «Ковчег».

стр. 93

Замшев Максим Адольфович

Москва, 1972 г. р.

Российский поэт и прозаик, публицист, переводчик с румынского и сербского языков. Родился в Москве. Служил в рядах Вооружённых Сил СССР. Окончил музыкальное училище имени Гнесиных (1995) и Литературный институт имени А. М. Горького (2001). В 1999 году вышла первая книга стихотворений «Ностальгия по настоящему». Стихи публиковались в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «Юность», «Поэзия», «Воин России», «Немига литературная»; в газетах «Завтра», «День литературы», «Московский

комсомолец», «Московский литератор», «Литературная Россия»; в альманахах «Родник», «Академия поэзии», «День поэзии» и др. Награждён медалями «Защитник Отечества», «За просветительство и благотворительность», медалью Суворова; дипломом «Золотое перо Московии» I степени, дипломом имени Станиславского и дипломом «За выдающийся вклад в пропаганду русской словесности». Секретарь правления Союза писателей России, секретарь исполкома МСПС, председатель правления Московской городской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры Чеченской Республики. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Главный редактор «Литературной газеты».

стр. 183

Ищенко Нина Сергеевна

Луганск (ЛНР)

Кандидат философских наук, культуролог, литературный критик. Редактор сайта луганской культуры «Одуванчик». Член Союза писателей ЛНР с 2018 года. Член Философского монтеневского общества Луганска. Автор книги литературно-критических статей «Локусы и фокусы современной литературы» (2020), а также «Книжная полка Татьяны Лариной» (2020), «Город на передовой. Луганск-2014» (2020).

стр. 153

Киляков Василий Васильевич

Электросталь, 1960 г. р.

Родился в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе в городе Электросталь, служил в армии. Окончил Литературный институт имени Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Молодая гвардия» и других изданиях. Лауреат литературной премии имени Б. Полевого и Всероссийской литературной премии «Традиция». Член Союза писателей России.

стр. 136

Кулаков Сергей Анатольевич

Архангельск, 1964 г. р.

Поэт, прозаик, драматург, переводчик с английского языка. Публиковался в журналах: «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Южная звезда», «Урал», «Журнал Поэтов», «Волга», «Слово» (Нью-Йорк), «Дон», «7 искусств» (Германия), «Кольцо „А“», «День и ночь», «Интерпоэзия» (США).

стр. 186

Крещенская Светлана Анатольевна

Киев (Украина)

Настоящая фамилия — Крачковская. Окончила Киевский институт культуры. Работала заведующей читальным залом, преподавателем ПТУ (читала курсы «Эстетическое воспитание», «История костюма», «Этика и психология семейной жизни»). Рассказы и повести печатались в различных бумажных и сетевых проектах: в журналах «Академия» (Киев), «Крещатик» (Германия), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Южная звезда» (Ставрополь), в международном литературно-художественном журнале «Склянка часу» и др., а также в интернет-изданиях «Литера» (Польша), «День» (Бельгия), «У камина» (Израиль), «Имена любви» (Москва) и др.

стр. 137

Лузин Олег Алексеевич

Назарово, 1972 г. р.

Родился в городе Джезказган Карагандинской области (Казахстан). Семья переехала жить в Сибирь, в город Назарово Красноярского края. Здесь окончил школу. Учился в Кемерово в институте культуры, получил высшее образование по специальности «Культурно-просветительная работа». Работал в клубе, на телевидении, сейчас работает в системе образования города Назарово. Участник литературного конкурса имени И. Рождественского.

стр. 44

Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работал ортопедом в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны, разнорабочим, начальником отдела и заместителем генерального директора в частной компании, последние годы работает учителем истории в столичной школе. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат нескольких всероссийских литературных премий. Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «Южное сияние», «Юность», в сборниках и антологиях.

стр. 97

Побежимова Виктория Гелиевна

Красноярск, 1965 г. р.

Поэтесса. Стихи впервые появились в литературном альманахе «Нижегородский литератор» (№7/2012). Впоследствии стала печататься в различных изданиях, в том числе в литературном альманахе «45-я параллель» (2019, 2020), в журнале «День и ночь» (№№6/2019, 1/2021, 5/2021) и др. Лауреат конкурса имени И. Д. Рождественского (2019, 2020) в номинации «Поэзия» и международного конкурса «Поэзия ангелов мира» (2020).

стр. 62

Пшеничников Виталий Фёдорович

Красноярск, 1948 г. р.

Родился в лесопункте Хабайдак Уярского района Красноярского края. Учился в Красноярске.

Окончил техническое училище, работал слесарем, затем слесарем-испытателем на заводе «Красмаш». Заочно окончил юридический факультет Красноярского государственного университета, работал следователем прокуратуры города Канска, прокурором Новосёловского района, с 1985 года по декабрь 2009 года — судьёй федерального суда Советского района Красноярска. Находится в почётной отставке. Член Союза писателей России с 2009 года. Печататься начал с 2004 года, издав сборник рассказов «Приговор», в основу которых положен материал из следственной и судебной практики. Автор изданных книг «Служу отечеству», «Надежда умирает последней», «Заглянуть за перевал», «Сладкий вкус смерти», «Записки полярного лётчика», «Река жизни», «Войну не оставить за порогом», «Операция „Ловля на живца“». Публиковался в альманахах «Московский Парнас», «Новый Енисейский литератор», журналах «Приокские зори», «День и ночь». За литературную деятельность в 2005 году награждён дипломом и медалью имени Альберта Швейцера «За гуманизм и служение народу» Европейской академии наук (Ганновер, Германия). В 2010 году за романы «Река жизни» и «Войну не оставить за порогом» награждён международным дипломом и золотой медалью конкурса имени Валентина Пикуля. Лауреат альманаха «Московский Парнас» (2008). Призёр литературного конкурса малой прозы «Триумф короткого сюжета» в номинации «Пространство времени» с произведением «Сквозь пространство и время» (2011). Награждён медалями: «15 лет вывода советских войск из ДРА», «За мужество и гуманизм», «За верность долгу и отечеству», «К 100-летию со дня рождения Героя Советского союза генерала Маргелова».

стр. 36

Расторгуев Андрей Петрович

Екатеринбург, 1964 г. р.

Российский поэт, переводчик, журналист, кандидат исторических наук. Член Союза писателей России, Союза журналистов России. Автор нескольких поэтических книг. Является постоянным автором журнала «Урал» (Екатеринбург), публиковался в журналах «Наш современник» (Москва), «Литературная учёба» (Москва), «Новый мир» (Москва), «Дружба народов» (Москва), «Север» (Петрозаводск), «Южная звезда» (Ставрополь), «День и ночь» (Красноярск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Подъём» (Воронеж), «Гостиный Двор» (Оренбург), «Славянин» (Харьков), «Неман» (Минск), «Простор» (Алма-Ата). Поэтическую деятельность совмещает с работой переводчика — переводит на русский язык стихи финно-угорских поэтов. В свою очередь, стихи Расторгуева переводились на коми, венгерский, финский и башкирский языки.

стр. 26

Сейдаметова Карина Константиновна

Москва

Родилась в Самарской области. Автор нескольких поэтических сборников. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Эдуарда Балашова). Стихи публиковались во многих всероссийских бумажных и электронных изданиях. Лауреат поэтических премий имени Ю. Кузнецова и Б. Корнилова. Член Союза писателей России. Живёт и работает в Москве.

стр. 80

Смирнов Михаил Михайлович

Москва, 1953 г. р.

Родился в селе Есаулово Красноярского края. В 1975 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт. Сорокалетнюю трудовую и служебную деятельность проходил в Иркутской области, Липецке, Нижегородской, Московской и Мурманской областях и Москве. Участник боевых действий в Республике Афганистан в 1981–1983 годах. Работал в промышленной, финансовой и банковской сферах, являлся государственным военным и государственным гражданским служащим. С 2004 года живёт в Москве, в настоящее время пенсионер. Полковник в отставке. Имеет государственные и общественные награды. Прозаик, член Союза писателей России с 2014 года, состоит на учёте в Московской городской организации СП России. Автор 24 романов в 34 томах, изданных в Москве, Уфе, Южно-Сахалинске и Екатеринбурге. Наиболее известные из них: «Сокровища Белого моря», «Жертва», «Набат тишины», «Венский узел», «Конечный бенефициар», «Тайны Сахалина».

стр. 145

Таразанов Александр Сергеевич

Томск, 1954 г. р.

Окончил Томский коммунально-строительный техникум. Работал электриком, кочегаром. Первая публикация прозы состоялась в интернет-журнале «Наша улица» Юрия Кувалдина в 2015 году. Лауреат международного литературного фестиваля «Балтийский гамаюн» 2020 года.

стр. 41

Чаящинский Ибрагим Магомедович

Махачкала

Настоящая фамилия — Гаджиев. Родился в Махачкале. Окончил филологический факультет Дагестанского государственного университета и Литературный институт имени Горького. В 1991 году уехал в Москву, где сотрудничал с изданиями «Новая газета» и «Коммерсант». Вернувшись на родину в 2001 году, публиковался во многих дагестанских газетах. Чаящинский был известен как прозаик, поэт и журналист, являлся членом Союза писателей России и Союза журналистов России. Умер в 2005 году.

стр. 136
Хьюм Томас Эрнест
1883–1917

Английский поэт, теоретик искусства и литературный критик. Один из создателей имажизма.

стр. 15
Шанин Владимир Яковлевич
Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края, в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, в леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году и в том же году—зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», в коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне…», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей главной книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

стр. 102
Шафран Яков
Тула

Член Российского союза писателей, Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Лауреат всероссийских литературных премий: «Левша» имени Н. С. Лескова и «Белуха» имени Г. Д. Гребенщикова, лауреат премии русских писателей Белоруссии имени Вениамина Блаженного. Заместитель главного редактора литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», главный редактор альманаха «Ковчег». Член редакционных советов вестника Академии российской литературы «Московский Парнас», музыкально-поэтического альманаха «На лирической волне» (Тула, журнал «Приокские зори») и музыкально-литературного альманаха «Тульская сторонка».

стр. 24
Юшманова Варвара Алексеевна
Москва, 1987 г. р.

Родилась в Братске. Поэт, журналист, редактор. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «Журналистика». Публиковалась в сборниках «Братск—Пушкину», «Жизнь творчества» (Братск), журналах «Волга—XXI век» (Саратов), «День и ночь» (Красноярск), «Новая реальность», «Русская жизнь». Финалист Международного литературного Волошинского конкурса (2013). Лауреат премии имени Риммы Казаковой «Начало» (2014).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Н. Наговицын

РЕДАКТОРЫ

Марина Наумова-Саввиных

Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель:

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издатель:

Краевое государственное автономное учреждение «Организационно-методический Медиацентр»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев
Красноярск

Наталья Ахпашева
Абакан

Юрий Беликов
Пермь

Михаил Бондарев
Калуга

Елена Буевич
Черкассы

Лидия Довыденко
Калиниград

Вера Зубарева
Филадельфия

Александр Кердан
Екатеринбург

Сергей Кузнечихин
Красноярск

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Орлов
Москва

Олеся Рудягина
Кишинёв

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Лидия Сычёва
Москва

Андрей Тимофеев
Москва

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использована картина Константина Войнова «Молитва о Покрове».

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22; Медиацентр
т. +7 950 991 4349

Подписано к печати: 5.02.2022
Дата выхода в свет: 28.02.2022
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт» г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+

Константин Войнов

Даждь нам днесь

2021

Насущное

2021

На обороте обложки:

Дмитрий Марков

Мост

2019